
Н.Е. АНДРЕЕВ
ТО, ЧТО ВСПОМИНАЕТСЯ
II

ТО, ЧТО ВСПОМИНАЕТСЯ

Из семейных воспоминаний Николая Ефремовича Андреева (1908 - 1982)

Том II

Под редакцией Е.Н. и Д.Г. Андреевых



Таллинн
"АВЕНАРИУС"

Н.Е.Андреев

То, что вспоминается

Том II

Ответственный редактор И.Белобровцева
Технический редактор О.Костанди

Фотографии из архива Екатерины Андреевой

P.O.Box 3027, Tallinn EE0090

ISBN 9985-834-12-7

Printed in Estonia

СОДЕРЖАНИЕ

РУССКАЯ ПРАГА

В 1927 г. Прага имела несколько центров. Один - русская церковь, единственная в своем роде, потому что она не делилась на разные епархии, как все остальные русские центры за границей. Здесь была только или чешская православная церковь (там был сначала архиепископ Савватий), незначительная и не привлекавшая эмигрантов, или церковь, которая возглавлялась епископом Сергием и подчинялась митрополиту Евлогию в Париже. Каждую субботу (именно в субботу было легче с транспортом, чем в воскресенье) этот центр страшно разбухал, приезжали со всех сторон русские ко всенощной, устанавливали контакты, утерянные за неделю, вообще была русская община. Она достигала максимума в Великий Пост, и шла крещендо во время пасхальной заутрени, когда собиралось несколько тысяч русских и почти невозможно было войти в храм, чуть ли не побоища возникали, так что прихожане организовали церковную "милицию", которая наводила порядок. На Рождество и на Троицу всегда приезжало много народу. Священников у Владыки было мало, но был верный помощник, о. архимандрит Исаакий, бывший доблестный дроздовец, т.е. офицер дроздовской дивизии. Позднее ему всегда помогал о. Михаил Васнецов, сын знаменитого русского художника. Был хороший хор и все, что полагалось, церковь была центром до самого конца Русской Праги.

Некоторым авторам, как, например, Н.М.Зернову, в его замечательной книге "История одной семьи" казалось, что только в Праге группировались и получали государственную поддержку социал-революционеры. Это не так: на самом деле чехословацкая помощь русским эмигрантам проводилась в индивидуальном порядке, но эсеры дейтвительно выделялись своим числом среди русских организаций в Праге. В частности, в их руках был Земгор, т.е. остаток земско-городского общероссийского союза, в Праге председателем был эсер Федоров-Мансветов, и вся головка, все служащие Земгора имели отношение к эсерам. Однако это вовсе не означало, что только эсеры были приняты чехами. В Праге были все оттенки эмигрантских политических движений, весь спектр русских политических и общественных организаций.

В Праге издавались не только эсеровские журналы, как "Воля России", но и другие, независимые, например, "Студенческие годы", просто "Годы", альманахи, было целое издательство "Пламя", которое субсидировали чехи, и оно никакого отношения к эсерам не имело. Позднее долгие годы издавалась газета "Новости", во главе которой был Кирилл Кириллович Цегоев. Надо указать организацию графини Паниной "Русский Очаг", который имел, во-первых, хорошую библиотеку, меньшую, чем Земгор, но отлично подобранную, в частности хорошо был представлен художественный отдел, книги по истории искусства. Заведовала читальней номинально Надежда Александровна Зурова, но главными деятелями были Николай Артемьевич Еленев и Инна Николаевна Сапожникова. Они очень умно

вели каталоги, по интересной системе, к которой иногда привлекали читателей, например, я давал отзывы на какие-то новинки и их писали на картотеках рядом с названием книги. В Земгоре первенство было за советскими изданиями, а здесь за эмигрантикой. Тут же была столовая, где по очень умеренной цене можно было получить завтрак, обед и ужин и чай в любое время. Заведовала этим знаменитая Анна Захаровна. Там же находились помещения для заседаний. Обычно там заседало Историческое общество, разные комитеты -Комитет дня русской культуры, Союз университетских женщин, Союз врачей и другие, у которых не было нужды в постоянных помещениях. Графиня Софья Владимировна Панина была по взглядам своим кадеткой. Ее даже довольно грубо называли кадетской богородицей или еще хуже - "одной из кадетских богородиц". До революции она была известный деятель просвещения. Ее трудами, между прочим, был создан Народный дом им. Императора Николая II в Петербурге - важный культурный центр с хорошим театром, где цены были гораздо ниже и легче было получить билеты, чем в Александринском или в Мариинском театрах, где все было в абонементах или распродано на много месяцев вперед. Рассказывали, что графиня Панина в молодости вышла замуж, но в первую же ночь покинула своего мужа, и в просьбе, поданной на Высочайшее имя, просила вернуть ей девичью фамилию, и якобы Александр III подписал резолюцию: "Считать девицей". Вероятно, все это были выдумки, но слухи такие ходили. Большое участие в "Русском Очаге" принимал Николай Иванович Астров, гражданский муж графини и последний городской голова Москвы, человек обходительный и любезный почти до приторности, до такой степени, что Василий Федоров, наш остроумец, всегда говорил, что Астрова следовало бы считать "почетной дамой", потому что он любезен и обходителен, как старая тетка - тоже, конечно, злой язык... Там же постоянно бывал Юренев, когда наезжал в Прагу, в прошлом тоже один из крупных деятелей партии Народной Свободы. Значительной организацией долгое время был Союз русских писателей и журналистов, он тоже время от времени собирался в "Русском Очаге". Впрочем, иногда и в Земгоре или в Русском свободном университете. Одно время председателем этого Союза был Н.И.Астров, а последним председателем был Сергей Васильевич Варшавский. Почетным председателем долгое время был В.И.Немирович-Данченко, старейший из русских писателей за границей (в 1935 г. мы праздновали его 90-летие). Там состоял Евгений Николаевич Чириков, о котором я написал статью в газете "За свободу". Важность роли Союза писателей и журналистов заключалась в том, что он давал стипендии молодым поэтам и писателям - Василию Федорову, Вячеславу Лебедеву, Алексею Эйснеру и другим. Стипендии были небольшие, но все-таки давали основу для жизни, они могли еще подработать. Эта организация никакого отношения к эсерам не имела, в Союзе были очень разные люди, и на ведущих постах скорее были люди правых настроений, чем социалистических.

Большой организацией являлся Русский народный университет, тоже независимый от эсеров. Он состоял из двух групп. Во-первых, в него входили почти все ученые, которые получали индивидуальные стипендии из чешских источников, а во-вторых, он имел маленький исполнительный орган, ректором его считался профессор Михаил Михайлович Новиков, последний свободно избранный ректор Московского университета. У него был секретарь, Александр Александрович Воеводин, мастерски писавший афиши о докладах и дискуссиях, о вечерах, которые организовывались под эгидой Русского народного университета. Количество людей, посещавших его, колебалось: многие приходили на животрепещущие дискуссии, как об Александре I и старце Феодоре Кузьмиче. Иногда же на специальных семинарах бывало человек 5-6. Зато когда пришли немцы и стало попахивать войной, посещаемость резко возросла, особенно когда речь шла о русской истории,- начали приходить сотни людей. Я сам был тогда в числе лекторов и живо помню эти изменения аудитории, количественные и качественные: раньше обычно приходили высококвалифицированные слушатели, а с увеличением их числа появился и демократический слушатель, который специально не занимался вопросами истории, но охотно слушал доклады на эти темы. Особенно важными были несколько организаций этого университета: Русское историческое общество, которое, собственно, было отдельной организацией, но часто объединялось с Русским народным университетом. Председателем его в мою бытность был Евгений Францевич Шмурло, а потом Антоний Васильевич Флоровский, Кизеветтер был, по-моему, только товарищем при Шмурло. Не помню, чтобы он был председателем, хотя, может быть, и выступал от Русского исторического общества и, конечно, ценился его членами. Очень важным было Русское философское общество, председателем которого, по-моему, всегда числился профессор Лапшин. Это была серьезная организация, немногочисленная, но замечательно квалифицированная: в избранной аудитории выступали замечательные философы, как Н.О.Лосский, С.И.Гессен, И.И.Лапшин, Н.И.Осипов, Д.И.Чижевский, профессор Б.В.Яковенко и множество других. В большинстве случаев философы были разных направлений, поэтому они не примыкали обычно к докладчикам и к их идеям, но могли эти идеи углубить и поставить острые вопросы. Я туда ходил часто, постоянно встречаясь там с Ю.В.Назимовым. Однажды зимой мы пришли в философское общество, и там было очень жарко натоплено. Между тем председатель, И.И.Лапшин был в пальто и с поднятым воротником - он славился своей рассеянностью. Я говорю Юрию Владимировичу: "Что с Иваном Ивановичем, смотрите, он с поднятым воротником"? Глаза Назимова заблестели, и он ответил: "Иван Иванович воображает, что находится на конькобежном состязании!" И было похоже. Рассказывали такую историю - он вошел в трамвай и вдруг, к общему удивлению, стал обходить всех и пожимать руки, здороваться по-чешски. Там сидели русские, и, когда он

дошел до них, те спросили Ивана Ивановича: “Почему Вы со всеми здороваетесь?” - “Как “почему”? Это же гости моей хозяйки!” Он думал, что вошел в гостиную своей чешской хозяйки. Так проявлялась его рассеянность.

Замечательный семинар был по истории первой мировой войны, я усердно его посещал, вел много записей, ужасно сожалею, что все погибло. В большинстве случаев там были участники войны, иногда очень видные участники, генералы, и то, что они говорили, то, что докладывали, и то, что обсуждалось, было исключительно по своему значению. Они знали русскую армию не по книгам, но сами были частью Российской Императорской армии. К сожалению, я не всегда мог попасть туда, так как они обычно собирались по пятницам, когда у меня были обязательные заседания в Институте Кондакова. Эти части культурной Праги составляли неотъемлемую область нашей русской жизни там. Для интеллигентного слушателя это была исключительно богатая нива, на которой колосились одно имя славнее другого. К тому же постоянно приезжали всевозможные авторитеты и знатоки из других стран. Время от времени с публичными докладами наезжал Милюков, и приходило бесчисленное множество народа. Он выступал с докладами и в Историческом обществе, уже специфически конкретными. Приезжал время от времени Н.А.Бердяев, и я имел удовольствие слушать несколько его лекций. Выступал он тоже в Философском обществе. Слушать его было трудно, потому что у него был тик - выскакивал язык. Если вы этого не знали, то он производил ошеломляющее впечатление. Но он каждый раз справлялся с языком, язык исчезал, и опять он говорил несколько минут очень хорошо, а потом вдруг опять - тик. Это не меняло сущности того, что он говорил, но, конечно, затрудняло восприятие. Приезжал С.Л.Франк из Берлина, на моей памяти довольно много раз приезжал из Дрездена Ф.А.Степун. Приезжали такие крупные фигуры, как генерал Деникин, очень хороший лектор, но он, конечно, говорил главным образом по политической линии. Маклакова приглашали в связи со 100-летием Толстого. Он выступал тогда в зале Национального Чешского музея в присутствии президента Масарика, там говорил и Горак. Культурная жизнь била ключом. Кроме того, появились русские дома. Некоторые русские предпочитали жить в доме, населенном русскими. Так были построены как бы коллективные дома, в складчину, вероятно, с помощью правительства. Два дома на Бучковой улице назывались “профессорские”, в просторечии их именовали “братской могилой”. Два дома были построены в Страшницах, там, где была русская гимназия. Они были заселены преимущественно гимназическими педагогами и звались “зверинцем”. Был дом “У трех жуликов”, потому что комиссия, состоявшая из деловых людей, обжулила тех, кто покупал там квартиры. Там жил Е.Ф.Максимович с женой, позднее - В.В.Морковин с матерью, там же жили Чириковы, Н.П.Толль с Ниной Владимировной. Потом появился дом возле

них, тоже построенный коллективно, там жили мои хорошие знакомые Новожиловы, эсеры, мы потом вместе сидели у советчиков; Пивоваровы; там же жила мать В.В.Набокова. Был и еще один большой сектор, так называемый "сектор воинских организаций". Основной пражской воинской организацией, как и всюду в эмиграции, был Общевоинский Союз с центром в Париже - организация, когда-то намеченная Врангелем и развитая Кутеповым. Она была очень нужна, чтобы сохранить нераспыленными русские воинские кадры. Сомнительно, чтобы они нужны были для решительной акции в Советском Союзе, но какое-то профессиональное объединение, национальное по характеру было полезно, как мне кажется, хотя в идеологии Общевоинского союза постепенно выявились упрощения. Он был хорош в начале эмиграции, в 20-х гг., но был уже странен в 30-х. Тем не менее, организация была активна и включала в себя, думаю, большинство бывших участников белых армий. Даже люди скептически настроенные к идеологии "весеннего похода" в Советский Союз, тем не менее, продолжали быть членами этого союза, платили членские взносы, являлись на разные праздники - основания Добровольческой армии, Ледяного похода, полковые праздники белогвардейских воинских объединений, корниловцев, марковцев, дроздовцев, - это все, конечно, уже было псевдовоинское, но, повторяю, играло психологическую роль в объединении эмиграции. Интересно было наблюдать, что люди, которые были в Белой армии всего-навсего 2 года, а после стали инженерами, врачами, учеными, продолжали считать себя в основе военными. Это явление, по-видимому, сильно пугало большевиков, они придавали ему слишком большое значение. В связи с этим и было устроено похищение генерала Кутепова, потому что безусловно в какой-то момент предполагалось, что если какие-то державы вроде Германии начнут антисоветские действия, то Общевоинский союз сможет сыграть известную роль. В Праге было свое объединение - генерала Харжевского. У них был ресторан "Огонек", открытый для широкоіі публики. Там обедали, допустим, генерал Харжевский и какие-то близкие ему лица, тоже состоящие в Общеоинском союзе или просто высокие чины. Допустим, входил молодой доктор естественных наук, в прошлом капитан. Он идет прежде всего к столу, где сидит генерал или старший по чину, щелкает каблуками и говорит: "Ваше Превосходительство" или "Господин полковник - смотря к кому обращается - разрешите сесть". Мне поначалу это казалось комичным. Те, конечно, великодушно разрешали, и он где-то садился за столик. Это было при мне, мои приятели, например, Н.А.Раевский всегда это проделывал, даже, по-моему, немножко рисуясь, что помнит общевоинскую иерархию. В этом ресторане часто устраивались большие банкеты, когда рекой лились водка и вино и гремели, иногда в замечательном исполнении, добровольческие песни вроде:

Загремит колоколами древняя Москва
И войдут, блестя штыками, русские войска...

Иногда с интересными нюансами. В корниловском марше были такие слова:

Мы о прошлом не жалеем,
Царь нам не кумир
Мы одну мечту лелеем:
Дать России мир..

И более грустные песни, вроде:

Пусть свищут пули, льется кровь,
пусть смерть несут гранаты,
мы смело двинемся вперед,
мы - русские солдаты.

Или:

Смело мы в бой пойдем за Русь Святую
и, как один, прольем кровь молодую.

Один из участников этих походов, сам член Общевоинского союза, не раз мне говорил уже во время второй мировой войны: “С такими песнями победить было нельзя, слишком печальные, нужны были более напористые песни”. Он считал, что красноармейская песенная традиция развивалась правильнее - они всегда писали о победах и воодушевляли поющих. А тут размышления какого-то “лишнего человека”, который попал в Белую армию, потому что Россия его не понимает, видите ли, и он собирается умереть: что за вдохновение для молодых юнкеров. Кроме Общевоинского союза, в Праге было множество отдельных групп, например, хорошо были представлены донцы, донские казаки, их было несколько тысяч, больше в провинции. Они женились на чешках, становились сельскохозяйственными рабочими или даже предпринимателями, фермерами, пока немцы их не вытащили и не объявили, что они все равно эмигранты, несмотря на чешские паспорта. В Праге был целый ряд чинов штаба Донской армии во главе с командующим, генералом Сидориным. Я его лично не знал, но знал из его штаба полковника Ковалева, интеллигентного и культурного офицера, и чрезвычайно сожалею, что не записал в свое время его интересные рассказы. Из донского круга был и Петр Афанасьевич Скачков, я имел с ним интересные разговоры по поводу начинавшего публиковаться “Тихого Дона” Шолохова. Донцы были наиболее авторитетные читатели - чуть ли не все они были в нем описаны. Кроме них была еще интересная группа деникинских генералов: во-первых, генерал Шиллинг, когда-то главноначальствующий Одессы. Он имел печальную репутацию в прессе, а сам по себе был респектабельный генерал, еще старой складки. Был там один из его помощников, генерал В.В.Чернавин, мой хороший друг, член Института Кондакова. Он уже не воевал при Врангеле. Он начальствовал Крымом до врангельского периода, рассказывал некоторые вещи, которые были ему неприятны. Ему пришлось подписать приказ о расстреле: военный суд постановил расстрелять одного

офицера, потому что тот грабил население и собирал драгоценности, а офицер был храбрый, боевой. Чернавин рассказывал, как 24 часа размышлял, а потом подписал этот приказ и офицер был расстрелян. Была большая группа колчаковских генералов во главе с боевым генералом Войцеховским, который командовал одно время армией Колчака. Он сразу перешел на службу к чехам и был командующим Брнецким военным округом, а потом был переведен в Прагу. Когда он появлялся, это всегда было событие, потому что он был важной фигурой. Затем был также служивший у чехов генерал Иностранцев, тоже от Колчака. Бывший гвардейский генерал, заносчивый человек, которого я довольно хорошо знал - он часто приходил к княгине и замечал меня, потому что я был, так сказать, фаворит Яшвилей и работал в Кондаковском Институте. Но вообще он был, я потом сказал Чернавину: "У Иностранцева типично гвардейские акценты - на этом была построена вся гвардия: он презирал всех остальных". Кое-какие его замечания были интересны, он даже что-то публиковал в защиту чешских легионов в Сибири, потому и приняли его на службу, как утверждали злые языки. Он возражал против широко распространенной версии о русском золоте, которое якобы частично захватили чехословацкие легионы, что и предопределило их желание как можно скорее покинуть Сибирь и Россию. Говорили, что на этом основании вырос Легио-банк в Праге и существовала русская акция в Чехословакии, - это проценты с золота, и тем, кто об этом знал, денег давали больше, чем другим. Насколько это было верно, боюсь сказать, но надо принять во внимание книги генерала Сахарова и других лиц, откровенно писавших об этом. В Чехословакии эти книги были запрещены. Сам Иностранцев был довольно циничен, говоря о катастрофах, которые разыгрывались у него на глазах, помню его рассказ об огромном количестве немецких военачальников в русской армии. Он с хохотом рассказывал о маневрах, кажется, 1912 г., говоря, что это был курьез: генералы, и те, кто оборонял, и те, кто наступал на Петербург, все носили немецкие фамилии, начиная с Будберга, Ренненкампфа и Штакельберга. Только один офицер, посредник, был с более или менее русской фамилией, но какой - "Иностранцев"! Тем не менее, его участие в кружке по изучению первой мировой войны и его лекции всегда были интересны циничным подходом к материалу. Он мог высказать все неожиданным образом. Сотрудником Колчака был и генерал П.И.Рябиков, начальник всей военной разведки, между прочим, принимавший участие в знаменитом процессе полковника Мясоедова, который был признан виновным и повешен. Генерал Чернавин по этому поводу заметил однажды, что не хочет пока высказываться на эту тему, чтобы не задеть генерала Рябикова. Из этого я заключил, что, видимо, Чернавин усматривал в деле Мясоедова обстоятельства скорее военной политики, чем действительного состава государственного преступления. Генерал Рябиков тоже был на службе у чехов, и слушать его всегда было

интересно, потому что он продолжал жить военной жизнью. Его доклады, которые я слышал, были замечательными - он был человеком действия до конца русской монархии, знал очень много и понимал разные вещи гораздо лучше, чем те, кто изучал эти вопросы только по книгам. Он прочел у нас несколько докладов. Это было не деятельностью Института, а частной инициативой княгини, и мы с огромным интересом слушали его изложение отдельных проблем военной истории Российской Императорской армии в период первой мировой войны.

Существовала также небольшая группа русских офицеров, служивших в чехословацкой армии, обычно они занимали места почему-то на чин ниже, чем имели в русской армии. Например, был очень известен чешский майор артиллерии Гегелошвили, который в русских войсках был полковником. В целом военный сектор в Чехословакии был значительным. Интересно отметить, что когда в первый раз прибыли на маневры советские военные представители, то одной из групп под Брно командовал как раз генерал Войцеховский, - он потребовал из Министерства обороны переводчиков на русский язык. Все очень удивились: зачем Войцеховский, сам русский, требует переводчиков. Тем не менее, переводчик был посредником при их разговорах или, во всяком случае, присутствовал при разговорах генерала Войцеховского с представителями советской военной миссии. Позднее я, к моему большому удовольствию, подружился с ним, это было уже в немецкий период, после его отставки. Он жил в нашем доме, и я мог расспрашивать его о жизни и деятельности. Я спросил: "Почему, Сергей Николаевич, Вы тогда потребовали переводчика от Министерства обороны?" Он сказал: "По очень простой дипломатической причине. Я совершенно не желал вести доверительные разговоры с глазу на глаз с советскими военными, потому что тогда чехи могли бы мне приписать все, что угодно. Когда я им позвонил, они спросили: "Вы уверены, что хотите переводчика? Вы же говорите по-русски?" Я ответил: "В моем договоре с вами нет пункта о том, что я должен знать русский язык, я мог его забыть за эти годы, раз, а во-вторых, у меня могут быть какие-то причины не говорить по-русски, так что потрудитесь послать мне переводчика". Но на самом деле это было обеспечение моего положения в армии". Генерал Войцеховский, конечно, виделся с разными союзными миссиями, в том числе и с советской, но всегда при переводчиках, чьей обязанностью было констатировать, что переговоры не касались тем, нежелательных с точки зрения чехословацкой армии. Уместно добавить, что до прихода немцев многие офицеры чехословацких вооруженных сил, генерального штаба и даже главнокомандующий генерал Сыровы владели русским языком, потому что в большинстве случаев были бывшие легионеры. Генерал Сыровы, как любила вспоминать русская эмиграция, за 30 серебренников продал Колчака, выдав его в Иркутске на расстрел. Кроме того, многие офицеры женились на русских в Сибири и вывезли своих жен, как

утверждали, вместе с мебелью красного дерева на американских транспортах, присланных во Владивосток. Я сам знал несколько семейств, где процветал в домашнем быту русский язык. Поэтому тогдашнее чехословацкое военное руководство было если не благожелательным, то понимало положение эмигрантских воинских организаций.

Поэтому психологический климат в военном секторе Праги был тогда благоприятным. Генерал Шиллинг, кажется, самый старший среди генералитета, занимал место председателя Союза инвалидов, дипломатическое место: он как бы не мешал другим, более младшим генералам. Харжевский входил в кутеповско-врангелевскую концепцию, а Шиллинг был еще деникинского производства, и здесь они могли разминуться. Интересно, что из генералов выдвинулся один интересный, по-видимому, хорошо осведомленный и чувствовавший проблемы и материал военный писатель - Виктор Васильевич Чернавин. Он служил в Русском заграничном историческом архиве.<См. статью Н.Е.Андреева о судьбе архива в “Грани”, 125, 1982 - ред.>.

Русский архив был удивительным: он обслуживался на 95% русскими эмигрантами, а содержало его чехословацкое правительство. Русский заграничный исторический архив старался собрать все русские издания, которые когда-либо появились за границей, были ли это дореволюционные левые или эмигрантские, пореволюционные издания. Архив был грандиозный, отменно организованный, и получал множество воспоминаний и других архивных частных материалов, которые принимал на хранение. Например, генерал Деникин передал туда не менее 50 ящиков - весь свой гигантский архив главнокомандующего Добровольческой армией. Он в свое время вывез его целиком и передал с условием, что откроется архив спустя некоторое время после его смерти, с таким расчетом, по-видимому, чтобы современники не могли быть особенно потревожены документами. Генерал Чернавин имел доступ к целому ряду поступавших военных материалов, и, будучи с 1936 г. уже в отставке, предложил мне сотрудничество. Он нуждался в секретаре, которому мог бы диктовать и который возражал бы, когда он говорит не очень ясно. Он предложил мне написать несколько статей для газеты “Сегодня” и для варшавской “За свободу” (или для “Молвы”), пообещав мне треть гонорара за эти статьи, им подписанные. Конечно, о моем участии ничего не говорилось бы. Это меня устраивало со всех точек зрения, и я ему охотно помогал. Чернавин был, по-моему, прирожденный историк, мы даже удивлялись, почему он пошел по военной линии, а не на историко-филологический факультет, он ведь окончил классическую гимназию. Но он сказал, что когда приехал в Санкт-Петербург, его оттолкнула внешне анархическая форма жизни студентов, и он как-то сразу почувствовал, что хочет чего-то другого, более собранного, поэтому и пошел в военное училище, а потом и в Академию генерального штаба. Он на моих глазах написал (и я даже просматривал последнюю

редакцию) исследование по заказу Института Гувера - полное документированное исследование о не известном мне до той поры эпизоде последней кавалерийской битвы конного корпуса генерала Павлова, который имел в своем распоряжении донцев и кубанцев и мог еще повернуть колесо удачи в пользу Деникина, если б разбил или остановил напиравших буденновцев. Но, как показал Чернавин в своем исследовании, ряд совершенно непредвиденных обстоятельств загубил действия генерала Павлова: они не успели накормить лошадей, они так долго шли, что не успели дать им отдых, который требовался для победоносной битвы, хотя бы 24 часа. Это оказалось гибельным. Я был поражен: у Деникина, оказывается, были все шансы победить, даже конница генерала Павлова численно была не меньше, а может быть, и больше, чем наступавшие буденновские, как они тогда еще официально (ОСВАГом) именовались, банды. Я привожу эти примеры в доказательство того, насколько все группы в Праге, как будто и разделенные, в то же время имели множество точек соприкосновения.

Надо назвать еще одну организацию, которая действовала в Праге очень редко, но действовала. Это был Русский научный институт. Я дважды натолкнулся на его действия, каждый раз в связи с Петром Бернгардовичем Струве, который был там главным действующим лицом. Он несколько раз приезжал в Прагу и на моей памяти два раза выступал в рамках этого Русского научного института, центр которого как будто был сначала в Берлине, отдел в Белграде и какой-то отдел в Праге. По-видимому, он не был соединен с Русским народным университетом, потому что всегда было отдельное помещение с небольшим количеством публики, хотя Струве был интересным лицом. Но читал он лекции очень сложно, так как был по преимуществу теоретик. Я, например, на все его лекции ходил с восторгом и старался записать их, но должен сказать, что у меня возникало много вопросов немедленно во время слушания лекций, потому что подход П.Б.Струве был энциклопедический, он предполагал, что вы уже знаете все, что стоит за экономической, социологической, государственноведческой терминологией, и никогда ничего не пояснял.

Но все-таки это было увлекательно, туда ходили обычно серьезные профессора и потом задавали ему вопросы, тоже очень глубокие, опять-таки теоретического характера. Устраивал эти лекции обычно Николай Александрович Цуриков, работавший при Педагогическом бюро, он был его членом и секретарем и в то же время сотрудничал в изданиях Струве: когда тот редактировал "Возрождение", Цуриков работал там, когда Струве издавал газету "Россия", печатался в ней. Когда была "Россия и славянство", Цуриков был представителем этой газеты, он даже выплачивал мне гонорар. То, что я туда ходил, производило хорошее впечатление на Цурикова, и он ко мне относился благосклонно, хотя был задиристый человек.

Нужно упомянуть определившую себя серьезную организацию, позже сошедшую на нет. Это Русское педагогическое бюро, в помещении которого заседал Скит, потому что Бем тоже имел к ней отношение. Педагогическое бюро было очень важно, потому что возникло очень рано, в 1920-21 гг., оно обратило внимание на то, что необходимо иметь русские школы для детей русских эмигрантов. Вопрос был поставлен правильно: если человек ходит в русскую школу, он останется навсегда русским, если же пойдет в иностранную, он уже утерял значительный процент понимания России, утратит живость и гибкость языка, привыкнет думать на иностранном языке и тем самым отдалится от отечества. Но это правильное рассуждение не дало практических результатов, на которые все надеялись, - что советский режим эволюционирует или вообще исчезнет и тогда эмиграция вернется на родину, и вся молодежь, которая получила образование в русских средних школах за границей, будет чувствовать себя в России полноправными гражданами. Педагогическое бюро поставило этот вопрос, а потом настояло на том, чтобы русские школы за границей перешли на новую орфографию, и только в нескольких институтах и кадетских корпусах в Югославии некоторое время оставалась старая орфография, но это было нерентабельно.

В рамках Русского педагогического бюро возникла идея праздновать День русской культуры. Они выставили первую кандидатуру - Пушкина, и затем был создан Комитет Дня русской культуры, куда вошли наши тузы во главе с графиней С.В.Паниной, - вошел князь П.Д.Долгорукий, целый ряд профессоров, начиная с М.М.Новикова. День русской культуры сыграл огромную роль в сохранении русского национального самосознания. Он преломлялся от города к городу, от района к району, от страны к стране. Кое-где он праздновался с подчеркиванием политического момента, кое-где - религиозного, где-то был просто русский праздник - например, в Эстонии одно время почему-то отрицали "День русской культуры" и называли его "День русского просвещения". Большой разницы не было, хотя это воспринималось как местное, удельное, совершенно ненужное подлизывание к эстонцам и к левым кругам. В этом изменении был повинен А.К.Янсон, первый секретарь русского национального меньшинства в Эстонии, который был социалистически настроен. В Риге, например, праздновали "День русской культуры". Кое-где потом пытались заменить Пушкина св. Владимиром, ввести празднование в его день, 15 июля. Св. Владимир сыграл, конечно, большую роль в русской истории, но, наверное, не стоило его трогать, потому что мы праздновали результаты русского просвещения, которые проявились начиная с пушкинских времен. И имя Пушкина во главе Дня русской культуры было совершенно оправдано.

Вернусь к политическому составу колонии. В Праге были оттенки всех партий, какие только можно было найти в русской эмиграции, и все спазмы русской политической жизни за границей находили там отклик. Но какие

группы были связаны с Прагой напрямую? Группа эсеров, причем больше было левых эсеров, не формально левых, но левая часть той группы, которая оказалась за границей: Сухомлин, Лебедев,- все они были настроены левее Авксентьева, Руднева, Керенского. К ним примыкал Слоним. Он тоже "левачил" политически до 1927 г. Они играли большую роль, потому что до 1927 г. жила и действовала зарубежная делегация партии социалистов-революционеров. К тому времени товарищ Сталин сумел расправиться с эсерами внутри России и, видимо, по этим причинам и неизвестно, по каким еще, эта зарубежная делегация постепенно исчезла, хотя меньшевистская делегация действовала еще очень долго, даже после второй мировой войны. Во всяком случае эсеры были в Праге, какое-то время там даже проживал Чернов, селянский министр и незадачливый теоретик эсеровской партии. Но он не был больше кумиром молодежи. Эсеры сходили на нет, но, пока существовали журналы, в частности "Воля России", эсеровский дух еще давал о себе знать.

Из эсеров я должен упомянуть с чувством большой симпатии Сергея Порфирьевича Постникова. Я лично с ним имел самые дружеские отношения. Он сначала писал в "Воле России" - там я с ним и познакомился на литературных чаях - где был правой рукой М.Л.Слонима. Писал даже что-то по эмигрантике, и писал неплохо, защищал интересы молодой эмигрантской прозы. И вообще ценил людей, которые работали, давали продукцию в стихах, рассказах, критических статьях, интересовались этим материалом. Он даже приходил на какие-то мои доклады и подчеркивал, что вот как приятно, перед нами Н.Е.Андреев, который р а б о т а е т над литературой, выступления которого чрезвычайно интересны, потому что он знает, о чем говорит. Он играя немаловажную роль в Русском историческом архиве. Я время от времени туда заходил, и Сергей Порфирьевич всегда с удовольствием выходил в коридор поговорить со мной и всячески меня подбадривал. Его интересовало все: что я занимаюсь археологией, изучаю иконы, он относился ко мне, я бы сказал, как авторитетный дядя. Выглядел он очень по-эсеровски: длинные волосы, седеющая шевелюра, борода и усы. Генерал Чернавин рассказывал, что иногда они продолжали старые споры. Постников сохранил боевой эсеровский дух и считал революцию оправданной, во многом обвиняя монархистов. Была в эмиграции вполне понятная манера оправдывать себя перед историей. Это тенденция, характерная для любой эмиграции и, в частности, для правой русской эмиграции, которая всячески старалась найти оправдание своего несчастья и катастроф. Но эсеры в общем уже замирали. Я задал вопрос Н.И.Новожилову - он был историк, хорошо ко мне относился - "Как же эсеровская партия, которая так героически боролась с императорской Россией, потом получила все мандаты, большинство в Учредительном собрании и проиграла Учредительное собрание, ничего не сумев противопоставить большевикам, и ее кадры бесславно разгромлены"?

Новожилов начинал волноваться, и не он один, Постников также - это у них было больное место, как и у нас, мы-то, молодые, недоумевали, а они страдали оттого, что не выполнили своего исторического призвания.

В Праге, по-моему, почти не были представлены меньшевики. Чем это объясняется, не знаю, возможно, потому что они базировались сначала в Берлине, потом в Париже, а потом в Нью-Йорке, как-то они обошли славянские страны. Так что социалистический сектор здесь кончался бывшими эсерами. Ошибка заграничных политиканов заключалась в том, что они по-прежнему ориентировались на интеллигенцию, ища ее каждый по-своему, каждый в рамках своей идеологии. Одни говорили так: "Ну что же, меньшевики базируются на рабочем классе, но и большевики на нем базировались. Это внутриклассовая борьба, которая едва ли имеет шансы стать ведущей. Можно, конечно, мечтать о восстановлении монархии, но сил, социальных групп, которые являлись бы естественной опорой монархических идей, больше нет". Очень большая и одно время активная группа была "Крестьянская Россия". Я уже упоминал, что она вышла из эсеровской идеологии, но С.С.Маслов, который был когда-то тоже эсером, а потом теоретиком Крестьянской России, Аргунов и другие ее идеологи решили, что нужно быть реалистами. В России, в 20-е и 30-е гг. по-прежнему главным массовым сектором было крестьянство, которое протестовало, восставало, не хотело делаться социалистическим. Тамбовское и все "зеленые" восстания 20-х гг. были крестьянскими, и то, что Сталин провел коллективизацию нажимом и кровью, что миллионы крестьян были сосланы и погибали в неописуемых условиях, это все свидетельствовало, что крестьянство представляет определенную, может быть, инертную, но социальную силу, поэтому обратить на нее внимание необходимо. Среди теоретиков Крестьянской России были бывшие эсеры, как А.А.Аргунов, и экономисты, как Д.Н.Иванцов, сторонник скорее капиталистических теорий, чем социалистических утопий. Среди ее членов были самые неожиданные фигуры, как, например, А.Л.Бем, знаток Достоевского и русской поэтики, руководитель Скита, писавший у них много под псевдонимом Омельянов, кажется, сделанным из фамилии его матери. Характерно, что целый ряд людей из Прибалтики, Польши, Эстонии принимали участие в Крестьянской России. Я знал нескольких - Б.К.Семенова, Ю.В.Назимова. Лидером и, видимо, инициатором этой группы был С.С.Маслов. Я его несколько раз встречал и много раз слушал, он производил впечатление человека волевого и несомненно считал себя вождем. Говорят, он был невероятно резок и неприятен во внутрипартийных делах, во всяком случае я в его адрес особых похвал не слышал. В последней стадии существования Крестьянской России он опирался в аппарате на Б.В.Седокова, бывшего московского присяжного поверенного, человека умного, отличного политического журналиста, но не очень хорошего пророка, как я позднее, вспоминая его статьи, понял. Работал в аппарате и Н.А.Антипов,

симпатичный человек, близкий к Седокову, они даже жили в одной квартире. Антипов имел отношение к языковым курсам Русского народного университета. Его привлек Ляцкий, хотя мне казалось, что Антипов не был историком литературы. Я лично общался с Крестьянской Россией, во-первых, на открытых собраниях, которые обычно были очень интересны - в них принимали участие самые разные люди, в том числе, например, блистал М.М.Ковалев, инженер-экономист и, кажется, хороший промышленник. Долгое время гражданской женой Маслова была симпатичная Татьяна, не помню ее отчества, я ее видел один раз, когда был вызван для переговоров в 1936 г. к нему на квартиру. Жил он не так далеко от нас, в новых домах, я шел по определенному адресу. Когда я позвонил, дверь открыла необычайная красавица русского типа, полная, с богатым телом и замечательным взглядом. Это была та самая Таня. Она с подозрением отнеслась ко мне: "Куда Вы идете, кто Вы, зачем?" Открылась дверь, появился Б.В.Седоков и сказал: "Таня, это по нашему приглашению". Должен сказать, она произвела на меня невероятное впечатление, я очень жалел, что не удалось развить знакомство, оно так и осталось шапочным.

Понятно, почему Маслов дорожил ею много лет, но кончилось дело трагически: он с ней разошелся или, вернее, бросил ее и женился на Татьяне Владимировне, женщине совсем другого типа, от которой у него была дочь и которая, когда пришла советская армия, вела себя очень странно. Сергей Семенович заболел и не мог уйти в подполье, у него оказался тиф, и она так нервничала, что сама позвонила в советскую комендатуру. Оттуда пришел санитарный автомобиль, его увезли, и больше он не вернулся. Наверное, вылечили и взяли в политический розыск - они крайне интересовались Крестьянской Россией. В тот день, когда он меня пригласил, там был Всеволод Саханев, тот самый доцент, который читал доклад об Александре I и Феодоре Кузьмиче и который долгое время состоял при очень слабом ногами, но замечательном духом профессоре Шмурло и всячески ему помогал. Но самого Саханева я не любил - он был неприятный, маленького роста, а хотел, как это иногда бывает, быть большим. Он был очень недоволен моим появлением, но Маслов, наверное, это сделал нарочно, чтобы давить на него, - мол, в случае чего у нас есть историки и помоложе Вас. Но потом он у них часто стал писать такие "взгляд и нечто", политико-исторические эскизы, анализы. Со мной они тоже хотели сотрудничать, на что я ответил, что я занят академически и мог бы помогать только спорадически. Тогда мы и сговорились, что я дам для них статью на День русской культуры. И я дал "Культуру в изгнании" - статья касалась общего положения эмигрантской культуры, в частности, я занимался проблемой Набокова-Сирина. Эта часть, кажется, произвела впечатление на Седокова, который даже сказал: "Выношенные мысли". Статья имела такой успех, что даже была перепечатана в Вильно большой русской газетой, мне прислали номер, но ничего не заплатили, конечно. Крестьянская Россия

имела отделения в Париже и Берлине, но центр ее был в Праге, и даже потом, когда чешская акция перестала помогать отдельным лицам, ее поддерживала аграрная партия Чехословакии. Она была влиятельной организацией, например, через нее можно было получить визы в Чехословакию и другие страны.

С прагой были тесно связаны и евразийцы. Они, как известно, принадлежали к самой высокой русской интеллигенции за границей, и деятельность свою начали сразу, в 1920 г., когда группа будущих евразийцев (тогда еще не было этого названия) оказалась в Болгарии. На эту тему первым написал книгу князь Николай Сергеевич Трубецкой, известный филолог, позднее он был профессором в Вене. Туда входил целый ряд блестящих умов: историк Георгий Владимирович Вернадский, географ-экономист Петр Николаевич Савицкий, юрист и государствовед Николай Николаевич Алексеев, богослов и историк русской церкви о.Георгий Флоровский. Входили туда и историки, например, тогда еще очень молодой Сергей Германович Пушкарев и князь Чхеидзе, татары, калмыки, потому что евразийцы, анализируя, отчего Российская империя оказалась в таком критическом положении и рухнула, приходили к выводу, что беда была в том, что со времен Петра Великого началось раздвоение национального сознания, ибо верхушка была европеизирована, а массы оставались в прежнем положении, и нужно было несколько изменить ход цивилизации в России и принимать во внимание не только европейские образцы, но и азиатские влияния, азиатские корни, которые с ростом Империи, конечно, входили органической частью в государство. Примерно такой была их концепция, а затем шли надстройки в виде философии. Евразийцы были интересным явлением, но у них быстро начался раскол, некоторые ушли, о.Георгий Флоровский даже написал знаменитую статью "Евразийский соблазн". Ушел и С.Г.Пушкарев. При мне в кулуарах Русского исторического общества в ближайший приезд Милюкова он вдруг сказал: "Павел Николаевич, я от евразийцев ушел", на что Павел Николаевич ответил ему, как дедушка говорит внуку: "Молодец, молодец". Я был очень сконфужен этим и долгое время ходил под впечатлением, что Милюков свысока третировал Сергея Германовича. В Праге многие сочувствовали евразийцам, евразийцем был в какой-то период даже Н.П.Толль, сочувствовала им Татьяна Николаевна Родзянко, Марина Цветаева. Ее муж, Сергей Эфрон, был евразийцем, и множество других. Это было свежее и как будто органичное явление, открывавшее какие-то перспективы, неизвестно уж какие, заставлявшее пересматривать с интересом всю русскую историю. Особенно интересны были работы Савицкого и "Начертания русской истории" Г.В.Вернадского. Они вообще много издавали, выходили сборники "30-е годы", "Евразийская хроника" выходила много лет, отдельные брошюры. Савицкий писал чрезвычайно острые вещи, он издал по-чешски работу "Шестая часть земли" (Шестина света), где описывал

достижения, которые были и могли быть у русской промышленности, и одним из первых утверждал, что Россия могла бы быть экономически автономна, независима от притока чужих источников сырья. Он оказался прав, в известном смысле предвосхитив экономическое развитие Советского Союза. Я присутствовал на их бурных дискуссиях 1927-28 гг. и даже писал о них в "Нашу Газету" в Ревеле, описывая, до какой ярости доходили участники, я ничего подобного не видел на политических митингах - Савицкий, например, нападая на общеэмигрантскую концепцию, кричал в адрес своего любимого учителя, П.Б.Струве: "Струве проституирует в своей газетке священное имя Россия!" Зал ревел в ответ. Выступали оппоненты, Кизеветтер и Гессен, и старались сказать, что у евразийцев нет ничего нового, это вариант славянофильства. Я думаю, это было неверное истолкование, в целом это было живое течение. В 30-е гг. они стали издавать большую газету "Евразия", потом раскололись по политической линии: часть стала просталинской, а некоторые даже попали в зависимость от органов советской разведки.

Была еще группа, довольно активно себя державшая, но малочисленная - РДО, Республиканско-демократическое объединение. Центр его был в Париже, во главе стоял Павел Николаевич Милюков. В Праге председателем был, по-моему, доцент русской истории Борис Алексеевич Евреинов, а секретарем и видным деятелем - Дмитрий Иванович Мейснер. Когда-то он был одним из редакторов журнала "Студенческие годы" и занимал место в левом секторе студенчества, в том смысле что отрицал Общевоинский союз и установки Врангеля и Кутепова. Он служил в Русском историческом архиве и был постоянным корреспондентом парижской газеты "Последние новости", что, видимо, было хлебным делом. В РДО состояли и профессор Брунст-отец и профессор Одинец, который потом уехал в Париж. Все они были "республиканцы". Время от времени они устраивали открытые собрания, на которых обычно выпускали П.Н.Милюкова, он с удовольствием делал большие и интересные доклады, часто очень спорные политически, и вызывал бешенство полемических страстей. На эти собрания ходило много народа, не знаю уж, все ли они поддерживали идеи РДО. Главная их идея была в том, что в России неминуема, и уже происходит эволюция, причем они были готовы отнести к эволюции даже некоторые явления сталинщины. Через некоторое время выяснилось, что это было глубочайшее заблуждение. Но они скептически относились к идее революционных действий в России, на которой еще стояли Общевоинский союз и правые секторы эмиграции. Все это обсуждалось горячо, и они производили впечатление. Париж считался с Прагой - здесь было много высококвалифицированных людей, и то, что в Праге это РДО было активно, тоже помогало парижскому центру РДО. Когда появился философско-политический (главным образом) журнал "Новый Град", в котором принимала участие элита интеллигенции начиная со Степуна,

Фондаминского, философов, включая С.И.Гессена из Праги и других авторов, Прага была избрана ареной для многих выступлений как раз новоградцев. Были очень интересные доклады и не менее интересные дискуссии. Это тоже подтверждает мой тезис, что хотя Прага, может быть, политически сама не давала ничего нового, но общеэмигрантские движения, которые зарождались в других центрах, непременно рикошетом задевали Прагу. В прениях однажды выступал даже мой приятель, Юрий Владимирович Горохолинский, который был тогда членом НТС и не без остроумия назвал новоградцев философским Днепростроем. Так как мы все время считали ошибкой социалистическое строительство на Днепре, он хотел сказать, что философские идеи новоградцев, несмотря на их изощренность и высокую культуру, едва ли будут применимы практически.

Любопытно, что двмладоросское движение, довольно сильное в Париже и вообще во Франции, в Бельгии и отчасти в Германии, нашло, по-моему, чрезвычайно малый отклик в Чехословакии. Может быть, лично кто-то ему и сочувствовал, но общее мнение об идеях, связанных с Великим князем Кириллом Владимировичем и тем более с императором Кириллом, было более чем скептическим. Уже в середине 30-х гг., когда появились молодежные организации, возник НТС и вдруг всплыли младороссы. Во главе их стоял Борис Чернавин (однофамилец генерала Чернавина) и однорукий - у него была одна автоматическая рука - казак, полковник Чапчиков. Больше никого не могу вспомнить.

НТС развился из организации в Белграде, там она называлась Национальный союз молодежи, во главе ее стоял герцог Лихтенбергский, потом там очень быстро произошли структурные измения, и председателем стал и долгие годы оставался Виктор Михайлович Байдалаков. НТС строился на идее активности: необходимо передать молодежи идею активной вооруженной борьбы, террористической борьбы, если нужно, с советским режимом. Кажется, у изголовья НТС стояли кое-какие люди из Общевоинского союза, но очень быстро он от Общевоинского союза отмежевался, потому что тяготился подчинением и предпочитал молодежную самоорганизацию. Я довольно хорошо знал многих из НТС в Праге, и по очень забавной причине: Ирина Вергун, которой я симпатизировал, была сестрой главного пражского НТСовца, Кирилла Дмитриевича Вергуна. После 1933 НТС усердно занимался разработкой своей идеологии. Не надо забывать, что это была эпоха, когда призрак фашизма бродил по Европе, и поэтому, конечно, у них было очень много установок: смесь вождизма еще со времен гражданской войны плюс современные вождизмы. Идея, которая их занимала, и факт, который привлек их внимание, - был действительный результат больших перемен в Германии, которой угрожала несомненная опасность стать коммунистической. И вдруг на наших глазах начался крен вправо ввиду появления нацистских, и не только нацистских, но и других национальных групп, откат от идей социал-демократии, которые

господствовали в так называемой "Веймарской Республике", и превращение коммунистически чувствительных рабочих масс в их противоположность: они стали национально чувствительными.

Я довольно много разговаривал и спорил с К.Д.Вергуном, одним из теоретиков этой молодежной организации - мы часто часами прогуливались по пустырям около большого дома, ресторана и кинотеатра "Байкал". Гуляли мы там, чтобы нам не мешали расспросами. В своей семье он сразу превращался в вождя и идеолога с определенными идеями, а здесь мы находились на почве поисков идей. Я решительно возражал против ряда его заявлений и думал, что многое в их поисках слишком отвлеченно, они представляют Россию чистым полем. А мне казалось, нужно сочетать исторические корни России с результатами революции, нужен был синтетический путь, которого я не видел в их так называемых "зеленых романах", в идеологии НТС. Поэтому я говорил, что поиски идеологии своевременны и важны, что их молодость (максимум им было чуть больше 30 лет, многим даже меньше) - положительное явление, но нужно уберечься от кустарного подхода к проблеме: если это мне не нравится, значит, это плохо. Нужно помнить, что в русской истории были не только государственные объединения во имя защиты государства, но и другие типы объединений - республиканские. Ведь существовали севернорусские народоправства. Новой идеологии следует сочетать одно с другим, а не строить все на идеях отталкивания от большевизма. НТС устраивал свои семинары и собрания обычно в помещении около ресторана "Огонек". Была комната для заседаний, они ее получали или даром, или по очень низкой цене от общевоинских организаций. Приходил актив НТС и некоторые интересующиеся, бывало интересно: иногда дискуссии, доклады, но часто это было еще в начальной форме развития, так сказать, 2 x 2=4 - готовили будущих агитаторов, идеологов. И в один прекрасный вечер вдруг нагрянула чехословацкая полиция, арестовала и увезла всех собравшихся в черных "воронах" в центральную полицию. Поднялся страшный шум. Это было неслыханно: Чехословакия разрешала свободу мысли, и это было собрание закрытое - явно здесь была какая-то демонстрация. Знатоки сразу же определили, что это было сделано в угоду советскому посольству, которое косилось на белогвардейские организации, в частности на эту - они кричали, что надо поднять террористическое оружие, и пели хором:

Бьет светлый час
Борьбы за Русь последний,
Мы не одни, восстанет вся страна,
И, отдавая жизни молодые,
Мы знаем: да, победа суждена,
Вперед идет оплот России новой...

Музыку написал один ученый из Берлина, потом он стал пробольшевистки настроенным, а в 30-х гг. еще был НТСовцем. И,

конечно, обещание “восстанет вся страна”, поскольку оно исходило из молодежных уст, несколько пугало советских представителей. Наутро большинство отпустили, а Вергун и кто-то еще из вождей сидели до позднего вечера следующего дня, потом их тоже выпустили, но с предложением покинуть Чехословакию. Семья Вергунов была страшно озабочена, что с ним будет, тем более что он не так давно женился на Вере Барсовой, воспетой когда-то Теннукестом, и у них был уже маленький сын. Это было неприятно, а кроме того, показывало, что мы вступили в новый период, когда чехословацкая полиция ударяет по эмиграции. Это был урок для всей эмиграции, так поняли все русские газеты за границей, и даже Д.И.Мейснер, противник НТС, написал в “Последних Новостях”, показывая две вещи: во-первых, страшное преувеличение слухов об идеологии и преувеличение значения НТС, который по сути был молодежными разговорами, и, во-вторых, он подчеркнул, что это невероятное давление советских дипломатов на правительство, в данном случае чехословацкое. Это получилось в унисон с тем, что делалось в Прибалтике, где несколько раз уже производились аресты, высылки, и члены НТС в Эстонии были высланы на какие-то острова - дикая мера, вызванная давлением советских дипломатических организаций.

НТС формально исчез, но как бы ушел в подполье и стал вести более замкнутую деятельность, прекратив собрания в общественных местах. Они разбились на маленькие группы, ожесточились, конечно, и о них говорили разные глупости: например, в частных разговорах их приравнивали к декабристам. Я просто смеялся: “Право, господа, надо соблюдать пропорции”. Даже их жен называли “женами декабристов”! Подобные сравнения огорчали меня, ибо показывали низкий уровень общественной реакции, элементарно мещанской: конечно, напрасно всуе поминались большие исторические события. К.Д.Вергун спустя некоторое время уехал в Югославию и там получил, кажется, место инженера и полную нагрузку в центральных органах НТС. Через некоторое время он написал мне очень интересное письмо, в котором благодарил за то, что я много спорил с ним на темы, касающиеся идеологии организации. Не то чтобы я повлиял на него своей критикой, он не изменил сути своих тезисов, но моя критика заставила его более внимательно продумать эти тезисы и найти иные аргументы. Так что я невольно оказался шлифовальщиком идей Кирилла Димитриевича Вергуна и его организации. Позднее, при немцах, НТС, по-прежнему нелегальный, был разгромлен в два приема и понес огромные потери личного состава. Вергун был переброшен в Германию и продолжал работать, с одной стороны, как инженер, а с другой, как один из идеологов НТС, организации, которая, между прочим, повлияла даже на идеологию РОА Власова. Он был арестован, как и большинство НТСовского руководства той эпохи, и, вероятно, мог бы даже погибнуть, как некоторые его товарищи, в немецких концлагерях, но в тот момент, к счастью для

многих, Гиммлеру пришлось признать Власова, а Власов сейчас же попросил об освобождении целого ряда этих молодых людей, чтобы они сотрудничали с ним. Их освободили, но рок играл важную роль в эмигрантском существовании: Вергун и еще несколько пражан ехали поездом из Берлина в Прагу, чтобы там отдохнуть от тюремного существования. В Плзене вдруг началась воздушная тревога - американский дневной налет - бомбили железнодорожные пути, и несколько попаданий было в этот поезд. Кирилл Дмитриевич и несколько его коллег были убиты. И мне уже не пришлось увидеться с ним, о чем я жалею - у него был большой опыт общения с советскими людьми, с Власовым и его советскими соратниками, так что я надеялся, поскольку знал, что Вергун внимательно относится к таким явлениям, получить от него информацию, лучшую, чем я имел в Праге. Но судьба решила иначе.

Любопытно отметить в качестве постскриптума, что НТС обычно сулили скорый конец, уверяя, что возник он не по собственной потребности, а под давлением Общевоинского союза и не был оригинален в ряде идей, заимствуя их или у воинских, или у новых национальных и даже фашистских организаций Европы, поэтому он, мол, должен погибнуть - он слишком отрывочен, условен, идеология слишком шатка. Борис Васильевич Седоков в статье в "Знамени России", делая обзор эмигрантских организаций, сулил скорое и абсолютное исчезновение НТС. Но случилось иное. Из всех эмигрантских организаций НТС единственный пережил вторую мировую войну и существует до сих пор. И дело даже не в том, что они были моложе, молодость проходит, они раскалывались, как и другие, но что-то оказалось в них более жизненным, чем у других. Не осталось ничего: ни социал-демократов, ни эсеров, ни действенных монархических организаций, ни воинских, ни младороссов, ни кресторосов, ни любого другого пореволюционного течения - ничего. Осталась одна эта группа, которая продолжает выпускать литературу и продолжает существовать, называясь Народно-Трудовой Союз. Не хочу приписывать эту живучесть их идеям, которые во многих отношениях для меня сомнительны, но вот, бывают парадоксы истории. Так же мы смотрели на коммунизм, который, по-нашему, не мог быть живучим, а коммунизм захватил полмира. Стремится к экспансии все больше и больше, хотя мало что осталось от первоначального марксистского заряда. Можно ли себе представить, что какие-то африканские народы всерьез считают себя марксистскими государствами или что Китай действительно марксистское государство - это, конечно, блеф! Но такие блефы существуют в истории. Говоря о живучести НТС, я не хочу его критиковать, я очень уважаю личный состав этой организации, они всегда были бессребрениками, идеалистами, верили в собственные идеи изо всех сил - возможно, потому, что пережили огромные изменения политической температуры на земном шаре. Во всяком случае, искренно сам с собой рассуждая вслух, я хотел бы это зафиксировать в виде

мимолетной оценки этого движения моих современников. Большинство из них были моего возраста, моего поколения, их заблуждения были заблуждениями моего поколения.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭКСПЕДИЦИЯ В ПЕЧОРЫ В 1937 ГОДУ.

Вернусь к моей личной деятельности. После того, как я стал доктором философии и полным, ученым членом Института Кондакова - первая должность, которую я занимал официально, кроме, естественно, моей исследовательской деятельности, была должность библиотекаря. Благодаря ей я вошел в мир многих периодических изданий, которые раньше не знал досконально. Западно-европейская византология и археологические издания, которые прежде как-то не привлекали моего внимания, теперь расширили диапазон моих знаний. В то же время я был введен в состав ревизионной комиссии Института Кондакова. Другим ее членом был избран генерал Чернавин. Сочетание было такое: Чернавин совершенно не заинтересован в Институте Кондакова, не оплачивался вообще, не имел к нам прямого отношения, и, кроме того, славился замечательной честностью. Меня включили туда, потому что я был из молодых, и почему-то звание Ревизионной комиссии меня стало преследовать - меня избрали еще в ревизионную комиссию Русского исторического общества. Я был избран в действительные его члены, потом в члены новой организации при Русском народном, а потом свободном университете, - "Русское научно-исследовательское объединение". Я как раз готовил работу, чтобы там напечатать, и не успел закончить ее до начала событий, когда всякое печатание прекратилось. После того, как моя кандидатура пала благодаря советскому давлению на воображение МИД Чехословакии, я со всей серьезностью должен был обратить внимание на создание себе исследовательского имени. Я пытался это сделать в меру моих возможностей - опубликовал две большие работы, большие даже не в смысле количества страниц, но в смысле емкости материала. Во-первых, я написал работу "Митрополит Макарий как деятель религиозного искусства"(Семинариум Кондаковианум, 7, 1935). Я подошел к этой теме в связи с тем, что натолкнулся на не вполне выясненное поведение Макария во время суда над Висковатым. Мне казалось существенным пересмотреть его поведение. Работа меня очень заинтересовала, и я даже хотел гораздо больше написать о митрополите Макарии и как бы переоценить его роль, потому что я был убежден не только тогда, но и позднее, что он играл важнейшую роль в царствование Ивана IV, и именно потому, что плохо принимают во внимание влияние митрополита Макария на царя, многие явления не укладываются в существующие схемы. Впервые я осознал результаты большого движения, которое шло в России после того, как включались в

Московские пределы другие русские области, Новгородская или Псковская,- получалось не только перемещение людей, но даже такая сфера, как церковное строительство, испытывала давление со стороны москвичей. Этот процесс, который ранее совершенно не учитывался, я старался понять, опираясь на некоторые советские работы. Не все труды о митрополите Макарии дореволюционного периода оказались мне доступны, но я многому научился в ходе работы над этой статьей. И следующая моя статья, "Инок Зиновий Отенский об иконопочитании и иконописании" (Семинариум Кондаковианум, 8, 1936) тоже произвела впечатление на многих, в том числе на Андрея Николаевича Грабаря, который очень похвально отозвался в письме к Толлю о моем теоретическом знании споров по поводу иконопочитания.

Опять-таки интересно, что целый ряд вещей я как бы наметил, но не имел потом возможности развить. Эти работы привели меня к пересмотру описания тех икон, которые Кондаков в своем классическом труде "Русская икона" определил как мистико-дидактическое направление. Мне казалось необходимым тщательно пересмотреть проблему, в которой наслоилось немало недоразумений. Что такое мистико-дидактические сюжеты, откуда они возникли? Позднее в своей работе "Литература и иконопись: к истории идей в Московской Руси" в сборнике, посвященном 70-летию Романа Осиповича Якобсона (Гаага, 1967), я показал, что в религиозной живописи сначала всегда возникает текст, а сама живопись всегда вторична. Если она отходит от этого, то превращается в живопись, чего совсем не хотели понимать многие историки искусства.

Но до сих пор мне не удалось пересмотреть этот вопрос, хотя даже советские ученые, в лице академика Лазарева, который бывал у нас в Англии, интересовались этой темой, и мы вели переговоры, нельзя ли на эту тему написать в советских изданиях, поскольку она внутрирусская и помогает понять процессы развития русских идей в XVI веке. Не то, что мы хотим, чтобы все непременно думали мистически, но я считал, что кто-то действительно так думал, это был этап для какой-то группы людей, и мы должны принять это во внимание как этап развития русской иконописи. Тут было много разных затруднений, в том числе отсутствие иконописных памятников - не все же воспроизведено. Потом, когда советчики стали издавать, они направляли свои издания икон на совершенно посторонние цели. Никогда не было погружения в материал икон как таковых, за исключением работ Лазарева, все остальные советские работы сильно хромают в этом отношении, хотя и опираются на великолепный материал. Я до сих пор оставляю за собой это открытие, а если мне не удастся, то, может быть, кто-нибудь когда-нибудь сделает эту работу и попробует показать глубину развития идей в XVI веке. Работая над этими проблемами, я увидел, сколько не знают многие мои предшественники и сколько не знаю я сам. Я до сих пор смотрю с большим подозрением на многие работы,

которые появились тогда на чешском и даже на русском языках. Иосиф Иосифович Мысливец был доктором-юристом, служил в Министерстве юстиции, но очень интересовался иконами -он был ультракатолик и работал у Окунева, его единственный чешский ученик. Окунев охотно ему помогал, потому что он был очень трудоспособен, настойчив и упорен. Он был очень нужен нам, потому что был единственным чехом, который занимался русской иконописью, и уже по одному этому с ним нужно было считаться. Чехи, которые занимались русским искусством до него, были совершенные ничтожества, там не было ничего научного. Современные историки византийского и христианского искусства в Чехии, профессор Цыбулько, например, никакого понятия не имели о русской иконописи. Позиция Мысливеца в этом плане была беспроигрышной: он действительно хорошо помнил памятники, старался связать отдельные группы этих памятников - в этом отношении он был хорош. Но теоретически он был очень слаб и настолько надменно самоограничен, настолько не знал, не понимал и не хотел понимать установок целого ряда авторов, что я лично в нем сильно сомневался. Я никогда этого не высказывал и даже великодушно всегда и всюду его цитировал, потому что после, в советский период в Чехословакии, он попал в тюрьму, так что я считал своим долгом всюду его упоминать, почти никогда его не анализируя критически. Но если б я начал это делать, то получилась бы плохая картина: он совершенно не понимал мистико-дидактических икон, потому что сводил их просто к изображению разных, существовавших уже в византийской иконописи и потом появившихся на Руси сложных композиций. Сложная композиция не есть мистико-дидактическая композиция, это надо различать. Мистико-дидактические композиции возникли не как следствие развития византийской традиции - она не знала этой письменной идеологии. Они возникли в результате теоретических рассуждений русских книжников в XV веке, которые дали результат в XVI столетии. Этого совершенно не понимал Мысливец, и я не собирался его просвещать, я его терпел как меньшее из зол, но считал весьма второстепенным автором, выезжавшим на том, что он был чех, писавший о русской православной иконописи.

В 1935 появился гость - иконописец Пимен Максимович Софронов. Я сейчас боюсь наврать, потому что никаких источников у меня перед собой нет, каким образом он попал к нам, его позвало правление, он был чуть ли не в Берлине, вел иконописные курсы и у нас тоже стал вести курсы. Пимен Максимович был беспоповец, старообрядец, из Посада Черного, где я был в 1937 г. уже после моего с ним знакомства. Он был тогда лет 30, одевался очень по-русски - поддевки, расписные рубашки-косоворотки. И был ультрарусский человек очень чистой души. На его курсы я ходить не стал, я был на его первых докладах, выяснил его теоретические точки зрения, как он делает иконы - он происходил из старообрядческой иконописной мастерской Фролова, знаменитого провинциального мастера, богомаза, я

бы сказал, потому что они работали не столь уж утонченно. Пимен Максимович кое-что почитал, пописал и старался работать в духе старой традиции, как он говорил, настоящей - то есть дониконовской иконописи. То, что он написал, и то, что он показывал на фотографиях, было интересно, но это было ремесленное исполнение, художественности было мало. Он разработал хорошую ремесленную манеру, но стал ли он от этого художником, вопрос для меня лично даже не спорный: конечно, не стал. Хотя это был великолепный мастер-ремесленник старообрядческой традиции XIX века, это он сохранил. В этой манере он работал потом в Югославии, и в Италии, и в США. Когда он приехал к нам, его взяла под покровительство княгиня, которая организовала эти курсы в рамках Института. Туда приходили самые разные люди, например, князь Карл Шварценберг сделался иконописцем, жена профессора Ильина, Нина Ивановна, мать Мстислава Вячеславовича Шахматова, племянника знаменитого академика Шахматова, стали ходить туда и тоже рисовали иконы. В общем с бору по сосенке, как говорится. Я пришел послушать, как он говорит об очищении доски и о том, как накладывать левкас на доску - все это были общие места, единственное новое для меня было то, что краски для икон, так называемые яичные краски, могут делаться и на свежих и на испорченных яйцах. Он демонстрировал и то и другое, и после "закваски" на испорченных яйцах некоторое время нельзя было вообще входить в эту часть Института - такой стоял запах. Я лично тут же ушел, потому что боялся, что меня стошнит!

Он появлялся у нас очень усердно и имел свой отклик, хотя Н.П.Толль относился к нему очень сдержанно, судя по всему, ибо когда он относился отрицательно, то обычно помалкивал, не старался высказаться, но во всей его манере чувствовалось, что ему неинтересно. Он, вероятно, так же, как и я, сразу увидел, что ничего оригинального там нет, просто хороший ремесленник, а хороших ремесленников много, и мы не собирались разводить практическое иконописание. Может быть, об этом думала княгиня, но не члены Института - мы занимались историей иконописания, но отнюдь не практическим воспроизведением икон. Курсы Сафронова стимулировали мое желание заняться Аввакумом. Я выделил тему "Аввакум и иконописание". Этот материал позднее был использован в моей статье "Никон и Аввакум об иконописании". Я изложил его в форме доклада, покуда был в Институте Софронов, и чрезвычайно его поразил, потому что из доклада вытекало, что Никон и Аввакум смотрели на икону и на иконописание одинаково. Я показал на текстах Аввакума и Никона, что оба придерживались традиций так называемого византийского иконописания, оба отрицали натурализм и склонность к так называемому реализму, который шел с Запада и проникал в русские иконы. Они, если можно употребить такой термин, иконные консерваторы. Хотя Аввакум все время нападает на Никона и делает вид, совершенно неосновательно,

что Никон придерживается новшеств в иконописи, этого нет. Новшества проходили иным путем, и сам патриарх Никон за них не стоял, в этом смысле они с Аввакумом составляли, в сущности, единый фронт, несмотря на выступления Аввакума против Никона. После ряда вопросов Софронов в конце концов поверил в объективность моего исследования. По-видимому, это обстоятельство сыграло для него важную роль, потому что позднее он смог легко сотрудничать и с патриархом Сербским, и с папой Римским, и с рядом православных архиепископов Северной Америки, и, конечно, со своими разных толков старообрядцами. Пимен Максимович понял, что в основе иконописных проблем все эти группы, церковные или околоцерковные, были едины. Все это заставляло меня думать, откуда же идут западные влияния в русском иконописании? Где реальные источники западных новшеств?

Весь материал, мной просмотренный, показывал, что есть большая разница между теорией образованных кругов и практикой иконописцев. Значит, иконописцы испытывали западное влияние, возможно, даже незаметно для самих себя, но где? Я считал, что это влияние происходило явочным порядком и формировалось на Псковщине. Желательно было проверить эту гипотезу. По моим предварительным анализам таким местом должен был быть Псков и Псковщина в широком смысле слова. Но как проверишь - Псков и Псковщина мне недоступны. Невольно я обратил внимание на единственный памятник по эту сторону границ с Советским Союзом, - Псково-Печорский монастырь, находившийся в Эстонии. Я принялся читать работы на эту тему, и стала вырисовываться определенная картина: действительно, в Псково-Печорском монастыре должен находиться ряд композиций, на которых заметны западные воздействия. Я доложил свои предварительные соображения в Институте, и они вызвали одобрение всего ученого актива, включая Острогорского, который в это время был там. Само собой разумеется, никто из историков не занимался такой постановкой проблемы - проникновением в иконопись этого района западноевропейских элементов. Но работы, которые я прочитал, в особенности работа профессора Юрьевского университета Евгения Васильевича Петухова о Псково-Печорском монастыре, опубликованная в "Трудах X Археологического съезда"(1899), давала к тому основания, там сообщалось, что были дискуссии между протестантами и православными на территориях, близких к Псково-Печорскому монастырю. Значит, были контакты с западными людьми и монастырь был как будто более открытой точкой для общения с Западом, чем другие районы. Естественно, казалось, что там должны быть композиции, имеющие западноевропейские элементы. И получалось вполне логично, что псковские мастера, как раз в конце 1540-х гг. принесли эти западные новшества уже в Кремль, что видно из дела дьяка Висковатого. Такая концепция складывалась из освоения литературы. В этот момент появился новый фактор, который дал возможность из теоретических рассуждений

на эту тему перенестись на реальную почву. В Прагу вдруг прилетел знаменитый американский летчик, герой, впервые пересекший в самолете Атлантический океан, Чарльз Линдберг. Он посещал перед этим Германию, потом Советский Союз, а на обратном пути остановился в Праге, и на ужин в его честь в американское посольство была приглашена княгиня Яшвиль. Наталья Григорьевна хорошо говорила по-английски, и весь дипкорпус был с ней более или менее в дружбе. Линдберг сказал, что страшно подавлен всем виденным в Советском Союзе, огорчен и разочарован, и в этот момент княгиня сказала: "Не хотите ли посетить наш Институт, который тоже занимается Россией, но древними периодами России? Вы увидите издания на эти темы, тоже русские, но иного характера, чем Вы видели в Советском Союзе - заезжайте!" И он заехал. Институт, как обычно на всех, произвел благоприятное впечатление, издания его восхитили, и он что-то купил, а главное, сказал княгине: "Знаете, я чувствую, что я правильно поступил бы, попросив Вас взять немного денег для ваших молодых ученых, которым, наверное, надо ездить в разные страны и все осматривать. Это был бы фонд для их путешествий". И дал 200 долларов. Их появление произвело сильное впечатление на всех нас. Мне из них выделили 50 долларов, на которые я дважды съездил в Псково-Печорский монастырь и прилегающие районы. В 1937 решено было, что я поеду осматривать монастырь в натуральную величину. Хотя я там бывал и раньше, в юности, даже несколько раз, но тогда я, конечно, подходил к нему с завязанными глазами, как турист, а вовсе не как исследователь.

Со мной захотела поехать Ирина Николаевна Окунева, которая в то время окончила гимназию и была студенткой, занимаясь историей искусства в Карловом университете. Она тоже занималась иконописью, и ей удалось получить маленькую сумму, она ехала посмотреть чудеса русской кондовой старины, которая еще была в русских пограничных районах Эстонии. Поехал и мой приятель, Франц Иванович Дедич, чех, вовсе не археолог, но отличный фотограф. Он просто решил поехать в отпуск и заехать на 2-3 недели в Эстонию, делая притом снимки, если мне понадобится. Поездка была намечена, и я вступил в переписку. Оказалось, что в Эстонию едет довольно много людей со всех сторон, в том числе из Базеля профессор Елизавета Эдуардовна Малер, чтобы записать русские народные песни Псковского края, едет Леонид Федорович Зуров, писатель и археолог-любитель, который был в это время во Франции. Л.Ф.Зуров жил некоторое время в Риге, там начал писать и писал хорошие рассказы и повести, написал и великолепную книжечку "Отчина" о Псково-Печорском монастыре, который посетил в 1928. Затем он в 1935 и в 1936 был в Эстонии и в Псково-Печорском монастыре, где нашел старинные иконы с изображением подробностей монастыря и благодаря этому смог произвести некоторые реставрационные работы, в частности реставрировал Никольскую церковь при входе в монастырь. Это создало ему славу в

Прибалтике, и теперь, в 1937, он возвращался не столько для работ в монастыре, сколько для своих археологических изысканий, финансируемых французами, в частности Музеем Человека в Париже. Получалось интересное скопление интеллектуальных сил.

ПЕЧОРЫ

И действительно, поездка 1937 года состоялась. Протекала она чрезвычайно интересно и для меня была полна всевозможных поучительных и даже весьма драматических обстоятельств. Я поехал в Таллин, во-первых, навестить родителей, а во-вторых, мне нужно было произвести целый ряд административных и бюрократических шагов перед эстонскими властями: получить разные разрешения, которые я теоретически имел, но нужно было все их подтвердить. Я получил, через отца Николая Пятса, от митрополита Эстонского Александра благословение на работу в Псково-Печорском монастыре. Я пошел в министерство Народного просвещения, где магистр Лайд, начальник археологической секции, мгновенно дал все бумажки. Это был очень любезный, очень доброжелательный человек, окончивший университет в Юрьеве, отлично владевший русским и немецким языками и очень заинтересовавшийся моими работами. Он был немного озадачен деятельностью Зурова, которого считал не высококвалифицированным археологом, а человеком с большой фантазией. Он мне сказал, что Зуров находит на каждом шагу следы каких-то доисторических поселений. Это кажется эстонским историкам совершенной дичью, и они относятся к нему весьма сдержанно. Но мне он оказал мне полное доверие.

Очень забавная история произошла в Министерстве иностранных дел. Молодой чиновник, который меня принимал, не очень хорошо говорил по-немецки и не говорил по-русски, тогда я заговорил по-эстонски, я по-эстонски уже много лет не говорил, но привел его в восторг, он наивно решил, что я специально изучал язык, чтобы приехать в Эстонию, и сейчас же дал мне бесплатный билет на все железные дороги Эстонии и бумажку, что Министерство иностранных дел поддерживает мои исследовательские акции. Со всеми этими бумагами я отправился в Эстонскую политическую полицию, к начальнику, некоему господину Сеппу. Секретаршей у него была все та же дама, которая меня знала еще с золотого гимназического времени, она мило меня приветствовала и сказала, что Сепп хотел бы меня видеть. Он меня сразу принял, это был вежливый, очень интеллигентного вида человек, который пустился со мной в разговоры: зачем мне надо ехать в этот район? У него в столе оказалась ученая картотека по Петсеримаа, т. е. по району Печор и Наровы, и он был в курсе всего, что было напечатано и написано об этом до революции, при Советах или за границей, после русской революции.

Он подверг меня экзамену - что я думаю об этих работах. Я был удивлен,

но экзамен выдержал, и он увидел, что я не еду в Прибалтийский край, смежный с Советским Союзом район, чтобы, прикрываясь званием историка, заниматься там пропагандой - перебрасывать нелегальную литературу в Советский Союз, чего эстонцы всегда побаивались - не потому что желали процветания Советского Союза, но потому что они боялись, что советчики будут на них набрасываться, что они не контролируют въезжающих. В конце концов, Сепп остался доволен и сказал, что интересуется моими исследованиями, и дал мне разрешение на въезд в Печорский край и пограничную полосу. Он добавил, что предупредит полицию, чтобы у меня не было затруднений, а если они все-таки будут, чтобы я звонил ему. Это было очень удачно. Отец Николай Пятс сказал, что было бы желательно встретиться с новым архиепископом Николаем, эстонцем, который сменил епископа Иоанна в качестве настоятеля Псково-Печорского монастыря, и что я могу встретить его в Нарве, куда он поехал на праздник - устраивались выступления церковных хоров. Я решил поехать туда.

Я провел в Нарве три незабываемых дня на действительно грандиозном русском певческом празднике. Все основное население Эстонии откликнулось присылкой хористов в национальных костюмах, были разучены общие хоровые песни, были местные выступления и национальные танцоры, блестящие концерты оркестров струнной музыки, например, прибывшего из Финляндии замечательного оркестра Варежникова. Приехало много гостей, важные эстонцы - министры, некоторые депутаты парламента, национальный секретарь русского меньшинства в Эстонии С.М.Шиллинг, архиепископ Николай. Получилось огромное скопление интересных фигур, и я был поражен силой русского национального чувства. Деревня тряхнула стариной: оказалось, что в дедовских сундуках лежат изумительные костюмы, расшитые, великолепные по краскам, с особыми местными узорами, вышивкой, украшениями повойников и кокошников. Это была живая этнография. Я очень жалел, что Дедич не попал туда. Он был бы очень доволен, потому что дух и настроение того, что было в Нарве, совершенно соответствовали духу сокольских празднеств в Праге, которые тоже подчеркивали национальное начало. Это было противостояние славянских элементов немецким или пронемецким и антинационально славянским, т.е. коммунистическим. Я как будто выполнил свою миссию, но выяснилось, что архиепископ Николай еще не управляет монастырем, а наоборот, после праздника едет отдыхать на свой хутор. Он отнесся ко мне благожелательно, сказал: "Вам там все устроят, раз митрополит дал благословение и министерство тоже согласно". И добавил, что в этом году он едва ли будет там, покуда я буду, потому что он только назначен и еще не вошел в обязанности, а войдет только осенью. Я установил много интересных контактов, сидел на певческом празднике под сводами Ивангородской крепости. На следующий день утром было шествие всех русских организаций, собравшихся на рыночной площади, - мощная

демонстрация, с пением русских народных песен, и все передавалось по радио. Снимали кино, приехал и Володя Бартельс, с которым мы когда-то ездили в Эстонию. Его киногрузовик пятился, и он старался снять главные моменты шествия. Вечером был бал, чуть ли не в зале ратуши. Я ничего подобного никогда не видел, было очень весело, но танцующих было столько, что буквально нельзя было пошевелиться. Я сам танцевал с какими-то очаровательными нарвитянками, и мы не двигались, настолько было много народа. Но все были очень хорошо настроены, во всех ресторанах были заняты места и шло непрерывное веселье, кутеж, русская Нарва веселилась на сто процентов. Даже как-то вдруг перестало чувствоваться, что это Эстония. Всюду говорили по-русски, всюду слышались русские песни, многочисленные речи представителей эстонского парламента - русских депутатов, представителей других меньшинств, какого-то министра, - все эти речи тоже были сказаны по-русски, и очень, как мне показалось, правильно, там не было никаких преувеличений, не было сорви-голова национальных чувств и выходок против эстонского большинства. С другой стороны, это была несомненно русская волна, которая как бы качнула все русское меньшинство в Эстонии и показала им, что они представляют собой большую и важную силу в эстонском государстве.

Еще до отъезда в Нарву, во время моих хождений по ревельским учреждениям я познакомился с Л.Ф.Зуровым, который произвел на меня большое впечатление. Я описал его главным образом уже после его смерти, в некрологах, которые были опубликованы в парижской “Русской Мысли” <7. X. 1971> и нью-йоркском “Новом Русском Слове” <10. X. 1971>. Затем написал в “Новом Журнале <N 105> статью “”Отчина” и ее автор” и некролог. Перед этим в “Гранях” <1957 (33)> в статье по поводу книги Г.П.Струве я касался творчества Л.Ф.Зурова. Литературно я хорошо его себе представлял, но это было первое личное общение. Я увидел, что он человек непростой, он держался подчеркнуто самоуверенно, но за этим чувствовалось сильное психологическое беспокойство. Позднее мне стало ясно, что в основе беспокойства лежали лирические переживания Леонида Федоровича по отношению к очаровательной художнице Кире Иртель. Кира была замужем за одним из братьев Иртелей. Это были бароны Иртели, старший из братьев, Павел Михайлович, в это время был уже единоличным редактором “Нови”, превратившейся из молодежного издания, каким была при мне, в хороший литературный журнал. По-видимому, эта история, о которой я тогда не подозревал, а позднее знал точно, очень беспокоила Зурова, с другой стороны, ему явно было неприятно, что магистр Лайд с ним вежлив, но не хочет, чтобы Зуров занимался раскопками, и, кажется, пустил его в эти районы только при условии, что никаких самочинных раскопок древних или недревних культур не будет, а если он что-то подозревает, то должен дать знать Лайду, и тот передаст это в археологический кабинет Юрьевского университета для проверки,

что его тоже раздражало. В-третьих, его беспокоил приезд разных лиц. Было ясно, что профессор Малер ему не конкурентка по песням, но появление мое и таинственной Ирины Николаевны Окуневой его нервировало, мы как будто соперничали с ним самим фактом нашего интереса к монастырю и к фольклору. Так что он держался самоуверенно и беспрерывно, даже сверх всякой меры поминал всуе имя И.А.Бунина. Как я позднее установил, это был бессознательный психологический блеф: Бунин высоко котировался среди русских и Зуров как бы подчеркивал свою необычайную близость с ним и необычайное внимание Ивана Алексеевича к его эстонским работам что, видимо, было далеко от реальности. Еще он без конца поминал Музей Человека в Париже и Министерство народного просвещения Французской республики, которое, кажется, дало ему какое-то количество франков на эту поездку и тем самым как бы имело контроль над ним. Это он несколько раз подчеркнул, довольно неудачно и назойливо. Иртели его сильно поддерживали, в прессе появились заметки о Леониде Федоровиче, ссылки на его замечательную реставрацию Никольской церкви в Псково-Печорском монастыре и заявления, что он стимулировал приезд в Эстонию целого ряда историков, интересующихся Эстонией и Псково-Печорским монастырем, получалось, что Л.Ф. как бы стоит во главе всего этого. Я лично это сразу отметил и насторожился. Я появился, наконец, в Печорах и узнал целый ряд подробностей. Ирина Николаевна Окунева уже устроилась у Гроздовых - по адресу, который я ей дал, держалась очень странно и болтала много лишнего. Сам доктор Гроздов был уже не очень здоров и мало вмешивался, а у Марии Михайловны был большой и очень хороший, благоустроенный дом по печорским масштабам. Она чудно кормила. Она сдавала комнаты таким, как я, с питанием, если мы хотели, и это было превосходно, но в 1937 г. я у них не останавливался, а снимал другую комнату, на Задней улице: чудная была комнатка у одной вдовы. Моя комната с верандой выходила в дивный фруктовый сад, полудикий, за этим садом шел спуск, дорога к святому ключу с исключительно чистой водой. В Печорах был водопровод, но для чая брали непременно эту ключевую воду, так что туда ходили каждое утро хозяйки, молодицы и девушки с коромыслом, черпали ключевой воды:

“За холодной, ключевой,
По улице мостовой,
Шла девица за водой,
За холодной ключевой...”

Это была буквальная иллюстрация этой песни. Я помню, как проснулся там первый раз: Господи! чудная, дивная погода, июнь, солнце, тепло и замечательные голоса, звенят голоса по-русски - это псковитянки

разговаривают между собой в полный голос, и дивная мелодия русской речи. Я был просто восхищен: такая красота, такая поэзия! С особенной силой я ощутил прелесть русского языка: я не мог разобрать все, что они говорили, но мелодия их разговора звучала удивительно.

Я отправился в монастырь к игумену. Мне сказали, что его можно найти рано утром около кельи. Я появился рано утром, и тут разыгралась интересная символическая картина. Игуменом Печорского монастыря был в то время иеромонах Агафон. Говорят, он был латышского происхождения - возможно, но он был русифицирован, имел представительную, тучную фигуру, лицо, слишком мясистое для монаха, слишком чувственное, и нос подозрительных оттенков, как будто он пил. Злые языки в Печорах уверяли, что он пил, и систематически, но я этого не знаю. Он выпивал иногда, я присутствовал при обедах с ним позднее. Агафон управлял монастырем, который являлся объектом все увеличивавшихся туристов, и мне рассказывали, что его даже сняли какие-то британские журналисты и напечатали цветную фотографию в лондонском журнале с подписью: "Тип русского аскета", что было ужасно. Он был раздражен против приезжих и вообще считал несчастьем, что в монастырь все больше и больше шатаются не только туристы, но и какие-то ученые, которые "чаво-то хотят там делать". Одним словом, я пришел, принес ему благословение митрополита, разрешение от полиции, от Министерства народного просвещения, рекомендацию от эстонского Министерства иностранных дел и свою буйную голову. Я постучал, служка вышел, сказал: "Обождите, пожалуйста", показал мне, чтобы я подождал у маленького крылечка, потом открылась дверь, появился Агафон. Я подошел под благословение, он что-то помахал рукой, и я ему доложил, в чем дело. Пока я докладывал, я заметил - а это происходило в том внутреннем дворе монастыря, где были кельи монахов - что у всех почти келий, стоят монахи и прислушиваются, что скажет отец игумен. Отец игумен посмотрел и сказал: "Так что вот, пустить Вас никуда не могу, потому как это имущество церковное, а у Вас цели светские. Можете гулять по монастырю, как все другие, снимать, что хотите, но чтобы специально пускать Вас - не могу!" Я стал возражать: "Послушайте, мы же не туристы, мы научные работники, мы хотим исследовать старину всерьез, а не делать картинки для журналов". Но Агафон вошел в раж, и контрречь его была такая: "Приежжали такие из Парижа, а потом пять вешшей пропало"! То есть, мне нельзя доверять. И добавил: "Бумажки Ваши никуда не годятся, а хозяин тут я. Я игумен обители, мне все равно, что они пишут из Ревеля! Если хотите, приходите с полицией, но мы закроем двери и будем обороняться" - и все в таком духе. Я стоял совершенно обалдевший, говорил: "Отец игумен...", но отец игумен махнул рукой и ушел. Служка закрыл за ним дверь, и я остался как дурак: как бы в Каноссу приехал к папе немецкий император - стою в посрамленном виде со всеми своими бумажками около крыльца. Насильно

мил не будешь, я вышел оттуда и стал обдумывать, что делать. В этот момент как раз приехал Зуров и тут же предложил конструктивное решение: пойти вместе с ним и с Кирой Иртель по Печорскому уезду, он покажет несколько церквей, интересные деревни старинного происхождения, и в конце концов мы выйдем на Псковское озеро, к месту, где, как он полагал, было Ледовое побоище. План этот был мне очень на руку, он мне давал время. Я хотел предпринять какие-то шаги по смягчению Агафона, с одной стороны, а с другой стороны, у меня было время скрыться с горизонта на несколько дней, и это было полезно, я не сидел обиженный в своей квартире, а просто ушел смотреть другие объекты, что было удачно.

Мы быстро сговорились, как это организовать, я тем временем написал письмо Агафону, где изложил, почему мы приехали, что мы хотим видеть, что нам нужно, перечислил всех, кто уже разрешил мне работать в монастыре. Я ничего не писал о том, что он отказал мне, но просил обдумать, в какое время и в какой форме можно было бы эту работу произвести, чтобы это было приемлемо для обеих сторон. Я позвонил также магистру Лайду в Таллин, и он мне посоветовал устроить это как-нибудь полюбовно, потому что, как он сказал: "Если я вмешаюсь, то пресса сейчас же начнет вопить о том, что эстонские власти давят на монастырь, на православную церковь, получится скандал, и Агафон заупрямится еще сильнее". Лайд рекомендовал найти подход к Агафону не прямо, а как-нибудь сбоку. Это тоже требовало времени. Я поговорил на эту тему с Назимовыми и Гроздовыми, Юрий Владимирович Назимов был зять Гроздовых, был женат на старшей дочери, Марье Михайловне - Марусе - Гроздовой. Они тоже сказали, что надо подумать, через кого действовать.

Путешествие было чрезвычайно интересное, я воздал полностью Л.Ф.Зурову за его два таланта. Во-первых, он изумительно разговаривал с крестьянами. А это особое искусство: нельзя обращаться к ним на высокоинтеллигентном языке - они тогда вас плохо понимают и не доверяют. Во-вторых, он очень хорошо знал край, и действительно знал то, чего мы себе не представляли: какие церкви древние, в каких деревнях есть люди, которые что-то понимают в старине, где есть частные собрания. Для ориентации это было очень полезно. Его опыт был ограничен, он был все-таки любитель, у него не было методологии, но все, что он нам сообщал, было ценно и увлекательно. Мы покрыли много десятков верст, проходя всюду пешком, редко на поезде, разве только до Изборска или на обратном пути. Ночевали каждый раз на сеновалах, кормились у крестьян, платя им. Они очень хорошо нас принимали, меня всегда поражало желание оказать гостеприимство: они вовсе не стремились только продать яички - возьмите и уходите - а если вы просите, они норовят вас угостить. Тогда чистое полотно, или простыня, или чистейшее полотняное полотенце стелится на стол, и вам подают необычайную глазунью, яичницу в 12 яиц на четверых, и ставят квас, зажаривают кусок свинины, хлеб обычно очень хороший,

собственной выпечки, ржаной, который мне очень нравился, масло замечательное. Молока было мало, но можно было получить и молоко, а квас всюду был. Всем нам это очень нравилось, Дедич тоже шел с нами. У Леонида Федоровича всюду были друзья-приятели, что облегчало дело. Говорил он на местном языке, очень картинно, на него сразу все реагировали и, видно, уважали. Он смягчился, увидев, что я вовсе не имею никаких начальнических замашек, не стремлюсь руководить и в хождении по уездам, в ознакомлении с фольклорными чудесами Печорского края полностью принимаю точку зрения Леонида Федоровича. Но когда он позднее попытался мне объявить, что я должен делать в Псково-Печорском монастыре, я, выслушав его, сказал: "Знаете, Леонид Федорович, лучше нам размежеваться - я ищу в монастыре, не то, что Вы хотите. Здесь у меня нагрузка идет уже от Института, так что оставим эту работу на мою ответственность". Зуров был человек умный и понял, что я имел в виду, и нужно признать, что он никогда не вмешивался в мои действия, поэтому у нас была хорошая деловая дружба. Его исторические мысли и высказывания в некоторых его произведениях были очень неточны. Я уж нарочно, когда писал некролог, обошел молчанием эти ошибки. Он спутал, например, эпохи Ивана III и Ивана IV. Но это никогда не было предметом наших расхождений.

Прогулка по Печорскому краю для меня была крайне важна: во-первых, я действительно ощутил этот край уже иначе, не как турист, не как эстет, приезжавший сюда в прежние годы, но как исследователь. Кое-что мне было просто необходимо понять, в частности, очень интересна была психология крестьянства, которая, вероятно, мало поменялась за многие столетия с XVI века. Меня поразила, например, реакция на два внешних явления. То, что у меня не было бороды и усов, лишал меня в глазах крестьянства авторитетности в отношении религиозного искусства и, в частности, икон. Потому что и священники, и староверы, связанные с иконописью, все были бородатые, и все русские угодники были бородатые, за исключением скопцов. Тут я сообразил: "Ага, это мой минус". Второй минус проявился в деревне Коломна. Она перекликается в названии с подмосковной резиденцией царей. Когда мы туда пришли, нам нужно было осмотреть часовню. Она находится на холме, а вниз идет дорога, в низине расположена древняя и довольно бедная деревня Коломна. Мы с Зуровым пошли в деревню, а наших спутниц оставили наверху, около часовни. Леонид Федорович сейчас же заговорил, все нашел, и так как дело было под вечер, народ уже был дома - и это, конечно, было событие: пришли какие-то люди, хотят осматривать часовню. Вместе с ключарем этой часовни - он же, по-видимому, местный староста - мы пошли туда. По дороге все весело говорили, и вдруг мальчишки кричат: "Гляди, гляди! А тамотка ангелы прилетели!" Мы смотрим, о чем это они, и видим, что на вечернем небе вырисовывается часовня, а рядом сидят в светлых платьях наши

спутницы, Кира Иртель и Ирина Окунева. Леонид Федорович говорит: "А, это наши помощницы". Это жутко охладило энтузиазм в отношении нас. По их терминологии мы пришли "с бабами" - значит, мы веселимся по ночам с этими нашими спутницами, а в то же время занимаемся иконами. Кстати сказать, мы держались с нашими спутницами чрезвычайно джентельменски. Но впечатление, что они наши любовницы, сопровождало их по всем уездам. Я думаю, что Леониду Федоровичу это было особенно трудно переживать: отношения его к Кире были напряженно-лирическими, и она, кажется, была без ума от него и очень подходила ему: он был высокий и красивый, она тоже. Муж ее, Сеня Иртель, был маленький, детей у них не было. Когда с Леонидом Федоровичем ничего не получилось - скоро грянула война, и денег у него не было, жениться было не на что - она ушла от Сени и вышла замуж за советского офицера, который уехал на Украину, как позднее рассказывала моя мать.

Я понял, что если нужно серьезно заниматься исследованием, то для крестьян лучше, чтобы женщины не принимали участия. А если и участвуют, то в другом: запись песен, плясок, - там другое дело, там это шло, и Елизавету Эдуардовну Малер они принимали, потому что это профессорша, и баб любит, чтобы потанцовали, попели ей. Это хорошо. А в церковных делах - нехорошо.

Мы были на берегу Псковского озера, которое произвело на меня сильное впечатление: это была, в сущности, водная граница с Советским Союзом. Там далеко берег маячит, синеет - это уже остров Валаам, он принадлежат советскому государству. Там тоже живут наши люди, но нам туда нельзя! Это был лирический план, другой вопрос, там ли было Ледовое побоище? Стоял Вороний камень, громадный валун, по преданию на нем стоял князь Александр Невский, наблюдая, как падают на льду рыцари, и как его пешие рати и лыжники побеждают. Тут много было всяких "но". Леонид Федорович стоял горой за этот Вороний Камень, я сомневался. В целом прогулка меня успокоила, дала мне уверенность, и мы вернулись в Печоры в хорошей форме. Тут выяснилось, что намечаются некоторые возможности. Леонид Федорович окончательно подтолкнул мячик в мою пользу. Выяснилось, что на Агафона надо действовать через лиц, которые несомненно выше его по положению и которых он уважает. Решено было, что за меня похлопочет баронесса Бюнтинг. Софья Михайловна Бюнтинг была вдовой последнего Эстляндского губернатора барона Бюнтинга и пользовалась большим уважением местного населения, в том числе ее очень уважал Агафон. Она имела великолепный дом, расположенный несколько выше монастыря, оттуда даже были видны монастырские крыши. В это время приехал Дмитрий Алексеевич Смирнов, знаменитый тенор. Его жена умерла и была похоронена в пещерах Печорского монастыря. Его высоко ценили все русские в Печорах, и, в частности, монахи, он пел у них много раз на клиросе, солировал. На него шли огромными толпами даже

иностранные туристы. Он тоже мог повлиять на Агафона. И был сделан такой стратегический ход: я был представлен Софье Михайловне Бюнтинг, у нас сейчас же оказались общие знакомые, она знала Яшвиль, мои пражские связи были ей совсем не безразличны, я оказался человеком ее круга, хотя, по существу, им никогда не был. Она была очень быстра, сказала: "Дмитрий Алексеевич останавливается у нас, и мы сделаем вот что: мы устроим женевские переговоры. (Тогда "женевские переговоры" означали Лигу Наций.) Мы соберем свою Лигу, за моим столом. Пригласим Агафона ужинать". И она действительно его пригласила и пригласила Д.А.Смирнова, Л.Ф.Зурова и меня. Ужин прошел в очень хорошем настроении, много говорил Дмитрий Алексеевич, который был отличный рассказчик и всех очаровал. Обо мне ни слова никто не сказал. Ужин сам по себе был великолепный: много было всяких и настоек, и водок, и вина. Потом все кончилось, стали прощаться, первым уходил игумен Агафон, и все подходили к нему под благословение. Мне он сказал: "По Вашему дельцу, пожалуйста, приходите завтра, в пять часов к ранней обедне, которую я служу в пещерном храме, и тогда мы с Вами все обсудим". Это было замечательно. Было уже около 11, я поспешно побежал домой, и действительно, встал в 4 часа утра и отправился в пещерную церковь.

Пещерный храм, самый древний, был посреди, в проходах, где хоронили монахов, а в прежние, еще московские времена, много ратных людей, погибших на ливонских рубежах, во время Ливонской войны. Я пришел туда, была обедня: в земле маленькая-маленькая церковь, утром там довольно холодно, и несколько монахов. Потом мы оттуда вышли, и о. Агафон пошел со мной к своей келье и по дороге сказал,: "Все хорошо, теперь это Вам разрешается, и чтобы Вам было все понятно и чтобы был порядок, Вы должны встретиться с ключарем Серафимом, и о.Серафим Вам все скажет, Вы с ним сговоритесь, когда хотите начать, хоть сегодня". Полная победа, полная амнистия. Я был в восторге: и это сражение, значит, выиграл.

Я начал заниматься полным ходом. Тут прошли отголоски дней русской песни в Нарве, местное Общество народного просвещения устроило конкурсы плясок, которые я ходил смотреть, в комиссию попал даже Л.Ф.Зуров, и они выдавали премии. В Печорах было много приезжих, по вечерам всюду собиралось большое общество, приехала моя мать и остановилась у меня, на Задней улице, а столоваться мы ходили к Гроздовым. Было много интересных девушек, молодых дам, которые проявляли большой интерес к серьезному молодому и неженатому ученому. Но главное, я сосредоточился на своих занятиях, как раз приехал Франц Иванович Дедич, и нам разрешили снимать. Монах о.Серафим был довольно образованный человек, он окончил гимназию, хорошо знал эстонский, латышский, немецкий и, конечно, русский языки. Он был ключарь: у него были ключи от библиотеки, от ризницы, где лежали

ценные вещи, и он постоянно водил туристов, которые приходили тучами и были очень важны для монастырского хозяйства, потому что заменяли богомольцев прежних времен. С них брали деньги за вход и переходы в монастыре, они покупали сувениры и вообще оживляли финансовую жизнь монастыря.

Мое исследование шло по двум линиям: одна была - обследование состава икон. Монахи продолжали чинить препятствия, несмотря на все обещания Агафона. Например, не позволяли снимать ризы с чудотворных икон: фотографу ничего не было видно, потому что риза громадная, а маленькие прорези для ликов заложены слюдой. Чудотворные иконы мне тогда так и не удалось снять. И все-таки мы сделали много снимков, а главное, я установил, какие сюжеты там имеются. И пришел к негативному результату: ни одного сюжета, который мог быть западным новшеством, никаких новых композиций в наличном составе икон Печорского монастыря я не нашел. Не было их и на чердаках, где мы ходили по следам Л.Ф.Зурова. Вторая линия была очень важной - я сначала прочитал, сам просмотрел, а потом стал делать перепись переписных книг, особенно одной, 1639 года. Она действительно составлялась посторонними людьми, не монахами, а дьяками и под наблюдением бояр, царских уполномоченных в Пскове, поэтому представляла объективно интересный документ. Кое-что интересное я там обнаружил, но опять-таки пришел к негативному результату - ни одного композиционного целого, в котором можно было усмотреть западное влияние или просто даже новые темы, здесь в начале XVII века не было. Это меня поразило. Переписная книга 1586 года уже давно была издана в "Старине и Новизне", и переписная книга, которой я занимался, и то, что я осмотрел, - все показывало, что никакого западного влияния в здешних иконах не было. А между тем это была цель моего исследования. Это все выяснилось через две недели после начала работы. Я никому ничего об этом результате не говорил, потому что мой исследовательский опыт во время работы над диссертацией и после нее показывал, что неправильные гипотезы свидетельствуют о том, что надо пересмотреть материал и найти правильное решение, правильно сформулировать гипотезу, и тогда, материал встанет на свое место. Если решение было неверным, т.е. была неверная предпосылка, то она была навеяна даже не моим собственным материалом, а тем, как подходили к теме предшественники. Поэтому я, занимаясь все время фотографиями разных вещей в ризнице и отдельных икон даже в ризах и пользуясь присутствием здесь Дедича, все время сосредоточенно обдумывал, как правильно повернуть материал. И вдруг решение нашлось. Оно оказалось совершенно новым. Суть была в том, какие силы создали Псково-Печорский монастырь и какие силы им управляли - вот в чем была проблема. Как только я это понял, вдруг все факты опять начали двинулись, и хотя я занимался все время переписной книгой, искал бешеным образом и делал выписки интересующих меня мест, но по существу я тут же

набросал схему. Конечно нужно было еще перепроверить ее по печатным материалам в Праге, но рабочая гипотеза была совершенно противоположной: в Псково-Печорском монастыре, возникшем сначала как стихийное проявление религиозности в этом крае, в 1518-19 гг. в игру вошли новые силы - Михаил Григорьевич Мисюрь-Мунехин, дьяк Великого князя после присоединения Пскова в 1510 году получил провинцию как бы в свое ведение. Здесь он встретил сопротивление псковичей московскому церковному влиянию. Так как Мисюрь-Мунехин был очень умный человек и дипломат и в то же время хорошо знал религиозные проблемы, он нашел новый путь. Он решил создать промосковский монастырь на псковской почве, и выбор его пал на этот, тогда очень маленький монастырь, как в летописях говорится: "место незнаемо". Это "место незнаемо" стало постепенно развиваться как промосковский монастырь. Было совершенно понятно отсутствие новых религиозных сюжетов именно в Псково-Печорском монастыре. Они могли быть рядом, в Пскове, могли быть в обладании псковских артелей иконников, но их не было в московской базе на псковской земле и не могло быть, ибо этот монастырь был традиционно консервативен, вот в чем был секрет. Как только я это понял, все факты начали складываться воедино. Я ничего никому не сказал, мой опыт показывал, что если говорить про сомнения, вас никогда не поймут как следует, а сделают совершенно нежелательные выводы и представят вас неудачником, глупцом, несведущим. Моя первая гипотеза была неверна, потому что ее подталкивали не знающие или не понимающие материал мои предшественники по теме, а теперь, когда я вдруг понял, все начало складываться - кирпичик на кирпичик пошел. Я был в то лето в творческом подъеме. Несмотря на то, что мы были в очень скверном техническом положении, потому что еще не было цветной фотографии, которая как повсеместное явление появилась после второй мировой войны, я вдруг воспрял духом. Я понял, что делаю очень важное открытие: даю ключ к московской церковной политике в Псковской земле.

Моя работа обретала теперь характер более широкий, чем первоначальные замыслы по узкой иконописной линии. Это было главное достижение за это лето. Но кроме того, мы совершили очень интересную поездку, осматривая иконописные памятники в Нарве, потом в Посаде Черном и в древнем Изборске. В нарвскую поездку мы привлекли священника, о.Александра Киселева, который отдыхал летом у родственников своей жены в Печорах, а я его знал с детства, еще когда он был мальчиком в коротких штанах, они с моим отцом по большим праздничным дням ходили петь по тюрьмам для бедных русских арестантов. С этого и началось наше знакомство. Оказалось, что у него есть церковь в самом Ивангороде, а в ней - ряд икон.

В Нарве меня интересовал в первую очередь Преображенский собор, а теперь добавлялась еще коллекция икон о.Александра Киселева.

Хотелось посмотреть и другие церкви и, если нужно будет, то отнестись к Нарве уже с точки зрения археологического объекта. Мы выехали из Печор вечерним поездом: о.Александр, Ирина Николаевна Окунева, Франц Иванович Дедич и я, и базой нашей утром была квартира о.Александра. Я сразу пошел с Дедичем и с Ириной Николаевной в собор. Когда я был в Нарве, то имел предварительный разговор, и нам обещали разрешить фотографировать. Теперь я встретился с настоятелем, митрофорным протоиереем Николаем Павским. Он был немолодой, весьма почтенный пастырь и отнесся к нам очень любезно: "Пожалуйста, делайте снимки, как хотите". Тут я сказал неосторожную фразу, которую позже уже никогда не употреблял - обжегшись на молоке дул на воду - "Мы у Вас быстро произведем снимки, потому что предполагаем, что у Вас не много интересных для нас объектов, у Вас иконопись сравнительно поздняя, XVIII век главным образом. Прекрасный иконостас, но XVIII века". Митрофорный протоиерей вдруг гордо глянул, нервно поднял брови и сказал: "То есть как это нет древних икон? У нас есть иконы XII века!" Я очень осторожно и вежливо сказал, что я боюсь, что это не совсем правильное представление о древности этих икон, потому что икон XII века в России всего несколько, а все иконы более поздние, тем более здесь, потому что здесь была сначала католическая церковь, потом лютеранский храм и только с XVIII века стал православный, так что с нашей точки зрения история русской иконы - это сравнительно поздние века. Могут быть отдельные иконы и более древние, так что мы их осмотрим".

Но никакая логика не действовала, как я заметил, на людей, когда дело касалось древних икон. Митрофорный протоиерей был очень недоволен и сказал мне уничтожающим, неприятным голосом: "Вы можете делать какие хотите снимки, молодой человек, но распространять неверные слухи о древности наших икон я не позволю!" Мы пустились осматривать иконостас. Преображенский собор находился во дворе того самого дома, где я жил в интернате, когда учился в третьем классе нарвской эмигрантской гимназии. Было приятно вдруг окунуться в собственные очень молодые годы. Мало что изменилось во дворе - тот же собор с очень высокой колокольней, опасной для взбирания туда. Ирина Николаевна и Дедич туда лазили, но я уж грешным делом отклонился, потому что снимки оттуда могли быть только любительские, а виды мне уже давно известные. К этому времени уже умер живший рядом мой приятель Глеб, и вообще, куда бы я ни обращался, кому бы ни звонил, все были в отъезде, август всегда мертвый месяц в городах, особенно после такого грандиозного праздника русской песни. В Спасо-Преображенском соборе мы быстро сделали снимки иконостаса, неплохого, но подновленного. Если он и был сделан в XVIII веке, то его здорово ремонтировали в XIX и XX, тем не менее, некоторые черты Петровской эпохи он сохранял. Из больших икон, которые мы нашли, только одна привлекла наше внимание: Николай

Чудотворец с житием, но я полагал, что не эта икона упоминается в русских летописях в 1558 г. при описании взятия Нарвы русскими войсками во время начала Ливонской войны. Тогда, по летописям, русские переплыли бурную Нарову - не надо забывать, что выше был водопад, поэтому Нарова здесь получалась стремительной и глубокой. Ливонцы считали, что ее переплыть нельзя, особенно ночью. А русские воспользовались темнотой, переплыли и ворвались в Нарву, в замок. Когда его брали, то увидели костер, горящий посреди замка, в котором ливонцы что-то сжигали и, кроме того, побросали туда русские иконы. Две иконы спасли: Божию Матерь Одигитрию и Николая Чудотворца, но, явно не ту, что была в Преображенском соборе. Запись об этих иконах была очень красноречива и перешла в разные летописи, и главное, туда съезжались, чтобы святить или молиться у этих икон, представители русского духовенства тамошней области, включая игумена Корнилия из Печорского монастыря. Иконы возили даже в Москву, оставили их в Москве или они вернулись, из летописей было неясно. Явно было, что икона, которая считалась здесь очень старой, XVI века, не имеет отношения к этому преданию. Зато другая, которую мы нашли после обеда в церкви о.Александра Киселева, возбудила во мне интерес, потому что слыла чудотворной,- Божия Матерь Одигитрия, большого размера. Она могла быть одной из чудотворных икон, потому что эта репутация все-таки не так быстро передается.

Мы открыли главную Одигитрию, которая была в ризе, наглухо закрыта. Икона была большая, почти в человеческий рост - доходила мне до плеч, и, когда мы ее вынули из ризы, надо сказать, мало что было видно на доске, абсолютно темной от копоти и вековой пыли. Мы ее поставили на пьедестал, как и остальные иконы, и занялись другими иконами, а часа через полтора, когда я подошел к ней, то вдруг увидел, что икона, как говорят иконописцы, "отдышалась" на воздухе, и на темном фоне проступил контур Богоматери и Младенца. Это произвело на всех очень сильное впечатление. Я немедленно начал размывку иконы, действуя по рецепту Н.П.Толля - мы употребляли марсельское мыло и тампоны из ваты. Мы не терли, но это как бы съедало, вытягивало сажу и пыль, и после нашей работы, еще через часа полтора, икона преобразилась: вдруг открылись ее подлинные тона. Может быть, не все полностью, но уже было видно, что это чудесная работа или самого начала XVI или даже конца XV века, с прекрасной гаммой оттенков. Ее следовало было бы подвергнуть настоящей чистке и снять темный слой олифы, который мы пока что могли только расчищать, но на месте и нашими средствами это было невозможно. Икона была высококачественная и - что меня больше всего поразило - носила признаки ожогов. Некоторые можно было бы объяснять тем, что под ней стояли свечи и опалили ее. Но были и необъяснимые ожоги на доске, не только у лика. Я там же составил описание, точно все измерил, и у меня создалось впечатление, что эта самая икона была описана в русских

летописях, т.е. чудотворная икона, "явленная" в XVI веке. Отец Александр, был радостно потрясен этим и отслужил перед ней короткий молебен и прочел кратчайший акафист. Все мы были под большим впечатлением. Из других икон интересных было мало, в большинстве случаев стандартные иконы XIX века, вполне грамотные, которые по той или другой причине собрались в церкви Ивангорода. В самом Ивангороде была другая древнейшая церковь, каменная, напоминала круглые византийские храмы. Она и была построена, как круглая церковь, перекличка шла с вифлеемским храмом Рождества Христова, или с Пасхальным храмом Христова Воскресения. Но связь была с византийской традицией. Она очень хорошо сохранилась. Не знаю, были ли там фрески, их мы не видали, надо было, вероятно, произвести какую-то расчистку стен, но мы там стояли самокаты эстонской военной команды, и вообще здание относилось к военному министерству. Я потом написал рапорт в министерство просвещения, магистру Лайду, археологу, где старался его понудить взять под охрану этот архитектурный памятник, несомненно принадлежащий к эпохе постройки Ивангорода, т.е. к эпохе Ивана III, XV столетию. На этом наши нарвские исследования кончились, и мы, переночевав в довольно примитивных условиях у о. Александра, причем я полночи прогулял, потому что пытался найти разных моих друзей, в чем не очень-то преуспел, но хотелось повидаться еще раз. Как позднее выяснилось, я попал тогда в Нарву в последний раз.

Утром мы встали и поехали, сначала в нормальном поезде до Кохтла-Ярве, а оттуда по вновь проложенной ветке до Посада Черного. Действовал, для меня лично, билет 2-го класса, высшего, какой был на эстонских железных дорогах, а то, что брали с Дедича и Ирины Николаевны, были пустяки, потому что это была не пассажирская линия. Поезда главным образом перевозили местные грузы, а в единственном пассажирском вагончике мы трое были единственными пассажирами. Поезд шел так медленно, что подчас можно было, если бы хотелось, вылезти и идти рядом, собирая землянику, или малину, или грибы. Но это, конечно, шутка. Было скучно, долго, этот пробег можно было сделать, вероятно, за час-полтора, но мы ехали чуть ли не пять часов. Буфета не было, конечно, не было даже воды. Единственное развлечение - разъезды: в случае если идет встречный поезд, вы ждете на разъезде, где две колеи - самая примитивная, начальная форма железнодорожного строительства. Но и на разъездах не было никаких признаков железнодорожников, ни даже кипяченой воды, как это бывало в России. Все кончается в этом мире, и мы приехали в Посад Черный. Он произвел на всех нас хорошее впечатление. Во-первых, своей зажиточностью, он не был похож на бедные русские деревни Печорского края, было много двухэтажных, много каменных домов, полно было лодок на Чудском озере или на берегу, лодки ремонтировались, перекрашивались, оснащивались - было видно, что рыбаки Посада Черного много ловят

рыбы, и рыбу эту продают. Частично снеток, который ловился в большом количестве, иногда употребляли даже на огородах как удобрение. Но в целом это была серьезная рыболовная база. Кроме того, у жителей были промыслы различного типа, сравнительно много торговли, магазинов, и школы, очень большие и светлые. Что было удивительно - не было церкви, но была молельня. Главное население Посада Черного составляли беспоповцы-староверы. К этой беспоповской секте принадлежал и Пимен Максимович Софронов. Он дал нам рекомендации, написал своей матери и в молельню, чтобы мы могли осмотреть все, что мы хотим. Это очень помогало, иначе могли бы никуда не пустить. Опять очень неприятное впечатление произвело, что с нами была женщина, Ирина Николаевна. Не знаю даже, ощутила ли она это, они этого не подчеркивали, но это сквозило во всех их поступках, мол, хорош иконник! Интересуется иконами, а сам ходит с бабой. Хотя мы говорили на "вы", тем не менее, это оставалось "каиновой печатью". Я пришел с женщиной, а праматерь Ева во всем виновата - поддалась лукавому, и от этого мы все терпим. Позднее, когда я это объяснял в Праге, то не находил отклика, мне даже сказали: "Ну, знаете, мало ли в какую среду Вы попадаете, Вы не можете равняться на их обычаи". Конечно, не можем, но такие обычаи существовали, и очень активно.

Мы попали в молельню. Так как это были беспоповцы, то алтаря не было, была только алтарная стена, огромная, высокая, исписанная множеством ярких икон, и вся большая молельня, и северная, и южная, и восточная и западная стены были заполнены иконами. Иконы эти были или работы Фролова, который был и их начетчик в свое время, и учитель иконописания, у которого учился и П.М.Софронов, или же ранними работами Софронова. Я все это с интересом осмотрел, Дедич сделал множество снимков, насколько это было возможно, но впечатление у меня было такое: почтенная, старательная, ремесленная традиция. Художественности в этих иконах не было. Это очень зыбкий барьер: где начинается художественное творчество в иконе и где это только повторение готовых схем. Здесь вы чувствовали полную ремесленную точность, даже краски повторялись, и в то же время вы чувствовали, что это - конец традиции. Я подумал, что стоит издать книжку с репродукциями и объяснить достоинства и недостатки этой иконописной традиции, превратившейся в ремесло: отличное, высокое, но ремесленное производство. Ирина Николаевна, к ее удовольствию, при сборе вышивок и знакомстве с узорами, которые здесь были очень хороши и своеобразны, познакомилась с приятельницей моей матери, Зоей Ивановной Шибаловой, которая ее спасла от сектантской ограниченности в отношении женщин. У них разговор был уже гораздо свободнее, и то, что интересовало в фольклорных вышивках представительницу нашего Института, было показано ей в полноте, кажется, удалось некоторые образцы даже получить в подарок.

Очень позабавила меня вся процедура приема в доме Софронова. Его мать была очень любезная пожилая женщина, дом у них был - полная чаша, много приятных вещей, и старинных, и модерных, и все, что хотите, это была смесь старины и новизны. Нас посадили обедать, подали всякие вкусные вещи, особенно рыбные, потому что рыбы было сколько угодно из Чудского озера, самой первоклассной. Во время обеда я обратил внимание, что у нас, у гостей, совсем другие вилки и ножи и другие тарелки, более пышные, с узорами. Я мимоходом сказал: "Я вижу, что вы скромно едите,- из скромной посуды, а нам гостям, видите, какую шикарную дали". Немыслимо в обычном русском доме, чтобы давали разную посуду. Мать его, которая все кланялась и благодарила за сына, который был "оченно доволен", как его принимали в Праге, благодарила Николая Ефремовича, который был дружеский к нему, вдруг вспыхнула - она не так поняла мое замечание - и говорит: "Вы уж простите, гости дорогие, мы такую посуду разную держим потому, что вы ведь никониане, и мы с этой посуды есть не можем". Я был подхвачен удивлением, поднят до потолка! Раскол начался в XVII веке, свыше двух с половиной веков прошло с тех пор, и вдруг как будто опять XVII век: никониане! Вроде представители иной цивилизации. Мы постарались это не углублять, но я поразился устойчивости предрассудков! Несмотря на это, дом Пимена Маскимовича вполне подвергался влияниям времени, у них даже радиоаппарат был: что может быть современнее! Мы там не ночевали, уехали в тот же день в Тарту, и здесь расстались: мы с Дедичем вернулись в Печоры, а Ирина Николаевна уехала обратно в Чехословакию, к моему облегчению. Она была довольно трудный человечек. Она совершенно определенно была непрочь установить со мной глубоко нежные отношения, но, по совести сказать, я не чувствовал возможности ответить ей. Все это было довольно неприятно, мешало в и без того напряженной обстановке.

Я вторично поехал в деревню Сенно, где уже был с Зуровым, но без Дедича так как хотел еще раз посмотреть на икону Георгия Победоносца, которая, я полагаю, была, XVII века. Большая, очень хорошая икона, неопубликованная, Дедич мне ее снял, а я постарался расспросить священника, но тот ничего не знал, ни какие были иконописцы, ни откуда икона. Сенно довольно большое село, с интересной церковью и интересным покрытием у колокольни, по-видимому, это тоже было связано с деятельностью митрополита Новгородского Арсения - ожидая его приезда, местные священники не нашли ничего лучшего, как раскидать старое, ветхое покрытие и поспешно набить новое, из новых досок. Кажется, Арсений за это невероятно гневался на них, чуть не лишил священства, потому что это действительно был варварский акт. Оттуда мы с Дедичем прошли верст 10 на Изборск. Было большое наслаждение идти, это русский район, идет параллельно русской границе. Наконец, мы вышли на замечательное Труворово городище. Я уже несколько раз там был, но в этот

раз воспринимал все как-то по-другому. Труворово городище связано, как известно, с легендой о том, как призвали варяжских князей - если это было - троих братьев, Трувора, Синеуса и главного, Рюрика. Рюрик поселился в Новгороде, Синеус - в Белоозере, а Трувор в Изборске, куда мы пришли. Это легло в основу так называемой "норманнской теории", объяснения происхождения Русского государства. Эти три брата с их дружинами сыграли формирующую роль в создании славянского государства, которым они позже управляли. И целый ряд выдающихся ученых пытался подтвердить эту легенду, в том числе ею интересовался русский академик Бранденбург, который по поручению Академии Наук произвел раскопки и в Белоозере и в Изборске. В Белоозере он искал могилу Синеуса и не нашел ее. Здесь, на Труворовом городище, он искал могилу Трувора, в нескольких местах были найдены могилы варягов, уже христианских воинов, но не Труворова могила. Так что скорее можно думать, что все это призвание князей есть до известной степени легенда, как теперь говорят, может быть, Рюрик и был, но Синеус это был "син хаус", то есть "его двор", а "тру варен" - верные воины, т. е. верная дружина, которая превратилась под пером не очень осведомленного летописца в Трувора. Это повторение легенды о трех братьях, призванных в начале истории, когда все неясно, княжить и "володеть" народом.

Я уже списался с Александром Ивановичем Макаровским, что мы к нему придем, так что в данном случае нас интересовала не вообще прогулка по Труворову городищу, а некоторые древние иконы, которые у него будто бы были в изборском Кремле, в частности, в Никольском соборе, древнейшей церкви. Попутно я просил Дедича снять некоторые интересные архитектурные ансамбли и детали. Уже на Труворовом городище я заметил высокого человека, который очень серьезно и внимательно, по-видимому, глубоко переживая и обдумывая все, медленно двигался на некотором расстоянии от нас. Он мне показался очень высоким, с высоким лбом, волосы вьющиеся и как бы стоящие немного наверх, - такое поэтическое лицо, суховатое, худощавое, вернее сказать, и даже напоминающее иконописные лики. У него был маленький мольбертик и такая книжка, в которой художники делают зарисовки, иногда он останавливался и что-то чиркал своим тушевальным карандашом. Ну мало ли кто ходит по Труворовому городищу, туристов самых разных национальностей тут было немало. Мы пошли к А.И.Макаровскому, который был главой местной русской школы и у которого был очаровательный домик, приятный и благоустроенный. Они с женой, Марьей Степановной, нас уже ждали. Я и раньше его знал, у него был частично снят череп, в результате какой-то катастрофы, и хотя первое впечатление он производил пугающее, но это не затронуло ни его зрения, ни умственных способностей. Он был человек радушный и интеллигентный, всегда очень скромный, и я ему не раз говорил: "Александр Иванович, Вы бы написали очерки по истории края,

потому что из ваших уст мы все это слышим, но если ваши уста вдруг закроются, мы больше ничего не будем знать!" - "Ну, - отвечал Александр Иванович,- ничего там оригинального нет, я повторяю то, что другие мне рассказывали, и то, что я запомнил, когда читал некоторые источники". Когда мы пришли, Александр Иванович сказал: "К трапезе, пожалуйте!" Хотя мы не рассчитывали, что нас будут особенно угощать, но накормили великолепным обедом и даже дали рюмки с водкой. И главное, что в этом принимал участие тот замеченный мною высокий человек, который, оказалось, пришел раньше нас и мыл на дворе лицо и руки. Это был Евгений Евгеньевич Климов, художник из Риги, который время от времени посещал русские районы Эстонии и делал зарисовки.

В октябре 1977 г. я впервые посетил Новый Свет, и в Монреале, перед своей первой лекцией, я мог приветствовать Е.Е.Климова 40 лет спустя после нашего знакомства в Изборске как воплотителя лучших принципов дружбы, которые мы развили за эти 40 лет. Нужно сказать, что Е.Е.Климов, каким я его узнал за эти годы, - и таким он показался мне летом 1937 г.- представляет собой удивительный тип энтузиаста, преданного русской культуре. Он великий знаток русского искусства во всех его проявлениях, чрезвычайно чувствует древность, понимает иконы, которые он не только умеет технически расчищать и представлять в подлинном виде, но также и писать иконы. Я не представляю себе Евгения Евгеньевича лукавящим, он стоит на той позиции чистоты, искренности мнений, от которой легко могут отойти многие представители культурного и художественного русского мира. В августе 1937 г. мы замечательно провели время у Макаровских и после этого пошли осматривать иконы. У самого Макаровского были кое-какие иконы, но ничего сенсационного. Иконостас Никольского собора много раз перекрашивался и потому не представлял большого художественного интереса. В Никольском соборе над входом в западной стене была небольшая икона Николая Чудотворца, которая, как раньше, в предыдущие мои приезды в Изборск, говорил Александр Иванович, считалась иконой XVI века. В этот раз в храме шла частичная побелка стен и были леса, так что них можно было подойти к иконе и снять ее, что Александр Иванович и сделал, а сняв, принес ее к нам вниз, и мы увидели, что на иконе есть риза - не серебряная, а посеребренная, которая держится на очень сомнительных гвоздиках. Мы ее отодвинули и были крайне разочарованы: икона оказалась явно продукции XIX столетия, и плохой продукции, провинциального пошиба. Когда ее могли подменить? Вероятно, эта легенда создавалась на реальном материале. Я лично подозревал, что это произошло в эпоху, когда Новгородский митрополит Арсений вздумал сосредоточить древние иконы в Новгороде - очень необдуманный и печальный шаг, этим он лишил церкви своей епархии большинства высококачественных, художественно ценных икон. Все было перепутано, и так осталось до большевистского времени в хаосе неразобранных

иконных складов. Это было большое разочарование для Макаровского, он сказал: "Как это печально!" - "Что ж печального, - ответил я,- Вы можете сказать, что тут была древняя икона, которую подменили, надо думать, из-за деятельности Арсения". Мы обошли изборские укрепления. Я опять подивился крепости стен, бойницам - если войти и посмотреть сквозь бойницы, то видно, как великолепно предусмотрены все подходы к крепости, и вы понимаете, как редко могли брать Изборск, только изменой, как при опричнине Ивана Грозного, но не с боя. С боя его взять было очень трудно в те времена. На кремлевских изборских стенах, которые глядят на запад, выложены камнем и вделаны в стены, как неотъемлемая часть стен, огромные восьмиконечные православные кресты. Это духовная помощь тем, кто оборонял древний Изборск от идущих с запада ливонских рыцарей, закованных в латы и презирающих русских православных людей.

На этом, собственно, закончились наши чисто археологические изыскания. У нас получилось много документации в виде прекрасных фотографий Ф.И.Дедича, и я теперь мог держать, если нужно, отчет. Было взято на учет все. Следующей на повестке в этом смысле могла быть Латгалия в Латвии, где тоже могли встретиться разные сюрпризы с русскими иконами, хотя и в меньшей степени, потому что там уже работали археологи, в частности группы во главе со старообрядцем Заволоко. Группы эти мне не нравились, они не были ученые группы, это были скорее фанатики старого быта и религиозного упрямства. Поэтому я думал, что они довольно много там изъяли, выкачали из провинции. Но я туда так и не попал, потому что весь следующий год был занят Псково-Печорским монастырем.

В самих Печорах было очень интересное происшествие - именно происшествие! - празднование Успения Богородицы. Монастырь ведь был Успенский, Богородичный. Я был приглашен 15 августа после обедни на пир в честь этого праздника. Пир был организован в садах, но так, чтобы можно было отделиться от публики. Там присутствовало много местных властей, представители всевозможных русских организаций, депутаты Парламента, впервые приехал и будущий настоятель, архиепископ Николай, которого я встретил в Нарве. Был Леонид Федорович. Никогда за всю мою жизнь я не видел такого количества водки. Было поставлено множество столов, и они, если не ломились, то были переполнены яствами, в которых главную роль играла рыба. Рыба была замечательная, приготовленная в разных видах. К этому всему давалась водка, почему так много, я не понимаю. Во-первых, как бы умеренно вы ни пили, водка дает свой эффект, и вся эта братва оказалась очень быстро, через полчаса довольно-таки подвыпившей. Дошло до того, что чтец - по уставу посередине всех этих столов стоял чтец и что-то читал, а что, мы не знаем, был страшный шум от разговоров, все вокруг говорили во весь голос - в какой-то момент этот

монах вдруг упал. Оказалось, что он тоже выпил, вероятно, натощак, и его разобрало от чтения, ему просто стало плохо. Я страшно удивился, почему так делалось. Но мне потом объяснили знатоки, что это бывает только раз в год, а тот раз был особенным, потому что уходил уже отчисленный от дел епископ Иоанн, который, кстати сказать, совсем не пил, и приезжал новый настоятель.

Другим событием этого времени было знакомство с профессором Елизаветой Эдуардовной Малер, которая оказалась не только энтузиасткой русской культуры, русских народных песен, но и человеком большого шарма и большой широты. Один из очень хороших советских исследователей старины, Владимир Иванович Малышев, после того, как встретил ее на конгрессе в 1965 г. в Москве, писал мне: “Помилуй Бог, какая же она швейцарка! Она же московская поповна!” Это было очень меткое замечание, не в смысле происхождения, Боже упаси, но в смысле ее отношения к русской культуре и к русской старине. Это было очень приятное знакомство, в это время как раз приехала моя мать, и она тоже очень оценила Елизавету Эдуардовну, у них были общие темы для разговора. Мы даже ездили с ней раз в ближайшую деревню Городище, где были хорошие танцовщицы таких, например, танцев, как забавнейшая “Уточка”, и хорошие исполнительницы народных песен. У нее были всякие аппараты, которые записывали, и было чрезвычайно любопытно. Тогда же я столкнулся с любопытной реакцией местной молодежи, которая была недовольна тем, что в деревнях ищут старину,- это нас хотят держать в старой форме, не давать нам развиваться. Что нам эта старина? Это уже дело конченное! Такой мотив меня поразил, это было как раз во время записи песен Елизаветой Эдуардовной. Вообще меня удивила в 1937 г. элементарная грубость, которая пронизывала народный быт. Например, когда мы приехали в какую-то деревню, нам прямо сказали: “Боже вас упаси разговаривать с местными девушками, если вы это сделаете, на вас нападут парни. Приревнуют и могут ножами порезать”. Я усомнился в этом, но Леонид Федорович подтвердил, что нужно действительно очень осторожно держаться, потому что нравы еще близки к матери-сырой-земле. В одной из богатых деревень, где мы остановились на ночь во время нашего похода, я утром пошел мыться прямо к колодцу и там же брился. Колодец был на территории богатого крестьянина, друга Зурова, а рядом улица, дорога, другие избы. Я намылил физиономию, бреюсь, потом поднял глаза, вижу - парень идет по улице. Я на него посмотрел и улыбнулся: хорошая погода, русская деревня, русский человек идет, я сам здоров, молод, счастлив. Вдруг он мне говорит: “Ты что на меня зенки пялишь? Вот подойду к тебе, вырву бритву, и полосну по морде!” Я был глубоко поражен. Я, конечно, ничего не сказал ему, но потом рассказал хозяину и Леониду Федоровичу, и оба сказали, что, к сожалению это реальный быт. Этот быт проникал даже в братию монастыря. Братия тогда была человек 40 с лишним, разная

по составу, и однажды я сидел, ждал кого-то на паперти Успенского главного храма - идет монах, один из служек, работает в саду. Он мне тоже говорит: “А ты что на меня все глядишь? Вот подойду, да серпом по яйцам срежу, так перестанешь глядеть!” Не помню, как его звали, говорю: “Отец.., что с тобой, с ума сошел, что ли? Кто же запретил глядеть на кого-нибудь, все глядят друг на друга, для того и зенки существуют!” - “Зенки-то существуют, - говорит, - а когда на вас смотрят, неприятно! Вот так и помни - серпом полосну...” - и ушел. Такие грубости могли совершенно озадачить, потому что, главное, ничем не вызывались с нашей стороны. Но это я отмечаю только для полноты картины. В целом же я замечательно провел время, многому научился, понял главные проблемы, которые стояли передо мной, заехал, конечно, на несколько дней домой и помчался в Прагу, везя с собой огромное количество опыта и желания разработать все подробности. Приехав в Прагу, я занялся обработкой и сделал предварительное сообщение о наших работах, причем тут выяснилось, что Ирина Николаевна говорила разные странные вещи, я позднее определил ее характер - у нее было то, что можно назвать творческой фантазией, ей казалось, что она видела такие-то и такие-то вещи, которых на самом деле не было. Выяснилось это в прениях по моему докладу - она вдруг выступила так, что очень меня озадачила. Позднее я делал другое, уже более подробное сообщение в научно-исследовательском объединении. Зимой 1937/38 гг. Н.П.Толль предложил мне написать очередную статью, и я избрал тему “Иван Грозный и иконопись”. Во-первых, в Советском Союзе страшно преувеличивали роль Грозного во всех областях культуры, в том числе и в области икон. Во-вторых, я понимал, что еще нескоро напишу большое исследование о проникновении западно-европейских сюжетов через Псков, но я хотел эту мысль выразить. В этой статье, в специальной главке, я высказал несколько мыслей на эту тему, чтобы закрепить за собой право вернуться к этому более подробно. Я уже начинал понимать, что в науке говорят не так много нового и новые идеи должны очень цениться, а у меня была новая идея, что Псково-Печорский монастырь являлся, во-первых, проводником московской политики в районе Псковщины, а на самой Псковщине были возможности для введения в русскую иконопись западно-европейских, и оттуда они через Москву разошлись по Руси. Обе идеи были новые, и эту концепцию я выразил в статье “Иоанн Грозный и иконопись XVI века”, опубликованной в “Семинариум Кондаковианум” (том X, 1938).

ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ И ЗЕМЛЯЧЕСТВО.

Что же происходило вокруг меня и в моем близком, так сказать, земляческом окружении? Прежде всего хочу выделить историю с Германом Хохловым. Это был человек талантливый, несомненно одаренный как литературный критик. Некоторые его суждения были довольно

проницательны, но в целом у него не было никакой эстетической базы, он не был ни марксист, ни антимарксист, он не был формалистом. Но очень ловко умел маневрировать терминологией, он был терминологический фокусник - так я бы его определил. Это производило впечатление. Была переходная эпоха, и мало кто еще владел новой терминологией. Поэтому редакторы всегда обращали внимание, если вдруг в отзывах появлялась новейшая литературная терминология. Позднее я сам сыграл на этом.

Герман в этом отношении был ловкий человек, он это чувствовал и употреблял такую терминологию удачно. В основе своей он был лентяй, большой лентяй, который ничего за все время пребывания в Праге не окончил. Его дядюшка, которого он искренне ненавидел, директор "Балтийской мануфактуры" в Таллине, давал ему очень хорошее содержание, и Герман Хохлов мог жить безбедно, он так и делал и старался дружить с приятными ему людьми - был в дружбе с поэтом Алексеем Эйснером. Эйснер считал Хохлова остроумным и забавным человеком и сохранил эту точку зрения до сих пор, как явствует из его писем, написанных мне уже в 70-х гг. Я, который знал Германа ближе, думал, что он, во-первых, злой, ленивый, завистливый, неискренний и в каком-то смысле разрушительный человек. Это я сразу ощутил: он играл на низких человеческих чувствах, сидел и наслаждался, как скверно все выходит. Рано или поздно его дядюшка должен был осознать, что племянник тратит огромные деньги и ничего взамен: он не получил ни диплома в Кооперативном Институте, ни на философском факультете, не окончил ни по педагогической, ни по докторско-философской линии и не собирался оканчивать. Это был какой-то паразитизм. Так что ему нужна была кардинальная перемена обстановки. Он решил вернуться в Советский Союз. И это характеризовало его невероятную ограниченность: должен же он был сообразить, что его отец был лишенец, и его вывезли оттуда как сына лишенца, и он не может вернуться в Советский Союз и там войти в литературные круги без того, чтобы принести что-то в жертву, на алтарь коммунизма. И вот когда он начал это осознавать, его толкнули на определенные действия, его протектором был Бруно Ясенский, который издавал "Вестник иностранной литературы" - советское издание. Он и его жена Ванда Василевская принадлежали к международному коминтерновскому толку коммунизма - мечтали о каком-то левацком счастье, которое всех осенит, если власть перейдет к коммунистической партии. Они тоже не понимали, что Сталин не будет их долго терпеть, потому что это идет вразрез с его политикой. Еще меньше это понимал Герман Хохлов. Во всяком случае, он вошел с ними в контакт, а через них, полагаю, соприкоснулся с советской разведкой. Об этом мне сказал Сергей Порфирьевич Постников в очень осторожной форме: "Вы вот приятельствуете с Германом Хохловым, а Вы знаете, что он идет по очень скользким дорожкам, на этих дорожках уже многие сломали себе шею". Я слегка удивился, потом стал присматриваться:

Герман мне сам показывал советский журнал, а там подпись "Х" - это, говорит, мои корреспонденции. В них сообщались, например, выдуманные вещи о Чехословакии: какие-то забастовки, какие-то столкновения, которых и в помине не было. Я страшно изумился, сказал: "Герман, послушайте, о чем Вы пишете, это же выдумки!" На что он очень ехидно улыбнулся и сказал: "Вы, при Вашем известном буржуазном добродушии, не понимаете, что такое политическая борьба". В нем появилось что-то таинственное, опасное и не вполне понятное. С другой стороны, он в это время сделал большие внешние успехи: он, как и я, печатался несколько раз в "Воле России", и совсем неплохо, я всегда с интересом относился к его рецензиям, затем печатался под псевдонимом Ал. Новик в "Современных Записках". Напечатал там несколько рецензий, а проник туда анонимно, через редактора политического отдела "Современных Записок" Михаила Цетлина, я сам видел его письма, отвечающие Ал. Новику т. е. Хохлову, где он писал: "Я с интересом прочитал, не знаю Вашего имени, Вашего положения, но несомненно у Вас есть критический талант, и мы напечатаем Ваши рецензии". И напечатали, кажется, три рецензии. Псевдоним "Ал. Новик" означал, что он новый поклонник Аллы Головиной.

Алла Головина была поэтесса, член Скита, хрупкая девушка, урожденная баронесса Штейгер, замужем за скульптором Александром (Сашей) Головиным. Она немного играла под Анну Ахматову, куталась всегда в какие-то ковровые платки. У нее было много поклонников (к которым я никогда не принадлежал), начиная даже с самого А.Л.Бема, который явно был к ней расположен, но чисто платонически. Хохлов там крутился, и по складу своей натуры, а натура у него все время требовала внешнего успеха, он явно увлекся Аллой и в честь нее назвал себя Ал. Новик. Но этот большой успех никуда не привел: Хохлов уехал в Советский Союз, и все на этом кончилось.

В 1934 г. у меня с ним произошло столкновение, потому что до меня дошли не то что слухи, а точные цитаты его высказываний в мой адрес. В этот момент я довольно много писал и вел работу во всех направлениях, так что был в активной форме. А он позволил себе порочащие меня замечания, и это меня взорвало. Когда мы встретились, а надо сказать, что у Хохлова была странная черта: он считался с моим литературным мнением и всегда чрезвычайно интересовался моей реакцией на его статьи, и я всегда честно реагировал, я считал его рецензии интересными, хотя, может быть, и не очень глубокими. Но у него, во всяком случае, было "остранение формы", говоря языком Шкловского, он мог писать несколько иначе, чем было принято. Как-то так получилось, что он мне что-то показал и тут же сказал, что будет рад услышать мое компетентное мнение, одобряющее его. Я сказал: "Да, я не принадлежу к тем, кто говорит в лицо одно, а за спиной другое". Я имел в виду его двойные оценки, лестные, когда он говорил о моих работах со мной, и в то же время за глаза он меня старался порочить.

Видимо, Хохлов понял это по-другому, что я намекаю на его деятельность как советского агента. Он вдруг вспылил, что было редкостью у него, лицо, и так некрасивое, перекосилось, и он сказал: "В таком случае мы больше с Вами не знакомы". Я ответил: "Как Вам угодно!", и мы расстались.

Через 4-5 месяцев Постников, как бывший кандидат в эсеровское ЦК сохраняющий все навыки профессионального революционера, опять сказал: "Ваш друг, Герман Хохлов, получил новое задание и теперь будет стремиться восстановить порванные связи". Меня это удивило, это был как бы намек на наши отношения, но я ничего не расспрашивал. Дня через 3-4 вечером я был дома, кто-то постучал в окно, и меня вызвали. Я вышел из дома и увидел, что там стоит Герман Хохлов, а с ним тот человек, который стучал в окно, не то Сережа Левицкий, не то Костя Гаврилов. Хохлов с развязным видом сказал: "Мне, знаете, надоело ссориться, и я хотел бы с Вами помириться: будем вновь знакомы",- и протянул мне руку. Все это меня взорвало, и я ему очень спокойно сказал, закладывая обе руки в карманы: "Я с Вами не ссорился, разрыв был по Вашей инициативе, и я не вижу никаких оснований возобновлять с Вами отношения, так что лучше нам не встречаться и впредь. Всего хорошего". Я повернулся и закрыл дверь. Тот, третий, мне потом говорил, что Хохлов был просто зеленым от бешенства. Само собою разумеется, это была попытка не столько завязать сношения со мной, сколько войти в соприкосновение с Институтом Кондакова, с которым он был когда-то в общении - т.е. не с самим институтом, но с Н.М.Беляевым. Николай Михайлович, через меня познакомившись с ним и с А.Эйснером, все приглашал их играть в карты, и они играли иногда ночи напролет, и меня привлекали, но я проиграл два раза и увидел, что это потеря времени, и категорически воспротивился. Но с тех пор утекло много воды. Николай Михайлович уже умер, контакты были прерваны, а Хохлов порвал со мной, но, очевидно, это было поручение. Такое же поручение, как я потом установил, было у него в отношении квартиры Вергунов, одной из точек НТС, поэтому он, действуя через девиц Вергун, которые ничего не понимали, хотя и были членами организации, и всегда относились к нему хорошо, называли "Герман Хохлик", а Герман там, очевидно, шпионил. Мы с ним разошлись окончательно. Надо сказать, что ему очень нравились всякие мистификации, таинственные, неопределенные действия, например, он вступил в переписку с Сириным-Набоковым, прикинувшись женщиной, и писал ему письма, где обсуждал творчество Сирина, и, по-видимому, так того поразил, что Сирин ему отвечал совсем всерьез. Я читал эти письма, и мы очень смеялись: Сирин-Набоков, такой сноб, недотрога, никому не отвечает на письма, не кланяется ни с кем за исключением Ходасевича, и вдруг попался на письма вымышленной особы. Это был типичный Герман, у него были склонности к таинственному, и это было использовано всерьез разведкой. Он уехал, вероятно, в 1935 г. и через некоторое время прогремел. Его статьи и рецензии стали появляться

в “Литературной Газете”, включая даже одну статью о Ските Поэтов и о зарубежной литературе. Это был грандиозный успех: подумайте, куда попал Хохлов! Все его поклонники, члены Скита, начиная с Аллы Головиной, А.В.Эйснер, который был уже в Париже (а позднее участвовал на стороне красных в войне в Испании и затем до 60-х гг. сидел по концлагерям), Юрий Иваск, который был под сильнейшим влиянием Хохлова в 1933-34 гг., радовались. Из упоминавшихся мною “Воспоминаний” Вадима Морковина явствует, как сильно действовал на воображение многих Хохлов и как постепенно они прозревали. Это был не очень приятный процесс. Уехал он, по-видимому, из Эстонии. В 1937, когда началось дело иностранных коммунистов и их пособников - коминтерновской группы - он исчез. В период Хрущева я прочитал в “Новом Мире” Твардовского “Двенадцатая, Интернациональная” - воспоминания о красной Испании, где фигурировал лейтенант Алексей Эйснер. Я написал ему письмо на редакцию “Нового Мира”. Он мне ответил. В письме я спросил о судьбе Германа Хохлова, и Эйснер подтвердил мое предположение, что Хохлов разделил судьбу многих, тех, кто погиб в концлагерях во время чисток 1937-38 гг. Могу себе представить, что кончина его была очень грустной, потому что по характеру своему он был человек заносчивый, бескомпромиссно-атакующий, и, вероятно, держался как жертва ошибки, а мы знаем, что ошибок органы Ежова, а затем Берии не делали. Я нарочно рассказываю этот грустный эпизод о Хохлове, потому что мне была ясна его природа. Он, с одной стороны, считался со мной, но постоянно стремился в чем-то соперничать и, в сущности, мог бы сделать карьеру за границей, уже пройдя в “Современные записки”, но смог ли бы он здесь жить за счет литературного труда - не знаю. В Советском Союзе он явно сложил свою забубенную и не очень мудрую голову в застенках или истребительных лагерях. Во время войны два советских поэта, бывших в форме власовцев, однажды пришли ко мне, мы разговаривали на литературные темы, и, узнав, что я знал Хохлова, они ругательски его ругали, потому что он написал в “Литературной газете” что-то неодобрительное по поводу их произведений.

Особой темой до 1938 г. была моя лирическая заинтересованность Ириной Димитриевной Вергун. Это было до известной степени контрастом тому, что я все время должен был заниматься интеллектуальными вопросами, книгами, жил с большим творческим напряжением, и мне хотелось чего-нибудь другого, я был человек молодой. Ирина мне нравилась, она была остроумная и казалась мне очень привлекательной, во всяком случае физически весьма заманчивой. Моя мать знала об этой истории, и позднее, уже во время немцев, когда она сама была в Праге, туда приехала Ирина и была у нас на обеде, после которого мать сказала, что теперь понимает, почему я так долго увлекался Ириной. Она была очень привлекательна, возможно и даже наверное не подходила по характеру, тоже очень может

быть, но что ж поделать, в то время казалось, что она могла быть венцом счастья. Все, что ни делается, делается к лучшему, говаривал отец, а я сердился на это, но в этом случае, я думаю, судьба оказалась права. Но это была довольно длинная история, я постоянно появлялся у Вергунов, и мы ходили в кино или в театр, на мой день рождения я непременно приглашал ее на ужин, и потом мы танцевали. В то же время у нее были молодые люди, сколько угодно, и все это были такие спортивные хахали, которые мне не нравились, хотя, конечно, вопрос был не во мне, а в Ирине. Вероятно, зимой 1935 г. мне все надоело, я был уставший после очередной работы и вдруг решил попроситься уехать на рождественские каникулы на 2,5 недели к родителям. Институт согласился, и я сказал об этом Ирине только накануне, после того как я уже получил визу. Я пришел и сказал, что завтра уезжаю в Эстонию. Это произвело на Ирину сильное впечатление. Ее мать, Вера Николаевна, хорошо относилась ко мне, она была опытная мать и видела, что я не зря хожу годами к Вергунам, очевидно, что-то меня привлекает, и нетрудно было определить, что привлекает младшая их дочь. Она мне сказала: "Николай Ефремович, вы неправильно держитесь". Я повел глазами, я не любил обсуждать свои личные дела с кем-либо. А она добавила: "Вы слишком себя обнаруживаете перед Ириной. С Вергунами должна быть другая тактика, уверяю вас как родоначальница Вергунов". Действительно, у нее были четыре красавицы-дочки.

Во всяком случае, я сыграл ва-банк и сказал, что уезжаю. Ирина всполошилась и сказала, что поедет провожать меня на вокзал. Я уезжал рано утром, была зима, так что пришлось заказать такси. Мы приехали на Бучкову улицу к профессорскому дому, такси потрубило, и сейчас же на балкон вышла уже одетая Ирина, помахала рукой и через три минуты села в такси, мы помчались на вокзал, откуда шел поезд на Варшаву и Ригу, где у меня была пересадка. Мы очень хорошо себя чувствовали и целовались на вокзале. Она вдруг женским инстинктом поняла, что если я уезжаю, то, возможно, я решил переменить указательные столбики и направиться в другую сторону. Моя поездка прошла очень хорошо, я провел замечательное Рождество. Я попал в круг друзей племянника генерала Лайдонера. Лайдонер, герой Освободительной войны, герой подавления коммунистического восстания 1 декабря 1924 года, в этот момент был уже в отставке и жил на своем хуторе. Его жена была полька, но русской культуры, по-эстонски совсем не говорила, и это его очень связывало в эстонских политических делах. Ее племянник, русско-польской культуры, учился в нашей гимназии, и через него я был приглашен к Лайдонерам. У них было очень интересное общество и благоустроенный дом, а кроме того, был еще мороз, великолепный ужин, достаточно алкоголя, красивые девушки - все что полагается! Самым интересным для меня был разговор с генералом. Так как я был из Праги, а не из Эстонии, то к Лайдонеру я относился свободнее, чем те, кто как бы жил под ним. Я был историк,

поэтому меня интересовали проблемы, что, как и почему печется в политических формах Эстонской демократической республики. Меня интересовал, в частности, вопрос, почему, несмотря на безусловное значение Советского Союза или России в эстонской экономике, не говоря уж о политической стороне - почему эстонцы не дают младшему поколению знание русского языка, это сужает будущие возможности эстонцев в отношении огромных территорий Советского Союза или России. Это первое. Второе, что меня интересовало, почему эстонцы не проводят политику эстонизации своих меньшинств, а продолжают поощрительно относиться к русскому, и к немецкому, и к еврейскому, и к шведскому меньшинствам на территории их маленькой республики. Нет ли в этом внутреннего противоречия? Как правительственные круги видят будущее Эстонии, сознавая, что это маленькая страна и, в сущности, очень маленький народ, миллион с небольшим населения и из них приблизительно 250,000 меньшинств. Иван Иванович, хотя я его по отчеству никогда не называл, а просто именовал "генерал", был офицером русской императорской армии и произведен в генералы еще при царском правительстве (между прочим - признак широты имперской идеи, которая господствовала как доктрина в императорской России: у него слышался эстонский акцент, но это не играло никакой роли в российский армии, акценты были и кавказские, и иных провинций России, немецкие и шведские. Но если вы присягали на верность Государю Императору, акцент не играл ни малейшей роли).

Лайдонер сказал следующее: причина в существовании большевизма. Если бы завтра в России восстановился правовой строй, все равно какой - правый, левый, но правовой, не основанный на доктрине насилия одной политической группы, называемой "партия", и одного класса, называемого "пролетариат", над другими группами и классами, - если бы это осуществилось, он первый голосовал бы за то, чтобы Эстония вошла в Федерацию, называемую Российская Империя или Российская Республика. Эстония сохранила бы, конечно, внутреннюю самостоятельность, свою культуру, но экономически и политически вошла бы в целое государство. Но этого нет, и неизвестно, когда будет, поэтому из предосторожности приходится массам эстонской молодежи отказывать в знании русского языка - если они будут знать русский, они уедут из страны, став или коммунистами или антикоммунистами, но Россия проглотит их. После 1 декабря 1924 г., когда определились хищнические позиции Советского Союза, несмотря на все договоры и дипломатические уверения, Эстония находится в состоянии обороны против в первую очередь коммунизма, а раз коммунизм связан с Россией - значит, против русского коммунизма. Вот это база эстонского сознания. Поэтому когда мы ведем демократическую политику в отношении всех меньшинств, не выделяя ни русского, ни какого-либо другого языка, мы подчеркиваем свою демократичность.

"Судите сами, посмотрите на наших министров, наших деятелей парламента - они все, за малым исключением, продукты русской культуры". Я привожу только главные его тезисы, мы говорили с ним довольно много, и он чувствовал, что я не только все это понимаю хорошо, но по моим вопросам он видел, что я знаю эти проблемы, поэтому ему интересно было аргументировать свои положения. Я пожалел, что не имею права превратить нашу беседу в интервью. Он мне прямо сказал: "Знаете, я не хотел бы, чтобы вы публиковали нашу беседу теперь, потому что я политически сейчас еще работаю". Он одно время даже выдвигался в главы государства, у него были особые связи с кайтселийтом <добровольной полицией> и какими-то национальными группами, так что ему, конечно, не хотелось, чтобы такие заявления попали в прессу, да еще в русскую эмигрантскую. Я сказал, что без его разрешения это не может быть сделано, и это его успокоило. Оттуда мы ездили на тройках по льду залива, это был последний раз, когда я ездил на русской тройке, на которых я вообще мало ездил. Хутор Лайдонера был в Виймси, за Бригитовкой, дальше по берегу залива. Залив был замерзший, и были чудные возницы и три тройки, я попал в первую и даже очень быстро уговорил возницу, чтобы он дал мне править лошадьми, так что несколько километров по заливу мы мчались на лайдонерских тройках во весь карьер и даже обгоняли друг друга, к счастью, лошадь не поскользнулась и не упала, это всегда игра с огнем, такие скачки с препятствиями по льду. Хотя здесь все прошло гладко.

Ирине Вергун я написал письмо, и она мне написала, времени для переписки не было, но она предложила мне вернуться к Татьянину дню, 12 января: будет большой Татьянин день, кажется, с выпуском в Народном доме, и она надеется, что я приеду и приду на бал. Раз она так хотела, я решил непременно так и сделать. Выяснилось, что целый ряд моих эстонских привязанностей уже от меня отошел. А с другой стороны, употребляя мое любимое клише, я вдруг почувствовал, что многие женщины и девушки смотрят на меня иначе, чем прежде - как на источник наслаждения: вот молодой мужчина, который может с ними позабавиться. Это меня поразило. Тут было много скользких положений, но благодаря существованию Ирины Вергун, я пока что выходил сухим из воды. Одна из моих больших симпатий и увлечений, Ирина Грауэн, оказалось, поехала в Бельгию, где у нее появился жених. Так одна за другой, девушки, раньше дорогие и милые, или уехали за границу, или заневестились, так что в Эстонии я, несмотря на большой успех, ни на ком не остановился. Вернулся я тоже через Варшаву, потому что зимой ехать по морю мне вовсе не хотелось, приехал в Прагу и, как всегда после приезда, тягостно переживал, что после уюта нашего дома и широкого русского гостеприимства в любой квартире я вдруг оказываюсь каким-то отброшенным, подающим надежды ученым, но живущим очень необеспеченно, ведь годы шли, мне все больше хотелось как-то себя проявить, жить более устроенно - да вот не получалось.

Помню, что я поехал на этот самый бал, нашел Ирину, она, конечно, танцевала с другими и вообще держалась так, будто она никогда никаких писем мне не писала и никогда со мной не целовалась, я даже с ней как-то разошелся на балу и страшно раздраженный уехал к себе, потом опять приехал к ним, и так эта вся волокита продолжалась. Последний, пятый раз, в 1938 г. я сделал ей предложение, когда уже увлекся другой дамой, Верой, мы ее тогда как раз провожали, потом я пригласил Ирину поужинать со мной, и мы по традиции танцевали после ужина, и я ей сказал: "Ирина, а может быть, все-таки выйдешь замуж за меня, давай?" На что Ирина мне сказала: "Никола, ты становишься скучным, потому что повторяешься". Вероятно, в тот момент я был бы ошеломлен, если б она согласилась, потому что я чувствовал, что лирика иссякла.

Завязка еще одного переживания в этом роде была, по-моему, в 1936 г. Летом приехала интересная драматическая эстонская артистка Мета Люкс, и одна моя гимназическая приятельница, учительница русского языка, дала ей мой адрес в Праге и написала мне - посвятите ей немножко внимания, она знаменитая артистка, и в Праге у нее знакомых нет. Она едет из Германии через Прагу в Будапешт, где будет играть в спектакле по-венгерски. Я написал: "Прекрасно, пусть она даст о себе знать". В один прекрасный день она вдруг позвонила. Я был в Институте, это было уже после обеда, в присутственные часы. Когда раздался звонок, я сошел вниз и увидел чрезвычайно интересную женщину, хорошо сложенную, интеллигентную, с голубовато-серыми глазами, которая сказала, что хочет видеть доктора Андреева. Я повел ее наверх, в Институт, и оказалось, что это Мета. Мы сейчас же сговорились, что я ей что-нибудь покажу, и мы пошли. Я был свободен, пренебрег своими обычными занятиями в библиотеке и пожертвовал их Мете. Вечером мне удалось пригласить Ирину Николаевну и, кажется, Костю Гаврилова, мы танцевали вчетвером, и Мета мне все больше и больше нравилась. На другой день она уезжала, я пошел ее провожать на вокзал, и мы нежно и горячо поцеловались. Потом у нас установилась переписка, которая шла остаток 1936 г., 1937 г., в 1937 г., когда я был в Эстонии, я с ней не встретился, потому что она была в отъезде, а встретились мы в 1938 г. У нас был роман. Она была моя ровесница, в прошлом у нее осталась какая-то большая любовь, кончившаяся трагически, он чуть ли не погиб в автомобильной катастрофе, и у нее от этого остался след, кажется, была поставлена нижняя золотая челюсть, потому что все было сломано во время аварии. Она была выдающаяся артистка, и у нее был план, что она будет время от времени приезжать в Венгрию, в Будапешт, заезжать в Прагу и видеться со мной. Такая романтическая, совершенно в духе Меты, женская игра с большим воображением и очень уверенная: мы будем встречаться, но не будем все время жить вместе, хотя друг друга очень хорошо понимаем. Она мне писала по-эстонски, потому что говорила, что русский у нее очень ученический язык, а я по тем же

соображениям писал ей по-русски. В 1938 г. мы встретились. Она специально стала играть в спектакле, чтобы я мог увидеть. Я опять приехал в Печоры (об этом еще будет рассказ), и она, к удивлению директора театра “Эстония”, вдруг предложила, что сыграет - был какой-то праздник земледелия, приезжало много хуторян, фермеров, и была специальная сессия спектаклей, на которую директор даже боялся заикнуться ее пригласить - и вдруг она говорит, что хочет сыграть в двух спектаклях. Это были те спектакли, которые она хотела показать мне. А я как раз в этот момент получил телеграммы из Праги, требующие моего возвращения ввиду тамошней мобилизации в связи с обострением судетского кризиса, так что я мог пойти только на один спектакль - второй, на первый не мог пойти, потому что должен был завершить свои дела в Печорах. Когда мы увиделись, все было романтично и многообещающе. Я не знаю, насколько реалистично Мета думала об этих делах, она, по-моему, плыла по чувству - “вот, он здесь - и послезавтра его не будет”. Утром в день второго спетакля я пришел к ней, и, наконец, мы увиделись вновь после пражского свиданья, все шло легко и как-то естественно. Конечно, на спектакль я послал корзину цветов со своей визитной карточкой, затем мы встретились, и я ее провожал. Она действительно очень хорошо играла, пьеса была какого-то финского драматурга. Я с интересом убедился, что понимаю примерно 75% того, что говорится на сцене и что Мета действительно выдающаяся артистка. Потом оказалось много бытовых сложностей, потому что она, оказывается, делила квартиру с кем-то из товарок, которые в тот момент были дома, так что все пошло не так, как мы предполагали. Но на следующий день она даже сделала визит моим родителям, приехала на чай.

Надо сказать, что они были сильно обеспокоены всей этой историей, настолько, что отец даже ходил на какие-то ее спектакли и смотрел с галерки, признал ее драматический талант, но сказал, что с галерки иногда у нее вдруг был виден какой-то странный режущий блеск - это, видимо, сверкала челюсть. Надо признаться, вся эта история меня начинала беспокоить, потому что мои родители были явно в оппозиции, с другой стороны, Мета испытывала много затруднений и тоже столкнулась с тем фактом, что я не эстонец, да еще, главное, не живущий в Эстонии человек. Тем не менее, она считала, что ее план выполним, и мы сговорились, что она приедет в Прагу в начале октября, потому что она должна была быть на театральном съезде не то в Германии, не то в Венгрии, во всяком случае, могла ехать через Прагу. Я испытал истинную благодарность за ее глубокую искренность, ее чудесное отношение ко мне, мне безумно нравилась ее внешность, ее глаза и все, что я воспринимал как Мету. Но из этого ничего не вышло, потому что 30 сентября грянул Мюнхенский договор - пришел конец Чехословакии, а в марте следующего года нас оккупировали немцы, и она, конечно, не могла въехать в Чехословакию. Потом прервались почтовые отношения с Эстонией, потом Эстония была включена в советскую зону. Мета, кажется, попала в

разные переделки, потому что была любимицей таких людей, как, например, министр внутренних дел и его жена, и когда их смела советская волна, то она ударила и по близким им кругам, хотя Мета каждый раз выплывала как артистка. Мой отец правильно сказал о нашей ситуации: "Все очень романтично и утопично". Я настолько не понимал логики моих избранниц, что предоставил событиям течь, как они могли. Это тоже было отчасти влияние отца, который всегда мне говорил: "Если не знаешь, что делать - подожди". Я не знал, что делать, и ждал. Мета со мной не встретилась, была захвачена политическими событиями и ими побита, так сказать. Умерла она, как мне говорили, попав в конце концов в эмигрантскую эстонскую среду в Швеции. Верно ли это, я не знаю. Я рассказываю этот эпизод опять-таки для полноты впечатлений, к тому же меня все время преследует мысль, что все решения, которые мы принимали, не выполнялись, все, что "шло само собой", было предопределено, и в данном случае было предопределено, чтобы наши с Метой судьбы не соединились.

Я вернусь еще к этим лирическим темам, а сейчас хочу сосредоточиться на том, что произошло с Костей Гавриловым, моим дорогим близким другом со школьной скамьи. После того, как он меня "испытывал" в отношении инспектора и сломанной ножки стула, мы стали хорошими друзьями и все более тесно общались. Костя был на несколько месяцев младше меня, я родился в марте, а он в августе того же года, он был очень серьезный человек, хорошо образованный во всем, что касалось естествознания, медицины и психологии, увлекался Фрейдом, и посвятил ему много теоретических работ. Его семья в середине 30-х гг. переехала в Аргентину - его отец, выдающийся корабельный инженер и перед революцией один из директоров Русского Балтийского завода в Коппеле под Ревелем, не нашел применения своим талантам после того, как Эстония стала независимой. В Аргентине ему дали соответствующее его знаниям и положению место в Адмиралтействе. Там он произвел улучшения в подводных лодках, которые принесли ему деньги и еще более укрепили его авторитет. В результате он перевез туда всю семью, за исключением Кости, которого он субсидировал во время учебы в Праге, где Костя окончил блестяще естественно-исторический факультет и даже несколько триместров учился на медицинском, хотел ли он окончить добавочно медицинский факультет или просто хотел просмотреть какие-то проблемы естествознания с точки зрения медика - не знаю. В Чехословакии он заработал себе хорошую славу и был признан выдающимся молодым ученым, сотрудничал в "Русском Враче" в Чехословакии, потом был членом научно-исследовательского объединения, кажется, даже были изданы его работы, вообще у него было хорошее имя в его отрасли. Тогда он занимался каким-то видом червей. Он не только дружил со мной, но он и очень уважал мою мать. Это требует, по-моему, комментария, потому что его мать, Александра Константиновна, урожденная Пилкина, сестра контр-адмирала Владимира

Константиновича Пилкина, когда-то командовавшего флотом у Юденича, стала очень плохо слышать. Это поставило какие-то барьеры между сыном и матерью, потому что нельзя было все кричать во весь голос. Между тем у Кости всегда, вероятно, как и у всех, были какие-то серьезные подруги. Моя мать была ему в этом отношении близка, потому что хорошо понимала его проблемы, никогда его не осуждала, но всегда старалась помочь. Это сближало нашу семью с Костей. Кроме того, в какие-то периоды он увлекался теми же девушками, что и я, только я увлекался с большим успехом, а Костю они считали просто другом. К удивлению моему, он никогда с этой плоскости дружбы не сошел. Он был джентльмен в отношении этих девушек и в отношении меня как более счастливого "соперника", если угодно определить таким мерзким словом мое положение. Между тем события нас как будто сближали: мы вместе издавали "Новь", он принимал близкое участие во втором сборнике, 1929 г., а в 1930 г. уже официально вошел в редколлегию.

Так же как и я, но только по своим, конечно, темам, биолого-фрейдистским, он выступал в Народном университете в Ревеле у Сергея Михайловича Шиллинга. Он всегда интересовался моими выступлениями и горячо защищал меня, например, в 1930 г., когда я на празднике Дня русской культуры говорил о русской литературе после революции (это было еще до курса лекций), и говорил довольно длинно, большой был материал, так что я говорил час, и выступление передавалось по радио. Хотя лекция имела успех, но технически, вероятно, она была слишком длинна для таких заседаний, и на следующий день меня обругали в газете "Вести дня". Писал - позднее мы стали приятелями, а тогда знались только шапочно - В.А.Новицкий, журналист, который заявил, что он не против содержания лекции, но считает, что я забылся, самый младший докладчик, а задержал аудиторию дольше всех. Новицкий, как это у него было в моде, пришел к нам посмотреть, как себя чувствует жертва, и наскочил на Костю Гаврилова. Я лично не считал нужным объясняться с ним: право журналиста писать все, что он хочет, даже если это, может быть, и неверно, но это точка зрения журналиста. А Костя его отчитал на все корки и сказал, что он делает все смешным и более чем провинциальным. Это, кажется, Новицкого задело, и с тех пор он зауважал Гаврилова, а заодно и меня. Потом мы с ним сошлись, он был человек умный, считавшийся с обстановкой. Он был не только прокурор, но и очень проницательный ценитель того, что происходит в мире. Он мог не соглашаться с этим, но видел перемены. Костя все время защищал меня от Хохлова, и Хохлов его люто ненавидел и осмеивал, и Володю Римского-Корсакова осмеивал - за глаза, и над Теннукестом издевался даже в глаза, низко ценил и даже вовсе не ценил Сергея Александровича Левицкого. Я эту низменную натуру Хохлова уже изобразил. Но Костя всегда меня защищал, и защищал очень умно, переходя в наступление и отдавливая, как говорится, ногу противнику, говоря, что у

Хохлова нигилистическая критика и за ней ничего не стоит, кроме раздраженного самолюбия. В научном мире его ценили весьма разнообразные люди. Не говоря уже о чешских ученых, многие высоко ставили его, в том числе его непосредственные профессора: один из его учителей, М.М.Новиков и его коллеги, Л.В.Черносвитов, великолепный специалист тоже по червям, помогший Косте найти тему докторской работы, и другой его русский коллега, Н.А.Раевский, тоже зоолог, потом превратившийся в пушкиниста, ценили его и доктор медицинских наук и психиатр Ф.Н.Досушков, Н.И.Осипов и С.Л.Франк, с которым он отваживался спорить на философские темы и, будучи материалистом, оспаривал идеалистические концепции Франка, а тот, несмотря на то, что, конечно, совершенно не был согласен, не мог не оценить начитанности Гаврилова в философской литературе и - главное - его смелости.

Забавно, что я даже явился "жертвой" академических и психологических опытов Кости. Однажды он подошел ко мне и сказал, что приглашает меня завтракать вместе с Досушковым - я его знал, очень приятный человек, мы позавтракали, и потом Федор Николаевич мне говорит: "Скажите, пожалуйста, Николай Ефремович, вот мы с Константином Ивановичем думали, что может быть, Вы согласитесь подвергнуться у меня психоанализу". Я был страшно заинтересован: "Вы находите у меня какие-то сумасшедшинки?"- спросил я с любопытством. "Нет, -сказал Федор Николаевич.- Нет. Скорее мы Вас считаем средненормальным человеком". Я чрезвычайно обиделся, спросил, что это за "средненормальный человек"? -"Значит, Вы меня считаете каким-то ординарным ничтожеством?" - "Нет, нет, - отвечали оба, - Вы неправильно понимаете терминологию. Согласно Фрейду и другим психоаналитикам, нормальных людей нет, есть приближения к нормальности, у каждого человека свои комплексы, свои странности и свои сумасшедшинки, как Вы выражаетесь. Мы как раз думали, что всяких крайних экземпляров обострения психологии в ту и в другую сторону у нас достаточно, но мало приближений к тому, что Фрейд назвал бы "средней линией", и нам казалось, во всяком случае, Константину Ивановичу, который Вас много лет знает, что Вы подходящий материал. Поэтому мы хотели бы Вас описать. Конечно, Вы не будете никогда упоминаться, но материал, который я думаю получить в беседе с Вами, я мог бы использовать в своих работах, а Константин Иванович в своих". Меня это заинтересовало, я согласился. Около двух лет он занимался со мной психоанализом, мы встречались раз в неделю, иногда реже. Это было чрезвычайно интересно, потому что дома я писал на разные темы, которые он задавал, а темы исходили как бы из меня самого: мое детство, моя семья, моя биография.

Между прочим, Досушков уничтожил несколько оказавшихся во мне комплексов. Психоанализ очень простая вещь: пациент говорит о себе, и как только он вводит свои психозы в сознание, они исчезают - вот в чем

заключается грубо говоря метод психоанализа. Я, например, боялся темноты. Уже будучи студентом, доктором, я боялся войти в темную комнату, у меня мурашки бегали по спине. После анализа выяснилось, что когда мне было около четырех лет, и это повторилось в 10 лет, у нас дважды жила некоторое время сестра няни, Василиса Михайловна. Она была женщина странная: она служила у графов Капнистов, и это так на нее подействовало, что она стала совершенным снобом, среди прислуги все начиналось и кончалось графами Капнистами, а кроме того, она, в противовес моей няне, была скверный педагог, она играла на детских страхах. Няня никогда не позволяла себе напугать ребенка, а Василиса только и старалась пугать, меня она пугала темнотой. Когда я до этого дошел и вспомнил, страх перед темнотой исчез.

Другие комплексы тоже были связаны, очевидно, с нею и заключались в каком-то ужасе моем перед ведьмами, совершенно непонятно, почему именно перед ведьмами. Потом Досушков выяснил, давая мне писать на разные темы, что это тоже связано с Василисой и что это результат ее довольно бестолкового чтения, видимо, житий святых. Там всюду действовали ведьмы, даже в доме Капнистов как будто жили какие-то ведьмы, и это, по-видимому, поразило мое воображение, я стал побаиваться ведьм, что в конце концов, когда я стал соприкасаться с женщинами, было до известной степени оправдано! Эти страхи тоже исчезли, когда доктор Досушков ввел это в мое сознание, вернее, я сам ввел в сознание благодаря ему. Этот метод меня психологически укрепил, очистил и сделал свободным от комплексов. Может быть, что-то и оставалось и возникали новые комплексы возникали, не знаю, но главное, я понял, как все условно, как условны психологические подходы, они тоже объясняются комплексами. Это обстоятельство очень помогло мне позднее, когда я был арестован советскими органами и долго подвергался разным разговорам и допросам. Тогда понимание метода Фрейда мне очень помогло, я понял, что они одержимы разными комплексами, которые им внушены, и моя задача была обезвредить эти комплексы и воссоздать просто хорошие человеческие отношения, которые обычно возникают на первой стадии между аналитиком и анализируемым, в данном случае я был аналитиком, а они анализируемыми. Они и правда относились ко мне более по-приятельски, чем сначала хотели.

Несмотря на свои все увеличивающиеся знания и хорошие академические результаты, Костя имел свои проблемы. Главной проблемой, как мне теперь представляется, было неумение найти объект лирики. Это, конечно, легко сказать постфактум, но его жизнь поражала раздвоенностью. С одной стороны, у него были элементарные похождения с женщинами, которые никак не годились ему в спутницы жизни, с другой стороны, он как-то не умел пристроить свои эмоции по-настоящему. Были отношения с Ритой, Инной, его сознание и подсознание долго занимала Людмила Александровна Камборо, дама старше него, у которой была взрослая дочь

20 лет, Светлана. Каким образом возникло его чувство, я не знаю - она его упорно отставляла, но позволяла приходить, он у них ужинал и, вероятно, занимал ее как интересный собеседник. Или у нее это было двойное: с одной стороны, пустить, с другой - не пустить, как это бывает иногда у женщин. Во всяком случае Костя был до такой степени вне себя, что даже хотел покончить самоубийством: встал на мост и хотел прыгнуть, но кто-то его вовремя удержал, и его привезли к нам в такси в совершенной истерике. Княгиня долго возилась с ним и была обеспокоена ложной направленностью его лирическо-эротических вожделений. Прага была полна русских девушек, Эстония была полна русских девушек, но Костя не умел найти к ним дорогу. Это была, по-моему, одна из основных его трагедий, причем он совершенно дико начинал истолковывать это отталкивание от него женщин: говорил, что они притворяются, а на самом деле они очень его хотят,- странная такая спекуляция в свою пользу. В какой-то момент к нему приезжала Ксения, сестра Ирины Вергун, интересная женщина, чрезвычайно остроумная, в свое время за ней ухаживало много моих друзей: Темка Товарковский, Марк Бархов, которому она, кажется, симпатизировала, но почему-то у них ничего не вышло: Марк уехал вдруг в США и там умер, Виктор Франк страшно ею увлекался, потом Костя. У него было экстравагантное увлечение: он сел в поезд, когда она уезжала в Париж, и сделал ей предложение, конечно, получил отказ и явился оттуда несолоно хлебавши и с еще одним комплексом. Мы старались это рассеять смешками, но Косте легче не делалось. Он был дикий человек в этом смысле: "Дон Кихот безумствует", как кто-то правильно сказал. Он по характеру был Дон Кихот и безумствовал, потому что Дульцинеи, которых он находил, не могли ему соответствовать.

Кончилось тем, что в 1938 г. его отец, обеспокоенный надвигающейся войной в Европе - из Аргентины эти события были еще более видны - добился согласия старшего сына, что он поедет в Аргентину на соединение с семьей и попробует там устроиться. Для этой цели отец выхлопотал от Адмиралтейства Аргентины право свободной погрузки для Кости на одно из учебных военных судов, которое совершало с будущими офицерами аргентинского флота большое плавание вокруг Америки, Европы и Африки и возвращалось в Аргентину. Когда я вернулся в 1938 г. по вызову Института, выяснилось, что Костя уезжает. Это была огромная потеря для меня лично, но мы все понимали, что лучше ему уехать. Мы не знали, в каких формах будут развиваться, если вообще будут, немецко-чехословацкие отношения - Мюнхенское соглашение произошло примерно через три недели после моего возвращения из Эстонии. Позднее, когда немцы пришли и начался протекторат, то мы нередко благословляли судьбу и мудрость Ивана Александровича Гаврилова - при Костином характере, при его дон-кихотской прямоте, было трудно удержаться на очень скользкой поверхности, которую стала представлять собой русская эмигрантская

Прага при немцах. Костя уехал, мы его провожали: Сергей Александрович Левицкий, Евгений Иванович Мельников и я. Мы вместе с ним поехали на аэродром. Сообщение между Германией и Чехословакией было прервано, не было прямых полетов, и Костя, который должен был грузиться через сутки, 1 октября в Бремене, не мог проехать прямо, но должен был лететь через Швейцарию и Голландию, а оттуда - в Бремен. Это было утро 30 сентября, чудесная погода, все полно оптимизма, спокойствия, на аэродроме очень много людей - многие уезжали в западном направлении. Вдруг говорят, что отлет будет отложен на час или полтора, потому что летит правительственный самолет. Действительно, приехала министерская делегация, многие были известны по портретам в прессе, и мы видели, как они улетели на Мюнхен, это была подготовка к капитуляции. Во вторую половину дня произошла мюнхенская капитуляция. Конечно, мы тогда понятия не имели обо всем этом и были заняты грустным событием: Костя, часть нашего землячества, моя дружеская опора все эти годы, покидал нас. Он тогда рассчитывал, что это на время, что он потом перекинется в Европу, и мы тоже на это надеялись, но с тех пор прошло много лет, и он ни разу в Европу не съездил.

Он совершил тогда почти кругосветное путешествие а ля Гончаров, как мы смеялись: посетил порты Англии, Испании, Франции, Африки и Южной Америки и в конце концов прибыл в Аргентину. Он плыл больше месяца, и это был как бы семинар для его испанского языка, которым он начал усиленно заниматься. Он описал путешествие в замечательном многостраничном письме, действительно сокращенный Гончаров, но лучше, более драматично написанный. Но в дальнейшем он оказался отрезанным от нас, и хотя известия от него доходили, все там было по-другому, мы не могли понять обстановку Аргентины, а он, конечно, уже не мог понять изменений в нашем так называемом протекторате. Чтобы закончить картину, скажу, что он, во-первых, там мгновенно женился, первый раз очень неудачно. Встретил свою избранницу в бассейне, они купались вместе, и вдруг он решил на ней жениться, она охотно согласилась, а потом оказалось, что она жить с ним не хочет, но хочет получать от него деньги. Он был страшно расстроен, потому что алименты ему пришлось платить несколько лет, ибо тогда там не было развода. И только когда генерал Перон пришел к власти и видоизменил законы, Костя восславил Перона и развелся. В конце концов он женился опять, на этот раз по большой и проверенной любви. Вторая его избранница тоже была аргентинка - Бубу - у них трое детей. Академическая карьера его увенчалась в 1977 г. избранием его в почетные академики Академии естествознания при аргентинской Академии наук.

Замечательно, что Костя на всю жизнь сохранил совершенно донкихотскую верность и идеалам нашей молодости, и нашим личным привязанностям, и абсолютную верность мужской дружбе. К сожалению, русифицировать свою семью он в Аргентине не смог. Увы, это частая судьба

русских эмигрантов. <Академик Гаврилов был страшно подавлен известием о скоропостижной смерти Николая Ефремовича в 1982 г. и сам умер осенью этого же года, сражен, как сказали его старые друзья, печалью о смерти долголетнего друга Коки (ред)>.

ВТОРАЯ ПОЕЗДКА В ПСКОВО-ПЕЧОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

За зиму 1937-38 гг. проблемы, которые встали передо мной в Псково-Печорском монастыре, опять получили только гипотетическое обоснование. Я стал планировать поездку в Псково-Печорский монастырь, на этот раз один. В монастыре были определенные вещи, которые меня интересовали: Никольская церковь, статуя Николая Чудотворца и житие Николая Чудотворца вокруг него. Из этого жития хотелось заснять в красках клеймо, изображающее преподобного игумена Псково-Печорского монастыря Корнилия. По моим предварительным расчетам и тому, что я рассматривал, еще не размыв икону, явствовало, что икона была индивидуальная, в том смысле, что была написана вскоре после смерти преподобного в 1570 г. и имела определенную индивидуальную черту. Ему было в то время 69 лет, и на других иконах он изображался седобородым, а здесь борода была рыжей, и в этом я видел доказательство, что икону писал кто-то, кто еще помнил оригинал.

В то время цветная фотография уже существовала, но была далеко не так совершенна, как теперь, и, к сожалению, не было цветной пленки, которая появилась лишь после второй мировой войны и которая облегчила бы мое путешествие. Вообще, техническое оснащение у меня как исследователя было самым примитивным, в духе XIX века: глаза, тетрадь, перо, и, конечно, увеличительное стекло. Например, я занимался переписной книгой, и действительно переписывал ее, потому что не было технической возможности заснять полтораста страниц на пленку, тогда как теперь это заняло бы лишь два дня. Н.П.Толль научил меня технике цветных снимков, как их делали археологи, т.е. на 3 разных негатива, которые снимают какую-то часть краски, а если их соединить, то получается цветное изображение. Это очень сложная система, требующая абсолютной точности: если контрольные точки не совпадут хотя бы на четверть миллиметра, изображение не получится. Но ничего нельзя было поделать, я не мог обогнать технику фотографии, во-первых, во-вторых, все равно у меня не было бы денег, даже если были бы аппараты. Я приехал в Ревель, уже списавшись с тамошними фотографическими фирмами. Наиболее оснащенной оказалась фирма Ланге, который раньше имел ту самую табачную фабрику, на которую попал мой отец в 20-е гг. Ланге был английского происхождения, хотя и обрусевший. Он очень хотел снабдить меня автоматическими лентами для снимков, но у него их не было, так что

ничего не вышло, хотя он даже вел переписку и старался их заказать. Он рекомендовал мне в Печорах одного фотографа, который мог бы сделать цветные снимки на негативы. Я приехал в Таллин, родители были очень рады, да и я не меньше. Одно из последних свиданий с отцом было у меня этим летом в Екатеринентальском парке, когда мама прогнала нас на прогулку, пока готовила обед. Мы с ним, как когда-то в далекие времена моего отрочества, гуляли по чудным аллеям Екатериненталя, отец был в восторге от встречи со мной и очень много и интересно говорил. Поздней мы хотя и виделись, но всегда на людях, всегда второпях. После отъезда осенью 1938 я уже никогда не был в Эстонии, а отец умер во время войны.

В Печорах я остановился на этот раз у Гроздовых. Сам доктор Гроздов был, помнится, не очень здоров, его не было большей частью, но Мария Михайловна, его жена, продолжала энергично давать обеды и сдавать комнаты: у них был большой, благоустроенный дом, великолепный с точки зрения Печор. Я не очень хотел жить у Гроздовых, но моя хозяйка с Задней улицы не могла принять меня - она была нездорова, так что эта чудная комната с верандой, с дивным обрывом из сада, с дорожкой, по которой ходят утром за ключевой водой печерянки, отпала, и я попал к Гроздовым. Меня немного смущали некоторые сложности с молодым населением этой семьи. С другой стороны, это было удобно для мамы, которую я сразу пригласил и мы даже вместе поехали. Я настаивал, чтобы отец тоже приехал отдохнуть. В 1937 он очень этого избегал, ему казалось, что это эксплуатация меня и моих средств. Но в этот раз он согласился приехать на неделю, и я его удержал на две недели, и хорошо сделал. Я был действительно по горло занят: часть дня я переписывал, сначала, как и год назад, в ризнице, потом я уговорил уже вступившего в обязанности настоятеля монастыря архиепископа Николая, чтобы он мне выдал эту книгу на дом, потому что мне было гораздо проще сидеть за столом и не терять время на поход в ризницу и обратно, не задерживать ключарей, которые сидели и следили за мной, чтобы я не украл чего-нибудь из их библиотеки.

Архиепископ Николай, эстонец, но русской культуры, окончивший в свое время русскую Духовную Академию, это понял и разрешил. Но, несмотря на то, что я бешено работал, я не успел закончить, потому что меня вызвали раньше из-за столкновения с Германией по поводу Судет. Одновременно мы занимались снимками. Фотограф сделал несколько снимков, и некоторые были удачны. Неплохо снял житие и разные нужные мне предметы, в том числе некоторые подробности деревянной статуи Николая Чудотворца. Но, к сожалению, цветной снимок, на который мы так рассчитывали, не удался. Когда я привез его в Прагу и Толль отдал его напечатать, оказалось, что контрольной точки нет - очевидно, качнулся аппарат и снимок не получился. Это был большой удар, но все-таки снимки иконы преподобного Корнилия были сами по себе удачны, и из них

явствовало, что борода не седая, как на других иконах. В научном отношении, несмотря на все минусы цветной фотографии и медленную переписку переписной книги, все обстояло благополучно.

Я все больше и больше, знакомясь с библиотекой и архивом монастыря, понимал, что я прав, что это действительно было существенное явление Псковской области - не только возникновение этого монастыря, но и та помощь, которую ему оказал в первую очередь, Мисюр Мунехин, дьяк Великого князя, а затем и сами Великие князья и Иван IV. Постепенно накапливались данные и по составу библиотеки, и по синодику, который, по всей вероятности, был копией XVII века, но с ними нужно было обращаться очень осторожно. Там были и другие переписные книги, и все они свидетельствовали о сугубом внимании к монастырю московских властей. Это было не случайно, это была их территория, их московский монастырь. Параллельно с занятиями я много общался с разными людьми, как и год назад. Кое о чем я мог поговорить с епископом Иоанном, у которого тоже была интересная книга, сделанная им самим, -выписки из разных источников, большинство я знал, но кое-что из этой книги мне было очень интересно, он ссылался, например, на какие-то соловецкие рукописи, которые рассказывают о Псково-Печорской обители. Позднее эта ссылка подтвердилась некоторыми советскими изысканиями. Но епископ Иоанн мало что знал, кроме таких записей. Архиепископ Николай был интеллигентный, благожелательный человек, он был заинтересован, чтобы я поставил эти сведения на научную основу, я даже сказал ему, что если дело пойдет хорошо, можно будет написать специальный путеводитель по Псково-Печорскому монастырю и потом перевести его на разные языки, называя его уже не Псково-Печорским, а просто Печорским монастырем в Эстонии. Но для этого нужно пересмотреть материал. Я предполагал следующим летом приехать и сделать черновой набросок этого путеводителя, частично уже разработав его в Праге. Архиепископ Николай относился к этой идее благосклонно, это казалось ему полезным для монастыря и для всех: "И для вас и для нас".

В один из сеансов, когда мы работали с фотографом в Никольской церкви, явился туда о.Павел (Горшков), иеромонах, во время войны, при немцах, он был, кажется, настоятелем монастыря, за что потом поплатился - я читал в советской прессе невероятную белиберду о нем. Он был известный борец за трезвость, по его инициативе создались общества трезвости в разных центрах. Он особенно агитировал за то, чтобы ограничить пьянство в русских районах. Я, как водится, некстати сейчас же вспомнил Толстого, который был против обществ трезвости, говоря, что для того, чтобы не пить, не надо собираться, а если собрались, тогда давайте выпьем! Другая сторона толстовщины, опровержение его же собственных установок... О.Павел был интересной фигурой - интеллигент и в то же время убежденный монах. Я объяснял ему свои мысли, почему к житию Николая Чудотворца прибавлены Антоний и Феодосий Киево-Печерские, и Марк, и Корнилий

Псково-Печорские, и почему этот квадрат важен (параллельное изображение основателей двух монастырей: Киево-Печерский и Псково-Печорский) и какую роль он играл в XVI веке. Он очень заинтересовался. Потом опять пришел, когда я был один, и говорит: "Знаете, Николай Ефремович, Вы так преданно служите истории, а если бы Вы приняли иноческий чин, то монастырь открыл бы Вам свои духовные тайны". Что он подразумевал под духовными тайнами - в переносном смысле благодать Божию или какие-то тайны, известные только монахам, не знаю. Думаю, что скорее в общем смысле. Я ему сказал: "Отец Павел, я Вам очень благодарен за хорошее мнение, что я могу быть монахом, но я об этом не думал, правда, в детстве мне говорили несколько раз: Коли благодати Божией не лишится, то до архиерея дойдет - но это ведь можно понимать и в духовном смысле слова. Не обязательно стать монахом-архиереем, можно быть в чем-то на архиерейском уровне, хотя бы в книжных знаниях. Так что видите, "от юности моея мнози борют мя страсти" - хотя я уже не совсем молодой человек, но все-таки и не старый, поэтому я думаю, что о монашестве нельзя говорить". О.Павел покачал головой, сказал: "А Вы сразу ответа не давайте, но затаите в душе эту мысль, затаите и подумайте". Благословил меня и ушел. Очень он меня тронул.

В этом году опять был прием в Успеньев день, и опять было много водки, слишком много. Пригласили и моего отца, это совпало с его двухнедельным пребыванием у меня, он пел у них в хоре, и они сразу его оценили. Мы вместе бражничали с отцом и старались пить очень умеренно, потому что и он не любил, и я побаивался напиваться, потому что в предыдущий год меня нарочно пытались спаивать местные интеллигенты - чтобы, видимо, посмотреть, на что похож этот господин из Праги в пьяном виде. На большом пире мы не накачались, но потом нас напоили настойками в монашеских кельях - год назад этого не было. Нас с папой пригласили в две-три кельи, и всюду ставилась настоечка, которую мы выпивали очень осторожно, по одной-две рюмки, но когда вы три раза это повторяете, получается 6 рюмок, и настойки довольно крепкие. Так что отец мой в третьей келье уснул, и я последовал его примеру. В какой-то момент я проснулся, вспомнил, что мне надо показывать монастырь, я обещал, пошел туда и первые 10 минут было очень трудно говорить, все немного кружилось. Потом я взял себя в руки и читал лекцию, вызывая восхищение богомольцев и туристов, которые понимали по-русски, потому что, кажется, никто раньше в такой мере не освещал историю попутно не только монастыря, но и всего края. Когда я говорил о.Павлу "от юности моея мнози борют мя страсти", то имел в виду особое положение: действительно, грех жил рядом с монастырем. Я никогда в жизни не подвергался такому испытанию со стороны женщин, как в эти два года. В 1937 г. невероятные происшествия венчались Марусей Назимовой. Она непременно хотела меня совратить. Она вообще обладала необузданной склонностью к

сексуальным наслаждениям. Я ей категорически сказал: "Послушайте Маруся, со мной номер не пройдет, я друг вашего мужа и не собираюсь заниматься адюльтерами с женой моего приятеля". - "Ах,- говорит,- Вы ничего не понимаете, Кока, потому что это одна сторона жизни, а то - другая. Вы можете быть его другом и моим тоже". Но это ей не удалось. В 1938 г. это достигло кульминации. Год назад, когда я жил на Задней улице, были довольно светлые ночи, и я вдруг услышал, что кто-то царапается и стучит потихонечку в окно веранды. Я окна веранды все закрывал, а так как было очень жарко, то верхние рамы были открыты, но я спал не на кровати, а на полу за шкафом, так было гораздо прохладнее. Я посмотрел - это была Маруся. Я, конечно, не встал и не стал с ней объясняться, иначе получился бы шум и моя хозяйка могла бы увидеть ее. Я пролежал 20 минут, потом она, очевидно, решила, что меня нет, и ушла.

Наутро хозяйка сказала, что кто-то бродил вокруг дома, судя по следам на росе, подходил к веранде и хотел ее открыть. Я говорю, что если и хотел, то ему это не удалось, потому что я спал и ничего не слыхал. Не знаю, поверила хозяйка или нет. В 1938, когда мы стали жить у Гроздовых, было еще хуже. Маруся просто с криком требовала встретиться с ней в каких-то овинах, сараях, говорила, что берет на себя всю ответственность, просто с ума сходила. Я не собирался с ней откровенничать, она была по-своему интеллигентная женщина, с шармом. Но мне она не нравилась даже физически, а во-вторых, я знал, что с женами друзей ни в каком случае связываться не буду - и не связывался всю жизнь. Но Мария Михайловна с больным мужем поехали совещаться с каким-то профессором в Юрьеве. Сейчас же дочки и зять решили устроить ужин. Приглашен был Юрий Павлович Иваск, как раз Леонид Федорович приехал на 2 недели по своим археологическим делам, не по монастырским, и был приглашен доктор Розов, милый человек, замечательно умевший читать скорописные почерки, но мало что понимавший в существе исторических анализов. Был еще кто-то из местной интеллигенции, и развели малину. Рядом наша комната. В какой-то момент я оказался в этой комнате, не помню, за чем пришел, и в тот же момент врывается Маруся, и говорит: "Я Вас не пущу, вы должны мною овладеть, а если вы от меня сейчас откажетесь, то я подниму крик, разорву платье и сделаю вид, что вы хотели меня изнасиловать, и будет большой скандал". Я сказал: "Маруся, придите в себя, я Вам уже объяснил мою точку зрения, и вообще оставьте меня, пожалуйста, вне Ваших сексуально-маниакальных тенденций". Она решила броситься на меня - я от нее вокруг стола, совершенно как в библейском рассказе: жена фараона и удирающий прекрасный Иосиф. В этот момент открылась дверь, и вошла моя мама, которая с удивлением видит сына, улепетывающего вокруг стола, и Марусю, которая мчится за ним. Маруся была театральный жулик: увидев мать, она сейчас же бросилась к ней на шею и сказала: "Екатерина Александровна, я так несчастна, я так люблю Вашего сына, но он

отказывает мне". Мама ей сказала: "Маруся, Вы очаровательная женщина, но зачем Вы его хотите связать? Это ему очень мешает, оставьте его, Вы же знаете, что Ваша сестра очень интересуется им, и если Вы броситесь между ними, то ничего, конечно, не получится". Тася Гроздова уже в 1937 г. давала понять, что интересуется мною, а теперь, когда мы у них жили, она всем своим поведением демонстрировала, что без ума от меня. Должен сказать, она была интересная женщина, и мне очень нравилась. Но, во-первых, у меня был роман с Метой, о котором она ничего не знала, и я не собирался ее посвящать, а кроме того, у меня появилась еще одна тень любви, о которой я никому вслух не говорил. Так что я был начеку. Тася Гроздова была уже почти врач, она кончала Юрьевский университет, и я вполне понимал, что ей мое положение кажется лучше, чем есть на самом деле. Я второй год приезжал из-за границы в командировку - не каждый человек может себе это позволить. Так что замечание мамы было не в бровь, а в глаз. Маруся зарыдала, я воспользовался этим и ушел обратно в общий зал, где все ужинали, через некоторое время появилась мама, потом как ни в чем не бывало Маруся.

Зачем все это нужно было? Кроме того, был еще дом Сведзинских. Он - ветеринарный врач, друг-приятель Зурова, она - Екатерина Николаевна, урожденная Бакунина, какая-то ветвь Бакуниных. У них были две дочери, Таня и Ляля. Тяня красавица, за ней бегали эстонцы, она, кажется, крутила отчаянный роман с эстонским офицером, вокруг нее увивались и шведы, люди конкретных желаний. Таня была очень интеллигентная девица, одно время она бегала за Леонидом Федоровичем, даже ездила в Париж, но сразу поняла, что это мертвое дело, потому что он гол как сокол, и нет у него никакой точки опоры, кроме воображаемой литературной славы. В этом году она пошла в атаку на меня и все хотела сделать меня своим любовником, пустилась в откровенности: рассказала, что уже лишена невинности и даже кем лишена - доктором Гавриловым, не моим Гавриловым, а другим, более молодым, тоже из нашей гимназии, но это все ерунда, потому что она страшно любит меня. Это мне было даже интересно, но не нужно, и потом я не верил Тане Сведзинской. Как и Маруся, она была лицемерка и могла себя убедить в чем угодно. В этом отношении гораздо более цельной была Тася Гроздова. Но это время возникло у меня страстное, удивительное увлечение, которое, вероятно, если бы не началась война, могло быть наиболее реальным. Я познакомился с Ириной Крестинской. Она была племянница народного комиссара Н.Н.Крестинского, который в марте 1938 г. был расстрелян Сталиным по одному из процессов в Москве. Она была дочь его брата. Я не знал ее родителей, кажется, ее отец уже умер к тому времени, а мать вышла замуж за кого-то в Эстонии и поэтому смогла выехать вместе с Ириной. Это была интересная молодая девушка, с приятным голосом, миловидная, и с таким выразительным телом, которое, говорят, сводило с ума всех, кто на нее смотрел. Когда мы познакомились, на вечере в Русском

Просветительном обществе, она пошла со мной и с моей матерью, мы проводили мою мать, а потом я пошел провожать Ирину, потому что она жила в соседней деревне. Надо было пройти через овраги, ночь была светлая, уже солнце вставало, и мы были увлечены друг другом сверх головы. Я подумал, что она, может быть, больше, чем кто-либо, включая Мету, подходит мне, потому что она была русская, очень начитанная, знала много стихов, пела русские песни, была чувствительна к литературе. Но, с другой стороны, она была родственница Крестинского. Так что я представил, например, как привезу ее в Прагу -что бы там поднялось! Какое страшное было бы сопротивление, и я чувствовал, что надо сначала выяснить все эти сложные вопросы. Кроме того, я совсем не знал ее прошлого: может быть, она была влюблена в кого-либо, может, уже кому-то обещана. Как бы то ни было, это увлечение меня потрясло и помогло мне отстоять свою независимость от других женщин, которые в 1938 буквально клубились вокруг меня. Часть имен я даже не называю. В конце концов я ничего не решил. Как раз в 1938 кончилась моя исследовательская стипендия, которую я получал из президентской канцелярии. Бенеш уже не хотел тратить деньги на эмиграцию.

КОНДАКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

Институт Кондакова находился в критическом состоянии, потому что часть членов Института хотела переехать в Белград и там уже было теоретически основано отделение института под покровительством принца-регента югословенского Павла. Там были Острогорский, Мошин, Соловьев, наши члены и крупные ученые. Туда уже уехал Расовский, который должен был организовать отчетность и внешние формы отделения так, как они были организованы в Праге. Положение создалось тяжелое, потому что Институт был создан как Общество в Праге. Никакого постановления о ликвидации этого общества в Праге не было. И мы, начиная с традиций изданий, были тесно связаны с типографиями Праги. Когда обсуждался вопрос переезда в Белград, я с большим сомнением высказался относительно возможности продолжать Институт Кондакова в условиях, гораздо более ограниченных в отношении типографского искусства. Тогда думали на всякий случай сохранить базу в Праге и продолжать печатать издания здесь, но часть, отделение Института могло бы действовать и в Белграде, поскольку никак нельзя было предусмотреть, где и когда начнутся исторические передряги. Княгиня категорически высказалась против Белграда и считала совершенно невероятным, чтобы, как настаивали Расовский и Толль, и их поддерживали Острогорский и Мошин, явочным порядком туда увозилась библиотека и перебрасывались склады изданий и прочее. Она находила это неприличным, и хотя уже не было в живых Масарика и не было помощи от президента, тем не менее, она считала, что Чехословакия много лет оказывала поддержку Институту и нельзя воровским

образом все увозить. Надо сказать, что в общем Толль разделял эту точку зрения, но у него играл роль личный фактор: Георгий Владимирович Вернадский, к которому уже уехали Нина Владимировна с Танечкой, т.е. семья Николая Петровича, настаивал, чтобы Толль сдал дела в Европе и тоже переехал бы в США - тогда Вернадский мог бы выхлопотать ему визу именно из Белграда, через Югославию. Из Праги уже нельзя было выехать, потому что все места, что приходились на Чехословакию, были исчерпаны. Предполагалось, что Толль будет работать ассистентом у профессора Ростовцева в Йельском университете. Княгиня, которую я стопроцентно поддерживал, была права: в Чехословакии уже был принят закон, запрещающий вывоз ценных вещей, а наша библиотека представляла собой весьма ценный объект, и нельзя было вывозить нелегально со склада наши издания, иначе против нас могли начать уголовное преследование. Это было вполне реально, потому что за нами пристально следили, например, Николай Львович Окунев, член Славянского института, который находился в большой оппозиции к Институту и который, конечно, никак не хотел, чтобы такая прекрасная библиотека оказалась за границей. Он метил сам в директора или управляющие делами Института. У меня тоже был личный мотив: я не хотел еще более отдаляться от родителей на Балканы, тем более, что сербского языка я не знал и понимал, что его не так легко выучить и что я там буду вообще без опоры. Получилось как бы две группы: одна - югославянская, другая - антиюгославянская, и я принадлежал к последней. Главным деятелем Института в Белграде должен был сделаться Дмитрий Александрович Расовский. Конечно, по научной линии там мог сидеть Острогорский, но дела вел бы Расовский, с которым у меня были более чем прохладные отношения. Расовский начал действия против меня примерно с 1936 г. Ретроспективно я теперь понимаю, что, видимо, к этому моменту относится его внимание к Ирине Окуневой, а Ирина в это время относилась с большим вниманием ко мне. Я-то ничего тогда не соображал и не знал об интересе Расовского к ней. Но в 1936 г. у нас с ним начались столкновения. Он пытался действовать в открытую против меня, и это совпало с отсутствием Н.П.Толля, который был на раскопках в Сирии. Расовский пытался давить на меня, я сопротивлялся, сказал, что не собираюсь подчиняться ему, я автономный человек, в Институте у меня своя область научных исследований. Я сказал: "Послушайте, Дмитрий Александрович, я прекрасно понимаю, Вы хотите, чтобы я ушел из Института. Но я не уйду, так что Вы совершенно напрасно разводите конфликт". Он позеленел, и, одним словом, отношения у нас испортились. Этому помогла и Ирина Окунева. Ее поездка в Эстонию, очевидно, вызвала бешеную ревность у Расовского, а она еще своими рассказами и фантазиями подливала, я полагаю, неосознанно, чисто инстинктивно, масло в огонь. Зимой 1937/38 гг. создалась неприятная атмосфера. По-видимому, Расовскому очень не хотелось, чтобы я поехал в

Югославию, тем более, за ним туда поехала Ирина Николаевна, и, как потом выяснилось, она выходит за него замуж. Конечно, им не нужно было мое присутствие там: мое место прекрасно могла занимать Ирина Николаевна, и таким образом денежно это было бы легче для Института, значит, меня надо было выбросить. Я поговорил об этом с княгиней и генералом Чернавиным, который стоял на точке зрения княгини и как председатель ревизионной комиссии возмущался незаконными действиями правления. Это был 1938 г., летом я поехал в Печоры, и там получил телеграмму, что должен как можно скорей вернуться, т.к. Николай Петрович мобилизован в армию, а Расовский в Югославии. Именно поэтому я не успел докончить дела свои с переписной книгой, поехал в Таллин, присутствовал на спектакле Меты, обнял родителей и на следующий день в полном тумане в личных делах поехал через Польшу в Чехословакию.

Стоял дивный сентябрь, спокойный, солнечный. Польша была залита удивительным бабьим летом. В поезде, как всегда в Польше, было немного народа, и мы благополучно приехали в Варшаву, я пересел в чешский поезд на Прагу, который тоже был почти пуст. На чехословацкой границе в моем вагоне я был один, так что таможенники даже не смотрели мои вещи, они отдали мне честь, спросили мои документы: "Ага, да, Вы там работаете", сказали, что я храбрый человек, что возвращаюсь в Прагу, из которой все норовят бежать. Я приехал и поразился: Прагу нельзя было узнать. Конечно, стоял типичный запах вокзалов - до войны это был запах карболки, потому что утром ею мыли все платформы и все залы. Платформы были завалены мешками с землей, которые должны были по идее Совета обороны Чехословакии помогать защите целого ряда публичных объектов от возможных налетов немецких самолетов, такие мешки нужно было класть в окна, чтобы до предела уменьшить возможность ранения осколками и стеклами. Стекла к тому же переклеивались бумагой крест-накрест, не знаю, помогло бы это при настоящем налете, думаю, что нисколько, но это требовали. Я проехал по полупустой Праге, хотя, конечно, в центре на Вацлавской было обычное движение. Приехал на нашу Слунну 10, в Институт Кондакова, вот она, замечательная надпись, сделанная когда-то в эмалевой мастерской Татьяной Николаевной и Николаем Петровичем, когда они делали пробные вещи с эмалями. Сделали, в том числе, и замечательный крест, с перегородчатой эмалью, который производил на всех сильное впечатление. Оказалось, что никого нет, княгиня была на даче и еще не вернулась, с ней и ее сестра, монахиня мать Вероника. Татьяна Николаевна умерла несколько лет назад. Соседка передала мне письмо, оставленное хозяйкой дома. В нем было сказано, что как только я вернусь в дом, я должен сделаться начальником противопожарной и противовоздушной обороны и что все инструкции она прилагает. Я прочитал инструкции и пришел в ужас, потому что самая краткая гласила, что когда падают бомбы, температура которых будет от 3000 до 3500

градусов, вы должны подойти к ним, засыпать их песком и потом бросить в ведро с водой! Всюду стояли коробочки с песком и маленькие ведра воды. Это было совершенное безумие. Я вышел оттуда, поехал разыскивать Костю Гаврилова, и узнал, что он уезжает не позже 30 сентября в Бремен. Евгений Иванович Мельников уже не работал в Институте, потому что деньги для него иссякли раньше, чем для меня, и он уже с 1936 г. жил отдельно и занимался главным образом преподаванием русского языка. На горизонте показался Левицкий, огорченный и испуганный, как всегда, и тут к нам приблизился Юрий Владимирович Грохолинский, химик. Он неудачно окончил факультет, потом начал писать докторскую работу и на ней зашился. Что там произошло, не знаю, подозреваю, что он просто ничего не делал. И слетел со стипендии. Но в свое время я представил его княгине, и он ей понравился. Княгиня решила оказать ему помощь и достала для него какие-то деньги. Сначала небольшую стипендию дал на шесть месяцев М.М.Федоров, был такой меценат в Париже, который организовывал помощь русским студентам. Это дало Грохолинскому возможность окончить докторат по химии, кажется, в 1938 г., поскольку княгиня умерла в 1939, а он окончил еще при ней. Он был очень благодарен княгине и мне, потому что я старался их свести. Он был милый человек, с какими-то своими комплексами, но это меня мало интересовало. Он был свой человек, и мы решили, что время серьезное и нужно не терять чувство локтя, как мы тогда говорили. В Праге уже были правила затемнения на улицах вечером, на этой почве происходила масса всякой ерунды. Но Прага еще не понимала, в чем дело, и мы бряцали оружием. Николай Петрович был в армии как чешский подданный. Хотя в русской армии он в свое время был самым молодым полковником артиллерии на Кавказском фронте, а потом участвовал в Белом движении тоже как артиллерист, в чехословацкую армию его взяли рядовым. Он приехал навестить меня, в это время вернулась, наконец, из отпуска княгиня. Толль пришел в Институт в солдатской форме, с винтовкой, рассказывал ужасные истории - как его и других русских, бывших офицеров, фельдфебель нарочно гонял за пивом. Любопытно было, как быстро подавляет солдатчина даже очень яркие индивидуальные черты. Николай Петрович был рад, что я приехал, я уже вошел в дела, уже доложил ему обо всем текущем, но он мало чем интересовался, сказал, что сейчас сделает распоряжение и приедет Петечка Хмыров, его приятель - да и наш приятель - и привезет ящики, которые по распоряжению Николая Петровича готовились для отправки библиотеки.

Он уехал обратно в полк. Княгиня была рада меня видеть, но вообще была подавлена всем происходящим в Чехословакии и очень обеспокоена, что будет с Институтом. Появился Петр Алексеевич Хмыров и привез изумительно сделанные ящики для книг. Он хотел укладывать книги, но тут я сказал, что не могу начать эту акцию, потому что у меня нет никаких распоряжений Толля, во всяком случае, если я это буду делать, то должен

составить списки - что отправляется. Петра Алексеевича всегда легко было уговорить, и мы с ним отправились в ближайшую пивную, где он остроумно изображал, как все передрейфили в Праге, как никто ничего не понимает, а дело идет к настоящему столкновению, хотя он почему-то был уверен, что столкновения не будет и что чехи в последнюю минуту сдрейфят. Невысокого мнения он был о чешской храбрости.

Приблизительно так и получилось: 30 сентября был подписан Мюнхенский договор, после чего оказалось, что войны не будет, ибо чехи отдавали Судеты Германии без боя. На этой почве были грандиозные спазмы народного гнева, десятки тысяч чехов чувствовали, что это конец их государства: всего 20 лет существовала независимая республика, и вот она погибает. Они бросились к президентскому дворцу, требовали активных действий. Временно был назначен главнокомандующий Сыровы, генерал, которого пресса раболепно сравнивала с Жижкой, потому что он, как Ян Жижка, один из руководителей гуситов, тоже был одноглазым. Генералитет был рад, что не будет борьбы, потому что в этих условиях, как потом мне сказал Войцеховский, борьба была безнадежна. Австрия была уже занята немцами, т.е. Чехословакию обошли с Запада, и при отсутствии французской поддержки никакая борьба не могла продолжаться долгое время. Был бы просто разгром - вероятно, показательный - города Праги. Войцеховский, который командовал вторым пражским военным округом, сказал, что понятно, почему правительство пошло на капитуляцию. Чехословакия была предана лордом Ренсиманом, специальным послом, приехавшим от имени британского правительства в начале 1938 г. При нем офицерами связи состояли два брата Шварценберга, потому что они говорили по-английски, и они уже тогда сказали, что дело безнадежно, потому что Ренсиман ничего не понимает и не хочет понимать в чехословацких делах и все предопределено. Кончилось тем, что Бенеш улетел на Запад. Он говорил перед этим: "Мам <имею> план", дескать, не беспокойтесь. Потом люди к этому добавили: "Мам план - аэроплан", так как он действительно улетел на аэроплане. После этого начался ликвидационный период, чехам пришлось отойти со всех укрепленных позиций в Судетах, и всех мобилизованных стали отправлять домой.

Толль с радостью снял военные доспехи, как он говорил, и стал опять сугубо штатским. И говорит: "Я уеду в Америку. Из Белграда мне дали знать, что тамошний посол и консульство имеют для меня визу. Это вопрос времени, я должен ехать в Югославию, зарегистрироваться, и возможно, очень быстро, через несколько недель, я уеду. Но до этого надо вывезти все эти книги". Тут я ему с глазу на глаз сказал: "Дорогой Николай Петрович, Вы знаете мою точку зрения официально, теперь я ее повторяю, что, по-моему, это невозможно". Он говорит: "Что невозможно?" - "Вывоз имущества, мы не можем его вывезти, потому что его задержат". - "Это предусмотрено, вывезем не мы, а югославянское посольство". Мы виделись

с послом, высоким, очень любезным сербом, разговаривали мы по-чешски, так как мы по-сербски ничего не знали, а он не знал русского. Он сказал, что если у нас 2 ящика, он их может принять. Эти 2 больших ящика, которые принес Петечка, Толль набил книгами. Меня в этот момент не было, а когда я вернулся, книги были уже в ящиках. Он хватал с полок то, что ему казалось ценным, и даже не успевал записать, что отправляет. Я был в ужасе, протестовал, но он сказал, что у меня склонности типичного бюрократа, а сейчас не время заниматься бюрократией, надо вывозить, потому что или немцы все возьмут, или будет резня и все погибнет, то, что будет вывезено в Белград, то и останется. Он погрузил ящики в грузовик, и мы отвезли их в югославянское посольство, где швейцар с большим неудовольствием их принял, положение спасли только ссылки на посла. Затем Николай Петрович сказал, что есть ящики еще и Петечка может сделать, сколько нужно и я должен постепенно все упаковать. Я сказал: "Позвольте, Николай Петрович, Вы исчезаете, как исчезли все старшие члены - а что же я буду делать здесь? Обо мне никто ничего не сказал, визы мне никакой не выхлопотали, так что я должен быть здесь?" - "Конечно", - говорит он,- "Вы должны быть здесь, защищать имущество". - "Как же я буду защищать, спрашивается?" - "Вы будете управлять всеми делами, там отделение Института, а здесь база, и все дела идут сюда, и то, что, по-вашему, надо переслать в Югославию, Вы перешлете или будете действовать по собственному разумению". - "Прекрасно, какие же у меня будут полномочия?" - "Полномочия я Вам дам все". Он пошел со мной в банк и подписал бумагу - все финансовые дела, счет в банке и то, что мы там имели в сейфах, и ключи от сейфов передаются мне. Доктор Андреев является полномочным представителем Института Кондакова по финансовой линии. Толль оставил мне бумагу, что он как товарищ председателя правления Института передает временно текущие дела Института в мое ведение. Это было какое-то основание. Он уехал. Все это вступало в силу с 1 января 1939 г. Толль решил уехать в декабре. Он пошел к княгине, которая была очень недовольна его поведением. У них был крупный разговор, и он даже позволил себе какие-то грубости, сказал ей, что она уже так стара, что перестала видеть вещи в реальном свете. Она сказала: "Но я продолжаю видеть их так, как требуется по честности, по совести, а то, что Вы называете реализмом, это жульничество". Хотя они друг друга ценили, Николай Петрович был крайне недоволен, ушел оттуда, пыхтя как паровоз, и больше никогда там не появлялся, а княгиня была совершенно больна, потому что она, кроме всего прочего, любила его и понимала, что он вошел в такую комбинацию, не для себя, а для дела, но, тем не менее, она считала это неправильным. Ее поддержал Виктор Васильевич, который приезжал к княгине ежедневно, и я тоже разделил эту точку зрения. Я показал удостоверения, сказал, что финансы в моих руках и что 2 больших ящика с книгами - это его дело, но больше библиотечные книги отсюда не

уйдут. Первое, что я сделал,- отчитался сам себе, сколько в банке денег и какие у нас отношения с типографиями. Все было очень удовлетворительно, какие-то деньги были и должно было прийти много сумм за продажу книг, в подвалах было много угля, так что я чувствовал, что мы еще поборемся. Склад изданий был в основном еще в Праге, хотя во время моего отсутствия Толль успел до своей демобилизации отослать какие-то дубликаты изданий. Ознакомившись с протоколами заседаний правления и другими директивными бумагами, я увидел, что нет ни слова о том, что решено посылать библиотечные книги за границу и невозможно представить себе юридически ликвидацию Института, поскольку об этом нигде не говорилось.

Главная моя задача, насколько я понимал (так как происходила перемена власти и у нас была оппозиция в лице Славянского института, который благодаря Николаю Львовичу Окуневу подозревал, что мы хотим удрать в Югославию со всеми нашими ценностями), была найти или оформить юридически определенные точки опоры. Что там в Белграде - их дело, там мы ничего не могли сделать, но в Праге была база, и юридически все должно было быть четко. Мы решили, что так как я теперь веду дела, то не могу быть одновременно членом ревизионной комиссии. Поэтому я ушел из членов ревизионной комиссии и был приглашен Е.И.Мельников. В правлении теперь были княгиня Яшвиль и я, а в ревизионной комиссии -генерал Чернавин и адоптированный член, Е.И.Мельников. Это были уже какие-то правовые рамки. Как я потом увидел, правовые рамки играли очень большую роль для любых властей. Теперь мы могли действовать. Совершенно очевидно было, что посылка книг в Югославию в этих условиях шла бы вразрез постановлениям чехословацкого правительства о вывозе ценностей без особого разрешения.

Всю историю взаимоотношений между учреждениями я изложил в своем английском мемуаре[1], где подробно осветил технико-юридические проблемы, возникшие, когда мне пришлось защищать Институт не только от чехов, не только от немцев, но и от белградского отделения, которое абсолютно ничего не хотело понимать в местной обстановке и приводило в смятение всех моих консультантов - и юристов, и просто людей здравого смысла. Думаю, что в этом был повинен не столько Острогорский, который, видимо, вел политику умовения рук, сколько Д.А.Расовский. Он, видимо, очень хотел сделать мне лично неприятность, чтобы меня выкинули взбешенные члены Института либо чтобы у меня были неприятности по линии административной. Может быть, это излишняя подозрительность,

[1] После очередного разговора с студентом, который писал работу о Кондаковском Институте, в августе 1968, Н.Е.Андреев записал свои воспоминания об Институте, и особенно о том, что произошло во время войны. Он послал этот отчет профессору Г.В.Вернадскому, князю Карлу Шварценбергу и Е.Е.Климову. См.: L.Hamilton Rhinelander "Exiled Russian Scholars in Prague: The Kondakov Seminar and Institute". Canadian Slavonic Papers, XVI:3, 1974, p.331-351.

но, к сожалению, обстановка была очень напряженной, каждое письмо из Белграда было источником у ж а с н ы х волнений. Расовский и добился бы, может быть, каких-нибудь санкций против меня, но два фактора сыграли свою роль: во-первых, он не учел того, что Институт в Праге продолжал печатать “Эхкаватионс ат Дура Эуропус” - в печати был 5-й или 6-й выпуск этого монументального издания. Оно печаталось в “Политике” под нашим наблюдением, и все дела по печатанию Толль передал мне. Печатание не могло быть закончено раньше середины лета, так что никакие мероприятия против меня до той поры не могли быть проведены. Во-вторых, когда Толль оказался в Белграде и увидел тамошние дела, то написал мне очень интересное письмо: действуйте по вашему разумению и не слушайте, что Вам пишет Рася - так он презрительно называл Расовского. Насколько я понимал, на Толля удручающе подействовало не только отсутствие типографской базы для продолжения издания в Белграде -это он увидел сразу по приезде, хотя мы твердили ему об этом полтора года, но его поразила и домашняя окраска всех дел в отделении: Расовский и его супруга, а все остальное вовне. По-видимому, Николай Петрович ощутил, что даже его не хотят информировать как следует, потому что он уже отрезанный ломоть, уезжает за границу, в Америку. Так что он как бы изменил свои инструкции мне. Ибо “Рася” писал одну ерунду за другой, совершенно антиюридическую, нес просто чепуху. На этом фоне прошло у нас начало года, и постепенно нам удалось выяснить при помощи Е.А.Мельникова, которому я предоставил платные занятия в Институте, какие книги впопыхах Н.П.Толль отправил в Белград. Правда, дубликатные издания выяснить не удалось, у Расовского не было цифр. Все это у нас было объявлено секретными сведениями, потому что я не хотел, чтобы Славянский Институт на нас сердился. Я сказал Н.Л.Окуневу, который приходил и под видом занятий в библиотеке занимался сыском: “Имейте в виду, что кое-какие из этих книг были взяты лично Острогорским в последний раз, когда он был здесь”. Поведение Белграда было неколлегиально и страшно глупо, даже преступно, они ставили нас в положение нарушителей финансовых постановлений чехословацкого правительства, и это могло грозить неприятными последствиями, вплоть до ареста и суда. Ревизионная комиссия и доктор Вышовец, которого я привлек как юриста, понимавшего обстановку, приходили в ужас. Перед отъездом Николай Петрович дал мне совет консультироваться в некоторых случаях у Петра Николаевича Савицкого, который работал в пражском Немецком университете и имел в этот момент хорошее положение ввиду крепнущего влияния Германии в Праге. Кроме того, Савицкий, как сказал Николай Петрович, человек искренний и несомненно сочувствующий Институту, и, если с ним поговорить, он даст совет по совести. Я имел с ним разговор в феврале в связи с глупыми письмами из Белграда, объяснил ситуацию, и он немедленно принял мою точку зрения, считая, что это

просто игра с огнем: “Будьте страшно осторожны с ответами,- сказал он,- их могут сфотографировать, и Вам предъявят обвинение в тайном вывозе имущества”. Этот разговор оказался очень полезен для будущего: Петр Николаевич занялся проблемой нашего Института, что имело целый ряд положительных последствий и для Института, и для него самого.

ПРЕДВОЕННАЯ ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Общее положение в Чехословакии в этот момент было в высшей степени напряженным, действовала так называемая Вторая Республика, во главе с президентом Хаха - просто бюрократом, но еще австрийской выучки, его единственным достоинством было безукоризненное владение немецким языком. Но, конечно, он понимал все так, как понимала Австрия, он не был человеком нового стиля, как Адольф Гитлер. К тому же чехи не только потеряли Судеты - немедленно Словакия объявила себя независимой, Прикарпатская Русь уходила из-под влияния Праги, потому что ее захватывала Венгрия. Советский Союз, на который так уповали чехи, и Сталин - “наибольший славянин” всех времен - и ухом не повели при виде того, что происходит с Чехословакией. Отчаяние чехов было искренне и велико, они разочаровались в Англии, во Франции, в своих союзниках вроде Польши, ибо Польша тоже захватила кусок их территории, они разочаровались, конечно же, в немцах, а теперь и в Советском Союзе - их бросили все. Единственный способ выжить был - приспособиться к новой обстановке.

В этих условиях все выжидали, старались, если возможно, уехать за границу, туда стремился поток евреев, которые очень опасались влияния, а, может быть, и прихода немцев. Наш эпизод с Институтом на этом фоне казался, с одной стороны, мелким, а с другой, симптоматичным, потому что мы старались выйти сухими из воды, в то время как погибала вся республика. С этой точки зрения как бы оправданными выглядели действия Расовского, но практически это нереально было сделать, даже согласившись с его воззрениями. Когда Толль благополучно отбыл в Новый Свет, сношения с ним стали спорадическими, он все больше от нас отходил, просто потому, что был вовлечен в совершенно новую обстановку и новые проблемы. У нас создалось впечатление, что немцы несомненно будут политически давить на Прагу. Но мы все-таки не ожидали, что они дойдут до того, чтобы ввести войска. Но это произошло 15 марта. 14-го вечером ко мне прибежала хозяйка нашего дома и сказала, что было очень странное радиосообщение, которое напоминало, что Прага старый германский город. Хозяйка-чешка была страшно возмущена: “Мы же независимы, у нас хоть и маленькая республика, но независимая...” Я никак не мог ее утешить, сказал, что, может быть, это просто не очень точная передача. Но 15 марта рано утром, в 6 часов, хозяйка прибежала опять, и когда я

спустился и пошел к дверям Института - моя комната была при Институте - она сообщила: "Знаете, пан доктор, сейчас говорили, что немцы входят не только на всю территорию нашей республики, но и в Прагу". Я быстро оделся, побрился, схватил зонтик - был дождливый день - и побежал в центр. У меня не было радио - я тогда считал, что это до известной степени потеря времени. Я побежал на Вацлавскую площадь, думаю, часов в 8.15. Она была запружена народом, большинство с зонтиками. Едут немецкие войска. Пражская полиция впереди расчищает дорогу, отодвигает толпы, затем едут броневые машины, потом мотоциклисты на низкой скорости и бесконечным потоком грузовики, на которых сидели немецкие солдаты с винтовками, в касках. Это была демонстрация немецкой силы, и они ехали в направлении Градчан, где должен был появиться назначенный протектор Праги, фон Нейрат. Было пронизывающе острое ощущение конца Чехословакии и эры чехословацкой свободы. Толпа пела чехословацкий гимн, люди плакали, одна женщина выскочила и плюнула на солдат, которые проезжали мимо в грузовиках, одному солдату плевок попал даже на щеку и он его не тронул - не заметил, что ли, женщина скрылась в толпе. Солдаты проехали, народ стал растекаться во все стороны, многие шли и плакали. Было чувство бессилия, чувство ужасного смятения: как же это? 20 лет мы работали рука об руку с Францией, и вдруг нас так предали. 20 лет мы составляли основу Малой Антанты, 20 лет нас старались тренировать на случай немецкой опасности, и вот немецкая опасность появилась, и ни одного выстрела, все капитулировали, и впереди неизвестность.

Я пошел на главный почтамт и написал открытки родителям и Мете. Что меня поразило - рослые гиганты - СС - ходили, ласково улыбались и заговаривали с чехами по-немецки, и все чехи, начали хорошо говорить по-немецки. Такой быстрый переход меня поразил, я так был занят своими делами, что не заметил, что немецкая культура уже существует в чешском мире. Это была необходимость приспособиться, выработанная у чехов их историческим опытом. Они были, по сути дела, большие националисты маленькой республики, небезукоризненны в отношении своих меньшинств, всегда старались доминировать над словаками, над теми же немцами, карпатороссами, включая даже цыган, которых было довольно много в венгерских районах Чехословакии. Но я вполне понимал: то, что происходило сейчас, было вызвано отчаянием. Мы знали от разных друзей, что в ночь на 15 марта улетело много чешских офицеров генерального штаба, в том числе чехословацкая разведка.

Чехословацкая свобода отцвела, а она была прекрасной реальностью так называемой Версальской Европы. Я лично мог бы засвидетельствовать, что за все годы жизни в Чехословакии меня никто не спрашивал о моих политических убеждениях, никто не делал каких-либо заключений на основе моего мировоззрения. Я помню, как во всех киосках до чехословацкого кризиса, искренно удивляя советских граждан, все больше и больше

приезжавших в Чехословакию в 30-е гг., рядом стояли “Фолькишер Беобахтер” - нацистский орган - и “Правда”. Продавались газеты всей Европы - фашистские, нефашистские, какие угодно. А в книжном магазине вы могли найти решительно все: от сочинений Сталина до публикаций Муссолини. За исключением одной книги: “Майн Кампф “ Адольфа Гитлера была запрещена в Чехословакии. (По другим причинам были запрещены сочинения генерала Сахарова и некоторых других русских, писавших о российском золотом запасе, захваченным когда-то в Казани чешскими легионами.) За этими оговорками свобода была безусловная, существовали все партии, от фашистов до коммунистов, они находили отклик и в прессе, и в повседневной деятельности свободных чехословацких граждан. В этом отношении Чехословакия была безусловно страной демократической в самом хорошем смысле слова. Была также большая языковая свобода, лоскутная монархия Австро-Венгрии превратилась в лоскутную республику Чехословакию в уменьшенном составе, тем не менее, эта лоскутная Чехословакия имела одно преимущество: она не настаивала на чешском языке в школах. В них можно было найти разные языки меньшинств Республики.

Я с удовольствием вспоминаю первого президента, президента-освободителя, как его стали называть позднее, Томаша Гарика Масарика: как он ездил верхом на прогулке в парке около Градчан, и как символично было, что с ним ездил только один адъютант, и то он больше хлопотал над своим конем, чем охраняли президента. Публика останавливалась, снимала шляпы, кланялась, дамы приседали. Он всем неизменно козырял в ответ, улыбаясь, глядя сквозь неизменное пенсне. Он был символической фигурой: казался воплощением мудрости и той счастливой гармонии, которая не так часто сопровождает политических деятелей. Он был ученый, политик, идеалист и в то же время уверенный кормчий государственного корабля. Конечно, критики, оппозиция нападали на президента Масарика по разным поводам, но теперь мы должны признать, что для первой Чехословацкой Республики Масарик был самым, по-видимому, удачным из возможных решений. Человек выдающихся качеств и выдающейся честности. Первой Чехословацкой Республике посвящена прекрасная книга Марка Львовича Слонима “По золотой тропе. Из чехословацких впечатлений”. Она великолепно воссоздает атмосферу времен республики с ее единоустремлением народа. Чехословацкая Республика имела много достоинств: политические свободы, принципиальность установок, несклонность к диктатурам и насилию, дешевизну и обилие продуктов. Действительно, первая республика ела досыта, даже те, кто имел денег в обрез, могли отлично питаться. Мясо и особенно знаменитые колбасные изделия - “парки”, двойные сосиски, и “вуршты”, толстенькие колбасные сосиски, особый культ гусей - забавным образом индюшки не были столь распространены, как гуси, но гуси были в любом ресторане первоклассные

и замечательно сочные - это было удивительное блюдо с кнедликами, капустой и яблоками. Конечно, все заливалось огромным количеством пива, но в целом республика жила замечательно. Профессор Горак в своем курсе сравнительной истории славянских литератур был совершенно прав, когда подчеркивал разные доминирующие черты отдельных славянских литератур: крестьянский эпос - это югославянские литературы, аристократизм - это польская, русская литература преимущественно интеллигентская, как бы не проводящая классовую точку зрения, и - мелко-буржуазная чешская литература: какие-нибудь "Малострански повитки" - малостранские рассказы - голос городского мещанства. Неудивительно, что связь с городской мелкобуржуазной стихией сильно сказывалась в Первой республике. Например, было известно, что все чехи до известной степени рабы костюмов, существовала даже такая реклама: "Одежда делает человека, "Негера" - фирма - делает одежду", отсюда логическое заключение, что Негера создает человека. Противники Чехии ссылались на национальную оперу Сметаны: "Проданная невеста" и говорили: Видите - невеста, и та продана". Эти черты можно оправдать, если угодно, чешской цивилизацией той поры.

Национальная гордость распространялась, например, на футбол. В 1936 или 1937 г. на чемпионате Европы чехословацкая команда проиграла в Риме, но когда она вернулась, в Праге ее встречали, как будто команда выиграла кубок: буквально сотни тысяч вышли навстречу футболистам. Их несли на руках, газеты вышли с такими заголовками: "Наши золотые мальчики". Национальная гордость диктовала иногда смехотворные утверждения, например, чехи гордились, что Аль Капоне, знаменитый американский гангстер, - чешского происхождения. Одно время была популярна теория, что Адольф Гитлер тоже чех! Полное сумасшествие. Но несмотря на пиво, несмотря на чрезмерное увлечение мучными и мясными изделиями, чешская жизнь имела много положительных черт, именно потому что стремилась создать устойчивый быт. В Сочельник - он праздновался больше всего - трамваи не ходили уже с 6 часов вечера, и в этот - "сватый (святой) вечер" - приводили всех одиноких или бездомных, которых встретили на улице, если знали, что человек сидит один дома, его приводили в семейный дом и угощали традиционной рыбой - карп приготовлялся чрезвычайно вкусно, потом был традиционный гусь и всевозможные сладкие блюда, пряники и все, что угодно. Это было отражение, если хотите, сложившегося уклада. Я ценил, что чехи в большинстве случаев не отрывались от этого уклада, это была основа чехословацкой жизни, и очень приятная основа. В мое время у чехов не принято было приглашать гостей в дом, это бывало редко, в виде исключения, в дома, которые были, как бы сказать, европеизированы. Поразительные вещи разыгрывались: например, со мной был случай - профессор пригласил меня в кафе, мы пили, потом принесли пирожки, я колебался, брать ли, он говорит: "Берите, конечно, берите", - и я взял.

Потом, когда мы уходили из кафе, вдруг за мной бежит подающий и говорит: "Вы не заплатили". Я был поражен: он меня пригласил, но ему и в голову не пришло заплатить за меня, хотя он и ободрял меня, чтобы я взял пирожное и пирожок. Вот как складывался быт. Его можно было осуждать, но, с другой стороны, этот быт был колоритен и по-своему очень основателен. Мелкобуржуазный принцип "я плачу за себя, но не за других" был очень силен в Чехословакии, он был даже выгоден: вы знали, как себя вести, и брали то, что могли, а не то, что брал ваш сосед с большими финансовыми возможностями. Если вы ехали на восток - переезжали польскую границу - то сразу попадали в сферу других обычаев и традиций. Что меня лично поражало в период свободной Чехословацкой Республики - слабое понимание России, несмотря на то, что десятки тысяч чешских легионеров прошли через опыт русской революции и поэтому отрицали коммунистический режим. В целом Россия, ее возможности, ее история оставались туманными для большинства чехов. Существовал такой примитивно-лубочный образ: громадная страна, скачущие тройки, волки, позднее казаки, вообще что-то странное. Не удивительно, что чехам нравились песни о Стеньке Разине, с контрастными переходами от любви к тому, чтобы сразу утопить любовницу, или о Кудеяре-разбойнике, потом ставшем праведником. В 1937 г. умер "дедушка русской революции", как мы его называли, Егор Егорович Лазарев, который долгие годы провел в разных местах заключения, как социалист-революционер. Он был очень популярен в Праге, не только среди чехов, но и среди русских, потому что был, как говорили, справедливый старик, он все свое отрицание перенес на большевизм, и так же, как А.Ф.Керенский, он искал широкого фронта борющихся против Сталина и компании. Его редкие выступления всегда были интересны, он не был ни левый доктринер, ни правый, это был просто Егор Егорович Лазарев. Когда он умер, его сожгли в крематории, собралось много видных чехов, левых эсеров, и просто эсеров, и представителей русской колонии, и всякой твари по паре. Все было, как положено, при сжигании играли соответствующую музыку. И вдруг в конце исполнили "Стеньку Разина"! Они решили, раз такой крупный русский сжигается, надо почтить его национальной песней! Таков был уровень понимания и знания России.

Я с интересом в свое время отмечал, что, например, знаменитый казачий хор - так называемый хор Сергея Жарова - довольно часто приезжал в Прагу и всегда имел огромную аудиторию в четыре с лишним тысячи человек в самом большом зале "Люцерна", посреди города, и всегда успех. Но что нравилось? Нравилась контрастность пения: Жаров в первой части всегда давал церковные песнопения, а потом по контрасту - народные и казачьи песни. То тихо, то громко, русская душа туда-сюда прыгает. Вообще понятие "русской души" в Чехословакии бытовало широко. Когда в 1936 г. приехал Краснознаменный ансамбль песни и пляски, мы впервые

услышали такие номера, как Полюшко-поле", и увидели знаменитые танцы почти с выпрыгиванием в публику. Зал ревел от восторга: "Да здравствует Красная Армия", "Да здравствует товарищ Сталин!" Из этих тысяч, может быть, человек 500 русских эмигрантов не кричали. Нравилось что-то неуловимое, широкое, русское, с громом, с пеплом. Характерным образом о России не было ничего путного написано во всей чехословацкой литературе, или было что-то очень странное, содранное часто с русских романов, или написанное под влиянием советской поэзии, некоторые новейшие чешские поэты, как Незвал, например, - подражали Маяковскому. Не столько сути дела, хотя и перенимали советский жаргон, но всяким контрастам, которые обнаруживали ритмы русской новейшей поэзии. Я лично огорчался: такой, в общем, талантливый славянский народ, как чехи, трудолюбивые, чрезвычайно энергичные, преодолевающие всевозможные трудности, в основном питают к России как бы непреодолимую любовь - ни австрийские рогатки не могли удержать их, ни страх перед коммунизмом, ни позднее немецкая оккупация - и в то же время они видят Россию криво. Поэтому я с ужасом и, увы, с душевным пониманием наблюдал события так называемой Пражской весны. Это были уже хорошо мне знакомые преувеличения русских мотивов, объективного отношения к России у них никогда не получалось. Тем не менее, они ее любили, и за эту любовь я им многое прощаю. Невозможно добиться адекватного отношения разных народов к вашей стране, особенно к такой стране, как Россия, которая являлась зачинщиком величайших смут и треволнений для всех других народов Европы и мира. И все-таки я жалел, что понимание России у чехов было стихийным и чрезвычайно неуравновешенным. Я думаю, что Масарик, которого русские эмигранты так любили поносить как врага России гораздо правильнее подходил к ней, недаром его ценили русские академические круги. Он понимал, что там было хорошего и что необходимо менять. Конечно, он не был сторонником Православия - зачем? Это частное явление, Россия не покрывается Православием, и Масарик с его гуманными и христианскими принципами, в это же время вполне понимающий выгоды западноевропейского парламентаризма и искусства политической борьбы, может быть, понимал Россию не столь уж плохо, как нам кажется.

Одним из весьма важных явлений первой Чехословацкой Республики было несомненно сокольство. Оно возникло в XIX веке и было нацелено на воспитание молодежи в гимнастических обществах не только физически, но и духовно. Оно направляло национальные интересы. Интересно, что большинство политических деятелей конца XIX и начала XX веков проявляли себя как сокола. Таким был и президент Масарик. Эта традиция в последние годы Первой Республики была очень ярко выражена. Сокольство началось в городах, в мелкобуржуазных группах населения. Потом перебросилось в провинцию и вышло за пределы Австрии.

Первые русские сокола появились перед первой мировой войной. Однако была большая разница между русским и чешским подходом к таким гимнастическим обществам. У нас всегда смотрели на спорт как на нечто второстепенное с точки зрения интеллектуала. В Чехословакии старались слить эти понятия. Поэтому они, например, придавали большое значение работе на гимнастических снарядах. Я считал эту традицию ошибочной - не все ведь великие спортсмены, важно чувство массовости, команды, и в жизни и в спортивных занятиях. А это возможно и без специального внимания к гимнастическим снарядам. Русское сокольство тоже существовало, оно открыло свои ячейки в других странах: в Болгарии, Югославии и, кажется, во Франции. Но это были чисто спортивные явления, интеллигенция туда не пошла. Руководители сокольства в Чехословакии вызывали у русских снисходительное отношение: "Ну, да, конечно, они соколы". Сокольство осталось в русской эмиграции неразвившимся эмбрионом, возможно, потому что не было чисто русским. Но в чешской среде сокольство получило другой резонанс, и уже в конце 30-х гг., когда нарастала угроза самому существованию Республики, когда уже слышалось "гром победы раздавайся" нацистов, массовая демонстрация абсолютной верности соколов Чехословацкой Республике и идеалам славянства имела действительно общенациональное значение.

Последний слет Сокольства, по-моему, в июне 1938 г., был чем-то большим, чем просто гимнастический праздник, в облике этих закаленных гимнастов, прибывавших десятками тысяч со всех сторон Республики на массовые выступления и спортивные соревнования, проходивших церемониальным маршем по всей Праге, запечатлелась организованная воля. Это было многочасовое импозантнейшее зрелище: нескончаемым потоком шли сокольские ряды, все время приветствуя публику, и публика приветствовала их: "Да здравствует славянская Прага!" Этот крик получал уже свое трагически-историческое звучание, хотя мы еще не знали, что часы Республики сочтены. Любопытно, что в этом сокольском слете принимала участие даже маленькая группа американских соколов, чехов, эмигрировавших в Соединенные Штаты и там тоже в память своих предков, в память традиций, создавших маленькие ячейки гимнастов. Они шли тоже со своим знаменем и вызвали особенно бурные крики восторга, потому что народ наивно думал, что такие группы американских соколов могут побудить Америку более активно участвовать в политике, касающейся судьбы Средней Европы вообще и Чехословакии в частности. Были и соколки - женские группы, в частности Ирина Вергун была соколкой. Я, правда, не знаю, что она там делала, но сокольский мундир ей очень шел, как, впрочем и все другие типы платьев и костюмов. У католиков была аналогичная организация - "орлы", гораздо малочисленнее, потому что строилась на подчеркивании принадлежности к католической Церкви. Когда пришли немцы, через некоторое время начались репрессии, они,

видимо, всерьез прочесывали списки соколов, потому что само возникновение их в XIX веке было антинемецким явлением, сокола имели идеалом свободные славянские страны. Надо отдать справедливость организаторам последнего сокольского слета - он был проведен великолепно, самодисциплина масс была отличной, а воодушевление не знало конца и края. Это оказалась последняя праздничная манифестация свободной чехословацкой державы. О славянском родстве между Россией и Чехословакией ежедневно напоминали цвета национального флага, те же, что и на русском флаге, только в ином чередовании: красный, белый, синий. Как бы в унисон с этим родством, существовавшим даже вне прямых влияний истории - просто сродство племен - я с особенной благодарностью думал о том, что дала Чехословакия русской эмиграции и вообще русским, а в частности и мне. Несомненно, что она привлекала русских идеями гуманизма и свободы. Имя Яна Амоса Коменского, великого гуманиста и педагога, было известно русским еще в 90-е гг. прошлого столетия, когда праздновалось его 300-летие и русские школы пели в честь него гимн. Мой отец помнил его еще со школьной скамьи:

В этот год, тому три века, муж великий был рожден,
и на благо человека светлый ум свой отдал он.
Амосу Коменскому слава, Амосу Коменскому слава!

Это была весть, посылаемая нам из неизвестной тогда, далекой Праги: что еще 300 лет тому назад идеи гуманизма были провозглашены и осуществлялись на благо не только славянского народа, не имевшего тогда собственной свободы, но на благо человечества вообще. Это, может быть, звучит, слишком патетично. Но была постоянная память, что в преданиях о началах славянской истории действовали три брата: Рус, Лях и Чех, и все, что было связано с западными славянами, лучше всего воплощалось в чешской культуре. А то что чехи, по каким бы мотивам это ни происходило, сделали для русской эмиграции, было исключительным, незабываемым деянием. Они дали не только дали образование тысячам молодых людей, приютили сотни представителей высокой российской традиции науки или литературы, поддерживали, даже в других странах, русские издания, оказывали помощь выдающимся русским политическим деятелям. Это началось примерно в 1920 г. и продолжалось как-никак 18 лет, почти весь период существования Чехословацкой Республики.

Я уже слышал от многих приезжавших из Германии, что там вышло с русскими организациями, с русскими газетами и издательствами, с русскими библиотеками - все исчезло, все было или закрыто, или взято под строжайший нацистский контроль. Мы не могли ожидать, что у нас будет другая судьба, мы не знали, в какой форме и как быстро наступят новые порядки, но ясно было, что такие гигантские библиотеки, как земгорская, как “Русский очаг”, едва ли вызовут восхищение новых господ в только что возникшем протекторате Богемия и Морава. И я с восхищением думал

о том, сколько русских книг было издано с помощью чехов, начиная с издательства "Пламя", сколько выходило таких серий, как издания Свободного университета, Русского исторического общества, юбилейные сборники в честь выдающихся ученых, как П.Б.Струве или П.Н.Милюков. Замечательно, что когда пришли немцы, то они даже опубликовали сведения, кто и какую помощь от чехов получал, скажем, в Париже. Вероятно, эти сведения были неполными, выборочными, они хотели показать, что чешскими кронами питались левые организации и так называемые масоны. Но, насколько я знаю историю масонства, это было лишь немецким мифотворчеством. Я думал, как замечательно, что даже такие маленькие организации, как Скит, могли выпускать книжки, и никто никогда их не цензурировал с точки зрения политики, "печатайте, что хотите". Я сам был редактором третьего сборника "Скит" и просто восхищен был тем, как при постоянной доброй воле кого-нибудь из чехов появлялись все новые русские книжки на большом рынке Европы. Теперь я понимаю, что это было великое благо, а тогда нам это казалось естественным. Уместно вспомнить, что, например, издавалась газета "Новости". Много лет я был в ней театральным рецензентом, под псевдонимом или "А.Корсунский", или "А.К-ский", или даже "А.К.". Издателем был Кирилл Кириллович Цегоев, газета выходила с большими задержками, потому что читателей становилось все меньше, а типографские расходы росли. Но и там во главе были чехи, которые считали, что должна быть информативная неполитическая газета, национальная по характеру, для нужд русской эмиграции в Чехословакии.

У меня был договор с Цегоевым, что я никогда не признаюсь, что пишу рецензии, потому что писать театральные рецензии - занятие опасное, "кровавое": вы или обижаете кого-то, или вводите раздачу роз и шипов в традицию. Спектакль прошел сегодня и исчез навсегда. Следа остается только в театральных рецензиях, в них я себя и проявлял. Некоторые спектакли меня глубоко волновали, мне, например, пришлось писать рецензию о замечательно интересной, искусно написанной пьесе Марка Александровича Алданова "Линия Брунгильды". В ней участвовали немцы, евреи, русские и украинцы - действие происходило в 1918 г. на украинско-советской границе, где стояли немецкие войска. Линия обороны на Западе, линия Брунгильды прорвана союзниками, и очень символично показано было единство как будто разъединенных людей в линии судьбы. Это одна из алдановских тем: он верил в судьбу. Позднее я был с ним в дружеской переписке, но виделись мы только один раз, очень кратко, во время его пребывания в Лондоне.

Теперь чешская эпоха кончалась. Даже поездка Ф.И.Дедича со мной в Прибалтику была актом большой дружбы. Он действовал безвозмездно и оказал огромную помощь не только мне, но и русской исторической науке, ибо зафиксировал в отличных снимках целый ряд любопытных

исторических объектов. Это тоже делалось как знак родства, некой славянской общности. Рус и Чех - в данном случае мы как эмигранты глубоко переживали конец Чехословакии. Мы ничего не могли сделать, стояли в ужасе и смущении, в ужасе от рокового хода истории и в смущении от собственной слабости. Перед нами расстилалось неизвестное будущее, над которым трепетал как символ уже другой флаг - Германской империи со свастикой на белом фоне и на красном полотнище. Я отметил для себя, что все 10 лет, с 1928 г. я существовал только благодаря великодушию президента и его дальнозоркому прицелу на день, когда русские, воспитанные в Праге, вернутся на родину и станут друзьями свободной Чехословакии. Эта историческая мечта не осуществились, но значит ли это, что в принципе она была ошибочна? Мне лично не удалось стать другом Чехословакии в России, в которую я не попал, но я остался верен и благодарен тем идеям, которые вдохновляли и президента Масарика, и всю молодую Республику. Как историк я считаю, что в истории ничто не пропадает и рано или поздно то, что сделано, даст результаты. Мне кажется, что на фоне нынешних, чрезвычайно огорчительных отношений между Чехословакией и Советским Союзом замыслы и деяния президента Масарика особенно выигрышны и привлекут к себе внимание в будущем. У чехов есть прекрасный исторический лозунг: “Правда побеждает”. В него верили во времена Первой Республики, и, вероятно, всем, кто сейчас не удовлетворен развитием исторических событий, ничего не остается, как продолжать верить: правда побеждает, и правда победит. У русских есть аналогичная пословица: Бог правду видит, да не скоро скажет... Исторические процессы медленно набирают силу, но если уже набрали, то события свершаются быстро, сокрушительно, и остановить их очень трудно. В эту динамику истории мы верили в 1939 г., и я продолжаю верить. Казалось, Третий Рейх торжествует, но мы знаем теперь, что эта была временная иллюзия, и от Третьего Рейха ничего не осталось.

НАЦИСТСКАЯ ОККУПАЦИЯ И ВОЙНА

“Sic transit gloria mundi” - так проходит земная слава. Протектор Богемии и Моравии фон Нейрат готовился на исторических Градчанах к приему вождя германского народа Адольфа Гитлера. На больших площадях немецкие военные оркестры играли марши, сентиментальные песенки или вальсы, и начиналось сближение пражской прислуги с гордой немецкой нацией в лице оккупационной армии. Громаднейший дом банка Петика был занят “гехеймнис статс-полицай” - гестапо готовило чистку протектората. В газетах публиковались различные распоряжения, и поспешно создавалось всенародное объединение, которое называлось “Народне соученстви”: каждый ручался за другого, вместо презренных политических партий. В эту новую организацию входило в с е население протектората. Младший князь Шварценберг попал в руководители

молодежи этой организации, там обсуждалось, какой ввести приветственный жест, и постановили, что нужно ввести арийский "поздрав", т.е. арийское приветствие поднятием правой руки, на что Франтишек - Францоис - Шварценберг с большим остроумием сказал: "Не было ли бы более реалистичным ввести поднятие двух рук, как при сдаче в плен?" Через час вся Прага повторяла его дерзость, сказанную при закрытых дверях.

С удивлением узнавали о том, как и где будут приниматься решения о населении протектората. Главные решения принимал фюрер, но к местным условиям их приспосабливал протектор фон Нейрат.

Объединение в новых формах русской эмиграции проходило на заседании, на которое мы, представители различных организаций и вообще русские пражане, были широко приглашены. Было это в зале Мещанской Беседы, т.е. в одном из больших залов, где часто устраивались лекции и диспуты. Все мы были смущены: немцы пришли в ужас от количества русских организаций - их было 131! Некоторые уже не существовали. Но немцы сказали, что этому либеральному хаосу надо положить конец, все равно организации существовать не могут, ибо нет основного принципа организаций - выборов правления. Будут назначены особые уполномоченные. Кто их будет назначать? Тут-то мы и услышали впервые о том, что немцы хотят объединенную эмиграцию и поэтому создается только одна политическая организация, как уже произошло в Германии. Называлась она "Опорный пункт русской эмиграции". Начальником всей русской эмиграции Великой Германии, куда автоматически включался и протекторат, назначается генерал от кавалерии Василий Викторович Бискупский, в прошлом интересная фигура. Произведен в генералы от кавалерии "императором" Кириллом в эмигрантский период, а в свое время был офицером императорской гвардии, которую ему пришлось покинуть из-за женитьбы на исполнительнице цыганских песен, Вяльцевой. Командир полка по обычаям того времени не согласился на его брак, и ему пришлось выйти из полка. Он бывал у нас в Институте, я называл его "Ваше Высокопревосходительство, потом просто "Ваше Превосходительство". По иронии судьбы генерала Чернавина звали Виктор Васильевич, а Бискупского - Василий Викторович, так что было опасно перейти на титулование их по имени-отчеству: можно было легко заблудиться. Церемония была такая: от Объединенного комитета русских организаций в Праге выступил его председатель или товарищ председателя, князь Долгоруков. Он адресовался генералу Бискупскому, передавая ему заботы о русской Богохранимой эмиграции. Петр Дмитриевич сказал достойную речь, сдержанную, без красноречия, конкретную, подчеркнул, что эмиграция здесь просуществовала 18 лет, у нее много местных интересов, которые надо принимать во внимание. Кто-то сидевший около меня сказал: "Последний кадетский петух, и тот общипан!" Это было злое, но правильное по существу замечание - и что он был кадетский

петух, и что действительно события его здорово общипали. Генерал Бискупский ответил большой речью, которая нас поразила. Во-первых, он поблагодарил князя за то, что тот вводит его в курс дел местной русской колонии, за доверие, оказанное ему, генералу Бискупскому, которому передается судьба русских эмигрантов в протекторате. Говорилось это таким образом, как будто мы ему предавались добровольно! Дальше он перешел к делам и сказал: "Должен вам сказать, что я монархист. Как монархист, я не могу быть нацистом, потому что идея монархии и идея нацистского государства не совпадают. Но меня лично примиряет с нацизмом факт существования опасного общего врага, коммунизма. Поэтому я, как только мог, поддерживал вождя германского народа Адольфа Гитлера". Это был намек на то, что в 20-е гг., когда зарождалось движение Гитлера, Бискупский, располагавший большими деньгами, полученными от перепродажи недвижимости в Берлине, подарил Гитлеру на дело его движения какую-то сумму германских марок. Сколько, мне неизвестно, но это было очень символично. Гитлер запомнил это, как кто-то из моих собеседников сказал: "Заячий тулуп Гринева из "Капитанской дочки" Пушкина". Остроумие всегда было свойственно русским, и это было меткое сравнение, хотя довольно рискованное.

Бискупский продолжал: "Поэтому вы не должны удивляться тому, что я не нацист, не член русской национально-социалистической рабочей партии - потому что есть русское отделение этой партии. Но я всячески поддерживаю вождя великой Германской Империи, которому предстоит великое будущее, поскольку этот Рейх, конечно, рано или поздно поразит мировой коммунизм, и его поражение будет означать возникновение русской монархии. Я призываю всех вас поддерживать действия Адольфа Гитлера, вождя германского народа и третьего Рейха, и в то же время, если вы не хотите быть нацистами, вас никто не заставляет ими быть". Нас его речь позабавила, в ней было свое фрондерство - тут сидело все гестаповское начальство, в мундирах, при звездах, с черепами, и весь первый ряд был заполнен какими-то неизвестными персонами. Тут же был выставлен начальник Опорного пункта. Он оказался главой местной русской национал-социалистической рабочей партии, некий Константин Александрович Ефремов. Он был русский таксист в Праге, а потом даже, так рассказывали, имел группу таксистов и разбогател на этом. Я его фамилию раньше никогда не слышал. При дальнейшем общении, когда мне приходилось бывать в Опорном пункте, Ефремов держался всегда любезно. Но не только потому, что вообще был человек вежливый - он воображал, что у меня есть какие-то высокие связи. Функция Ефремова была не из завидных, он был под вторым отделением гестапо, которое занималось русской эмиграцией и, по существу, официально доносил им о русской колонии. Что касается национал-социалистической партии, то они получили какие-то фонды, очевидно, немецкие, и сняли не шикарную квартиру, наверное, из

конфискованного еврейского имущества. Мне пришлось там потом бывать и даже читать доклад, но не от их организации, а в качестве докладчика Русского свободного университета, который по каким-то причинам иногда снимал помещения для лекций. Это, вероятно, было в 1940 г., ибо после начала войны с Россией все стало по-другому. Я читал доклад "Великая Северная война", в частности остановился на военной тактике Петра I, будущего Великого, и объяснил на картах, в чем заключалась новизна, почему до тех пор войны за Балтийское побережье, которые велись непрерывно со времени Ивана III, много лет в XVI веке, Ливонская война, большие войны XVII веке и при Алексее Михайловиче, почему они в военном смысле не удавались, а Петр имел успех. Во-первых, фланговое движение: он перенес центр тяжести с обычных, весьма обширных фронтов с большими крепостями, которые трудно было брать, на правый фланг, и, во-вторых, его победу предопределило создание флота или эскадры на Балтийском море. На докладе было довольно много публики, полагаю, что часть явилась взглянуть на помещение русских нацистов и в то же время иметь алиби - они пришли не к нацистам, а на лекцию Русского свободного университета. Я читал и с интересом отметил - вслух я таких замечаний не делал - что на одной стене висел Петр Великий, а напротив него Адольф Гитлер. Я подумал, что эти две личности никак не могли бы сосуществовать.

В Опорном пункте постоянно торчали странные молодые люди - они и охрана, они же, если надо, и осведомители, сказал кто-то, оценивая их функции. К Ефремову они относились с подобострастием, оказывали ему видимые знаки уважения, вставали, когда он входил, отвечали ему, стоя почти "смирно". Но у меня было впечатление, что главную роль там играл не Ефремов, и не эти молодые люди, но некий А.А.Канке. Он, я полагаю, был онемеченный чех, т.е. свободно владел немецким языком, жил в России и поэтому считался русским эмигрантом. В какой-то период он, по его рассказам, был секретарем у графа Витте, и тот диктовал ему свои мемуары. Это возвышало его в собственных глазах. Он был человек образованный и очень опасный, как мне казалось, раза два или три он приходил в Институт, как я полагал, посмотреть, кто там бывает, - "понюхать". Он тоже был убежден, что у меня есть какие-то очень высокие немецкие связи и поэтому относился ко мне уважительно, любил даже делать вид, что он со мной в дружеских отношениях, восхищался, сколько у меня девушек - каждый раз, как он видит меня на улице, я иду с другой. Канке, по-моему, пережил все кризисы и оказался потом в Западной Германии, не попался большевикам. А у Ефремова была печальная судьба: его выдали чехам, и он был повешен вместе с начальником второго отдела гестапо Гайде, его непосредственным начальством во время оккупации и, видимо, большим палачом.

Как только пришли немцы, у всех возникли большие проблемы, в том

числе и у Института. Когда объявили о необходимости перерегистрации всех учреждений, мне было не совсем понятно, надо ли нам это делать: Институт не был чешским учреждением, но не был и русским, скорее это было учреждение международного типа с особым уставом. Непонятно, кому мы должны были подчиняться. Было написано, что перерегистрация проводится с целью создания сводных групп сходных учреждений. Это замечание меня очень напугало, ибо грозило тем, что мы можем попасть в разряд Славянского института, чешских научных обществ и оказаться под руководством какого-нибудь неведомого профессора. Нужно было быть очень осторожным. Первую перерегистрацию я пропустил сознательно, решив, что если мне напомнят, я всегда смогу сказать, что не понял, что это распространяется и на нас, потому что мы, де, не чешское учреждение. В то время была объявлена регистрация русских эмигрантских учреждений, тоже с целью свода в группы. Тогда мне пришло в голову спросить моего немецкого ученика: что мне делать? Этот немецкий ученик, Иосиф Дедио, был подарок судьбы. В один прекрасный день в марте, вскоре после прихода немецкой армии, я получил письмо от Савицкого (я хранил это письмо как очень важный документ, но уцелело ли оно в архиве Института, неизвестно). Петр Николаевич писал: "Дорогой Николай Ефремович, хочу просить Вас принять как ученика русского языка херра Иозефа Дедио, который приехал в протекторат из Берлина и уже знает русский язык, но хочет усовершенствоваться. Я думаю, что и в Ваших, и в общих интересах желательно, чтобы Вы от этой кандидатуры не уклонились. Ваш П.Савицкий". Я понял из контекста, что фигура важная, раз Савицкий так пишет. Письмо было на бланке Немецкого университета и представляло собой интересный с моей точки зрения документ. Я тут же ответил, что буду рад увидеться с херром Дедио, где ему удобно, чтобы обсудить вопрос, что именно он хочет делать в области русского языка. Через несколько дней на Институт Кондакова пришло его письмо, он писал по-немецки, что был бы благодарен, если я бы смог прийти в такой-то день и в такой-то час в "Палас-Отель". Это было на Панской улице, там, где раньше был Русский свободный университет. Дом тот уже перестроили и сделали первоклассный отель, внизу помещалась также первоклассная парикмахерская Васильева. Во время войны она стала своего рода клубом: вы приходили бриться и в это время узнавали много новостей и по протекторату, и из-за границы, потому что всегда там были люди самых разнообразных "верований".

Приехав туда, я был несколько смущен, потому что "Палас-Отель" оказался битком набит немецкими военными и эсэсовцами. Я пошел к швейцару, и тот позвонил по телефону и сказал: "Херр Дедио придет через несколько секунд, пожалуйста, подождите". Херр Дедио появился и оказался небольшого роста, плотно сложенным человеком, уже немолодым. Позднее я узнал, что ему было около 50. Голова у него была совершенно круглая, я очень удивился такой круглоголовости - я немного занимался

антропологией и понимал, что это особая раса Европы. Он был из Берлина, говорил на чистом немецком литературном языке, предки его, между прочим, были гугеноты, бежавшие из Франции, но совершенно онемечившиеся, так что он считался воплощением германского начала, и его кумиром, кроме Адольфа Гитлера, о котором он никогда ничего не говорил, был, видимо, Бисмарк, о котором он одобрительно несколько раз со мной беседовал. Он сейчас же назначил время для уроков и дал мне адрес, где я могу с ним встретиться. Он сказал, что на будущей неделе мы начнем заниматься, он переезжает из отеля на квартиру, которую ему уже отвели где-то на Летне. Потом я понял, что это был один из домов, конфискованных у евреев. Там он получил маленькую комнату. Он знал русский язык довольно хорошо - во время первой мировой войны он попал в русский плен, и, кажется, плен - чуть ли не в Сибири - ему очень понравился. Их взяли на сельскохозяйственные работы, так что в сущности он жил совершенно свободно, и, думаю, у него были любовные увлечения, потому что он как-то очень мягко относился к русским и любил Россию. Он сказал, что именно из-за этой любви он особенно отрицательно относится к коммунизму, который из этой прекрасной страны сделал Бог знает что: он видел начало революции и сказал, что его душа ни на секунду не может сочувствовать таким методам.

В его русском языке было много архаичного, он читал какие-то специальные книги по-русски, и у него иногда были затруднения с подбором слов в обыкновенном разговоре, а иногда он вдруг употреблял необычайно сложные формы страдательного залога. Он предложил мне очень хороший гонорар за урок, и мы начали. Фиксированного дня не было, потому что он сказал, что очень занят и много ездит, обычно урок проходил ближе к вечеру. Он охотно водил меня куда-нибудь, поскольку жил в небольшой полуподвальной квартирке - две комнатки, ванная и уборная. Когда я пришел на второй или третий урок, он открыл дверь, и я ахнул и отшатнулся: передо мной стоял эсэсовец во всем великолепии своей офицерской формы. Дедио был очень доволен эффектом и сказал: "Надо помнить, что не все, что видите, Вы будете рассказывать". Я понял это предостережение. Мы ходили в разные кафе или ресторанчики, и он любезно угощал меня добавочно к моему гонорару, и всегда был одет в штатское. Только раз он очень удивился, что в каком-то кафе с ним сразу заговорили по-немецки: "Неужели у меня такой немецкий вид?" Посмотрел и сказал: "А, я забыл снять партийный значок". Потом, когда приехала его семья, он сменил квартиру. У него, кажется, были жена, дочь и сын, и квартира была уже побольше - три-четыре большие комнаты, мы всегда там играли в шахматы, которые он любил. Должен признать, что всегда после упорной обороны и опасных положений я в конце концов считал благоразумным проиграть - все-таки он был в слишком выигрышной позиции в жизни по сравнению со мной, бедным эмигрантом.

Дедио мне объяснил, что работает по русским делам, и я попросил разрешения обсудить с ним нашу проблему: регистрироваться нам или нет. Он проявил интерес и просил принести бумаги, они у меня были с собой - устав нашего Института, отчеты, список членов и даже тот устав, который мы с Карлом Шварценбергом на всякий случай перевели на немецкий. Он все прочитал, просмотрел, задал ряд вопросов, а потом сказал такой афоризм: "Зачем самому идти к злу? Зло, если захочет, само придет". Было ясно, что регистрироваться не надо. В один из ближайших уроков он выразил желание пойти поужинать со мной в русский ресторан "Огонек". Вдруг из-за одного из столиков поднялся и подошел к нам К.А.Ефремов, низко и подобострастно кланяясь и бормоча по-немецки комплименты в адрес Дедио. Тот ему очень холодно сказал: "А, Ефремов, Вы знаете доктора Андреева?" - и показал на меня. Ефремов меня не знал, и Дедио сказал: "Познакомьтесь". Мы познакомились. Потом это весь немецкий период удерживало Ефремова на почтительном расстоянии и от Института, и от меня лично. Дедио он знал, потому что Дедио был помощником начальника 2-го отделения, занимавшегося русскими делами и на Ефремова он смотрел презрительно, потому что это был просто его служащий. Ефремов же решил, что у нас какие-то неведомые ему связи. Вот какая химера могла определять судьбы людей и учреждений во время немецкого периода. Эту забавную деталь я оценил позднее.

Вторым фактором было появление доктора Морпера. Он был историк искусства, отчасти даже археолог, хотя я не вполне уверен, из Мюнхена и уже несколько лет был уже в сношениях с Институтом Кондакова. Время от времени он писал письма, запросы, мы ему отвечали, но никогда его не видели. Он знал и почитал работы Кондакова, знал ряд русских публикаций, особенно те, которые удалось издать по-немецки, некоторые очень хорошие, как, например, работы Айналова. Институт и после прихода немцев продолжал работать с 9 до 13. После обеда мы все занимались исследовательскими делами. До событий 38 года, регулярно, после обеда я проводил время или в Славянской библиотеке, или у нас в Институте, я обожал мой библиотекарский стол во второй комнате, где я обычно утром работал как библиотекарь, а после обеда - как исследователь. С третьего этажа нашего дома открывался спокойный вид - крыши, крыши, крыши и какие-то деревья. Было очень тихо, обычно тепло, потому что утром топили, печи были очень хорошие - хранили тепло до глубокой ночи. Этот порядок продолжался и после прихода немцев, с той разницей, что иногда мне приходилось после обеда обходить разные места для получения нужных сведений или просто работать у себя в библиотеке, потому что работать в общественных библиотеках стало как-то тревожно, всюду были нервные люди, чехи страшно расстраивались, русские старались не попадаться никому на глаза, потому что создавалось впечатление, будто вы тоже в чем-то виноваты. Вообще время было не для спокойных исследований.

Хотя Славянская библиотека была открыта, но там почти никого не было, и служащие передавали шепотом жуткие слухи -кто убежал за границу, кто выехал, уплатив огромные деньги немцам, а кто был арестован.

Однажды утром раздался звонок, и Вячеслав Иванович Наливкин, казак, наш технический служащий, главная функция которого сводилась к тому, что он чистил до блеска пол и столы во всех помещениях, чтобы ни пылинки, ни паутинки, открыл дверь. Я услышал, что кто-то говорит по-немецки, вошел испуганный Наливкин и говорит: "Там какой-то немец". Я вышел и увидел в передней рядового солдата, пехотинца, чуть выше среднего роста. Держа в руках шапку, он стоял перед портретом Кондакова, исполненным княгиней Яшвиль в несколько иконописной манере и висевшим в передней вместе с двумя великолепными архангелами из не оконченного княгиней иконостаса. Ангелов мы использовали как панно - это производило впечатление на посетителей и придавало особый характер учреждению. Этот рядовой, восторженно глядя на портрет Никодима Павловича, вдруг произнес речь в высокопарном немецком стиле - что он счастлив видеть портрет великого русского археолога, который создал не только русскую археологию, но и византологию, который был архистратигом русской археологической науки, имя которого бессмертно, и он восхищен, что смог прибыть сюда и воздать честь этому великому ученому. За последние пару лет я привык к всевозможным проявлениям человеческой нервозности, но тут был совершенно сбит с толку: я никак не мог понять, кто он. Окончив речь и сияя от восторга, он повернулся ко мне, стукнул каблуками и сказал: "Их бин аус Мюнхен. Их бин доктор Морпер".

Я с восторгом его приветствовал, сказал, что мы очень уважаем его как первоклассного немецкого археолога и предложил ему войти в библиотеку. Я сейчас же показал ему папку с его работами. Это было гениальное изобретение Толля: как известно, все библиотеки и исследовательские институты, как наш, более или менее регулярно получают от коллег оттиски их работ, иногда мало, иногда много, смотря по продукции этих ученых - но оттиски идут потоком, и их надо хранить рентабельным образом. Если их раскладывать по полкам и по тематике, они как-то пропадают, вот Толль и решил, что лучше держать их по авторам, ибо каждый автор занимается определенными темами, двумя, тремя, пятью - едва ли больше. Допустим, тем пять: продукция будет максимум три статьи в год, за 10 лет 30 оттисков, не очень больших. Поэтому заказывается большая картонная коробка, на которой написано имя автора. Снаружи наклеены белые листы, на которых я как библиотекарь проставляю инвентарный номер и название оттиска. Через три минуты вы можете быть информированы, что вы послали в Институт. Например, как было здесь: "Доктор Морпер, Мюнхен, историк искусства", и внутри находятся его оттиски.

В его папке было 7 или 8 оттисков. Это произвело на Морпера

потрясающее впечатление, он затрепетал от восторга: "Как это замечательно, какая честь!" И сейчас же спросил: "Могу я посмотреть, все ли я Вам послал", - и отметил, что какого-то оттиска не было". Я провел его дальше, и Морпер пустился в рассказы, стал на дружескую ногу и объяснил, что пришел сюда официально, что он, хотя и простой солдат, рядовой,- я, говорит, отчислен из полка в распоряжение протектора и в качестве члена протекторатного управления я как историк искусства работаю в отделе надзора за памятниками старины. Я, говорит, приехал неделю назад. Его устроили, он вошел в курс дел и поехал найти нас, чтобы установить контакт, определить, как он сказал, может ли он чем-нибудь помочь Институту Кондакова. Это был подарок судьбы. Тут как раз совершенно случайно появился князь Карл Шварценберг, я представил их друг другу, и князь, гигантский человек, с огромными усами, с великолепной, небрежно-аристократической манерой держаться, с безукоризненным немецким языком, очаровал Морпера совершенно. Как очень многие, он ценил аристократию, и вот перед ним был представитель одного из самих знаменитых родов, и, как мы услыхали через некоторое время, одного из важнейших родов, который мог сыграть и политическую роль. (Немцы одно время размышляли, не дать ли ему дать корону Богемии!) Морпер оказался очень полезен для Института, потому что несомненно его рапорт - он прямо сказал, что будет его писать - произвел благоприятное впечатление на соответствующие немецкие инстанции. Все учреждения в протекторате, кроме чисто немецких, были под угрозой свертывания деятельности. Институт Кондакова, благодаря рапорту Морпера, оказался в блестящем положении, готовый к научной работе, проявивший полезные для науки тенденции. Отголоски такого рапорта я потом улавливал в речах контролировавшего нас декана Немецкого университета, профессора Хамперла. Очевидно, копия отчета Морпера была послана в разные инстанции, я думаю, это произвело известное впечатление и на Дедио. Наш институт можно было все время выносить за скобки, не вводя его в общую массу учреждений. Это было очень выгодно.

В конце 1940 и в начале 1941 гг. Морпер был даже несколько опасен для нас, потому что носился с идей составить от имени Кондаковского Института сборник в честь 70-летия Ростовцева, который находился в США (войны с США еще не было). Он говорил, что хорошо бы создать международный сборник, чтобы в нем приняли участие ученые из разных стран и что это был бы знак благодарности великому ученому от Европы. Я с ужасом отнесся к его идее - мне казалось совершенно нежелательным и даже опасным публиковать что-либо, поскольку мы уже находились в состоянии войны с западными демократиями. Создалось бы впечатление, что мы ориентированы пронемецки. Я решил всеми силами тормозить осуществление такого сборника, тем более что совершенно неизвестно, как отнесся бы к нему сам Михаил Иванович Ростовцев, сношения с которым,

как и с его ассистентом, Толлем, становились все более редкими и отчужденными. Идея такого "фестсшрифта" была опасна, но в целом все шло хорошо, потому что Морпер создал невидимый для нас, но ощутимый источник благорасположения к нам управления протектората. Это остудило наших соотечественников, все время пытавшихся наложить на нас руки. Если Ефремов не смел вести на меня атаки, то профессор Владимир Сергеевич Ильин, поставленный во главе объединенных эмигрантских организаций, всячески старался привлечь Институт к регистрации и взять его под свой контроль. Ильин был назначен немцами, потому что в то время исполнял обязанности ректора Русского свободного университета. Профессор Новиков уже уехал, в Братиславу, получив назначение в независимую Словакию, а оттуда, сразу после войны, в Америку. Ильин занял его место, объединив все организации - все, кроме Института Кондакова. Он из кожи вон лез, чтобы загнать нас туда же. Дошел до того, что вызвал меня и пугал тем, что наше самоопределение вызывает страшное недовольство органов надзора и гестапо. На это я загадочно улыбнулся и сказал, что органы надзора информированы и дали мне определенные указания, а представители культурного управления нас посетили и сказали, чтобы мы оставались в нынешнем положении. Ильин был вне себя, он не был нацистом, но был чрезвычайно властным человеком, типичным демагогом, ему хотелось контролировать всех. Он умел подавить любое движение против себя, но, тем не менее, с Кондаковским Институтом ему это не удалось. Как это часто бывает, в результате он зауважал меня, так как я ему никогда ни в чем не открылся и держался мягко, но неопределенно, не возражая прямо и в то же время говоря, что деньги не мои, это частные источники, даже президент Масарик помогал в частном порядке, а не как государственный деятель. Ильин крякал и сердился, очень уговаривал, старался надавить, предлагал мне место товарища председателя этого объединения, но я оставался дурак дураком и кремень кремнем - никуда не двигался. С другой стороны, снята была и опасность похода на нас Н.Л.Окунева со Славянским Институтом, ибо протекторат Морпера исключал любые их интриги. Вот как все получилось: устойчиво и удобно и совершенно неожиданно.

Общее положение протектората делалось все более напряженным. Во-первых, приезжал сам Адольф Гитлер и произносил громовые речи, обращаясь главным образом к немцам, десятки тысяч которых заполонили марширующими колоннами площади на Градчанах и перед Градчанами. Не знаю, где стояло правительство протектората в момент его приезда, но его даже не пропустили на Градчаны, президиум стоял около въезда на Карлов мост. Как мне рассказывал Франтишек Шварценберг, большего унижения чехов, чем в момент приезда Гитлера, нельзя было и представить. Отовсюду шли одни и те же известия, что немцы занимают все лучшие позиции, а правительство Хахи оказывается чисто марионеточным, в

вопросах не только большой, но и малой политики.

Из всех мероприятий я понял одно: нам непременно нужно иметь свои деньги, чтобы не обращаться за помощью к протекторатному правительству или прямо к немцам. У нас еще были деньги, я экономил, и, если бы не возмутительные действия Белграда, то мы были бы совсем автономны в финансовом плане. Но Белград проделал ужасную штуку: некоторое время я не получал денег от немецких представителей и поэтому написал нашему главному представителю, Отто Гарасовицу (большая старая фирма в Лейпциге), напоминая, что по их собственному сообщению, у них накопилась большая сумма за продажу наших изданий и что мы были бы благодарны, если бы они нам ее перевели. И вдруг мы получаем от них известие, что несколько месяцев тому назад они перевели деньги в Белград, ибо оттуда пришло требование переводить финансовые средства им. Это поставило нас в ужасающее положение.

Поговорив с коллегами и доброжелателями, я решил, что единственный выход из положения начать действия по улучшению своего положения в протекторате. Так как мы не можем ничего издавать, чтобы не содействовать оккупантам, то надо попытаться развернуть наши коллекции. Тогда наш маленький Институт превратился бы также в музейную единицу и эта наша деятельность снискала бы всеобщее сочувствие и была бы нам очень выгодна. Я вступил в сношения с Иосифом Гирсой, который был первым, кажется, чехословацким консулом в Москве, когда Чехословакия признавала советское правительство только де факто, но не де юре. Гирса вывез из Москвы как дипломатический багаж большую коллекцию старообрядческих икон Солдатенковской семьи. Солдатенковы были когда-то видные старообрядцы, очевидно, московские купцы, и некоторые иконы были очень хороши. Эту коллекцию Гирса держал у себя и давал нам ряд икон на время, когда в 1936 г. наш Институт устраивал иконописную выставку. Я снесся с Гирсой, который опасался, что если начнутся какие-то санкции против дипломатов, а к этому дело шло, назревала опасность европейской войны, то хотя он и был старый человек, его могут арестовать и конфисковать имущество. Мы решили перевезти его коллекцию в Институт Кондакова, и сделали это, обменялись соответствующими письмами, в которых мы подтверждали, что имущество Солдатенковых сдано нам для изучения. Это был один акт.

Второй был главным: мы нашли источник финансирования в лице князя Шварценберга. Карл Шварценберг, когда я с ним поговорил, вдруг сказал: “Знаете, я могу вам дать 50,000 чешских крон”. Это в то время была громадная сумма. “И эту сумму мы можем,- сказал он,- записать как мой пожизненный членский взнос”. У него были большие имения и, кроме того, лесопильные заводы. Частично лес у них закупала соответствующая немецкая промышленность, это шло через какое-то министерство, и немцы платили им в немецких ценах. А так как заготовлено все было в ценах

чешских, то они получили огромную прибыль. Шварценберг объяснил, что сейчас может дать деньги и никто не заметит, это не вызовет подозрений - они будут из непредвиденных излишков. Он выдал их наличными - он не хотел и не мог по ряду причин переводить через банк векселями, потому что тогда это привлекло бы внимание. Я подтвердил получение письмом, и некоторое время для меня было кошмаром то, что эти 50,000 чехословацких крон лежали у меня в газетном свертке, я страшно боялся, что их украдут. Когда я их внес в банк, на счет Института Кондакова, мы начали расширять помещение Института на Слунне. После смерти княгини в середине 1939 г. мы для сокращения расходов отказались от нижних помещений в том же доме, и я перешел из квартиры на нижнем этаже в бывшую кухню и склад самого Института, но теперь, в 1940 г. мы занялись расширением: приобрели верх дома, проломили стену, сделав внутреннее сообщение, в двух комнатах создали иконописную коллекцию. В бывшем складе изданий, на кухне (которая одно время была моей комнатой), мы разломали плиту и превратили кухню в музейное помещение, где были выставлены коллекции. Получилось впечатляюще, очень декоративно. Склад мы двинули под своды крыши. Вторая такая же кухня с другой стороны, превратилась в мое жилье, и там, если нужно было, происходили институтские приемы.

Княгиня после отъезда Николая Петровича заболела и больше уже не оправилась, было лучше, что она умерла. Ей было бы трудно и прискорбно войти в новые обстоятельства жизни и увидеть, как ужасно новые господа обращаются с чехами и особенно с евреями. Тут одна человеческая трагедия была на другой, начиная с канцлера Шамала, который был арестован и замучен так, что сошел с ума в тюрьме. К счастью, княгиня умерла, не сознавая всего этого. Похороны были очень торжественные, на Ольшанском кладбище, где была похоронена ее дочь, Татьяна Николаевна Родзянко и где в крипте Ольшанской церкви лежал Никодим Павлович Кондаков. Ухаживала за княгиней в период ее смертельного недуга родственница, Ксения Андреевна Родзянко, которая выехала из России еще до смерти президента. Она была квалифицированная сестра милосердия и ухаживала за самим президентом, когда он умирал. Я по предложению белградцев написал некролог для "Семинариум Кондаковианум", тома XI, изданного в 1940 г. в Белграде - это был единственный том, который там увидел свет и всем своим видом подтверждал наш пессимизм в отношении качества, возможного в белградских типографиях. Ввиду сложности политических настроений в Европе я должен был писать о княгине Яшвиль очень осторожно, опуская целый ряд ее высказываний, где доминировал мотив "несть ни эллина ни иудея", который шел вразрез с практикой Великой Германии Адольфа Гитлера. Но об отношении ее к идее перевода Института в Белград я написал правду и очень сдержанно сказал, что хотя она сочувствовала открытию отделения в Белграде, видя

в этом расширение влияния Института Кондакова и попытку привлечь к нему внимание других славянских деятелей, - так осторожно я формулировал - не буквально в этих словах (том XI Анналов Института Кондакова не найти было в Кембридже, а читальня Британского Музея потеряла его в 60 гг. <ред>), поскольку этого издания у меня нет, но мысль была именно такой. Я сказал, что она была, конечно, сторонницей Праги как базы Института, который уже создал в Праге свою традицию, начиная с издательской, и имел много преданных друзей, например, князя Шварценберга. Но опять-таки целый ряд лиц нельзя было назвать, потому что они уже были в немецких черных списках и лучше было не привлекать к ним внимания цензоров и надзирающих за нами. Однако это место в некрологе было изменено, я полагаю, именно Расовским, потому что изменено было грубо и глупо, без учета отдельных нюансов, которые я рассыпал по всей статье и которые давали представление о настоящих взглядах княгини на будущее Института. Расовский всегда был примитивен в этих делах, Толль вообще бранил его статьи за форму, перед этим по ним ядовито прохаживался Беляев, и Калитинский тоже всегда говорил: "Грамматика не есть наше дитя, не правда ли, Дмитрий Александрович?" Это был нежный намек на то, что Расовский начисто лишен литературного слуха. В некрологе он вычеркнул часть моих слов, а текст частично переписал, и получилось, что княгиня стояла за перевод Института в Белград и с интересом следила за развитием Института в Белграде. Получалось, что Института в Праге вообще не существует. Эта формулировка привела меня в ярость. Конечно, я обратил на это внимание всех коллег, начиная с генерала Чернавина и члена ревизионной комиссии Е.А.Мельникова. Ужаснулся и Шварценберг, он даже не представлял себе, что можно не предупредив нас, так менять текст. Того же мнения был Мысливец, а Савицкий сказал, что это просто показывает, насколько Белград оторвался от здешней реальности - они даже не понимают, что делают. Но они понимали, во всяком случае, злая воля Д.А.Расовского сказалась через некоторое время, а именно, когда они узнали о моих переговорах с немецким деканом, профессором Хамперлом. Он вообще одобрял "статус кво" Института, но сказал мне, что невзирая на то, что у меня есть Совет - "Кригсрат" - по здешним законам за все отвечаю я. Тогда из Белграда прислали донос на меня.

Донос был подписан Острогорским, написан на очень хорошем немецком языке, так что не было сомнений в том, что хочет сказать автор. А хотел он сказать следующее: до их сведения доходит, что самый младший из членов Института и самый молодой из ученых, стипендиат - так двусмысленно было сделано, что я еще недоучившийся болван - проявляет самовольство в своей деятельности и идет вразрез с постановлениями, касающимися будущего Института. По-видимому, я дезинформирую тех, кто контролирует мои действия в Праге, поэтому они считают необходимым

обратить внимание на мою деятельность как не соответствующую смыслу желаний ученых членов Института, центр которых из Белграда поднимает свой голос в лице их председателя - Острогорский считался тогда председателем Белградского отделения - и отмежевывается от моей деятельности. Письмо было не длинным и очень продуманным, его основная мысль была в том, что я - самозванец и на свой страх и риск, поскольку я авантюрист, веду политику, вызывающую омерзение всех членов Института.

Этот донос Хамперл прислал с сопроводительной запиской, в которой просил меня занять в отношении этого письма какую-либо позицию и прибыть к нему с тезисами на эту тему в определенный день и час. К счастью для меня, на этот вечер было назначено заседание совета, поэтому приехали Савицкий и Шварценберг, я прочитал им письмо и оно произвело громовое впечатление. Все ошалели, Шварценберг смотрел письмо на свет - не фальшивка ли это, состряпанная в гестапо: не мог же византолог с мировым именем, Г.А.Острогорский, слывший моим другом, ценимый мною как научный авторитет, повлиявший на мою методологию, как я всегда это отмечал, написать такую лживую дезинформацию, явно понукая немецкие власти к действиям против меня. Во всяком случае к моей отставке.

Впечатление было удручающее, все дела были отставлены, и мы принялись сочинять ответ, скорее даже не я, потому что я был потрясен. Острогорский всегда был мне симпатичен, мы говорили с ним о литературе, нас связывал его родственник и мой близкий друг К.И.Гаврилов. И вдруг он превращает меня в грязного интригана, мелкого грызуна. Я не находил сил что-то делать. Но остальные считали, что действовать надо немедленно. И был по пунктам сочинен ответ, который Шварценберг тут же выразил в элегантной немецкой форме, и они с Мысливицем тут же напечатали его на машинке. Я не помню этого ответа в точности, потому что был вне себя, это один из самых печальных эпизодов моей жизни. Были позднее и в Англии грустные моменты, но в них участвовали люди со стороны, заведомые академические прохвосты. Здесь же, с одной стороны, были близкие знакомые, как Расовский и его жена, а с другой стороны - Г.А.Острогорский, который явно подставлял меня под удар - знал же он, что такое нацистская Германия. Наш ответ сводился к следующему. Мы напоминали, что я был сначала стипендиатом Семинария Кондаковианум и Института Кондакова, потом действительным членом - словом, назывались все мои служебные посты. С 1 января 1939 г. я имел полномочия от доктора Толля вести все дела и действовал строго в смысле тех распоряжений, которые отдавало правительство протектората. Так что абсолютно все мои действия законны, например, все финансовые действия произведены с согласия совета, Кригсрата. Решительно никаких личных интересов у меня нет, а есть желание сохранить Институт со всеми его коллекциями, которые мы сейчас приводим в порядок и регистрируем, что само собой разумеется,

если были бы планы изданий, мы непременно бы сначала проконсультировались с учеными членами отделения в Белграде. Это примерная схема ответа. На следующий день я отвез его Хамперлу, который был в скверном настроении - он обычно разговаривал со мной по-русски, а тут говорил очень официально, по-немецки, приветствовал меня словами: “Хайль Гитлер!”, вызвал секретаршу, которая стенографировала наш разговор. Разговор был очень короток, потому что когда он увидел мое письмо, то сразу смягчился, просветлел, сказал: “Мне все ясно”,- и добавил: “Я дам Вам знать, что мы решим”. После этого я откланялся. Через два дня он прислал мне копию своего ответа, великолепного в том смысле, что он был тоже очень коротким и деловым. Он писал профессору Острогорскому, что его письмо получено, обсуждено и не находит подтверждения ни в одном пункте. Институт работает согласно своему уставу, все дела ведет доктор Андреев согласно полномочиям, которые даны ему еще до установления протектората. Протекторатные власти проверили деятельность Института и выяснили, что мы живем вполне законопослушно. Поэтому он, Хамперл думает, что, по всей вероятности, в Белграде была не совсем точная информация. Было видно, что он полностью отклонил жалобы Острогорского и снял с меня главное обвинение - что я действую вопреки каким-то постановлениям и законам. Он упомянул также, что в протоколах Института нет постановления, на которое ссылается Острогорский - о переносе Института за границу, вообще нет ни слова о ликвидации, есть только вопрос о выдаче из библиотеки некоторых книг для нужд профессора Острогорского во временное пользование, кажется, в 1937 г. Письмо было деловое и прекрасное, причем интересно, что в конце не было даже “Хайль Гитлер!”, что вообще-то полагалось писать, очевидно, Хамперл решил, что это не для заграницы. Грустно было думать, что близкие и как будто бы дружеские мне русские люди изо всех сил старались подвести меня под удар и защищать меня должен был австриец Хамперл, женатый на американке, что делало его гораздо более гибким и понимающим. К тому же, так как он в какой-то момент учился в Ленинграде, в Военно-медицинской академии, знал русский язык и понимал, что такое большевизм, то он имел полную возможность судить более широко, чем местные служащие. Затем разыгралось следующее событие: с одной стороны, Хамперл бы меня защитил и даже более того, в одно из следующих наших свиданий, когда я принес очередные отчеты, он сказал: “Знаете, я думаю, Вам нужно дать пост в нашем Немецком университете, чтобы укрепить Ваше финансовое и юридическое положение”. Я мысленно ужаснулся, но не мог ничего сказать вслух и ответил: “Я, знаете, недостаточно владею немецким языком”. -”Ну,- сказал он,- совершенно достаточно для того, чтобы преподавать русский язык. Вы не будете читать историю России по-немецки, но будете отличным преподавателем русского языка, у Вас достаточный словарь и грамматика, чтобы объяснить Ваши примеры, так

что я думаю, это правильная идея. Ваш немецкий не хуже, чем у Савицкого, Савицкий, может быть, употребляет больше слов, но часто делает элементарные грамматические ошибки. Вы говорите более осмотрительно". Я был в ужасе: с их точки зрения это была моральная поддержка, очевидно, в отношении Белграда, но получить назначение в нацистский Немецкий университет после разгрома чешского Карлова университета выглядело бы чудовищно, и я ни в коем случае этого не хотел. Потом выяснилось, что это имеет еще одну подоплеку: недели через три после этого пришло письмо от Хамперла, что по постановлению ректората решено назначить к нам "форзитцендера" - председателя, заведующего Институтом профессора Вейганда.

Это было отголоском глупостей, написанных Острогорским - что я самый молодой и самый дерзкий - совершенно недостойный науки человек. Вейганд, профессор византийского искусства в Мюнхене, был только что переведен в Прагу. Одна наша сотрудница, читательница и друг Института, графиня Ручезе-Палэ была ученицей Вейганда, и мы знали о его работе, о его методах. Она получила тогда, кажется, назначение, быть одной из его ассистенток, потому что хорошо читала по-итальянски, по-французски и на многих других языках, в том числе по-русски, знала немецкий и чешский. Чрезвычайно милая полуитальянка, полуавстрийка, исключительно некрасивая, но милая в обращении и к нам всегда относившаяся дружески, высоко ценившая и Институт Кондакова в целом, и работы самого Кондакова. Я послал письмо Вейганду, ссылаясь на постановление и прося его назначить время, когда я мог бы прийти к нему с докладом, или он заедет, если хочет в Институт. Он захотел и то и другое: сначала он приехал к нам, провел в Институте примерно полчаса, поглядел на все наши выставки, и видно было, что он мало понимает в русской иконописи, посмотрел нашу библиотеку и был очень любезен. Он оказался таким сугубым академиком, говорил мало, но если говорил, то толково. Я нарочно вызвал Шварценберга, было полезно, чтобы Вейганд его видел - как все немцы, он уважал аристократию. После этого он сказал, что я могу продолжать делать, что хочу, а отчет, скажем, за четверть года я буду любезен ему присылать или привозить. Первый отчет я, конечно, повез сам. Он принял меня на квартире, где жил с сестрой, в верхнем этаже огромного дома напротив многоэтажного здания, где находилось центральное гестапо. Квартира была, по-видимому, конфискованной, как и весь блок домов около гестапо. Раньше здесь жил еврейский банкир, у которого был колоссальный банк, он своевременно уехал, а имущество было конфисковано. Я поднялся, все было полно книг, и Вейганд методично расставлял их по полкам. Мы вышли на балкончик, он покосился на гестапо и сказал: "Не правда ли не очень приятное соседство?" Мы снова вошли внутрь, он поблагодарил за отчет и сказал: "Вы, пожалуйста не беспокойтесь, я не собираюсь вмешиваться в работу Института, и Вы будете продолжать

действовать, как Вы хотите, я лично занят писанием книги, я уже немолод и хотел бы закончить какие-то главы сейчас, пока у меня есть возможность. Если у Вас будут проблемы, Вы приедете ко мне и мы их обсудим". Я очень его благодарил. Он действительно не вмешивался, даже минимально, и вообще не появлялся у нас. Мы несколько раз предлагали ему прочесть у нас доклад, но он неизменно отказывался, сказавшись занятым своими писаниями. Это было нам на руку. Он не понимал местных условий и, кажется, не хотел понимать. Назначение было липовое, хотя в принципе опасное, потому что раньше мы были автономны, а теперь над нами была тень Вейганда, он мог вмешаться или вдруг наложить вето. Но он был с большим тактом и, хотя, конечно, был партиец, я очень сомневаюсь, что он хотя бы на секунду разделял нацистские идеи - просто старый академик немецкой школы, и больше ничего.

События разрастались, начался конфликт с Югославией, и в первом же налете на Белград был разбит бомбами дом, где помещалось отделение Института Кондакова. Погибли Расовский и его жена, Ирина Николаевна. Говорили, что от нее остался только башмак и часть ноги в башмаке - что-то кошмарное. Мы все содрогнулись, еще больше, чем когда погиб Н.М.Беляев - мы увидели в этом странный знак: изо всех сил, всеми неправдами тянули туда Институт, и вот, все разбито. Дошли сведения, что часть библиотеки в полуобгорелом виде еще существует, мы снеслись с Острогорским, причем уже и сноситься было невозможно: не было нормальной почты, но тут в игру вошел Хамперл и добился того, что немецкие военные власти в Белграде дали распоряжение погрузить остатки имущества Института Кондакова на военные грузовики и привезти их в Прагу. В один прекрасный день пришли два или три грузовика с бренными остатками того, что мы туда увозили. Мы договорились с Е.И.Мельниковым и взяли его обратно в Институт на жалованье, чтобы он специально занялся разбором всего, что вернулось, и составил бы полную картину, что привезли и что погибло. Еще раз я с содроганием убедился в том, что есть непонятные нам решения Господа Бога, которые выражаются в виде каких-то трагических событий, но они есть, и они определяют ход развития наших отношений на планете. Мы тягостно это пережили, но на нас надвигались новые события: нам надо было переезжать в новое помещение, потому что гестапо, находившееся в соседних виллах, хотело занять и нашу. Нам дали целый список пустых помещений в разных районах Праги, чтобы мы посетили их и решили, что подходит для Института Кондакова. Это было очень неприятно, потому конфискованные помещения в большинстве случаев были квартиры евреев, которых гестапо начало отправлять из Праги, их имущество составляло фонд, которым оно могло оперировать. Но привередничать не приходилось. Миссию первоначального осмотра я просил взять на себя Петра Алексеевича Хмырова (впоследствии он оказался советским агентом и в 1945 г. грабил имущество Института).

Хмыров был приятелем семейства Толлей, недоучившийся медик, человек большого остроумия, очень любивший петь. Он назывался Петечка, обладал драгоценным практицизмом, например, при всех перестройках Института он был подрядчиком, и делал это отлично, сносясь с печниками, малярами, выкраивая скидки, возможно, он даже получал от них процент, но это было его право, и никто не ставил ему этого в вину. Какой-то процент давал ему Институт, потому что он в этот момент был безработным. У меня не хватало духа идти осматривать эти еврейские помещения, тем более часто в этих квартирах еще жили евреи, так что от нашего решения зависело ускорение их несчастья или замедление его. Нам дали много списков, и Петечка осматривал и каждый раз рапортовал, сколько помещений, как расположены, какой район. Но мы все отбрасывали: или было мало места, или далеко от центра.

После многих вариантов было решено, что для Института больше всего подходит квартира в 3-м этаже на Хасштальской улице, 6А, Прага 1, которую мы получили и полностью отремонтировали. После ремонта она приняла следующий облик: на входе было написано "Кондаков Институт" и часы приема. По-прежнему мы были открыты с 9 до 13. Вы входили и оказывались в большом коридоре, который шел направо от входных дверей, как бы довольно длинное фойе, тут же при входе мы поставили как панно княгининых архангелов, которые сразу принимали входящего под свое покровительство. Направо шли вешалки, там же была ванная и вход в уборные, налево были вешалки на всякий случай и пустое пространство, там одно время мы вешали карту, потом вообще ничего не вешали - это было оперативное пространство, и я предпочитал, чтобы оно вообще было белым, тогда получалось декоративнее. В конце шли копии фресок византийского периода из сербских церквей. Они были очень декоративны, их привезли вместе с остатками нашей библиотеки из Белграда. Налево от входных дверей сразу были стеклянные двери, вы входили и оказывались в канцелярии Института. Посередине был стоял новый стол для заседаний и там же был склад изданий и, если нужно, производилась упаковка книг, это было удобно со всех точек зрения. Слева был выставочный шкаф с вещами княгини Яшвиль, ее работами, иконописными опытами. Венчал все это довольно удачный бюст княгини, сделанный одним из друзей института, молодым скульптором. Справа висел большой портрет Н.П.Кондакова работы княгини Яшвиль, перед которым произносил речь доктор Морпер, а под ним вереница портретов заслуженных членов Института, в том числе Ростовцева, Васильева, Нидерле, даже Спицына, и портрет сэра Эллиса Миннза Кембриджского. Был еще портрет немецкого историка искусства, который занимался русскими проблемами и отчасти иконами, так что это была импозантная интернациональная галерея портретов. Здесь же в углу была печь, всюду стояли стулья, дальше направо шли столики для пишущих машинок, а слева около окна и между

материалами княгини и окном, к стене был приделан стол, покрытый линолеумом, на котором работал я. Канцелярия была просторная и деловая. Во всяком случае, она вмещала и всех заседающих, и людей, которые приходили в Институт с разными целями - все проходили через канцелярию. Если они хотели работать в библиотеке, мы их отводили в библиотечные залы, их было два. В первый вы могли войти сразу из канцелярии или из коридора. Там были книги, в одном из шкафов были разные коллекции, собранные Толлем, некоторые даже доисторические. Там же были выставлены его коптские ткани, которые частично висели и в первом Институте. Из этой комнаты был выход на балкон, которым мы никогда не пользовались. Следующая комната опять библиотечная, туда тоже вела дверь из коридора, большая комната, опять обставленная шкафами, здесь же начинались в специальных витринах коллекции, которые раньше стояли в разрушенной перестроенной кухне. Здесь были очень эффектные коллекции крестов, которые мы увеличили, потому что во время войны в Праге были беглецы, профессора с Украины, которые иногда привозили замечательные образцы археологических предметов и продавали нам. Из этой комнаты двойная дверь шла в большой угловой зал, который выходил на две улицы, там получался двойной свет. Здесь были выставлены наши иконы. Эффект был большой. Посередине также были поставлены некоторые коллекции, в витринах, так что получалось очень сильное впечатление. Все поражались: все блестело, ибо Наливкин прекрасно выполнял свои обязанности поддерживать в Институте абсолютную чистоту. Мы не могли себе позволить превратиться в сомнительный кабак военного типа, как очень многие учреждения во время войны. Гестапо дало нам на устройство, кажется, месяц, но когда мы переехали, не все было окончено, но после двух с половиной месяцев работы приблизились к вожделенному концу, и тут я должен похвалить Хмырова - он опять был подрядчиком и взял на себя множество неприятных задач: добыть нужные материалы, преодолеть запрет на получение краски, получить можно было все, но на черном рынке. Вероятно, он и тут получал процент от ремесленников, и Институт тоже давал ему какие-то деньги, но дело того стоило.

До конца 1941 года, несмотря на начало войны с Россией, политика ректората Немецкого университета в Праге в отношении Кондаковского Института оставалась прежней: они как бы защищали нас от наших врагов. Они посадили нам на шею немецкое руководство, если можно так выразиться, Вейганда, хотя он не вмешивался в наши дела. Они дали нам возможность устроиться на новом месте, как мы хотели, и рапорт об этом был встречен весьма благосклонно. Но проект, который я сформулировал в беседе с Хамперлом и о котором специальное письмо составил Совет Института, не осуществился. Это был план перевоза Острогорского из Белграда в Прагу. Мы полагали, что, несмотря на то, что у него был какой-то процент еврейской крови, он не подходил под нюрнбергские законы

полностью. Хамперл навел справки, подтвердил это, но сказал, что он не может стоять во главе дела, потому что еврейская кровь в нем все-таки есть. Он может быть руководителем редакторов, а я по-прежнему отвечал бы за административно-финансовую часть Института. Острогорский как ученый широко известен и поэтому можно будет, вероятно, возобновить каких-то серии. План был утопичен и опасен, но мы хотели сделать что-нибудь для Острогорского, в частности я, который больше всех претерпел от его странных действий, считал, что ему малоприятно находиться в разоренном Белграде, посреди ужасных балканских страстей, лучше бы он приехал сюда и мы с ним могли бы наладить все академические дела. Этот план нравился нашему Совету, хотя мы очень сомневались, что сейчас нужно что-нибудь издавать, лучше подождать окончания войны. Даже при скромном профиле нашего Института может быть очень сильное давление нацистских ученых на наши издания - не все же были такими пассивно-благожелательными, как Вейганд. Но мы шли на это ради Острогорского и известили его о нашем плане. Он выразил полное согласие и очень благодарил, что о нем думают. Но в конце 1941 года Гитлер произнес большую речь, в которой, собственно говоря, признался, что победоносная военная колесница германской армии, притормозила. Анализы моих знакомых генералов были беспощадны: немцы проиграли первый год войны с Россией. Сам Адольф тоже это косвенно признавал, был смещен ряд генералов, и он сам встал во главе армии. Мероприятие ужасно неприятное, по-моему, с точки зрения немецких интересов, достаточно вспомнить русскую аналогию: назначение Государем самого себя Верховным командующим в 1915 г. по существу подсекло монархию. Как всегда в тоталитарных государствах, такая речь вождя определяла события, и через некоторое время ее последствия казались по всем направлениям. Было ясно, что борьба с Россией теперь пойдет всерьез и что Россия оказывает неслыханное сопротивление, какого еще не было в Европы за все время с начала войны в 1939 г., поэтому скидок русским эмигрантам больше не будет. Дело принимало серьезный оборот. У нас это сказалось в том, что Хамперл, к моему большому облегчению, перестал упоминать о том, что можно назначить меня лектором Немецкого университета. Он вызвал меня и сказал, что очень сожалеет, но в нынешний момент ничего нельзя сделать для вывоза Осторгорского, даже если мы его привезем, он - Хамперл, не может гарантировать его безопасность в протекторате, потому что события разворачиваются в антирусском плане. Хамперл был, по-видимому, недоволен этим поворотом событий, но, конечно, не обсуждал этого. Тут же он сказал мне, что не лучше ли Институту переехать в помещение Немецкого университета, где есть два зала для нашей библиотеки и коллекций и где мы были бы под защитой Немецкого университета и Вейганда. Такой переезд менее всего устраивал меня, он означал бы полную потерю самостоятельности и только вопросом времени было бы поглощение нас

Немецким университетом. Я сказал, что, это, конечно, великолепная мысль, но как отнесется к этому Шварценберг, который до сих пор был нашим благодетелем и, как профессор Хамперл знает, пожертвовал большую сумму на обеспечение Института, все развертывание коллекций и перевоз Института происходил за его счет. Стоит ли все это ломать и тем самым показать Шварценбергу, что его жертва была, собственно, не нужна? Это произвело сильное впечатление на декана, он задумался и сказал: "Вы правы, не надо этого делать". Из этого я заключил, что этот проект выдвигался где-то кем-то, может быть, ввиду того, что ожидалось обострение политики в отношении русских, а значит, русских эмигрантов тоже. Они делались "врагами" Третьего рейха уже поголовно, а не выборочно, как вначале. В основе своей русская эмиграция оставалась патриотической, она верила в Россию, а не в великую Германию. Немцы начали понимать, что рано или поздно нацистские власти ударят по эмиграции и могут ударить по Институту. Я пустил в ход аргументы самого Хамперла: сказал, что Институт уже пережил главный кризис и что мы должны маневрировать до того времени, когда окончится война, тогда заграничные члены Института увидят, что он существует и занимается исключительно своими профессиональными обязанностями. Это понравилось Хамперле. Он сказал: "Да, да, Вы правы", перешел на русский язык и был очень любезен. Это была его последняя принципиальная беседа со мной. После этого я лично к нему уже не вызывался, отчеты время от времени шли к Вейганду, а свидания Хамперла со мной, если и были, то краткие. Я был в хороших отношениях с его симпатичной секретаршей. Когда произошли перемены в ректорате и в начале 1944 г. появились большие активисты, я повел особую линию. Какой-то штурмфюрер СС, в свое время доктор, а перед этим секретарь ректората, получил особые полномочия по управлению учеными учреждениями. Я тогда попросил секретаршу не обращать его внимание на нас, отодвинуть нас с первого плана, поскольку мы не просили денег. Другие учреждения просили и даже требовали, появилось множество беженцев из Восточной Европы, главным образом украинских ученых, которые стояли на прогерманских позициях. Они требовали денег и личных стипендий, им давали. А мы сидели совершенно спокойно. Секретарша сказала, что она понимает, и не показывала своему шефу папку нашего Института.

Я оставался в минимальной зависимости от Вейганда и Хамперла. Вейганд был пассивен, а Хамперл все больше погружался в медицинские дела - требовался срочный выпуск новых врачей ввиду плачевного положения на фронтах. На нас влияли и разные внешними обстоятельствами. Одним из них была атака русских нацистов не на Институт, но на отдельных деятелей, в том числе и на меня. С другой стороны, общефинансовые проблемы, как ни странно, решались очень хорошо. В середине 1943 г. мы, еще очень многочисленные деятели разных культурных

организаций, получили приглашение пожаловать в помещение Русской национал-социалистической рабочей партии, где делал доклад барон Меллер-Закомельский из Берлина. Он был сыном знаменитого барона Меллер-Закомельского, который усмирял Прибалтику после 1905 г. и приобрел грозно-печальную репутацию. Его сын сам по себе был интересной фигурой: из породы ищущих интеллектуалов, одно время евразиец, но, кажется, никогда не был младороссом или кирилловцем. Потом он попал в немецкую орбиту, полностью овладел немецким языком, обрел много знакомых и приятелей среди деятелей немецкой нацистской партии. На повестке было написано, что наше присутствие важно, потому что речь пойдет о будущей работе русских эмигрантских культурных учреждений. Собралось довольно много народу. Александр Владимирович Меллер-Закомельский был очень интеллигентный с виду, одет просто, но изящно, со вкусом, с мужским шиком. Что-то у него было с ногой, может быть, последствия детского паралича или какого-то ранения, он ходил с тростью, но это придавало ему известную тонность. Он начал доклад с цитаты из Тютчева:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые,
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.

"Итак, дорогие соотечественники, мы с вами присутствуем на пиру". - Это было довольно неожиданное начало. В первых рядах сидели несколько гестаповцев, но если на Бискупском они все были в мундирах, то здесь в штатском. Он стал развивать мысль о том, что, как национально мыслящие представители эмиграции мы должны стремиться, чтобы была не только немецкая победа - "В ней никто не сомневается",- сказал он с мефистофельской усмешкой, - но нужно, чтобы мы ей содействовали, и содействовали бы в тех областях, в которых сама победоносная германская армия и ее великие вожди могут быть менее удачливыми, чем мы. Это было совсем неожиданно - оказывалось, что немецкие вожди могут быть в каких-то областях неудачливыми. Довольно смелая мысль для публичного выступления. Он имел в виду сферу идей - в России шаблонная, но сильно развитая пропаганда, она дает идейное вооружение коммунистам - "иудо-коммунистам", как он говорил, он вообще употреблял жаргон, введенный Геббельсом. "Иуда" присутствовал во всех видах. Он надеется встретить среди присутствующих активный отклик на его идеи и полагает, что надо будет издавать журнал, не элементарно-пропагандный, рассчитанный не только на колхозника или простого рабочего - в нем нужно дать идейный разгром марксизма и иудаизма. В этом смысле Прага самим Господом Богом предназначена идти во главе этого движения... Мы мысленно ахнули. Если ботаники и математики, которые сидели рядом с нами, могли рассчитывать выйти сухими из воды, то мы, историки, историки литературы, публицисты,

попадали как кур во щи. Ясно было, что от нас ожидают пронацистских писаний. Он объявил, что будет рад увидеться и лично поговорить с участниками этого заседания в отеле, где он остановился и что при выходе мы благоволим получить от дежурного именные конверты с приглашением его посетить. Я тоже получил именной конверт: барон приглашает меня прибыть в такое-то время для обмена мнениями. Я пришел домой как ошпаренный и решил - Господи Боже мой, единственная надежда на чудо. В назначенный день и час я явился в отель на Вацлавском намести. Барон принимал всех по одному. Из Института, кроме меня, был приглашен Савицкий.

Меллер-Закомельский был очень любезен, знал мое имя-отчество, сказал, что знает, как много я работал в печати и что я не только выдающийся ученый, но и блестящий журналист и критик и теперь смогу, не разбрасывая свои силы, направить их на нашего общего врага, т.е. коммунистов. Лучше всего я мог бы использовать свой талант на какой-то теме о советской литературе, например, еврейское влияние в советской литературе. Тут нужно беспощадно показать, что все ведущие марксистские критики - евреи, и проиллюстрировать их пагубное влияние на таланты русских писателей. Я сказал: "Видите ли, Александр Владимирович, я уже давно не занимаюсь советской литературой, фактически я перестал за ней следить с 1937 г., потому что занялся историческими исследованиями и было уже не чтения советской периодики. Я сейчас не в курсе советских изданий и советских литературных новинок". Он прервал меня: "Само собой разумеется, что Вы выделите себе время, восстановите Ваши знания и углубите их". Я сказал: "Но это невозможно: здесь больше нет советских изданий, не знаю, есть ли они в Славянской библиотеке, но они во всяком случае недоступны нам. Как вы знаете, с момента начала военных действий с Советским Союзом все советские издания под запретом". Он сказал: "Вы получите все разрешения, Вы будете ходить в Славянскую библиотеку, куда угодно, читать все новинки". Я возразил, что это не такой быстрый процессы, как ему кажется, чтобы написать статью, да еще на такую ответственную тему, я должен быть полностью вооружен материалом. На что он ответил: "Ну, что ж - мы будем издавать целый ряд вещей, журналы, монографии - в конце концов, Вы можете работать год, два, и получится очень ценная работа". Я добавил: "Есть еще одно обстоятельство, которое заставляет меня сдержанно относиться к Вашему предложению: как Вам известно, моя мать живет в Прибалтике, и я не хотел бы принимать участие в столь явно политически активных изданиях, в то время как она сидит в зоне, которая, кажется, не вполне безопасна". Я был очень осторожен в терминах. Барон сказал: "Вы не беспокойтесь, это пустяки. Мы можем привезти Вашу мать в Прагу, когда Вы захотите, и Вы будете жить вместе и заботиться о ней, кроме того, я совершенно убежден, что Эстония и не войдет в сферу перемежающегося военного счастья и она останется крепко-

накрепко в немецких руках, но, чтобы Вас успокоить, мы это сделаем". Я сказал: "Александр Владимирович, я очень благодарен Вам за понимание и надеюсь, что Вы захотите привезти мою мать в Прагу". Он ответил: "Дайте мне ее адрес в Эстонии и имя-отчество", записал их, и мы расстались. Больше я у него аудиенции не имел, а забегая вперед, могу сказать, что он никогда ничего не сделал, т.е. не вывез мою мать и не предложил мне никаких разрешений для чтения советских источников, чему я был очень рад. Вывоз матери оставался очень тревожным вопросом, она выехала в конце концов в 1944 г. из Эстонии не по ходатайству Мельского - это был его псевдоним - а по ходатайству наших друзей, бывших латвийских дипломатов.

Гораздо более сложная история разыгралась с Савицким, одним из идеологов и теоретиков евразийского движения, который еще до судьбоносных событий, охвативших Европу, стал русским лектором Немецкого Карлова университета в Праге. Прежде это место занимал Сергей Иосифович Гессен, но Гессен уехал в Варшаву, где получил более выгодное для него назначение. Геземанн, декан факультета в то время, знал Савицкого по его сотрудничеству в журнале "Славише Рундшау", Савицкого поддерживал и Роман Осипович Якобсон, который тоже там сотрудничал. Они выбрали вместо Гессена Савицкого. Савицкому было очень важно иметь постоянную денежную помощь от Немецкого университета. От чехов он уже почти ничего не получал, между тем у него на иждивении были тогда два сына, жена, мать и отец. Там он, со свойственной ему энергией, развил россиеведение, которое имело огромный успех у немцев. Он преподавал по-немецки, с картами, с таблицами, на очень актуальные темы, туда ходило много народу. Как выяснилось позднее, среди его учеников были, например, выдающиеся впоследствии местные национал-социалисты и даже гестаповцы, о чем он, конечно, не подозревал. Они сохранили к нему лично огромное уважение. В то же время они ценили, что хотя сотрудничать с немцами в Чехословацкой республике было довольно-таки неразумно, он пошел на службу в Немецкий университет. Как я слышал от участников этих занятий, он действительно увлекал и так подавал материал, и так заинтересовывал Россией, что она начинала казаться положительной страной, вопреки всему, что они обычно слышали. Это продолжалось до начала войны с Советским Союзом. Когда пришли немцы, был даже период неопределенности, когда у Савицкого в Немецком университете были по-прежнему все советские издания, включая газеты. Но когда началась война с Россией, Геземанн, который относился к Савицкому с большим личным уважением, вызвал его и сказал: "Доктор Савицкий, пожалуйста, подайте рапорт, что Вы просите отчислить Вас от преподавания по личным причинам". Когда Савицкий о причинах, он ответил: "Потому что Ваша русская и наша германская имперские идеи теперь в конфликте. Чтобы не поставить Вас и нас в ложное положение, я предлагаю Вам

отставку”. Савицкий понял, что это разумное и, даже можно сказать, великодушное решение. Петр Николаевич так и сделал. Не прошло и трех дней, как он получил назначение, но не от немцев, а от протекторатных чешских властей на пост директора русской гимназии в Праге. Савицкий принял этот интересный и важный пост. Интересный в том смысле, что вы имели дело с молодежью, и эта молодежь, несмотря на то, что жила в протекторате и под немцами, должна была статься все-таки русской. Это была деликатная и важная задача, возможно, полная опасностей, но увлекательная. Он переехал в директорскую квартиру при школе - гимназия была в хорошем современном доме со всеми удобствами - и стал директорствовать. Чтобы сохранить русифицирование, он, например, употребил такой способ: приглашал людей со стороны, которые читали в старших классах гимназии добавочные лекции по русской литературе, истории, географии.

Я сам по его просьбе читал доклад о творчестве Л.Ф.Зурова, очень почвенного автора, писавшего о деревне, о русской старине, прошедшего через Белую армию. Мой доклад был интересен не только ученикам, но и педагогам, которые вряд ли много слышали о Зурове, были также прочитаны отрывки из его книг. Доклад Савицкому очень понравился, потому что Зуров национально-чуткий автор, у него все полно русских мотивов и заботы о русском начале. Конечно, я старался, чтобы это не звучало антинемецки, но во всяком случае интерес к молодому автору, который жил в Париже, был. Савицкий состоял у нас в Совете и очень нам помогал, это продолжалось до приезда Мельского. Барон вызвал его на довольно долгую беседу, Савицкий оттуда приехал прямо к нам в Институт совершенно зеленый и сказал мне: “Знаете, Николай Ефремович, я, кажется, сейчас подписал свой конец”. Я сначала не понял - какой конец? Он объяснил: он высказал Мельскому непримиримость своих взглядов в русском вопросе. Все в том же отеле Александр Владимирович, который его хорошо знал - сам был евразийцем - сказал: “Дорогой Петр Николаевич, я с величайшим уважением отношусь к Вашим работам и полагаю, что Вы будете ценнейшим нашим сотрудником”. Савицкий по его схеме должен был продолжать исследования по экономике России и в то же время написать громовую статью против советских экономистов и руководителей народного хозяйства. Мельский там и сям подсовывал антиеврейский материал. Выслушав, Савицкий сказал: “Александр Владимирович, Вы совершенно забываете, что я лидер евразийцев и не изменил точку зрения на евразийство. Ваша программа неприемлема для меня - она направлена не на пользу России как евразийского целого, но против нее, да еще с позиций державы, которая ведет войну с Советским Союзом, а тем самым и с Евразией”. Александр Владимирович сделал изумленное лицо и сказал: “Петр Николаевич, Вы же понимаете, что мы находимся в таких условиях, когда должны идти на компромиссы и иногда выражать точки зрения, которые не совсем наши,

но полезны в данный момент". На это Савицкий сказал: "Вы можете действовать, как угодно, но я так работать не могу и не буду". Тогда Меллер-Закомельский позеленел и сказал: "Ваше счастье, что я Ваш поклонник, иначе моей обязанностью было бы довести до сведения моих немецких друзей Ваши взгляды, совершенно нетерпимые во время борьбы коммунизма и национал-социализма. Но из уважения к Вам я ничего им не скажу и дам Вам месяц, чтобы обдумать мои предложения и представить письменный план работы - что Вы могли бы дать в мои издания, скорее всего сначала нужна статья в журнал, более политически заостренная, чем большая работа". По рассказу Петра Николаевича, он не утерпел, чтобы не сказать Меллер-Закомельскому, что взгляды того, когда он был евразийцем, были, пожалуй, ближе к исторической истине, чем теперь, поэтому Савицкий не считает возможным обслуживать то, во что не верит. На этой ноте полного идейного отталкивания и подчеркнутой вежливости Меллер-Закомельского они расстались.

Через два с половиной месяца Савицкий был уволен с поста директора Русской гимназии. Это было дело рук Меллер-Закомельского. Драма разыгралась в самом конце 1943 или в начале 1944 г. Встреча с Меллером-Закомельским произошла уже после неудачи под Сталинградом. Тогда немцы или сам Мельский решили выбросить на фронт новое оружие - сформулированную по-русски идеологию национал-социалистического толка. Савицкий, после того увольнения, был, как и все безработные, прикреплен к бирже труда и там попал в резерв тех рабочих масс, которые направлялись в военную промышленность как подсобная сила. В Праге и около Праги был целый ряд разных предприятий, которые работали на немецкую оборону. Он рассказывал, что его отовсюду выкидывают - его присылают, он приходит, и принимающие на фабрику или на завод с удивлением смотрят на его фигуру: высокую, сутуловатую, сугубо интеллигентскую - слабосильную физически, а когда заглянув в его бумаги, узнают, что он профессор и директор школы, то в ужасе его выбрасывают. Он возвращается на биржу. Это продолжалось недели, месяцы. Создалось опасное положение: его могли направить в Рейх, и тогда он мог действительно пропасть, если попал бы в тысячные массы лишенных прав рабочих, где никто ему не стал бы делать скидок. Кроме того, была опасность, что он попадет в штрафники - ему скажут: "Ах, Вас никто никуда не берет, хорошо, мы Вас берем на принудительные работы". Поэтому я поговорил со Шварценбергом, и мы вместе поговорили с доктором Мысливецем, тот сразу все понял и повел переговоры с чешскими руководителями Биржи труда. Объяснил им большой научный вес профессора Савицкого и что надо его как-то спрятать от немцев. Тогда они решили направлять его в культурные учреждения - иногда, скажем, в университетскую библиотеку вдруг требовался швейцар. Они его туда и направляли, но оказывается, квалификация швейцара была иной, чем у профессора Савицкого. Или его

направляли в банк, где был нужен уборщик, но когда его видел заведующий банком, он очень любезно с ним разговаривал и говорил: "Спасибо, к сожалению, мы не можем иметь Вас среди наших чернорабочих". Они не говорили, почему, но мотивы были ясны: он не был ни в какой степени рабочий, это был интеллигент высокой квалификации. Но мы делали это нарочно: после нескольких раз его направили к нам, потому что мы попросили рабочего на библиотечные склады. Мы на самом деле, ввиду того что начинались налеты на протекторат, собирались кое-что упаковать и даже, в случае реальной опасности, отправить чуть ли не в имение к Шварценбергу. На наш запрос нам послали Савицкого, что было, конечно, организовано. Мысливец ни разу не появился на Бирже труда, но он просветил тамошних начальников, и те разыграли все как по нотам. Так что формально никто придраться не мог. В один прекрасный день Петр Николаевич пришел к нам с путевкой Биржи труда. (Он у нас был меньше года, до марта 1945 г.) Мы с восторгом его приняли и сказали, что будем просто платить ему жалованье - у нас в то время финансовые дела шли очень хорошо - и нам никакого его труда не нужно. Но Савицкий был человек принципиальный и считал, что должен помогать, и помогать по библиотеке, потому что мы на всякий случай вели учет книг. В этот момент у нас в Институте появился и Евгений Евгеньевич Климов, наш иконописец и реставратор иконописи, он много общался с Петром Николаевичем и даже написал его портрет, когда тот занимался в библиотеке учетом и переучетом книг.

Как раз в это время в Прагу понаехало много беглецов с Украины и из Восточной Европы. Некоторые любили заходить к нам в Институт, поговорить, приехал, например, из Франции философ Борис Петрович Вышеславцев со своей женой Натальей Николаевной. Он был всецело в руках Мельского, участвовал в его журнале "Новые вехи" и анонимно в конкурсах, которые устраивались "Новыми вехами". Он был очень талантлив, его основные учения чрезвычайно своеобразны, книга его "Этика преображенного эроса" занимает особое место в истории русской философии. Его интересный конструктивный ум понимал кризис культуры. Но, тем не менее, он шел на явное сотрудничество не столько даже с немцами, сколько с русскими нацистами, с Мельским. Тот уже устроил ему и денежное положение, и визы. Когда он появился, он с большим успехом выступал в Русском Свободном университете, несколько раз приходил с Натальей Николаевной к нам в Институт. Было интересно отметить, какая у этого большого мыслителя и уже пожилого человека была зависимость от жены, он всегда к ней обращался: "Наташа" - и как бы ожидал санкции на свои действия, поступки и даже реакции. Когда эти выходцы с Востока и беглецы с Запада, как мы выражались, появлялись у нас в Институте, мне приходилось туго: их нужно было изолировать от общения с Савицким, потому что тот, хотя всю войну фрондировал против немцев, в этот момент

особенно ожесточился против них. Я ему много раз говорил: "Петр Николаевич, так нельзя, Вы себя подведете под удар". Но это все сходило, благодаря тому - я позднее понял это - что его бывшие студенты вошли в органы гестапо и могли просто не принимать во внимание несомненно существовавшие доносы на него. Мне Дедио сказал, что доносы процветают в русской среде, и "на Вашем месте,- сказал он мне тогда, а я по наивности не понял,- я бы не очень верил благожелательности некоторых Ваших ученых коллег". Позднее, после войны, когда я встречал Дедио уже в Западной Германии, он сказал, что на меня писали доносы из профессорской среды, хотя и не из Кондаковского института. Нравы в этом плане были неприятные, и, конечно, на Савицкого должны были быть доносы, я не верю, что их не было. Мне Дедио напрямик сказал, что дважды получил на меня серьезные доносы - первый, что я английский агент. Это очень удивило Дедио, он сказал: "Я вас подверг допросу, а Вы и не заметили во время игры в шахматы". Он перепроверил целый ряд вещей и установил, что это, конечно, вздор. Второй донос был еще хуже: шли аресты по линии нацмальчиков (НТС), и доносчик указал на меня как на одного из крупнейших идеологов этого движения. Дедио опять перепроверил и сказал, что оттого, что он знал меня и обстоятельства вокруг меня, он не дал доносу хода. Так что на Петра Николаевича доносы должны были сыпаться дождем.

В феврале 1945 г. я услышал, что в Прагу опять приехал Меллер-Закомельский, и слышал много подробных рассказов о том, что назначенный в этот момент новый полицеймейстер Праги - личный друг Меллера-Закомельского, имеет особые полномочия, ибо ожидались всякие волнения, возможно даже, восстание в Праге. Когда Меллер-Закомельский в марте узнал, что Савицкий работает в Институте Кондакова, то по его инициативе немецкие власти вдруг запросили Биржу труда, на каком основании Савицкий послан на работу в наш Институт. Как передал нам тогда же доктор Мысливец, шефы Биржи дали немецкому начальству все сведения о Савицком: когда именно он был отчислен, что приблизительно 15 раз его направляли на разные заводы, фабрики или в организации, работающие на оборону, и все 15 раз его отвергли. Тогда его стали направлять в культурные организации, но три раза его отвергли, и в конце концов мы его приняли по своему запросу рабочего для помощи с переучетом и упаковкой книг. Руководителей Биржи труда не тронули, однако Савицкого уволили, и неизвестно, что на этот раз придумали бы немцы, если бы не наступил апрель и не началось крушение немецких фронтов и Пражское восстание. Этот эпизод - просто интересная иллюстрация быта при немцах. Рассказ звучит довольно умеренно: "Видите, как мы водили немцев за нос", но на самом деле было страшное напряжение, которое сказывалось на здоровье и нервах самого Савицкого, его семьи и всех его друзей. Здесь столкнулись, как часто бывало в нацистской Германии, разные начала.

Несомненно, Меллер-Закомельский представлял собой, во-первых, русскую национал-социалистическую группу, кроме того, он опирался на группу Геббельса, и, как мне передавали, получал от него деньги на усиление пропаганды. Между тем мы были под защитой местных немецких организаций. Так что, Меллер-Закомельский и полицейские власти не могли наброситься на наш Институт, потому что это затрагивало другие ведомства. Такое сосуществование нескольких начал в нацистской Германии было единственным, что позволяло людям существовать, потому что допускало некоторые маневры.

Для полноты картины надо добавить характеристику тех сторон нашего быта под немцами, которые я не успел осветить. Общую линию поведения населения протектората можно охарактеризовать как приспособление к новым порядкам, совершенно чуждым и просто враждебным традициям чехословацкой республики или русской эмиграции вело прежде всего к двойному лицу, двойному поведению - вы делали одно выражение лица при немцах, другое наедине с собой или с вашими друзьями. Эта двойная линия была чрезвычайно сильно развита с 1939 до 1945 г. Внешне было полное повиновение и даже признание немецкого начала. Об этом говорилось в официальных речах, писалось в прессе. И в то же время мы только и считали месяцы, когда же наконец этот людоедский режим исчезнет. У меня есть большое подозрение, что многие немцы, возможно, даже большинство немцев было в той же психологической ситуации, что и мы, и их положение было еще сложнее, потому что примешивался еще и национальный момент. Вообще, обострение национализма было безусловное, и выражалось это двурушничество в отношении новой власти и новой Европы прежде всего в попытках не слушаться немцев. Наиболее популярной формой непослушания были покупки на черном рынке всех товаров, которые немецкие власти официально запрещали. Поэтому развитие черного рынка началось сразу же после прихода немцев, вернее с того момента, когда через 3-4 дня после 1 сентября 1939 г. в рейхе - и через три недели у нас - были введены продовольственные карточки. Сначала они были более или менее приличными по количеству ассигнованных калорий, но постепенно все худели, худели и превратились скорее в символические продовольственные документы, чем в реальные калории.

В ответ на это и появился черный рынок, который, между прочим, поддерживался фактом существованием независимой Словакии, из которой широким потоком шли контрабандные продовольственные товары. Это не входило в планы немцев, они старались арестовывать спекулянтов, даже казнить. Так, в 1940 г. был "заговор мясников": мясники в Праге и других центрах продавали на черный рынок много мяса за высокую цену, и нескольких мясников даже повесили, а некоторых отправили в концлагеря. Мясники прекратили свою деятельность, но сама идея снабжения населения

сверх норм, установленных нацистами, нисколько не поколебалась. Сам я почти два первых года войны не нуждался в карточках, потому что большинство ресторанов или столовых, которые я посещал, знали меня с довоенной поры и давали мне и моим гостям еду, не считаясь с меню и не отбирая у нас талоны. Постепенно стала повышаться дань за это, т.е.чаевые. Немцы должны были соображать, что тут что-то неладно, но они никак не реагировали. Например, приезжал археолог, профессор Герке из Берлинского университета, учитель доктора Редлиха по классической археологии, читал лекцию в Институте. Было довольно много народу, и мы устроили из этого праздник, потому что у нас не было местных немецких лекторов и нам было очень важно иметь видного археолога из немецкой столицы. В моей комнате был устроен хороший ужин, с прекрасной чешской едой - на соседней Ржеховце был ресторан, который нам все это устроил. Гостей было человек 10, и мне как руководителю Института пришлось за это заплатить. Но ни одной карточки у меня не взяли, все делалось "начерно", за деньги. Герке мог бы и понять, все-таки интеллигентный человек, откуда такая еда, да сколько угодно, да еще вино, но он не обратил внимания.

Мне рассказывали, что начальник Русского опорного пункта эмиграции Ефремов время от времени принимал у себя гестаповцев из 2-го отдела, т.е. свое начальство, и каждый раз кормил их гомерическим ужином с попойкой - но попойка никого не удивляла, алкоголь можно было достать всюду, он не был рационирован. А вот начальнику отдела, Гайде, никогда не пришло в голову спросить Ефремова: "Откуда вы берете такие количества первоклассного мяса?" Видно же было, что с черного рынка. Такая двойственность отношения - власть одно, а мы другое - была развита в протекторате не только у русских и чехов, но, по-видимому и у самих немцев. Например, в 1943 году приехали ко мне давнишние добрые друзья по Ревелю, Маргарита Карловна и Анатолий Дмитриевич Кайгородовы. Они были в то время переброшены из Прибалтики в Познань как седьмая вода на киселе, как мы выражались - псевдонемцы, будто бы у них какие-то предки были немцы, и они уехали в 1940 г. из-под носа советской волны, захлестывавшей Прибалтику. Анатолий Дмитриевич был уже возраста невоенного, ему ничего не угрожало, и он продолжал писать картины. Они были поражены красотой Праги, и он сделал много набросков, но больше всего их поразило, что я мог первоклассно угощать их без всяких карточек. Они недоумевали: как это может быть? Это же Рейх 1943 года? - 1943-го! - Война началась в 1939? - В 1939! А в Праге можно было все получить без карточек! Я водил их по ресторанчикам, где меня знали, и нам давали все лучшее. Когда они уезжали обратно в Познань, я пришел проводить их с 20 пирожными, настоящими пирожными, не теми, что продавались в 1943 г., но теми, которые продолжали делать для избранных. Их поезд попал под обстрел американской или английской авиации и застрял, и им пришлось

этими пирожными питаться два дня. Они в ярких красках описали это мне и благодарили. Такова была реальность: можно было достать все именно в пику немцам. В 1943 г. прошел слух, что будут конфисковывать винные погреба в пользу армии. И на черный рынок было выброшено огромное количество отменных вин по очень низким ценам. В Праге было полно винных погребков, ресторанчиков с запасами отличных вин, и каждый погребок славился специальными винными марками, можно было подумать, что все население Праги в Средние века было ужасными пьяницами, - столько было сортов пива и вина, традиция которых сохранилась и до грешного XX века. У меня возник еще один источник дохода - русские уроки, которые все увеличивались, особенно с момента, когда началась война с Россией и все официальные курсы русского языка закрылись. Желающие пошли по частным учителям. У меня было довольно много учеников, которым я сказал: "Что мне делать с Вашими деньгами, у меня денег много, если угодно, могу обклеить ими часть моей квартиры, давайте лучше перейдем на натуральный расчет. У Вас у всех есть связи с деревней и со Словакией, а у меня нет, я один из немногих честных граждан Праги не имею прямых связей с черным рынком. Поэтому я предлагаю вам платить мне натурой, например, вместо денег - фунт масла, курицу, 2 дюжины яиц, вино". Одно время у меня в ученицах была дочка или племянница владельца винного погреба - столько вина я в жизни не видел. Все внутренние шкафы в Институте были заставлены бутылками. Правда, все быстро выпивалось: вечером идти некуда, в театр не пойдешь - по дороге может быть облава, или эсэсовцы будут проверять документы, якобы ловят террористов с английских аэропланов. Кино тоже редкость: фильмы или очень старые, безобидного довоенного времени, и вы их уже видели раза 2-3, а если фильм, новый, то немецкий, иногда даже сильный, но с нацистским душком, с дидактикой. Поэтому приходили приятели, я вытаскивал две бутылки вина, и мы тут же распивали их. Они рассказывали, что сказали по радио, и антинемецкие анекдоты.

Чехи всегда были мастерами анекдота. Еще во времена первой Республики меня очень позабавила карикатура, которая высмеивала склонность к сенсациям желтой бульварной прессы. Высмеивалась газета "Экспресс", которая и выходила не на белой, а на желтой, оранжевой бумаге и любила по каждому пустяку, из-за каждой очередной сенсации сделать "специальное" издание, которое вызывало суматоху и всегда, по-видимому, хорошо расходилось. Мальчишки кричали: "Специальное издание "Экспресса"!"- и часто выкрикивали главную новость. В ночь под Рождество вышла карикатура, на ней мальчишка, который кричит: "Специальное издание "Экспресса"! Родился Иисус Христос!" Я лично считал это тонким юмором, хотя было много и грубого. Из ранневоенных анекдотов вспоминается такой: раннее утро, трамвай, переполненный, затемненный, идет не то дождь, не то мокрый снег, все злые. Какая-то

старушка говорит: "Господи, Боже мой! И все это мы терпим из-за одного человека!" Напротив нее некая фигура наклоняется к ней, отгибает лацкан, виден значок немецкой тайной полиции. Он спрашивает: "Из-за какого человека, бабушка?"- и бабушка ему говорит на весь вагон: "Из-за Хурхила". А Хурхил - это Черчилль, чехи, не зная английского языка произносили его имя так, как оно писалось. -"Из-за Хурхила, а ты думал - из-за кого?" Это остроумие производило потрясающее впечатление. 40 лет помню анекдот и ту эмоцию, которую он вызывал. В конце войны анекдотов стало еще больше, и один из них я хочу зафиксировать: идет 1943 г. Один из грандиозных налетов на Берлин авиации союзников, часть Берлина в руинах, и по руинам идет Адольф Гитлер. С ним ряд его сотоварищей. Он идет и все больше хмурится, и вдруг слышит, что сзади хихикает Геббельс. Он оборачивается и спрашивает: "Чему смеешься?"- "Мой Фюрер,- отвечает Геббельс,- я вспоминаю твою речь 10 лет тому назад: "Дайте мне власть над Германией, и через 10 лет вы ее не узнаете!"

Отношение чехов к немецкой оккупации не ограничилось стремлением подорвать хозяйственную политику Третьего Рейха черным рынком и распространением анекдотов. В Чехословакии или, вернее, в Чехии и Мораве в этот период целый ряд организаций действовал в подполье. Время от времени немцы раскрывали их и производили жестокие расправы, мы слышали, в заглушенном виде, о гибели людей, о сотнях, отправленных в концентрационные лагеря. Кульминации это достигло в момент, когда был убит Гейдрих, совершенно феноменальный по жестокости палач и, по некоторым сведениям, один из возможных наследников Гитлера. Хотя многие немцы потом возражали мне, говоря, что это было просто преувеличением чешской пропаганды. Но смерть Гейдриха всех нас потрясла, не только факт убийства, но и то, что долго не могли найти террористов, которые в финальной стадии скрывались в подвалах чешской православной церкви, где и погибли, за исключением того человека, который их предал. Утверждали, что все эти организации погибали из-за предательств, всегда находился иуда или человек, попавший в руки гестапо и не выдержавший мучений или испугавшийся и предавший братьев в обмен на свою жизнь. Расправа за убийство Гейдриха была поистине средневековой - убили сотни так называемых заложников, которые сидели в тюрьмах, по-видимому, расправы коснулись целого ряда таких групп, которые немцы сначала как будто не собирались трогать. Но вообще они систематически громили чешское общество: истребляли бывших офицеров, бывших соколов, всевозможные левые политические группировки, и каждый этап разгрома означал передвижку в немецкой политике. Например, когда стали - не в первую очередь - громить коммунистов и социал-демократов, мы поняли, что неминуемо столкновение с Советским Союзом.

Я вдруг попал под наблюдение подпольных чешских организаций. Их удивляла наша единственная в своем роде независимая роль в культурном

мире Чехословакии: нас не закрыли и не причислили ни к чешским, ни к русским эмигрантским, ни к чисто немецким организациям. Явно у некоторых руководителей подполья должен был возникнуть вопрос: в чем дело? что мы делаем, чтобы оставаться в таком уникальном положении в нацистском государстве, которое всех стрижет под одну гребенку? Они могли бы это узнать от нас, но они сделали это очень интересным путем. У меня была одна очень способная ученица, чешка. Она родилась в Вене, училась там, а потом переехала в Чехословакию, она свободно владела и немецким и русским языками. У нас были очень хорошие отношения. Назовем ее, скажем, Леночка.

Я несколько раз обращался к ней с просьбой помочь с немецкими бумагами, их было много и не всегда рядом был Шварценберг, и хотя я более или менее знал немецкий, но все-таки не настолько, чтобы писать безукоризненно. Раза два я даже просил Дедио проверить письма, но он не всегда был в протекторате. Леночка была внимательна ко мне, и в какой-то момент мы интимно сблизились. Она была милая блондинка, несколько склонная к сентиментальности, и я даже опасался, что влюбился. Во всяком случае, она была незаменима как помощница. Когда приезжал Герке, она не пошла на ужин и отполировала мою речь, она вообще научила меня целому ряду немецких бюрократических оборотов, так что я был ей крайне благодарен. Если она оставалась запоздно в Институте, то всегда уходила рано утром, потому что, во-первых, служила в каком-то центральном учреждении, а кроме того, не хотела давать повод для сплетен членам Института, которые раньше 9 не появлялись. В один прекрасный день эта замечательная блондиночка вдруг сообщила: "Николай, я должна тебя бросить". - "Почему? Чем я тебе не нравлюсь, или что-то случилось?" - "Нет, я очень тебя люблю, и надеюсь, что после войны у нас будут более определенные отношения, но сейчас я должна уйти, потому что этого требует организация". - "Какая организация?" - Я попросил объяснить мне, что это за организация, и она сказала, что является членом подпольной организации, которая заинтересовалась положением нашего Института и через нее старалась разведать все подробности о нас. - "Теперь,- сказала она,- я все разведала и доложила, ты совершенно чист, мы все знаем о тебе и видим, почему они держат вас на особом положении, не подчиняя ни чехам, ни немцам, ни эмигрантам, - после войны они хотят иметь маленький козырь: вот видите, этот Институт просуществовал всю войну, и мы его не тронули. Так что ты можешь быть спокоен".

Я был спокоен, но крайне раздосадован: хотя Леночка уверяла, что сначала стала моей приятельницей, а потом организация попросила ее все узнать, я не вполне этому верил, и, сопоставив некоторые детали, думаю, что она уже имела задание, а потом решила, что наилучшее средство - стать моей временной подругой. Позднее она несколько раз появлялась на моем горизонте, и всегда очень действенно, перед восстанием, сразу после восстания и во

время его, благодаря ей на дверях Института появилась бумажка с какой-то чешской печатью - что Институт находится под защитой Национальных стрелковых дружин. Что это за "дружины", не знаю, хотя некоторые русские знакомые тоже состояли в каких-то дружинах. Во всяком случае, она проявляла ко мне большое внимание, хотя той близости, что продолжалась несколько месяцев, уже не было. Она с большим вниманием отнеслась к моей матери, когда та приехала, приходила познакомиться с ней и была очень любезна, помогала - вообще была хороший человечек. После войны она даже писала мне раза два в Англию. Потом все замерло, потому что отношения с Англией были уже, по-видимому, опасны для нее. Я только хочу обратить внимание, какие странные истории происходили в то время. В целях предосторожности, не для себя лично, но ради безопасности Института я не имел радио, в тот момент это было опасно. Не имея радио, я не мог распространять заграничные сведения, что жестоко каралось немцами. Эти сведения мне докладывали каждое утро - у некоторых сотрудников радио было. Постепенно формы немецкого контроля становились все примитивнее и грубее и иногда достигали циничеcких крайностей. Так, однажды, в 1944 г., ко мне пришел князь П.Д.Долгоруков, который жил недалеко от нас. Страшно взволнованный, он сказал: "Николай Ефремович, я пришел к Вам просто поплакать". И рассказал жуткую историю о том, как у знакомых чехов был арестован и казнен сын - ему отрубили голову. Гестапо прислало им счет за содержание сына в тюрьме - за питание и за "физическую операцию", т.е. за казнь. Мать чуть не умерла от ужаса: она не знала о судьбе сына, отец тоже в горе. Он сказал: "Подумайте, до чего дошло". Уже попахивало германским концом, и они все более лютовали, особенно после покушения на Гитлера в 1944 г., когда им, очевидно, была дана директива не щадить врагов. Общая атмосфера в Праге все нагнеталась. Само собой разумеется, были закрыты курсы русского языка, но заседания Русского свободного университета все-таки продолжались, хотя теперь проходили в подвальном помещении в Сборовне профессорского дома на Бучковой улице. Там жило большинство профессуры - им не надо было тратиться на транспорт, было теплое помещение - там работала детская школа и группы, занимавшиеся, кажется, благотворительностью. Была более или менее цивилизованная обстановка, всегда были слушатели, так как в этих двух домах было много квартир и люди приходили на интересные доклады. Хотя посещаемость резко уменьшилась после начала военных действий в России.

В 1944 г., когда появились беженцы из Прибалтики и приехали по визам Мельского сотрудники его "Новых Вех" из Франции, собрания опять оживились. С громадным успехом выступал Всеволод Орлов, артист Рижской русской драмы - замечательный талант, брат пианиста Николая Орлова. Изумительный мастер мимики, он разыгрывал сцены, которые просто клали со смеха всю аудиторию. Выступал Вышеславцев, поразивший

элегантностью своих докладов. Там собрались философы, была очень интересная дискуссия на высоком уровне. В этом отношении Русский университет продолжал существовать. По своим настроениям русская эмиграция грубо говоря делилась на две группы: оборонцы и пораженцы. "Оборонцы" считали, что прямое нападение на Советский Союз нацистской Германии требует от эмиграции приостановления враждебных действий по отношению к советскому правительству и его моральной поддержки. На этой платформе стояли многие мои знакомые: Савицкий, отчасти Сергей Семенович Маслов, Дмитрий Иванович Мейснер, представитель РДО, Екатерина Дмитриевна Кускова, оппонент самого Ленина в 90-е гг. прошлого века, автор знаменитого "Кредо". "Оборонцы" были во всех центрах русского рассеяния, как любили витиевато выражаться журналисты: туда входили такие личности, как М.Л.Слоним, писавший даже в каком-то органе оборончества, издававшемся в Париже - я этот орган в Праге почти не видел, к ним примыкали социал-демократы и даже младороссы, во всяком случае руководство младоросской партии, во главе с Казем-Беком, который после начала военных действий против Советского Союза объявил о роспуске своей организации и уехал в Америку. (После войны он из Америки вернулся в Советский Союз, и вроде бы оказалось что он давно сотрудничал с советскими органами.)

Другие, "пораженцы", говорили, что нужно разгромить Советский Союз и коммунистическую партию, а там видно будет. На этой точке зрения стояли воинские организации, монархические группы и в какой-то мере НТС. Здесь была более сложная позиция: они рассчитывали воспользоваться немецким вторжением и попасть на русскую почву, считая, что там у них появятся новые неограниченные возможности. В 1940 г. общее мнение было скорее пронемецким, и я во многих дружеских и даже нейтральных домах слышал такие оптимистические заявления: "Чувствуя я, что очень скоро мы будем дома". Но началась война, приобретшая на русском фронте страшную ожесточенность, с которой немцы не сталкивались на Западе и которую вначале они отмечали в своих сводках - позднее этот мотив исчез, но вначале все сводки были полны удивления, что советская армия оказывает такое сопротивление. Второй мотив - люди, которые стали переводчиками при немецких войсках и главным образом при немецких технических отделах, возвращаясь в отпуск, шепотом рассказывали ужасы не только о советском режиме, но и о поведении оккупационных войск, о жестоком третировании пленных и местного населения - и настроения русской эмиграции начали сильно меняться. Оказалось, что в русских очень силен инстинкт кровности - то, что мы называем патриотизмом. Он начал подспудно бушевать среди эмиграции. Это было интересное и сложное состояние, и нужно было быть очень осторожным, так что я старался не ходить в такие дома, где мог попасть в прогитлеровскую эссенцию глупости или, напротив, в нелепо просоветскую восторженность. И то и другое было

далеко от реальности. Я очень осторожно пускал к нам в Институт людей, стараясь избегать тех, кто явно принял ту или другую сторону, чтобы они не отравляли нас разговорами о политике. Я не хотел, чтобы потом по городу говорили: "Мне сказали в Кондаковском институте, что...". Это не было нашей задачей, и собрать тучи с градом против бедного Института я считал немудрым.

Моя политика осторожности, если ее замечали, вызывала раздражение с обеих сторон. Меня несколько раз упрекали за то, что я избегаю ходить в заведомо пронемецкие дома, но я отвечал, что я очень занятой человек. В один прекрасный день я повстречал Маслова, который угрожающе сказал: "Имейте в виду, придет день, когда вам придется дать отчет о Вашей деятельности за этот период". Я сказал: "Поверьте, моя отчетность в полном порядке, так что я могу ответить когда угодно и кому угодно по всем пунктам. В моей деятельности нет ничего ни секретного, ни запретного". Когда в 1944 г. по ходатайству латышских дипломатов, моих друзей Игенбергс приехала моя мама - ее вместе с их родителями вывезли из Эстонии - она жила в моей комнате при Институте, другого помещения не было, и однажды доктор Мыслевец в полушутливой форме преподнес ей вещь, неприятно ее поразившую: "Вот скоро придет Красная Армия, и они повесят Николая Ефремовича, потому что у него очень много контактов с немцами, которые не нравятся ни чехам, ни, конечно, Красной Армии". Я сказал: "Да, Иосиф Иосифович, несомненно меня повесят, но перед этим они со мной поговорят, не забудьте, у нас общий язык, и они захотят узнать о моих коллегах и близких знакомых - что те делали при немцах? Тогда я смогу им рассказать, что пока Андреев, как сидел при Институте Кондакова в момент прихода немцев, так и остался там до прихода советской армии, ничего за это не получив, кроме шипов, которыми, как вы знаете, его кололи со всех сторон, доктор Мыслевец за это время сделал большую карьеру: дважды получил повышение, увеличение жалованья и теперь он советник Министерства юстиции Протектората Богемия и Моравия. Вот что они от меня услышат". Все это было сказано полушутя, но произвело чудесное действие: Мыслевец умолк навсегда. Это была отчасти чешская ментальность: если вы высказывали логичные аргументы, которые они признавали, то после этого вы могли провести свою точку зрения, победить их.

В 1944 г. разыгрался еще один потенциально опасный эпизод: было опубликовано распоряжение об уплотнении ряда квартир, ввиду того что ряд санитарных учреждений переводится из Германии в протекторат. Мы каждый день читали какую-нибудь белиберду, исходящую от властей и - на все не наздравствуешься - уже привыкли. Но дней через пять или неделю спустя раздался звонок, и появился чех средних лет и неопределенной наружности, который явился из жилищного отдела городского магистрата. Они должны осмотреть наши помещения и уплотнить нас, потому что у нас

библиотека и музей, которые сейчас все равно не могут нормально функционировать, поэтому нам придется отдать часть помещений. Распоряжение есть распоряжение, мы осмотрели помещение - он поразился общему порядку. У нас был и склад изданий - бывший черный чулан, и вся кухня была склад изданий, там же производилась упаковка, потом была комната, где жил я и в этот момент жила моя мать, затем все музейные и библиотечные комнаты, включая канцелярию. Потом я пригласил его выпить кофе, вытащил настоящий коньяк и пригласил Петра Алексеевича Хмырова, потому что знал, что он очень хорошо умеет разговаривать с чехами. Мы стали рассказывать ему, что такое Институт Кондакова и кто его создал. Рассказали, что он был создан при поддержке президента Масарика, что многие члены Института, в том числе директор, доктор Толль и президент, профессор Васильев находятся в Соединенных Штатах. В США в это время находилась и дочь Масарика, доктор Алис Масарикова, которая одно время была главой Красного Креста в Чехословакии. Его старший сын, Ян, в этот момент был в Лондоне и играл активную роль в чешских группах, боровшихся за восстановление независимости Чехословакии. Мы сказали, что Алис Масарикова является почетным членом Института, объяснили, почему немцы не закрыли нас, а дали нам особые полномочия, и сказали, что они тоже как будто заинтересованы в том, чтобы мы сохранились, потому что мы не политическая организация, а научная, международно известная. Все это явно было новостью для нашего гостя. Он понял из этого одну или две вещи: наш Институт лучше не трогать, потому что, во-первых, могут вмешаться немцы и дать жилищному отделу взбучку, а во-вторых, война явно идет к концу, много шансов, что победят союзники, в Чехословакию вернутся старые боги - никто не думал, что она будет коммунистической - и Алис Масарикова, и доктор Толль, все они явятся шумной толпой из США, и весьма важно, чтобы чехи не обижали этот Институт. Он совершенно переменил тон, к тому же с удовольствием выпил настоящего кофе с коньячком, коньяк мы подливали ему несколько раз, и в конце концов сказал: "Паны докторы, поверьте, я пришел сюда только по обязанности, но несомненно ваш Институт никак не подходит к учреждениям, которые надо сократить, это очень ценное учреждение, я вижу, как все здесь тщательно сделано, и мы постараемся сохранить все нетронутым". Что и требовалось доказать - он исчез и больше не появлялся. Это пример того, как надо было обращаться с местной публикой, потому что они старалась на всякий случай действовать на обе стороны.

Политическое положение эмиграции подвергалось время от времени сотрясениям. Первое испытание наступило для эмиграции, когда началась война с Россией. Перед этим прошла волна арестов в связи с началом войны с Польшей, затем с союзниками, в частности, тогда был арестован генерал Войцеховский, который жил в нашем доме на Слунной улице. Он снимал

квартиру, которую перед тем занимал коллаборационист граф Кинский. С генералом Войцеховским я был в самой тесной дружбе, ходил к нему и очень многому научился у него по военной части. Он был очень собранный, волевой, видно было, что военная косточка. Сергей Николаевич просидел в гестапо три недели. Я его спросил, как общий режим. “Общий режим,- сказал он,- знаете, в русской армии были дисциплинарные роты почти арестантского типа, туда отправляли или строптивых солдат, или грубых нарушителей дисциплины. Вот представьте дисциплинарную роту, со всеми лишениями: встать, стоять смирно, полуголодный паек плюс еще дурак фельдфебель во главе этой роты, который может наделать вам неприятностей по своей глупости. Это и есть гестапо. Но лично я обязан гестапо тем, что они меня посадили на голодный паек,- язва желудка, которая была у меня довольно долго и которую никак не могли излечить, прошла за эти три недели, когда я, в сущности, ничего не ел: немножко хлеба, эрзац-кофе и какой-то пседвосуп. Что касается следствия, меня вызвал следователь - кто я, что я, почему я, сказал, что я подуськивал солдат к действиям против немцев. Это, говорит, по Вашему приказу были вывешены лозунги: “За каждого убитого чехословака четыре убитых немца” или “Не уступим ни пяди земли без того, чтобы затопить ее в немецкой крови”.

Я,- сказал Войцеховский,- посмотрел на следователя и заметил, что у него военная выправка, видно, что кадровый офицер. И я ему сказал: “Разрешите вам задать вопрос?” Он говорит: “Пожалуйста”.- Вы кадровый офицер? Тому было очень приятно, он сказал: “Да, как Вы узнали?”- “Сразу видно, как Вы держитесь. Так вот, я Вам скажу просто, как кадровый офицер русской армии кадровому офицеру германской армии: когда я назначен командовать солдатами, которым, может быть, предстоит драться с немцами, что я им должен сказать? Чтобы они никого не убивали, воткнули штыки в землю? Нет, конечно, мы должны были говорить обычные вещи: за одного убитого нашего - четыре убитых врага. Я согласился, когда эти лозунги предложили вывесить”. Это очень понравилось следователю, как и то, что Войцеховский против немцев никогда ничего не имел, а боролся с большевизмом. По-видимому, гестапо старалось выяснить точку зрения Войцеховского на коммунизм и на концепцию Гитлера. Кажется, Сергею Николаевичу удалось убедительно показать, что он в первую очередь антикоммунист, а все остальное для него прикладное. И поскольку Гитлер антикоммунист, он ничего не имеет против него. Какая-то мудрая голова решила его освободить, и через 3 недели он вышел. В 1940 или в начале 1941 г. были произведены первые аресты в НТС. Андрей Мусатов (ныне Сомов), тогда очень молодой человек, отправился к матери в Словакию. Он нелегально перешел границу, но, идя оттуда, он нес рапорт местной организации НТС в Прагу, который они не могли послать по почте. Гимназист, он нес сало и всякую

всячину и попался пограничникам. Ничего особенного не случилось бы, конфисковали бы сало, и, возможно, он просидел бы неделю под арестом, но рапорт он зашил под подкладку, и его обнаружили. Там была какая-то политика, и его передали немцам. Немцы отправили Мусатова в Прагу, в гестапо. Там он попался как раз Дедио, я слышал потом все от самого Мусатова. Мусатов вначале страшно ему врал, зачем, тоже непонятно, я ему даже сказал: "Почему не сказать было правду, ничего особенного ведь не было". Он ответил: "Я думал, что так надо делать, раз не посылают по почте, значит, надо скрывать". Ничего ему не сделали и в конце концов выбросили оттуда, но арестовали Сергея Тарасова, что было уже хуже, потому что действительно руководил какими-то группами НТС в Праге. Тарасов тоже врал, так что его избили на допросе, после чего он наговорил разного вздору и, вероятно, больше, чем надо. Были произведены аресты в так называемом Русском клубе молодежи. Он помещался в чердачном ателье, я там читал однажды доклад о Зурове, туда приходила публика и пела песни. Как раз в очередной раз в протекторат приехал Роман Николаевич Редлих, и мы с ним были приглашены на обед к Марии Ивановне Сергеевой, матери доктора Сергеева, который, кажется, в то время, был уже в Германии на какой-то работе. Мы поехали к ней в Страшницы, и она невероятно вкусно нас накормила: какой-то особенный борщ с чесноком, так что от нас сильно пахло чесноком. Мы должны были поехать в этот самый клуб, на чей-то доклад. Мы уже опаздывали, но я сказал: "Роман, неудобно явиться с таким запахом чеснока в клуб, давай вылезем на Вацлавском и выпьем крепкого кофе и съедим что-нибудь фруктовое, чтобы отбить запах". Мы так и сделали и явились, опоздав минут на 45-50. Какая-то взволнованность была среди публики, председательствовал кто-то неожиданный, чуть ли не Юра Грохолинский, никаких докладчиков из серьезных молодых людей, которые все, очевидно, были из НТС, не было видно. Я еще сказал: "Где же они?"- "Ах,- отвечал Роман,- наверное, сидят в соседнем кафе на совещании". Но вдруг заседание закрылось, и мы узнали, что когда оно началось, появилось гестапо и арестовало весь президиум и докладчиков, пятерых увезли - двух братьев Беводов, Брунста, Горачека и еще одного. Тогда следующие по старшинству, Юра Грохолинский и кто-то еще продолжили заседание, но без доклада, поговорили на текущие темы. Такой арест был в новинку, они прощупывали организацию. Позднее мы поняли: это все была подготовка к войне с Россией, они начали арестовывать коммунистов, с одной стороны, а с другой стороны, такие национальные русские организации. Все переживали, к ним ходили родственники, потом, когда их выпустили, мне некоторые из них рассказывали подробности. Гестаповцев поразило, что все они были уверены в том, что будет конфликт между нацистской Германией и Советским Союзом, несмотря на договор о ненападении и дружбе. Советскую нефть день и ночь везли в Третий Рейх, и это давало

им возможность продолжать войну на Западе и Балканах.

22 июня 1941 г. мы с генералом Войцеховским были в далекой велосипедной поездке, мы с ним часто ездили по субботам и воскресеньям, у него был свой велосипед, я брал напрокат. Автобусы по воскресеньям не ходили, машин частных не было, главным транспортом были велосипеды. Мой приятель, Юрий Владимирович Грохолинский был директором фабрички в Старо-Болеславе, городке в 22 километрах от Праги, и это часто была наша база - у него там всегда были возможности, какие-то рестораны, где можно было хорошо поесть. Оттуда мы ехали дальше. Эти поездки в обществе Войцеховского мне очень нравились: он был очень серьезный человек и в то же время не азартный велосипедист, скорее я гнал, а он ехал со средней скоростью. С ним интересно было разговаривать, и мы находили общий язык, хотя иногда он любил и помолчать. В тот раз мы выехали рано утром, заехали в Старый Болеслав, взяли Юру на велосипеде и поехали уже втроем еще на 70 километров к северу, где были бассейны. Мы успели принять ванну и пошли завтракать в ресторан. Был час дня. Вдруг зарокотал громкоговоритель, и громом среди ясного неба грянуло сообщение: дескать, фюрер еще раз вложил меч правосудия в руки немецкой армии и напал на Советскую армию, готовую наброситься на Германию: война! Это был шок, мы торопливо доели завтрак, и генерал Войцеховский сказал, что ему необходимо вернуться, потому что начнут производить аресты и вдруг его не будет - это приведет к осложнениям. Мы поехали. Юра приехал на свою фабрику, его никто там не искал, все было в порядке, генерал Войцеховский сразу покатил дальше, а я остановился у Юры, и мы все-таки пошли ужинать, ибо я решил, что если будут арестуют, то пусть с сытым желудком, и остался ночевать. Утром я приехал в Институт, там тоже было спокойно, никто не приходил.

Аресты были многочисленные. Арестовали и правых, и левых: Д.И.Мейснера и Н.А.Цурикова, сотрудника Струве, крупного русского националиста и антикоммуниста. Попал в арест Н.А.Раевский. Русская колония притаилась, непонятно было, что, как и почему, пока через некоторое время не появился Дедио. Он вел русские дела в Праге, но был вызван после взятия Парижа немцами и все был занят в Париже, хотя приезжал из Парижа в Прагу, даже виделся со мной и предупредил, что наши уроки будут прерваны, потому что он теперь занят. И опять уехал в Париж. После начала войны с Россией он вернулся из Парижа и произвел целый ряд освобождений. Например, Н.А.Раевский рассказывал, что его держали без допроса очень долго. Потом вдруг вызвали, и он увидел перед собой Дедио, который ему сказал: "Вы почему здесь?" На что Раевский ответил: "Скорее Вы могли бы мне сказать, почему я здесь". - "Я не знаю, почему Вы здесь. Это они все напутали, - сказал Дедио, показывая на своих помощников,- не разбираются". Его сразу освободили, и Цурикова, и Мейснера, и ряд других. Дедио понимал взаимоотношения русских групп

и русских людей и знал, что большинство совершенно пассивны в отношении к коммунизму, и поддерживать коммунизм, даже если они оборонцы, не собираются.

Вскоре после начала военных действий устроили собрание всей русской колонии, почему-то в великолепном концертном зале имени Сметаны, где неоднократно праздновался день русской культуры. Народу было огромное количество, мы все считали необходимым пойти и послушать, хотя это должна была быть демонстрация неискренности. Основной доклад читал профессор Иванцов, это была скорее речь, которая подчеркивала основную идею - коммунизм есть абсолютное зло, поэтому с ним нужно бороться всеми средствами, и мы желаем успеха германцам и их вождю в этой бесстрашной борьбе. Иванцову досталась жуткая обязанность говорить эту официальную ложь, в которую он сам не верил. Он был очень умный, конструктивный экономист, у которого я в свое время с пользой учился. Никаким нацистом он не был. Говорить должен был бы ректор, Василий Сергеевич Ильин, но он был человек изворотливый и, по-видимому, уклонился. Затем все покрыл громкоговоритель: "Дойчланд, Дойчланд, юбер аллес" - немцы, которые там присутствовали, в частности, гестаповцы в ложе, все стояли "смирно", подняв правые руки в арийском приветствии. Зловеще символическим было соотношение флагов: огромный немецкий, со свастикой, и маленький трехцветный русский, который был только на кафедре, где выступали ораторы. Возможно, все это называлось День Непримиримости, точно не помню - странное затемнение - настолько это все было неприятно, я чувствовал свое бессилие и фальшь положения.

Оптимисты перед собранием говорили, что вождь германского народа призовет национальные силы России к возрождению, нашей задачей будет их поддержать, но об этом не было ни звука. Первая речь, Ефремова, была полна самых вульгарных словосочетаний: иудо-марксисты, иудо-жиды. Мимоходом отмечу, что Меллер-Закомельский в частных разговорах с нами в отеле не употреблял этих геббельсовских клише и даже никогда не называл евреев жидами, всегда говорил "евреи." Зато с кафедры он валял эти клише вовсю. На другой день, Ляцкий, который на собрание не пошел, сказал: "Знаете, Николай Ефремович, когда на мою родину нападают армии, которые уже разгромили на моих глазах не одно славянское государство, я не могу приветствовать это нападение, ибо нахожу его ничем иным, как разбоем". Такое ощущение было у многих. И все же большой процент эмиграции полагал, что немцы переменят точку зрения и, вероятно, падение сталинизма неминуемо, тогда разговор с Германией пойдет с других, более сильных позиций, чем в настоящий момент.

Хочу вернуться к личности Дедио. Я понимаю, что многим ему обязан, даже больше, чем я ощущал тогда, потому что Дедио оказался по-своему благородным в отношении меня человеком. Он относился ко мне как к своему учителю русского языка и приятелю: ни разу он не дал мне никакой

фальшивой нагрузки по политической линии, не задавал политических вопросов. И я знаю от Коли Бевода, например, что на допросах он мимоходом спрашивал: "Скажите, я вот давал доктору Андрееву советские газеты, он вам давал их читать?" Дедио действительно давал мне читать эти газеты, он не успевал их прочитывать, и я с восторгом брал их и должен был, быстро их возвращая, отчеркнуть карандашом все заметки, где говорилось что-либо о Германии. Дедио знал, что мы с Колей Беводом знакомы, и когда Коля сказал, что он просил меня дать газеты, а я не дал газеты ему домой, но позволил читать там, при мне, Дедио, как сказал Коля, никак это не комментировал, но было видно, что он доволен - доктор Андреев не обманул его доверие. Он мне сказал, что нельзя давать другим читать газеты, поскольку советская пресса в то время была под запретом. Раз, после взятия Парижа, я пришел к нему на урок, и он был в возбуждении: "Вы знаете, я завтра улетаю, так что сегодня мы позанимаемся быстро". Мы даже не стали играть в шахматы - "когда я прилечу из Парижа, я дам вам знать". Действительно, через некоторое время от него пришла открытка - он приглашал меня зайти. Я зашел, его жена с детьми была в отъезде, она поехала в Германию к родственникам. У него был коньяк и закуски, частично французского происхождения: особые паштеты... Он был очень весел, и я сказал: "Ну, как Париж?"- "Ах, Париж, это, знаете, как говорят русские: "Поедешь в Париж, немножко угоришь". Он ничего особенного не рассказывал, но хвалил Париж, его красоту. Затем, между прочим, сказал: "Знаете, что находится вот в этом портфеле?" - Понятия не имею". - "Там такой лист, что если бы Вы увидели, то упали бы в обморок". - "Что же это за лист?"- "Список всех русских эмигрантов, которые сотрудничают с советской разведкой". Я ничего не сказал и даже подумал, что лучше мне с ним на эту тему не разговаривать, потому что сейчас он под влиянием французского коньяка, а потом протрезвеет и подумает, что слишком много мне сказал, и для бдительности меня арестует. Я сказал, что понимаю, что есть такой процент эмигрантов. "Да, да,- говорит,- есть. Знаете, что я там делал? Мы выкопали Плевицкую: помните, кто такая Плевицкая?" Я помнил. Это была певица и жена генерала Скоблина, арестованная французской полицией по подозрению в том, что помогала Скоблину, который бесследно исчез, похитить генерала Миллера. Предполагалось, что его похитили советчики. "Ну вот, в тюрьме было сказано, что она умерла, и мы хотели знать причину ее смерти".- "Ну и что же, выяснили?" "Да, она была отравлена". И на эту тему мы больше не говорили. Между тем в берлинской русской газете Деспотули "Новое Слово" через некоторое время после взятия Парижа была статья на эту тему, в ней говорилось об аресте Третьякова, кажется, товарища министра Временного правительства, одного из крупных промышленников, отчасти финансировавшего Общевоинский союз. Главная квартира Общевоинского союза помещалась в его парижском доме, а его личная квартира - в верхнем

этаже того же дома. Из статьи явствовало, что Третьяков был советский агент и что исчезновение Скоблина, которого так и не нашли, объясняется простым фактом: он вовсе не ушел из дома, как предполагали. Его искали на улицах Парижа, а он просто поднялся в квартиру Третьякова и там пересидел всю тревогу, а потом Третьяков его куда-то сплавил. Дедио даже мимоходом сказал: "Да, я что-то читал об этом".

<В 1960 гг. Н.Е.Андреев пытался разыскать папки Дедио среди немецких дел, захваченных Британскими войсками и переданных в архив Министерства внутренних дел, но безуспешно: ему было сказано, что все такие папки отданы британцами Американскому госдепартаменту и возвращены не будут! (ред.)>

Дедио опять уехал, а вернувшись, опять вошел в русские дела: освобождал людей, присутствовал на этом Дне непримиримости с коммунизмом, или Акте верности нацизму, уж не знаю, как это назвать, и опять у нас через некоторое время был урок. Он сказал: "Ваши приятели НТС-овцы освобождены. Их даже не стоило арестовывать, напрасно их так долго держали в тюрьме. Но часть их уехала теперь в Германию на работы, часть осталась в Праге, Коля Бевод и, по-моему, Горачек. Мы фанатики германской идеи,- сказал он,- а они фанатики русской идеи, все мы не любим коммунистов, поэтому мы не должны сажать друг друга в тюрьмы". Тут же, забегая вперед, скажу, что это была его точка зрения, а не точка зрения его начальства, потому что потом вожди НТС опять были посажены и некоторые погибли в германских концлагерях. Дедио не хотел войны с Россией и все время до столкновения с Советским Союзом любил цитировать Бисмарка: "В Россию очень легко войти, но трудно выйти". Он утверждал, что Советский Союз не начнет войну с Германией. Когда 22 июня война была начата, он сказал: "Это другое дело, это наша инициатива, не их". И было явно, что он сильно сомневается в правильности "нашей" инициативы. Я спросил его как-то, что он будет делать после войны, и он сказал: "Я надеюсь заняться книжным делом". Он когда-то имел книжное дело в Берлине, до того как стал членом партии и был взят в гестапо. - "Почему книжным делом, Вы, вероятно, после войны будете занимать высокий пост".- "Но моя профессия сейчас немножко грубая, не правда ли?" Мне понравилась формулировка, но я не сказал ничего ни за, ни против, не следовало углубляться в эти темы с человеком, который в любую минуту мог Вас арестовать. Судя по перерывам в уроках, Дедио, довольно часто вызывали в Берлин или в какие-то другие центры, может быть, даже на Восток, но никогда больше он не был в таком радостном настроении, в каком вернулся из Парижа. В начале нашего знакомства он однажды сказал: "Империи нельзя строить быстро,- и добавил,- вот мы взяли протекторат, но это еще не значит, что дело кончено". По-видимому, под словом "дело" он подразумевал организацию жизни и процесс онемечивания населения. Вероятно, с расширением военных действий и введением в

Третий Рейх огромных пространств не только Европы, но и России, Дедио должен был сознавать, какая бездна проблем наступает со всех сторон на немецких деятелей, а между тем, как он несколько раз говорил, армия поглотила много грамотных людей и чиновниками часто работают не очень грамотные. Он, видимо, подразумевал своих помощников. Раз даже сказал: "Знаете, я был бы рад, если б мои помощники знали немецкую грамматику, как Вы". Он не был склонен к иронии, так что я думаю, это и правда было его мнение.

В начале 1942 г. я получил письмо от матери через русских, служивших у немцев переводчиками, через полевую почту - отправитель был Валерьян Николаевич Бибиков, родственник генерала Баранова, в доме которого он поселился и в одном из домов которого жили мои родители с 1940 г. Письмо было длинное, мать очень интересно описывала, что происходило, но самое важное и самое печальное было то, что, оказывается отец был очень болен и хотел со мной увидеться, предполагалось, что он уже не встанет. У него оказался рак пищевода. Я задал этот вопрос на одном из уроков с Дедио: возможна ли поездка туда? Он очень серьезно выслушал и сказал, что со стороны протекторатных властей он мог бы обеспечить согласие на мою поездку, но, сказал он,- "Влияние наше кончается тут же, в протекторате, потому что все восточные пространства подчинены или верховному военному командованию, которое нас не слушает, или же министерству оккупированных территорий, т.е. восточному министерству Розенберга, которое нас тоже не слушает". Я действительно пытался устроить поездку, сунулся туда-сюда, но в Праге никто ничего не знал. Я написал знакомым в Берлин, Р.Н.Редлих был очень заинтересован в моей поездке, хотел послать в Прибалтику собственного свидетеля, но это не увенчалось успехом. Через 2 недели, на следующем уроке, Дедио спросил, в каком положении дела и, узнав, что Берлин не отвечает, сказал: "Не надо Вам ехать, потому что произвол местных властей на территориях к востоку от немецкой границы невероятный. Они могут вас 10 раз арестовать и даже расстрелять, прежде чем узнают, кто Вы". Позднее, когда я уже имел дело с советскими властями, я понял, что не-поездка на Восток была опять-таки подарком судьбы, иначе меня сразу подвели бы под статью, они все время искали тех, кто ездил в оккупированные районы. После Сталинградской битвы Дедио окончательно покинул Прагу и перед отъездом, во-первых, познакомил меня с Гайде, который был его начальником а после отъезда Дедио должен был ведать также русскими организациями. Он сказал: "Полезно, чтобы Гайде Вас знал в лицо". Меня это очень удивило, но, видимо, Дедио ожидал всякого со стороны немецких властей. Аудиенция была дана в самом гестапо, куда я пошел с великим страхом и отвращением, длилась она всего 2-3 минуты, но Гайде действительно меня запомнил, и с тех пор мы салютовали общепринятым поднятием правой руки при встречах. Встречались мы иногда в парикмахерской Васильева, которая была, как

я уже упоминал, в доме "Палас-отеля", через улицу от гестапо. Там было много приезжих из Рейха. Я, например, имел честь созерцать там Алехина, шахматного чемпиона Европы, два раза видел, как его брили со всеми почестями, и оба раза он был страшно пьян. Васильев заметил, что я салютую по-арийски какому-то немцу, который всегда приходил в штатском, с напомаженными волосами, тщательно выбритый, а там еще брился или ему делали маникюр - чем отвратительнее профессия, тем больше забот об эстетике. Я сказал Васильеву, что это начальник 2-го, русского отдела гестапо, он был очень благодарен и потом старался пропустить его сразу, было такое резервное кресло за занавеской, за которым обычно работал сам Васильев.

Посещение гестапо меня ужаснуло. Это был бывший банковский дом с длиннейшими коридорами, и всюду комнатки, комнатки, комнатки, где раньше сидели банковские чиновники, а теперь следователи. В конце коридоров стояли часовые, но не везде. У входа был большой приемный зал, несколько столов, за ними сидели бульдогообразные полицейские или эсэсовцы. Я пришел, сказал, что меня ждет господин такой-то в такой-то комнате. Он сейчас позвонил по телефону, там подтвердили, и мне выписали пропуск. Там было написано, когда я вошел, в какую комнату, и точное время. Потом, на выходе, они опять поставили время, чтобы я по дороге не мог зайти в другие помещения этого почтенного учреждения. Когда я пришел, коридоры были пустынны, когда шел обратно, в коридорах опять ничего не было, и вообще в здании ничего не было слышно. Канцелярия Гайде была небольшая - его стол, секретарша и еще какой-то человек, тоже в военной форме. Дедио встретил меня на пороге, сразу подвел к Гайде и сказал: "Это херр доктор Андреев из Кондаковского Института, Я хотел Вам его представить". Тот сказал: "Я Вас знаю, много слышал от херра Дедио о Вас и о Вашем Институте. Хайль Гитлер". - "Хайль Гитлер". На этом аудиенция кончилась. Секретарша мне улыбнулась, а Дедио провел меня до конца коридора.

После этого у нас был еще прощальный урок, причем надо заметить, что он перестал ходить в рестораны. Если вначале он ходил часто, потом все меньше, то теперь совсем перестал ходить. Может быть, он был уже слишком известен или считал это небезопасным, может быть, его коробил вид уже потрепанной войной толпы и ограниченный минимум. Все было не так, как в 1939 г., когда какой-нибудь рядовой солдат уплетал кофе со сливками и перед ним на тарелке лежало 10 пирожных. Теперь ничего подобного не было. Я зашел к нему в последний раз, и он очень мило сказал: "Я Вам очень благодарен за Вашу помощь по русскому языку. Если я вернусь в Прагу, то дам Вам знать, но боюсь, что не вернусь, слишком много работы в центре" - вероятно, он имел в виду Берлин. Мы сыграли в шахматы, я традиционно проиграл, ему нравилось выигрывать, затем он мне сказал: "Позвольте Вам посоветовать и в будущем быть только

профессионалом, историком, и не входить в политику". Это было его напутствие, и я очень его оценил, потому что как раз в 1944-45 гг. у чехов появилась тенденция устраивать разные заговоры. Это было очень скользкое занятие, так что я всегда помнил о завещании Дедио. Оно совпадало с тем, что мне многократно твердил Н.П.Толль все те 10 лет нашего сотрудничества: "Ради Бога, воздерживайтесь от вхождения в политические организации, можете ходить на их собрания, слушать, задавать вопросы, удивляться их гениальности или глупости - это зависит от точки зрения, но не входите в организацию, иначе они вас погубят". У меня хватило ума последовать совету Н.П.Толля. Теперь этот совет повторил Дедио.

Очень интересно и ценно было для меня то освещение событий, тот комментарий, который я получал время от времени от моих знакомых и друзей, белых генералов. Львиная доля этих анализов принадлежала генералу Войцеховскому, который в моих глазах и, видимо, в глазах своих коллег, был наиболее авторитетным судьей в военных делах. Когда незадолго до начала войны он переехал в наш дом и мы познакомились, я знал о нем главным образом анекдотические вещи, потому что некоторое время преподавал русский язык его адъютанту, и тот рассказывал много забавного о Сергее Николаевиче, которого все считали большим оригиналом. "Немножко играет под фельдмаршала Суворова",- говорил этот капитан. Играл он под Суворова или нет, но он был небольшого роста, человек типично военный - молчаливый, большой физической силы, быстрого соображения, непреклонной воли. Вся армия знала, что у него есть русская подруга, из тех самых легионерских жен, которых вывезли братья-чехи из Сибири, но генерал был уверен, что это для всех глубокая тайна. Не знаю, что уж там случилось, но он разошелся с женой - с ней жил сын - завел себе подругу, Александру Ивановну и у нас появился вместе с ней. Она была блондинка, очень пышная телом, красавица из сибирячек, значительно выше и больше генерала. Где он ее подцепил, неизвестно, но на Слунне они поселились вместе. Он нас с ней не знакомил, мы не общались "домами". Он занимал квартиру в несколько комнат, там жила Александра Ивановна, ее сестра, а его кабинет был как раз под нашим Институтом. Я очень быстро с ним познакомился и был приглашен к нему в кабинет вместе с генералом Чернавиным.

Кабинет был полон военных книг, французских книг по разным отраслям современного военного знания, затем были интересные фотографии, в том числе ряда чехословацких и русских генералов, портрет адмирала Колчака с собственноручной надписью Войцеховскому, тут же был генерал Сыровы, который выдал бедного адмирала в Иркутске в 1920 г. Самый большой портрет, который доминировал над столом,- французский генералиссимус Гамелин, теоретик и главнокомандующий французской армией в первый период войны и перед войной. Сергей Николаевич охарактеризовал его так: "Я отношусь к нему сдержанно, хотя он меня

любил - видите, надпись на портрете, но я должен сказать, что он теоретик чистой воды и вся его доктрина, что нужно опираться на неподвижные укрепления, которые созданы по самой новейшей технике, такие, как линия Мажино, это же плод воображения, фантазия, а не реальная война, которая есть способность армии к быстрым маневрам, перестройке: ударить врага, отойти, опять ударить, преследовать. Маневр должен быть главной чертой войска. А у него - неподвижность. Под его диктовку были созданы укрепления в Судетах против Германии. Они могли бы долго сдерживать немецкие войска, если бы те вздумали атаковать в лоб. Но они не собирались этого делать, и после взятия Австрии ясно было, что им незачем идти на линии в Судетах, а пойдут они через открытые пространства на Чешско-Моравскую возвышенность. Гамелин неоднократно бывал на маневрах в Чехословакии, и я мог заранее предугадать все его суждения. Все - фантазии! Когда потом разыгрались события на французском фронте, он совершенно не был удивлен и мы не были, потому что были подготовлены к бездарной неподвижности французских армий под руководством генерала Гамелина.

Второй его анализ относился к польской кампании, здесь они с Виктором Васильевичем пели буквально дуэтом. По мнению Войцеховского, у поляков вообще не было доктрины. Победа на Висле, когда им помогал генерал Вейганд, остановила польскую военную мысль, это была страна, как бы еще не вышедшая из состояния реформ, она все еще формировалась, даже национальные проблемы Польши не были ясны самим полякам. Армия имела много видов оружия, которое в современной войне не играет роли: массы кавалерии, которую можно было использовать в 1920 г., но не в 1939 г. - она не могла идти против танков и была слишком легким объектом для подвижной, полевой артиллерии. Авиация была самой прогрессивной частью польской армии, но она была немногочисленна, танки не получили самостоятельного значения, они все еще придавались разным частям и поэтому как бы распылялись, вместо больших танковых армий или группы танков у них в лучшем случае танки использовались как разведка. Отсутствие доктрины сыграло печальную роль: они не могли противостоять немцам, и Варшава пала чрезвычайно быстро. Виктор Васильевич Чернавин даже не утерпел сказать, что это оправдание русской армии, которая месяцами отступала и дралась, прежде чем сдала Варшаву в 1915 г., а поляки сдали ее чуть ли не за 2 недели. Сергей Николаевич морщился, когда Чернавин позволял себе такие сравнения, и сказал, что все-таки сравнивать русское положение того времени, технику той поры и технику 1939 г. довольно трудно. Когда выяснилось, что нападают и Советы, то на советском фронте польская кавалерия могла что-то сделать, но возникал вопрос, надо ли - Польша не в состоянии была драться на двух фронтах. Это подтверждало, что отсутствие военной доктрины было следствием отсутствия доктрины политической, анализ был очень быстрый.

Войцеховский, у которого была, очевидно, польская кровь, знал целый ряд офицеров и говорил, что обычно они быстры, храбры, понимают задачи, которые им дают, но недостаточно выучены: "У них не было школы, которая позволяла бы им то, чего я требовал от чехословацкой армии: чтобы командир не полагался только на приказ, но мог ориентироваться при изменениях, исходя из обстановки на местности и собственного здравого смысла. У поляков было много геройских жестов, вроде атак в конном строю на танки, но по существу это была слабая, еще не выросшая армия". После начала германо-русской войны мы жили в разных домах, нам труднее было общаться, и первое большое заседание на эту тему произошло в начале декабря 1941 г., когда генерал Войцеховский приехал к нам в Институт и много часов просидел у меня в комнате с Виктором Васильевичем. Мы достали очень подробные карты - Войцеховский привез военные карты, остатки прежнего величия, как он говорил. Они с Чернавиным нарисовали потрясающую картину, я даже записал их анализы. Генерал Войцеховский сказал, что кампания 1941 г. абсолютно не удалась немцам. Я испустил вопль удивления. Генерал Чернавин был не вполне согласен. Но Войцеховский решительно высказал следующее: каждая стратегическая кампания имеет разные цели, в данном случае цели были: занятие столиц, уничтожение живой силы Красной Армии и выход на подступы к нефти, к Кавказу. Ни одна из этих стратегических целей не была осуществлена, были заняты большие пространства, почти вся Украина, но это не стратегическое, это только территориальное значение. Советская армия потеряла несколько миллионов солдат в окружении, но, тем не менее, она имеет грандиозные резервы, и, судя по сводкам немецкого командования, бои не прекратились, а наоборот, на центральном фронте началось большое контрнаступление, как раз в тот самый день, когда немцы сказали, что на всех фронтах наступило затишье.

Армия не была уничтожена, столицы не были заняты, и подступы к нефти не были открыты. Нужна была кампания следующего лета, чтобы выйти хотя бы к Грозному, а уж к Баку так и не вышли никогда. Поэтому он считал, что Браухич был совершенно прав, когда предлагал бросить все территории и отступить далеко, чуть ли не в Польшу, тотально уничтожая все на пути отступления, чтобы русским не на что было опереться, а следующей весной, приведя в порядок танковые колонны, броситься и завершить то, чего не сделали в первую кампанию. Но тут вышла на сцену политика, и политика не позволяла Гитлеру согласиться с этими, как говорил Войцеховский, гениально-элементарными соображениями Браухича. Было очень поучительно слышать спор между Чернавиным и Войцеховским по поводу Украины, потому что Чернавин считал, что Украина большое достижение германского оружия, поскольку она является той базой зерна, которая, если понадобится, будет питать не только Третий Рейх, но и всю Европу. Войцеховский считал этот аргумент чисто

политическим, "если угодно, экономическо-политическим, он неверен с военной точки зрения, потому что нужно было выиграть войну на Востоке, чтобы развязать руки и иметь возможность продолжать борьбу на Западе". Он с чрезвычайным вниманием следил за немецкими действиями на Западе, затем за контрдействиями союзников.

У нас каждый год было такое совещание, то осенью, то зимой. Сергей Николаевич пессимистично оценивал шансы немцев, очень решительно показал, что в Африке они разбросались и не сумели достичь ни одного настоящего стратегического успеха, не сломали англичан, не взяли Александрии, большого порта на Средиземном море, так что не смогли предотвратить контрнаступление Монтгомери и парализовать высадку американских войск на африканском материке. Он сказал, что вообще после Балканской кампании перед началом войны с Россией все остальные действия немцев носили оборонительный характер, им явно не хватало сил. Он был также очень скептичен в отношении огромных укреплений, построенных на всем западном побережье - совершенно ясно, говорил он, что эти линии можно сломать, как оно и случилось в 1944 г. Он добавил: "Может быть, Гитлер гений в политической демагогии с массами, но он явно ничего не понимает в стратегии войны". Войцеховский резко осуждал Кейтла и Йодля и тех, кто сменил Браухича и плеяду генералов 1941 г.,- они, по его мнению, были гораздо ниже классом и занимались тем, чем нельзя заниматься на войне - разбазариванием сил. Я слышал много докладов на военные темы в Праге, но рассуждения Войцеховского были самыми высококачественными и, как я потом понял, чрезвычайно меткими анализами.

Разговоры о Власове дошли до нас впервые в 1943 г., когда приехал Георгий Евгеньевич, старший брат Е.Е.Климова. Он был переводчиком у немцев и сопровождал знаменитого ленинградского тенора Печковского, лучшего исполнителя роли Германа в "Пиковой Даме", народного артиста СССР. Тот был приглашен на пробную гастроль в Вену ее наместником фон Ширахом. Немцы полагали, что мощный тенор Печковского мог быть использован в вагнеровских операх, столь популярных в Третьем Рейхе. В Прагу он заехал на обратном пути из Вены, вместе с бывшим морским офицером, а вообще владельцем рижского антикварного магазина Георгием Евгеньевичем Климовым, личностью чрезвычайно яркой. У Георгия Евгеньевича был мой адрес от брата, они пришли, и я постарался сделать для них все возможное, в том числе срочно организовал концерт Печковского в Пражской городской библиотеке, где было много народу, потому что это был первый действительно высокого уровня артист из Советского Союза. Концерт прошел не без промахов, в одной арии он взял так высоко, что не смог спеть, как бы сорвался там, наверху, во-вторых, он поразил пестротой программы - от высокой классики до сомнительных вещей. Но это, как мне объяснили, был результат концертной мешанины, которая устраивалась в

Советском Союзе для широкой публики, в частности, для армии.

Георгий Евгеньевич перед этим сопровождал немецких офицеров вместе с генералом Власовым в скопище русских пленных или остарбайтеров около Пскова и Гатчины. Климов был прекрасный рассказчик и великолепно живописал, как Власов умел обращаться с массами, как вызывал у них подъем и желание вступить на путь борьбы со сталинщиной. При этом он весьма недвусмысленно отзывался о немцах, например, ставил вопрос: “Хотите ли вы быть рабами у немцев?” На что десятки тысяч людей, конечно, единодушно кричали “Нет!”, что производило на немцев жуткое впечатление, и в результате этих поездок акция Власова не продвинулась. Это были интересные, живые сведения, Георгий Евгеньевич не знал, как к этому относится начальство на самом верху, но поскольку Власов, бывший генерал-лейтенант и советский герой, разъезжал по тылам и произносил такие речи, предполагалось, что немцы хотят ввести в игру русские национальные силы.

Войцеховский, выслушав все это и интересуясь, как это все разовьется, выразил большие сомнения, что это сможет изменить военное положение, по его мнению, уже со второй половины 1943 г. Третий Рейх находился в состоянии глубокой обороны. Такие формирования, как власовское он считал допустимыми, но они могли бы произвести впечатление в 1941-42 гг. и вызвать на востоке отталкивание от большевизма, теперь они казались ему запоздавшей акцией. После обнародования манифеста Власова в 1944 г. мы увидели тысячи власовцев в немецких формах, но с нашитыми андреевскими флагами и трехцветными эмблемами. Гиммлер якобы обещал Власову сформировать из пленных 10 дивизий, но Войцеховский сказал: “Поздно, покуда их сформируют и обучат, пройдет еще год-полтора, и это капля в море, это надо было делать раньше. С военной точки зрения они ничего изменить не смогут, что касается психологического воздействия, это вопрос другой”. И этот его анализ полностью оправдался.

Но многие эмигрантские круги находили в действиях Власова аналогию с действиями Пилсудского в первую мировую войну, когда он вооружил польские легионы за счет Австро-Венгрии и Германии, а в последний момент перешел на сторону союзников и утвердил независимую Польшу, которую немедленно признали западные державы. На этой интересной точке зрения стоял, например, Н.В.Быстров, он был по образованию инженер, и в то же время сильно интересовался политикой. Публично высказаться при немцах было трудно, но полупублично, например, в Союзе русских инженеров - объединении, которое продолжало деятельность во время войны, потому что многие его члены работали у немцев и немцы смотрели на это сквозь пальцы - были закрытые обмены мнениями, и там я сам слышал, как Николай Владимирович горячо и убедительно развивал концепцию, что при известных условиях повторение пилсудского маневра возможно. Войцеховский этой точки зрения не разделял. Я нарочно подчеркиваю мнение Войцеховского,

одного из самых умных людей и знатоков военного дела, которых я встретил в тот период. Общее отношение эмиграции, по крайней мере, в протекторате, к Власову и ко всему комплексу взаимоотношений русских национальных сил и немецкого режима в оккупированных областях проходило под обычным знаком: поддержка национальных моментов во что бы то ни стало. На этом стояла вся та группа выдающихся русских женщин, которые сыграли роль, по крайней мере, в Праге, в развитии русского национального самосознания среди молодежи. Во-первых, Вера Николаевна Вергун (сын ее, К.Д.Вергун был одним из вождей НТС и погиб в 1944 г.) Все ее дочери в той или иной степени были деятельницами русских молодежных организаций, Ирина входила в НТС и занимала какие-то административные должности в Белграде. Затем была Мария Ивановна Сергеева, ее сын, Николай Митрофанович Сергеев, доктор медицины, был арестован и погиб в немецком концлагере. Он был членом НТС и в Германии, занимал в организации важный пост. Шуня, ее дочь, принимала участие во всяких молодежных организациях, в частности в "Витязе". Надо назвать и третье имя: Татьяна Петровна Горачек, которая воспитала двух замечательных сыновей. Старший, Владимир, сидел в гестапо в Праге, был один из ведущих "витязей" и в Праге и вообще в протекторате. Он сотрудничал с генералом Войцеховским, которого в какой-то момент русские витязи считали одним из патронов их организации. Я его знал с его 15 лет, когда он как витязь предстал передо мной - огромный, молчаливый молодой человек. С семейством Горачеков я сошелся неожиданно: меня позвали на блины на масленице 1940 г. Блины были очень вкусные, Татьяна Петровна готовила хорошо, и было много народу. Я вдруг почувствовал себя нехорошо, заболела голова, озноб. Через некоторое время я перестал пить и есть, мне померили температуру, оказалась очень высокая. Татьяна Петровна сказала: "Вам нельзя ехать, уже поздно, как же Вы в трамвае поедете, Вам далеко. А приедете к себе - там холодно, никого нет, спите у нас, посмотрим, что с Вами будет завтра утром". Назавтра утром температура была еще выше, так что вызвали врача - Лидию Андреевну Якубову. У меня оказалось воспаление легких. Я пролежал у них 10 дней, потом еще, в общей сложности провел там почти три недели. Я очень извинялся, что гость оказался хуже татарина. В бреду - я перед этим читал книгу о русско-японской войне - мне представилось, что младший Горачек японский шпион, и я его преследовал и во сне, и когда проснулся. После этого я подружился и с Лидией Андреевной, она приглашала меня к себе, и я даже поухаживал за ее дочерью Нонной. И, конечно, подружился с Горачеками, которые проявили необычайные терпение и человечность к одинокому, брошенному всеми холостяку, "умиравшему", но не умершему. Роль таких домов была велика: матери очень влияли на психологию детей и поддерживали национальные настроения. Лидия Андреевна была по происхождению кубанская казачка,

и Нонна часто и удачно выступала в пражской театральной труппе под псевдонимом “Кубанская”, намекавшим на ее происхождение.

Когда пришли немцы, общее настроение у русских было сначала настороженно-отрицательным, потом, в 1940 г. появились надежды что, может быть, и при немцах можно будет что-то сделать, потому что они как будто оставили русской молодежи возможность собираться. Правда, объединили их под каким-то названием, вроде “Русская молодежь в протекторате” и поставили во главе инженера, талантливого мостостроителя Коваленского. У него была очень красивая жена, он этим славился, а теперь стал славиться еще и как руководитель молодежи. Но того, на что надеялись, очевидно, немцы, т.е. роста пронацистских настроений среди молодежи совсем не было, 2-3 молодых человека попали в национал-социалистическую организацию и играли там роль. Но, как не без остроумия сказал Володя Горачек: “Они там вроде вышибал” - кого-то надо выставить, и зовут этих молодых людей. Там не было никакой национальной пищи для молодых умов, а тут продолжали существовать “витязи”. Их руководство было под влиянием НТС, из-за этого Сережа Тарасов, один из их вождей, был даже схвачен по НТС-овской линии, в 1940 или 1941 г.

Когда началась война с Россией, большинство было страшно обеспокоено: что будет с Россией? Первые впечатления были громовые: миллионами захватывали в плен советских солдат, казалось, неудержимый немецкий идет внутрь России, разметывая направо и налево оборону и сопротивление. Тем не менее, ничего не случилось, и уже с 1942 г. начались другие настроения. В первый период только одного моего знакомого, Михаила Шорникова, немцы завербовали и отправили в Россию. Он выскочил оттуда месяцев через 6 как ошпаренный и, как мне казалось, нес невероятную чепуху. Но ехать туда больше не хотел и возненавидел и советских граждан, и немцев. По-видимому, ему, переводчику в оккупированных областях, пришлось несладко. Появились и другие - молодые инженеры, которые попали в строительную организацию Тодт, вначале настроенные прогермански, а не нацистски: вот немцы уж наведут порядок. Через полгода или даже раньше настроения у них круто менялись. В 1942 г. они были в совершенно другом психологическом состоянии и, возвращаясь в Прагу, стремились всеми силами остаться в протекторате.

Единственное исключение из правила составлял НТС, который не существовал как организация, хотя центр переехал из Белграда в Берлин, вероятно, потому что их председатель, Виктор Михайлович Байдалаков оказался в Берлине. Все они были инженеры, приехал даже биолог Владимир Дмитриевич Поремский, знаменитый глава отдела НТС в Париже. Все они для видимости где-то служили. Часть их в том или другом качестве попала на Восток, на оккупированные территории и даже вошла в соприкосновение с партизанами, и просоветскими, и антигерманскими

партизанами. Были и такие! Война подступала все ближе к Праге. Молодые поколения русской эмиграции были вовлечены в нее больше, чем ожидалось. Другие организации, начиная с Общевоинского союза, не проявляли жизни. Общевоинский союз тоже был запрещен, его глава, генерал-майор фон Лампе предложил услуги Гитлеру, но тот отказался и сказал, что вообще не нуждается в неарийских солдатах. В таком духе был его гордый ответ 1941 г., и Общевоинский союз больше активности не проявлял, только отдельные его члены попали как инженеры в ту же организацию Тодт. Политические партии уже исчезли раньше, Гитлер их запретил, а если кто-то еще собирался, то в глубокой тайне: крестроссы иногда собирались, шушукались в пределах одной квартиры, то же происходило с евразийцами, кое-где еще были оборонческие настроения, которые не вылились ни в какую активную форму. Такова была обстановка, когда в 1943-44 гг. немецкий фронт явно начал оседать, и в протекторат, несмотря на все преграды, посыпались новые русские.

Была ли в Праге просоветская молодежь или явно просоветские настроения среди эмиграции в этот период? Я почти никого из таких людей не знал. Были советские граждане, такие как профессор Изюмов, служивший в Русском историческом архиве, или В.Булгаков, последний секретарь Льва Толстого, но я не знал, что они советские, это выяснилось, только когда началась война с Советским Союзом. Их даже не арестовали, но вполне комфортабельно интернировали, и они просидели всю войну спокойно, против них не было никаких акций гестапо. В аналогичную историю попали в Берлине такие люди, как Р.Н.Редлих, который выехал из Советского Союза, но не сменил паспорт. Его тоже посадили, по иронии судьбы он сидел вместе с членами советского торгпредства и, прекрасно владея немецким, все время переругивался со стражей, чем ужасно волновал торгпреда, который все уговаривал его успокоиться. Эти официальные советские граждане мало кого беспокоили. В своей деятельности они ничего ни про-, ни антисоветского не обнаружили, хотя сидели десятки лет в Чехословакии до своего ареста.

Были и более активные элементы, например (я сам его не знал), профессор Лепешкин, знаменитый металлург, которого Советы уговорили вернуться в Советский Союз, и его племянники, братья Лепешкины, здоровенные ребята, хорошо одетые, при деньгах. Некоторые мои друзья шутили, что они получают субсидии от Троцкого. В условиях довоенных это была невинная шутка, но в советских могла быть опасной. Лепешкины вернулись до войны в Россию, но перед этим они были мрачны, очень часто приходили в буфет "Русского очага", пили чай или завтракали. Я раз вошел, сказал: "А, здорово - ну что, Лев Давидович, платит или задерживает?" Младший Лепешкин на меня сурово посмотрел и говорит: "Ты потише на эти темы, мы возвращаемся в Россию". Был экстра-случай с Хохловым, возможно, были и другие, мне не известные. Вот из Советского Союза в

1937-38 гг. выезжали люди к родственникам, их выкупали. Был случай, когда выехало семейство типично советской выучки, брат и особенно сестра. Она была помоложе и гордилась Красной Армией, а тут вдруг Тухачевского арестовали. Она не хотела верить: "Это выдумки буржуазного радио!" Мы показали ей газеты - "Это выдумки буржуазных газет!" Ей показали "Правду" - она заплакала: "Этого не может быть". Этот эпизод поразил меня: значит, у их молодежи были просоветские чувства, которые редко становились известны нам. Были и такие люди, как Олечка Крейчева: очень талантливая девочка, училась в Русской гимназии, плохо училась, ленилась. Ей покровительствовали о.Михаил Васнецов и матушка Васнецова. В один прекрасный 1939 г. матушка Васнецова обратилась ко мне: "Она очень одарена по искусству, нельзя ли ее пустить в Кондаковский Институт, чтобы она посмотрела у вас всякие издания?" Я сказал: "Пожалуйста, пусть приходит, мы открыты в такие-то часы". Она пришла, оказалась славной девочкой, мы очень подружились, именно подружились, никаких любовных эмоций не было ни с той, ни с другой стороны. Она относилась ко мне с большим уважением, а я даже старался на нее повлиять, чтобы она хорошо училась. У нее было некоторое предрасположение к совершенно неизвестному ей советскому быту, только оттого что были хорошие песенки в советских фильмах, которые она чудно исполняла. Она была очень одаренный человечек, даже сложила обо мне стихи, у меня было что-то с глазами - одно время я носил зеленые очки, и вот она пришла, посмотрела и сказала экспромт: "Сквозь зеленые очки - блещут дикие зрачки"! Мне очень понравилось. Была сочинена даже целая поэма, как она пришла в комнату, меня не было, она сидела, ждала меня, и потом вошел я:

И в светлицу входит он,
Как могучий фараон,
Подошел, вцепился в ухо
И тянул, что было духу.
И причиной истязанья
Было скорбное признанье,
Что отметки четвертные
Были хуже, чем дрянные.
Чтобы Коку задобрить,
Я дала обет зубрить,
И, чтоб горе позабыть,
Снова стали чай варить!

Я был тронут - целая поэма! Эта девочка позднее, когда пришла советская армия, оказалась очень просоветской, опубликовала в местной просоветско-русской печати несколько стихотворений, в которых воспевала Красную армию и свободу, хотя прекрасно знала, что свободу все мы потеряли. Но это был не типичный случай.

Была еще дочь известного филолога С.И.Карцевского, бывшего профессора в Женеве, он к тому времени, когда я был в Праге, уже умер. Но я знал его дочь, Светлану, очень милую девочку. Она сблизилась с неким Шурой Малаховым, не то техником, не то экономистом, но, кроме всего прочего, марксистом. Более дубового, элементарного и неподвижного марксиста я никогда в жизни не встречал. Между тем как раз эта дубоватость почему-то передалась милой и художественно чуткой Светлане. Она души не чаяла в Шуре и в конце концов вышла за него замуж. Потом они уехали на Балканы и, к моему удивлению, пересидели войну, никто их не тронул, и они оказались где-то в Средней Азии. В 1977 г. мне рассказали, что они вызвали возмущение своих русских друзей в Праге, потому что писали из Средней Азии письма, оправдывающие расправу над Пражской Весной. Из писем лез абсолютно дубовый марксизм Шуры Малахова. К этому уже во время войны прибавились разные щелкоперы, вроде знаменитого Юрия Арбатского, который был членом НТС и в свое время писал даже гимн: “Бьет светлый час борьбы за Русь последний”, а потом скатился налево и, когда пришла Красная Армия, он сопровождал НКВД, наводя их на объекты ареста. Он навел Смерш на П.Н.Савицкого при его первом аресте. Арбатский вышел сухим из воды и оказался, к моему величайшему удивлению, в США, вокруг его имени скопилось вообще много странного. Конечно, когда пришли советские войска, то появилось много людей, готовых им услужить. Но, с другой стороны, сейчас же начался и откат от тех лубочных представлений, которые накапливались во время войны и которые при ближайшем знакомстве обычно рассыпались без остатка. Пришли реальные люди, а вовсе не отвлеченные герои, о которых твердили наши оборонцы во главе с Савицким, тот даже стихи начал слагать в то время в честь побед Красной Армии. Вообще обстановка, которая сопровождала смену режимов, стала накаляться, по всему чувствовалось, что приход советских войск решит судьбу надолго, и кардинальным образом, и иначе, чем решали немцы.

В начале 1944 г. в протекторате оказалось довольно много русских, очевидно, пропустили составы с беженцами или с остарбайтерами. Весной был устроен грандиозный концерт. Меня поразила публика. Присутствовали, конечно, гестаповцы и всякие официальные немецкие лица, но их было немного, а примерно тысячи две слушателей были все сплошь русские. Очень много пели: выступал Печковский, знаменитая певица Варвара Королева, исполнительница русских народных песен, которая великолепно создавала настроение, особенно, когда восхваляла красоты русской земли, это находило отклик у русских людей. Но больше всего поразил Юрий Морфесси. Он всего за несколько дней до концерта приехал из Берлина и в парикмахерском салоне Васильева громогласно рассказывал, как бомбят Берлин и как он оттуда бежал: “Берлина больше нет”. Даже Васильев вполголоса сказал ему: “Может быть, лучше не говорить такие слова, а то

очень многие немцы понимают по-русски". Морфесси, знаменитый бас, у него есть и свои песенки, цыганские песенки Морфесси, а в тот раз он вдруг спел "Шумел, горел пожар московский" - довольно неожиданный выбор - и, когда он спел слова "Зачем я шел к тебе Россия, Европу всю держа в руке", зал просто ахнул: это была полная аналогия с тем, что сделал Гитлер - попер на Россию, держа всю Европу в руке. Кто-то рядом со мной обернулся и говорит: "Это что, намек?" По-видимому, не один он так понял пение Морфесси, поняло и гестапо. В салоне Васильева передавали шепотом новости: Морфесси предложили немедленно уехать в Австрию, в Вену, а Вену в тот момент страшно бомбили. Он там не погиб, но это была явная месть гестапо за неуместный выбор песни.

О Германии и о положении русских в Берлине и в занятых областях мне много рассказал С.А.Левицкий. Он был из нашей гимназии, но старше меня, в классе Римского-Корсакова и Теннукеста. Он был сыном капитана 1-го ранга Левицкого, вся семья Левицких довольно-таки нуждалась, а дедушка его был контр-адмирал, я не знал его лично, но видывал, как он гулял иногда в Екатеринентале с двумя внуками, Сережей и Вовой. Отец его был довольно музыкален, даже писал какие-то оперетки. Сережа приехал в Прагу через год после меня. Ему покровительствовали Римский-Корсаков и Теннукест. Римский-Корсаков всегда говорил о нем восторженно и даже в совершенно нелепой форме: Сергей Левицкий изучил всего Достоевского и после этого приступил к изучению философии. Это странное заявление показывало, что Володя Римский-Корсаков не понимал, что значит изучение Достоевского или философии. Меня Сергей Александрович поразил своими комплексами: он даже смотреть прямо на вас не мог, всегда как-то косил, подмигивал, и вообще являл вид униженного и оскорбленного. Но при этом интеллигентный человек, довольно начитанный, и, если в конце концов удавалось прервать его самоуничижение и кликушество, он бывал интересен.

Он никогда не учил в гимназии латынь - мы с Костей Гавриловым учили, поэтому смогли попасть в университет без экзамена, имея "cum laude", вряд ли Сергей Александрович имел "cum laude", но он объявил, что будет учить латынь и сдаст ее в январе или, во всяком случае, скоро. Я ему даже сказал: "Нельзя этого делать, Вы многим рискуете, имейте в виду, что чехи - латинисты, они чуть ли не 7 лет учат латынь в средней школе, долго и упорно. Помните, когда у нас заводили классическое образование и не хватало учителей латинского языка, министр народного просвещения, граф Толстой, обратился за помощью к чехам, и большое количество чехов было ввезено в Россию и прославилось скверным русским языком в переводах. Знамениты были фразы: "Девушки распущены относительно волос", буквальный перевод с латыни, или "Овидий, возвращаясь к своим пенатам, увидел дым от пищеварения"! Но все предостережения были тщетны: Сергей Александрович заранее был

объявлен гением, и стал действовать как гений. Ему помогал русский армянин, невероятный жулик Фаддей Иванович, который обманул и Сережу, и всех вокруг. Он все время требовал авансы за уроки. Он хотел устроить нам всем общую квартиру, и за это нужно было дать залог. Мы заплатили, а оказалось, что это была его фантазия, видимо, просто жульничество. Этот жулик наговорил Сереже, что он гений, что с нами Бог и что чешские латинщики будут посрамлены. Сережа торжественно провалил экзамен и получил полный заряд комплексов относительно латинского языка - 10 лет - до 1939 г. он не мог принудить себя пойти сдавать латынь, 10 лет числился вольнослушателем на факультете, потому что боялся экзамена. Этого мы и ожидали. Он очень плохо себя поставил всюду, как-то страдальчески, а люди не очень любят страдальцев, женщины иногда любят, но вообще людям надоедает помогать вечно страдающему человеку. Сережа всюду мелькал как безденежный страдалец, гений, которого не поняли чешские латинисты. Тем не менее, он действительно был гений, но совершенно в другой области: гений философии. Он довольно скоро вошел в общение с Н.О.Лосским, считал его своим учителем, а Лосский считал его своим учеником. Я не знаю, чему они учили друг друга, но Сергей Александрович проявил замечательные знания именно в той части философии, которая абсолютно невесома, т.е. в сугубо идеалистической. Тут он был очень силен.

Так как других молодых не было, то о нем заговорили как о подающем надежды ученике Лосского. Потом Володя Римский-Корсаков бесславно покинул Чехословакию после неудачных любовных афер, сбежал в Аргентину замаливать грехи перед молодой женой, Теннукест пошел ко дну, не справившись с университетом, денег у него тоже не было. Сергей Александрович прославился своими романами, особенно с пианисткой Викторией Швигликовой, о которой он все время говорил, страдал и плакался нам в жилетку. Мы с Гавриловым старались ему помочь, я даже как-то ездил к Виктории и объяснялся с ней, сказал, что такое отношение к Сереже недопустимо, или нужно его прогнать в три шеи, или сделать поклонником, чтобы он не просто был недоросль, бегущий за колесницей разинув рот. Он очень интересовался музыкой, и за Викторией ходил на серьезные концерты, а потом распевал во все горло мелодии, поражая тех, у кого не было музыкального слуха.

Ко мне он относился хорошо, помогал в экзаменах по философии, так что я ему обязан по гроб жизни. Несколько раз он попадал в ужасные положения, так что волей-неволей пришлось поселить его у нас на квартире - после того как пришли немцы, начался квартирный кризис, и, главное, исчезли уроки. Я взял его к себе комнату, Мельников выехал за год перед тем, и это было довольно забавное сожительство: Сергей Александрович любил чудачить и изображать из себя сумасшедшего философа, каким был, например, Иван Иванович Лапшин. Предполагаю,

что Сергей Александрович многое делал нарочно: например, утром я встаю, он спрашивает: "Который час?" - "Восемь". - "Ага, а я думал, наоборот!" Забавно. Или мы пошли как-то в автомат, а там была такая система: вам дают карточку, которую прощелкивают в зависимости от того, что вы едите, а потом вы подходите к кассе и по этой карточке платите. Он пришел к кассе, там стоит длинный хвост, он протягивает в кассу эту карточку и говорит: "Пшес". А "пшес" говорилось кондуктору, если в трамвае вы хотели сделать пересадку, тогда кондуктор особым образом прощелкивал билет и вы могли ехать по другой линии. Кассирша, которая была лишена чувства юмора, пришла в дикую ярость. Я стоял в хвосте и хохотал от души, весь хвост хохотал. Он любил такие штучки. С другой стороны, он, оказывается, никогда не штопал и не мыл своих носков, а так как они были дешевые, то покупал новые. На прежней квартире у него, говорят, накопилось 60 пар носков, которые хозяйка нашла под кроватью, устроила ему страшную головомойку и выкинула его. Я ему категорически сказал, что не допущу в комнате никаких грязных носков! Тогда же я объявил: "Дорогой Сергей Александрович, пришел Ваш последний решительный час, Вы должны идти на экзамен по латыни. При немцах чехи прекратят свои фанаберии с латинским языком, тут не до латыни, и они вас пропустят". Он не хотел, боялся, но я ему сказал со всей решительностью: "Имейте в виду, если Вы не пойдете, то Вы сюда не вернетесь, я Вас выкину, говорю Вам совершенно серьезно, и Вы знаете, что я исполню то, что говорю". Он испугался, пошел и выдержал. После этого он мог считаться "ржадным послухачем", т.е. действительным студентом, и поступить в Немецкий университет, который он и окончил через год со званием доктора философии, так как он уже все знал и ему зачли все триместры. Это было замечательное достижение. Перед этим однажды, тогда еще в присутствии Кости Гаврилова и Е.И.Мельникова, я его спросил: "Сергей Александрович, вот Вы занимаетесь философией, а когда Вы окончите университет, что Вы будете делать?" - "Я? Буду преподавать философию". Я сказал: "Это интересно, и где же?" - "Как где, в России". Тут мы все трое поразились. В те времена он сидел только на идеалистической философии. -"Что же Вы там будете преподавать? Философию Лосского?" Он говорит: "Преимущественно, потому что я разделяю его доктрину". И мы увидели, что он ничего не знает о положении в Советском Союзе, знает, что там что-то нехорошее, злой дядя Сталин, кажется, но что они там делают, какое положение в стране - ничего. Мы пришли в ужас и так срамили его в три голоса, что Сережа занялся изучением марксизма и очень быстро, года через 2, стал специалистом по антимарксизму, писал в чешской прессе статьи, которые обратили на себя внимание, потому что у чехов было смутное понимание марксистской философии - перепевы советских догм.

Окончив Немецкий университет, он опять сидел без гроша. Я дал ему

временную работу в Институте, потому что в связи с нашей перестройкой мы торопились привести в порядок архивы. Все затягивалось. Сам я был занят по горло всякими делами - оформление икон, всевозможных изданий - в 1939 г. это был том "Excavations at Dura Europas". Он не умел писать на машинке, но я ему сказал: "Вы сядете и научитесь, мне все равно, я Вам буду платить не по часам, а сдельно: за эту работу Вы получите столько-то". Он быстро научился, правда, двумя пальцами, но был очень полезен нам. Еще он немного знал английский язык, так что помог оформить несколько английских писем, потому что в надо было отправить в Йельский университет издание Dura Europas. Я, согласно инструкциям Н.П.Толля, отправил его в Гамбург, откуда оно должно было плыть в Америку и уплыло перед самым началом войны. Уже после начала войны мы получили от портовых властей Гамбурга открытку, что наши грузы, адресованные в Нью-Хейвен, Коннектикут, США, столько-то ящиков, были погружены на судно и ушли 31 августа 1939 г. Это было поразительно: на следующий день началась война. Когда начались военные действия с Россией, масса народа потянулась в Берлин, и Левицкий получил оттуда предложение от Владыки, тогда еще архимандрита, Иоанна /Шаховского/, который написал, что готов его принять и помочь ему в Берлине, но гарантирует ему только то, что присуще философу, в смысле гонорара или питания. Хотя Левицкий и сказал, что формула очень зыбкая - может быть, даст сухарь и стакан воды, но он оформил документы и поехал в Германию. Там он очень быстро попал в сотрудники газеты Деспотули или, как называли его злые языки, "Гестапули", кажется, совершенно неосновательно. Конечно, бедный редактор был связан по рукам и ногам правилами, запрещающими вообще что-либо писать или думать бесконтрольно, но, тем не менее, он в своей газете протаскивал кое-что необходимое читателю. Сергей Александрович неожиданно прославился там как публицист. Его статьи производили впечатление, потому что были написаны на хорошем уровне, автор знал больше, чем простой журналист, и давал больше, чем информация из министерства Геббельса, всегда удивительно плоская. Неизвестно, для чего она вообще давалась, возможно, она действовала на немцев, но не на русских читателей. Потом Сергей Александрович попал в какие-то комиссии, которые ездили в лагеря военнопленных, раз они с Редлихом ездили во Львов, и он мне писал и рассказывал страшные вещи. Они старались спасти людей, отбирая их в другие места, чтобы те не погибли от голода в лагерях военнопленных. Предполагалось, что из них сделают пропагандистов национал-социализма. Эта была мечта Розенберга, которая никогда не осуществилась, потому что ни один из этих людей не принял идей нацизма - он, как известно, превращал вас в самый низменнный тип людей, который вообще существовал.

Затем Левицкий проявил себя тем, что попал в пропаганду и писал какие-то глупости, уже по немецким указаниям, получая за это хорошие

деньги. Это ему удалось, потому что его родители были репрессированы советскими властями, отец погиб, по-видимому, в концлагере, мать, вероятно, тоже, брат его был сослан или взят в советскую армию, а дедушка уже умер. У него была какая-то любовная история, даже много, и все с надрывом, но главная его любовь попала в советскую тюрьму и почти сошла с ума. Мне рассказывали, что когда ее освободили, она была в ужасном психическом состоянии, но Сереже удалось вывезти ее, свою будущую жену, Марию Николаевну Киржакову. Мы на расстоянии удивлялись его храбрости - жениться во время войны. Затем их начали страшно бомбить, а Мария Николаевна ожидала ребенка. Сергей Александрович написал мне жалобное письмо, умоляя подумать, как можно было бы вывезти его вместе с беременной женой. Я подумал - действительно все это было очень грустно, а Сергей Александрович, несмотря на все его странности, был талантливый человек и, кроме того, хороший мой приятель. И я вынес этот вопрос на наш Кригсрат, военный совет, который сказал: "Что ж, давайте, попробуем", причем все они хором твердили, что немцы не дадут его вывезти. Я написал одно из самых бессмысленных писем за немецкий период, а Шварценберг его отредактировал. Я писал, как полагалось, в инстанцию, которую указал Сережа, видимо, отдел берлинского гестапо, который заведовал выдачей разрешений на выезд в протекторат. Я писал на институтском немецком бланке, что наш Институт, ввиду того, что продолжаются "террористические атаки - это термин Геббельса - плутократов с Запада", должен убрать коллекции и библиотеку и вывезти их в безопасное место, в связи с этим нам очень важно получить содействие доктора Левицкого, который у нас раньше работал и знает материал. Это облегчило бы нашу работу, и мы просим отпустить его к нам хотя бы на 6-8 месяцев, как они найдут возможным, конечно, с женой. Хайль Гитлер - и подпись неразборчива! К великому нашему удивлению и Сережиному в первую очередь, бумага возымела действие. Какой-то немец решил, ну, пусть едет, кому-то будет полегче. Ему бухнули штемпель, и они с Марией Николаевной приехали в Прагу. Сергей Александрович стал для нас работать - надо же было появляться в Институте. Мы даже определили ему жалованье, потому что финансовые дела Института парадоксально улучшались. Так мы дожили почти до конца войны.

СМЕРТЬ ОТЦА

С родителями я виделся последний раз в 1938 г., тогда казалось, что можно будет избежать мирового военного конфликта. Все на это уповали, хотя гром войн уже отдавался эхом повсюду. В Испании гремела гражданская война, японцы получали свои уроки в Монголии от Жукова - впервые его звезда взошла на военном небосклоне. Германия изо всех сил вооружалась, и было просто очевидно, что не может остаться без последствий это нагнетание военного потенциала. Но людям свойственно надеяться на

лучшее. Как я уже рассказывал, 1938 г. проходил у меня, с одной стороны, под знаком подтверждения моих теорий относительно Псково-Печорского монастыря, а с другой стороны, в окружении множества женщин разного типа, которые все были хороши по-своему, нравились мне, но, как сказала мне перед отъездом мать, разнообразие выбора было гарантией остаться одному. Это было довольно мудрое замечание в конце концов оправдалось, но тут сыграло роль не столько мое решение, сколько обстоятельства. Например, фантастический план Меты мне нравился, потому что он оставлял мне свободу для научного труда, не связывал повседневной семейной жизнью, которая, как я видел, часто губит молодых людей -денег нет или их недостаточно, семейство растет, надо погружаться в быт. С Метой этого не было бы. Из эстонских вариантов наиболее интересна была Ирина Крестинская, но, во-первых, на что бы я ее содержал, если б женился, а, во-вторых, как бы отнеслась к ней эмигрантская среда - все-таки племянница одного из крупнейших большевиков. Как сказал когда-то отец,- "Если не знаешь, что делать - не делай ничего, подожди". Замечательное правило, которое тоже сыграло свою роль: все, что мы откладывали, решилось само: начались военные конфликты, перекройка карты Европы, которая нас отвлекла от личных дел. После моего отъезда, когда немцы уже заняли Прагу, выяснилось, что будет аннексия Прибалтийских государств и они войдут в советскую зону. Уже Пятс ездил на поклон к Сталину, Сталин ему подарил портрет с надписью: "Революционеру Пятсу от такого же Сталина" - что, впрочем, не помешало ему через некоторое время арестовать Пятса.

В этот момент Петр Петрович Баранов и его жена, Наталья Дмитриевна, решили уехать в Италию, ибо Петр Петрович никак не хотел жить при советском порядке. Барановы очень уважали моих родителей, так те хорошо справлялись с их дочерью Наташей, довольно капризной девицей, и умели ее занять. Барановы предложили им въехать в большой дом, но родители решительно отказались, потому что большой дом накладывал большие обязанности. Тогда Барановы предоставили им флигель рядом с большим домом. Родители устроились там очень уютно, там была барановская мебель плюс еще наша. Мама описывала мне, как это чудно, и отец, и она были довольны - есть удобства есть, и ванна, и уборная при доме,- после нашей виллы в одну комнату это был рай. Это оказалось как бы последним подарком моему отцу, потому что в 1942 г. он умер. Они переехали туда в 1939 г., и покуда можно было, весь 1940 г. мы с ними переписывались. Из Эстонии очень многие уезжали в Германию: все, у кого, как у Кайгородовых, была хотя бы капля немецкой крови, объявляли себя "фольксдойче" и уезжали. У немцев было разделение: рейхсдойче - настоящие немцы, которые жили в Германии, и фольксдойче, которые, как в Прибалтике, столетиями были под чужой властью и теперь возвращались, как "народ", хотя еще не были полностью рейхсдойче. Сложившаяся ситуация беспокоила

очень многих, в Прибалтике создавались совершенно новые условия: неизвестно было, когда войдут Советы и как они будут себя держать. В начале 1940 г. они получили военные базы в Эстонии. В этот момент начали вывозить немцев, и на этой почве разыгралось немало драматических историй, которые моих родителей прямо не затронули. У них не было возможности выехать: как раз в 1940 г. я говорил об этом с Дедио, который сказал, что если у них есть хоть капля немецкой крови, то он советует выехать. Но чего не было, того не было. Кроме того, они не знали немецкого языка. Между тем отец, наконец, бросил работать на разных нелепых предприятиях, где его занимали главным образом физическим трудом, и согласился под давлением матери и отчасти наших бесед в 1938 г. сосредоточиться только на пении. Так как у него постоянно возникали трения с агрессивным Зябликом, регентом Никольского хора, отец подал в отставку, вызвав всеобщее удивление, потому что он пел там 20 лет. Он получил место регента-псаломщик, как его называли, в кладбищенской церкви. Мне он написал, что это настраивает человека на мысли о бренности всего земного, потому что каждый день несколько покойников, несколько заупокойных служб, несколько просто хотя бы отчитываний над покойником, даже если не заказывается специальная служба. Он говорил, что все это, конечно, печально, но ему так лучше: он сам себе господин. Какие-то деньги платила церковь, и почти всегда, если была индивидуальная служба, давали деньги родственники покойника, так что отец зарабатывал совсем неплохо. Когда он оказывался в ссоре с окружающими, особенно с власть имеющими людьми, он всегда говорил: “Молчу, и ни словечка!”, чем показывал, что словечки у него нашлись бы, если бы понадобилось. Со временем это усилилось. Со времени столкновения с Янсоном и Андрушкевичем он нашел формулу: “Считаю за грех разговаривать”. Это приобрело характер почти навязчивой идеи: он был любезен, мило улыбался, говорил о погоде и ни о чем серьезном. Число этих “Считаю за грех разговаривать” людей увеличивалось, и моя мать начала беспокоиться и говорила ему, что это не совсем правильно, надо отстаивать свою точку зрения. Он сказал: “У меня очень красноречивый сын, он и будет отстаивать мои точки зрения после моей смерти, и очень говорливая жена, известная ораторша, она тоже может отстаивать мои точки зрения, а я - считаю за грех разговаривать”. Когда мы виделись с ним, то всегда находили взаимопонимание, у него было удивительное восприятие без критики фактов, скажем, моей жизни. Многие из старшего поколения, я заметил, сейчас же начинали примерять факты к собственным стандартам и были недовольны, если стандарты не совпадали. У отца было драгоценное качество: он принимал все. Судьба была к нему сурова и не позволила восстановить завоеванные им в России права. Конечно, заграница дала ему жизнь, хорошее питание, безопасность, и я был у них на глазах, и никто нас не разлучил. Я получил высшее образование, несмотря на все трудности,

- все это были плюсы, но, с другой стороны, за границей он пошел ко дну в социальном смысле. Это я вполне понимал, но не знал, что можно сделать. Помочь издалека было невозможно, в то же время у меня не было средств, чтобы взять их на иждивение. У меня так и осталось чувство, что я не сделал для отца всего, что мог бы, и сделал бы уже в скором времени, уже успел сделать для мамы.

Друзья дяди, Николая Николаевича Андреева, в начале 30-х гг. выехали за границу в командировку и остались там: знаменитый психиатр, доктор Степан Жихарев, и его просвещенная жена, тонкий знаток истории искусств, Анна Петровна Жихарева. В Париже она была и знаменитым гидом по музеям и достопримечательностям города. Она знала французский, английский и немецкий. Когда они выехали, то некоторое время были в Эстонии, куда он ехал принимать ванны, но решительно отказывался вернуться. Они пришли к нам, в нашу "виллу", мама как раз кончала мыть пол, и, когда раздался стук в двери, открыла с половой тряпкой в руке. Жихаревы потом говорили, что сразу почувствовали: свой человек! Замечательно интеллигентная женщина, и никакой труд ее не унижает, наоборот, она главенствует над любой формой труда, и как она тут же все убрала, пригласила войти и стала любезной хозяйкой. Потом пришел Ефрем Николаевич, и Степан Аркадьевич сразу оживился, вспомнил и Николая Николаевича, и всех прочих Андреевых, которых видывал - тут были те же андреевские похохатывания и несколько насмешливый взгляд на самих себя: вот как мы тут живем, не очень-то важно. Эта черта у моих родителей была - необычайный шарм, который все чувствовали. Мне грустно, что отец умер, не израсходовав полностью этот заряд из-за обстоятельств провинциальной жизни. В провинции вас всегда могут затереть обстоятельства. Этого я инстинктивно опасался, когда старался удрать за границу.

Мои родители переехали в барановский флигель, и отец номинально был даже управляющим домами. Был текущий банковский счет, которым он ведал, и пока можно было, он переводил что-то за границу Барановым. Затем Советы переняли Эстонию полностью. Таллин наполнился советскими военными и гражданскими лицами, приехали военные грузовики с ансамблями песен и плясок, которые производили известное впечатление на публику. В то же время начались аресты. С началом войны 1941 г. пошли массовые аресты, а раньше шли индивидуальные. В них, как подробно описывала мать, попало множество людей, причастных к руководящим лицам или просто имевших положение в обществе. Было арестовано много военных, в том числе одним из первых - Володя Андрезен, муж Киры Петровны, племянницы Кайгородовых. Он несомненно имел отношение к эстонской разведке и бесследно исчез. Исчезло и множество эстонских военных, которые не успели уехать, а уезжать-то было некуда. Стали арестовывать министров, начальников полиции, подвергся чистке

Кайтселийт. Из моих друзей погиб Утехин, Владимир Сергеевич, наш учитель гимнастики. Когда пришли немцы, его нашли убитым в одной из вилл под Ревелем. Арестована была Серафима Павловна Горбачева, видная деятельница просвещения. Была очень теплая погода, она ужинала у друзей и была в открытом платье и на высоких каблуках, вернулась домой - ее уже ждали, так и взяли, в чем была, и она навсегда исчезла. Погиб Владимир Исаакович Новицкий, журналист, с которым спорил Костя и который был потом в большой дружбе со мной. Он погиб мучительно, кажется, схватил табуретку и ударил ею следователя - тут уж его, наверное, растерзали на куски. Главный дом Барановых с дивным видом на рейд, в нем останавливался владыка Сергий, был занят советским учреждением. К моему отцу приходили какие-то типы и предлагали быть начальником склада, но отец отказался, отговорившись преклонным возрастом. Он понимал, что быть начальником склада опасно: непременно будут воровать, а потом вас обвинят и вы можете очень легко погибнуть как уголовник. Все это быстро усугублялось. Русское общество до той поры долго было дисциплинированным, настроенным антисоветски - прошли советскую школу революции и иллюзий не строили. Многие приезжали из Советского Союза и ездили в Советский Союз, и все знали цену советским достижениям. Тем не менее, когда пришли Советы, начался раскол, в частности среди молодежи. Целый ряд молодых людей поддержал Советы, в том числе Мизернюки, которые оказались даже активистами - младший, Глеб, сделался выдающимся просоветским деятелем, хотя в прошлом был даже иподиаконом у архиерея. Он погиб в начале войны - его направили в истребительный отряд, воевавший против белых эстонских партизан, но те оказались более ловкими и истребили весь этот отряд. Тыся, второй брат, тоже был просоветским, Борис Мизернюк был более сдержанным, он уже был инженером, и Гуля, который всегда был дипломатом, "и нашим и вашим", тоже удержался от активных действий. Их отец, Николай Яковлевич Мизернюк, в тот момент был приголублен Советами, - он был русский инженер и работал на второстепенных и третьестепенных должностях, а теперь попал в заведующие и сделал карьеру.

Интересно, что это первая стадия, 1940 г., коснулась и моей матери, ибо когда пришли Советы, можно было сделать запрос относительно документов, и родители, к их удивлению, получили копии педагогических документов и оба по документам оказались высококвалифицированными педагогами. Но отец объявил, что не желает больше нигде служить, и говорил: "Я потерял 20 лет, что же я буду - опять начинающий учитель? Ни в коем случае". А матери засчитали все годы, которые она не имела права учительствовать из-за отсутствия документов, но преподавала частным образом, так что она получила очень хорошее место учительницы в огромной, новой русской школе в Нымме. Интересно, что там она попала в привилегированное положение, стала получать хорошее жалованье, и там

же ей пришлось выступать 7 ноября 1940 г. Педсовет и заведующий, советский педагог, предложили ей произнести речь на торжественном собрании на тему "Красный воин - защитник Родины". Мама сразу почувствовала, что надо играть ва-банк: или она скажет речь, или ее на другой день арестуют. Подумав, она написала - и затем произнесла - по-моему, замечательную речь, она мне ее потом воспроизвела. Там было 800 учащихся, плюс родители, много детей военнослужащих. Потому школа и была такая большая - нагнали военнослужащих, приехали их семьи, часто с большим количеством детей. Мама сказала им, что надо себе представить, что такое воин, охраняющий спокойствие своей земли, и живописала, как он ходит в любую ночь на страже, пурга, или дождь, темень осенняя или обманчивая летняя ночь, когда как будто светло, а может быть, где-то крадутся люди с недобрыми целями. Она так хорошо все рассказала, причем ничего не сказала явно просоветского, но и ничего антисоветского - взяла идеалом любого воина, который защищает или охраняет свою родину. Речь имела грандиозный успех. Мама, проанализировав свое выступление, сказала, что речь не была шаблонной, а советские педагоги, как она заметила, все говорили шаблонами, как в газете, и эти фразы-клише уже ни на кого не действовали. Она никакой идеологии не протаскивала, но п о к а з ы в а л а чувства такого воина. Становилось понятным, почему он на страже: там и родные его, и школа, в которой он учился, и фабрики, на которых он работал, и родина. Все были поражены и растроганы, заведующая и инспекторы бросились к ней и сказали: "Товарищ Андреева, спасибо, замечательно". Ученики были воодушевлены речью, потом они запели какие-то патриотические песни. Мама говорит мне: "Я, оказывается, лила воду на мельницу советской пропаганды!" Но в результате ее не тронули. А вскоре начались массовые депортации - людей арестовывали буквально сотнями каждый вечер. Были арестованы и погибли два брата Зоркевича, Сергей и Вова, мой сверстник, сидевший со мной много лет за одной партой. Они оказались якобы членами братства "Русская Правда". Вова только что женился на княжне Шаховской, и у него даже остался ребенок. Сережа Зоркевич был в то время владельцем книжного магазина "Русская книга", и когда пришла Красная армия, он увидел танцующие ансамбли, вежливых офицеров и сказал: "Они очень изменились, слава Богу, они изменились". Но суть дела не менялась - оставался все тот же принцип: насилие и физическое уничтожение инакомыслящих. Передавали циничный советский анекдот: "Мы протянем вам братскую руку, а ноги вы сами протянете!" Так и получилось в 1941 г. в Эстонии. Депортация эстонского населения, аресты, насильственный вывоз всех, кого они хотели взять, -свыше 100, 000 человек. Сколько из них выжило и вернулось на родину, неизвестно. По иронии истории все это приписывалось русским варварам, а не советскому коммунистическому строю.

Моя мать и в письмах, а позднее и устно, отмечала, что русская молодежь в Эстонии, а вероятно, и во всей Прибалтике попала в плен к очень опытным пропагандистам-агитаторам, которые умно играли на национальных патриотических чувствах. Это было на первом плане, а коммунизм как социальная справедливость был несколько затушеван и дополнял первый план. Поэтому неудивительно, что русская молодежь пленялась советскими идеями - на нее никогда осмысленно не влияли старшие. У эстонцев был обостренный национальный момент, а у русских нет. Многие выдающиеся молодые люди, даже мои знакомые, охотно пошли служить советскому государству. Я считал, что это, пожалуй, естественная реакция в той среде, которую я хорошо себе представлял. Те, кто был под сомнением, вроде братьев Зоркевичей или Назимова, или Бориса Константиновича Семенова в Печорах и других из старшего поколения, имевшего идеологический заряд, были сразу изъяты. А вот Ирина Крестинская, несмотря на то, что ее дядя был расстрелян Сталиным, когда ее позвали, пошла работать с советскими властями, и ее послали в органы. Она печатала на машинке, говорила по-немецки, по-эстонски и по-русски, и ее туда послали не в качестве следователя, но именно грамотной машинистки. Время от времени она появлялась у моих родителей, поздравляла их с новосельем, всегда справлялась обо мне, просила передать привет и что она всегда меня будет помнить. Мама приветы передавала, а насчет лирики считала, что это на расстоянии, в разных государствах, в разной культурной атмосфере дело трудное.

Ирина сохранила верность нашим чувствам и хорошо относилась к моим родителям. Однажды в 1941 г. она пришла, была очень тихой, мялась, в этот момент отец ушел в свою кладбищенскую церковь, и она вдруг говорит: "Екатерина Александровна, я Вам что-то скажу, но только между нами, потому что если об этом узнают, мне придется очень плохо. Вы знаете, я перепечатываю списки тех, кого предполагается вывезти отсюда, и Вы в одном из этих списков. Этот список не первый, не второй, а третий, и в нем Вы и Ефрем Николаевич. Поэтому я Вам рекомендую сделать отдельные пакеты: там должна быть смена белья, зубная щетка, лекарства, если они Вам нужны, запас чулок, носовых платков. Если взять общий мешок, вас могут разделить, и тогда у одного будет, а у другого нет. Пожалуйста, не выдавайте меня". Моя мать, конечно, сказала, что это останется между ними и она даже Ефрему Николаевичу сначала ничего не скажет. Она все приготовила и настроила отца, и отец мой даже носил пакет всегда при себе и на всякий случай даже в теплую погоду имел какую-нибудь верхнюю одежду.

Но в один прекрасный день она пришла веселая и сказала: "Екатерина Александровна, я пришла Вам сказать, что третий список отложен, фронт так быстро оседает и вывоз людей так труден, столько занято составов, что невозможно вывезти всех даже по первому и второму спискам. Поэтому Вы можете быть спокойны". Мама опять поблагодарила, но оставила все как

было. Между тем был арестован Алексей Алексеевич Булатов, печорский деятель Союза просветительных и благотворительных обществ Эстонии. Его арестовали, потом выпустили, и родители встретили его на улице. Мой отец хотел к нему подойти, но Булатов остановился на противоположном тротуаре, повернулся и резко сказал: "Вы меня не знаете, понимаете? Не знаете",- и ушел. Через несколько дней его опять арестовали. Очевидно, Булатов старался, чтобы как можно меньше людей пострадало из-за него. Вывозили не только арестованных и депортированных, но и своих. В такие "свои" попала Анна Анатольевна Мизернюк, вывезли Виталия Петровича Болбукова, который, как рассказывала мама, оказался советским осведомителем. Когда пришли Советы, он даже получил какие-то награды, и выяснилось, что он давно уже работал на советские власти. Его и других вывезли, и они все попали в ужасные условия, в провинцию, где ничего не было, и, как писала мадам Мизернюк, "думают ногами и ходят на головах", т.е. бестолочь такая, что просто жуть. Я не знаю, что потом с ней случилось, где она умерла и когда, ее не карали, но все равно ее жизнь была разбита. В целом Прибалтика была совершенно перетормошена. Когда началось сильное немецкое наступление, то оказалось, что Эстония попадает в "мешок". Тогда людей начали вывозить транспортами по морю, и какие-то транспорты были затоплены в Финском заливе. С некоторыми людьми разыгрались очень странные истории, так, например, был арестован Александр Иванович Макаровский, его перебрасывали из одного отдела чека в другой, в конце концов погрузили в состав и повезли под Нарву, где его и другие составы попали под немецкую бомбежку, и по немецкой традиции был подбит и взорван локомотив. Началась паника, тем более что станция также разбомбили. Александр Иванович вылез из вагона, он был цел, было еще не холодно, но он был в теплой шубе - его арестовали, когда надвигалась зима. Он не нашел ничего лучшего, как пойти на станцию, которая горела, нашел какого-то военного и сказал ему, что он из поезда, который вез арестованных. Военный дико на него посмотрел, сказал: "Ну и что?" - "Ну, и нас разбомбили". Тогда военный взглянул на него с интересом и сказал: "Вот, что папаша, дуй домой и жди. Сиди дома. Если тебя захотят еще раз арестовать, пусть арестуют, а не захотят, радуйся". Александр Иванович поразился мудрости этих слов, добрался до дома и остался жив. Никто его больше не арестовал. Как всегда, в органах госбезопасности важен момент: если вы попались в плохой момент, вы погибли, если избежали этого момента, будете жить, не зная, что такое арест, вопреки удивительному анекдоту о советском терроре - будто бы была такая анкета: "Когда были арестованы? За что? И если нет, то почему?" Макаровский мог ответить: "Почему? Так хотел Господь Бог". Позднее он жил в Москве и писал иногда статьи в "Патриаршем вестнике".

Стало ясно, что в Таллине советской власти уже нет, остатки ее сели в поезд и были где-то около Нарвы или же пытались грузиться в гавани на

последние суда. Сейчас же появилась эстонская кайтселитовская милиция, и очень быстро после этого вошли немецкие части. Что делали немцы в Прибалтике, в частности в Таллине, мы знаем хуже, просто потому, что никто этого точно не описал или даже сами там, на местах, не знали. Они ловили советских деятелей и сажали их в лагеря для военнопленных, затем начали охоту на евреев. Их тоже вывозили в лагеря, был лагерь под Ригой, очень дурной репутации, и еще где-то. Об этом говорили шепотом. Как жило население, трудно даже представить, но мои родители перенесли это время, потому что уже давно там жили. У них были связи, так что даже когда не было карточек, они все-таки могли питаться, и, по-видимому, у них были кое-какие запасы продовольствия. Некоторое время они могли пересидеть. Вместе с немцами прибыли русские переводчики, в том числе Валерьян Николаевич Бибиков, родственник генерала Баранова. Он торжественно въехал в главный дом, откуда стал вывозить оставшееся имущество. Кое-что оттуда захватили советчики, но большинство вещей осталось. Он стал вывозить ковры и мебель. Тогда мой отец пригласил его на ужин и сказал: "Валерьян Николаевич, положение очень деликатное, Вы вот берете барановские вещи, а между тем я отвечаю за их имущество. Может быть, Вы дадите мне расписку, что берете вещи, чтобы я мог потом Петру Петровичу отдать отчет". Валерьян Николаевич был, кажется, очень удивлен и сказал, что отец поражает его своей наивностью: во время такой грандиозной войны кто будет считать какие-то ковры, кресла и т.д. На это отец сказал: "Может быть, никто, но если будут считать, в таком случае я отчитаться: что-то увезли советчики, я не мог их удержать, но когда увозите Вы, я хочу знать, что Вы берете, тогда путем исключения можно сделать вывод о том, что взяли они". Валерьян Николаевич был крайне недоволен и наговорил отцу много неприятных вещей. Так, он спросил: "Что Вы намерены делать в России, когда падут большевики?" Отец сказал: "Видимо, вернусь к своей исконной профессии, к педагогике." - "А, -сказал Валерьян Николаевич,- на каком же языке Вы предполагаете преподавать?" - "Конечно, на русском".- "Конечно, на русском,- повторил Бибиков с насмешкой,- русский язык немцы в школах не допустят. Та часть населения, которая уцелеет, будет учиться по-немецки". На это отец сказал: "Вы знаете, Валерьян Николаевич, я постарше вас и видел много самоуверенных людей, которые строили планы, а потом все получалось иначе, чем планировали. Позвольте также сказать такую поговорку: страшен черт, но милостив Бог". На это Бибиков нахально сказал: "Уж не считаете ли Вы Богом Сталина?" Отец засмеялся: "Вы, по-видимому, совершенно утратили масштаб и подход к русским людям". Бибиков разозлился.

<В объяснение поведения Бибикова надо сказать, что он служил в белой армии, награжден Георгиевским Мечом, человек крайне правых взглядов и ярый антибольшевик, из тех, кто были согласны идти хоть с чертом,

лишь бы свалить Сталина. Из его слов видно, что ясно отдает себе отчет, каковы будут результаты нацистской победы в России. Он был упрям, грубоват в общении, но в основном добр. Предоставляя номер своей полевой почты, он, несмотря на упорный отказ Е.Н.Андреева благосклонно относиться к вывозу им имущества Барановых, дал Андреевым возможность переписываться с сыном, что иначе было невозможно. В конечном итоге то, что он не вывез, пропало, как он, видимо, и предполагал. - ред.>Однако он чувствовал себя виноватым, потому что сразу согласился, чтобы моя мать пользовалась его номером полевой почты, по которой я получил от нее два письма, а затем печальное известие, что у отца открылись страшные боли и врач боится, что это рак. Они просили меня высылать ему разные порошки, специальный сахар, который ему нужно было пить, потому что есть он не мог. Все это я высылал, и все, к удивлению, доходило. Я даже послал деньги - у них не ходили никакие знаки, и я добился разрешения послать немецкие марки, что, кажется, произвело на отца очень благоприятное впечатление, у него даже прошли на два часа боли. Он с восторгом сказал маме: "Боже мой, какое счастье, наш сын заботится о нас". Но ничто не помогло, и отец довольно быстро умер, кажется, в феврале 1942 г. Мне стыдно, но я не помню точной даты. Я вообще не помню дат смертей, я просто не согласен их помнить, потому что по существу ничего не изменилось, я продолжал считать отца существующим в этом мире. Он для меня и по сей день остался живым и дорогим, таким же, каким я видел его всю жизнь и особенно во время нашей последней встречи в 1938 г., когда мы гуляли в Екатеринентальском парке.

Перед его смертью произошли знаменательные события: люди стали приходить к нему прощаться, не то что они говорили: "Мы пришли прощаться", но, зная от мамы и от врача, что положение его безнадежно, стали заходить к нему, разговаривать. Появился даже Иван Харитоныч Степанов-Зяблик, очень извинялся, горько винил себя, и отец сказал: "Знаете, Бог простит за все, а я-то всех прощаю - моя жизнь кончена". Дошло до того, что Степанов и другие регенты спросили отца, какие песнопения исполнить в случае его смерти. Отец продиктовал им несколько песнопений, которые пелись бы при его отпевании, на заупокойной обедне исполнялись бы, покуда несут его тело к месту упокоения на кладбище. Похороны его, как мама описывала, были необычайные. Во-первых, в тот день была очень хорошая погода, и пришло огромное количество людей, пел объединенный хор всех таллинских русских церквей, громадный, чуть не в сто человек. Служило несколько русских священников - кладбищенские, Никольские, Александро-Невского собора, все, знавшие отца много лет, служили литию в нескольких местах по дороге, покуда шли. Родители жили на Вышгороде, напротив Александро-Невского собора, и оттуда шло шествие. Мама шла и плакала от радости за отца, думала, что ему было бы приятно, что все объединились в его память и так много пришло народу,

даже все те, чьих родственников он в последние год-полтора отпевал в кладбищенской церкви. Оказалось, что отца уважало и ценило множество людей в Ревеле именно как деятеля мужского певческого общества, знающего церковного регента и преданного певца православных песнопений. Так он и ушел в землю под звуки объединенного хора. Позднее, после множества осложнений, когда мама уже уехала в Протекторат, после восстания в Праге, конца войны, треволнений после войны, я даже подумал, что Бог знал, что делал, и избавил отца от многих и многих трудностей и испытаний. У каждого человека есть предел терпения и предел тех страданий, которые определила ему жизнь. Я с большой нежностью всегда думаю о родителях и полагаю, что влияние отца на меня было огромно, несмотря на то, что он мало меня поучал, и всегда был мягким, соглашающимся старшим товарищем. Теперь, с приближением старости и моей собственной кончины, я ощущаю, что хотел бы повторить многие отцовские черты. Несмотря на его незлобивость, он был человеком принципиальным, он не вступал в споры, но никогда не изменял своим убеждениям. Он был абсолютно добр и считал, что всякий мир лучше войны и любого конфликта. При этом он был человеком большой личной мужественности. Он странным образом был фаталист, я всегда смеялся, что это у него восточное влияние, подсознательное, как бы подтверждение теории Евразии П.Н.Савицкого. При этом он исповедовал оптимистический фатализм: он считал, что все в конечном счете к лучшему. Когда я возражал, иногда даже резко, что это невыносимая точка зрения - как же может быть к лучшему наше бегство из России, смерть нескольких членов семьи, наша неприкаянность в течение 20 лет - он говорил: "Но ведь могло быть хуже. Мы все могли умереть, я мог быть много раз арестован и расстрелян, нас могли разлучить, но Господь Бог сохранил нас вместе. Может быть, то, что с нами случилось, это лучшее из всех возможных для нас путей". Надо сказать, такая философия обезоруживала какой-то пассивностью - на самом деле он никогда пассивным не был. Скорее, это была мудрость: он понимал, что не в силах изменить ход истории и ход собственной жизни, вот отчего в каком-то смысле было легче думать о предопределении: что Господь Бог так уж предрешил.

После смерти отца мать дважды подавала прошение о выезде ко мне в Протекторат, и оба раза немецкие власти отказывали. Я пытался со своей стороны шесть раз, но Дедио уже не было в Праге. Было учреждено особое бюро немецкой полиции, которое принимало прошения о въезде в Протекторат ваших родственников. Пять раз они отклоняли мои прошения, якобы потому, что это не подходит по правилам, на шестой раз мне швырнули обратно прошение, и полицейский, высунувшись из окошка, сказал: "Если Вы еще раз придете, я Вас арестую, Вы прекрасно знаете, что Протекторат не для русских". Тем не менее, маму в Протекторат приехала. Произошло это неожиданным образом: весной 1944 г. я шел по

Карлову мосту, и вдруг мне явилось видение: навстречу шла Зина Реннинг-Игенбергс, сияющая, золотистая, в великолепной шляпе и каком-то необычайном наряде. Я был ее давний приятель, она всегда была мила со мной, хотя я за ней мало ухаживал, мне больше нравилась ее подруга, латышка Вельта. А Зина мне нравилась просто как очень живой человек. В начале 20-х гг., летом в Ревеле был Художественный театр с Подгорным, Чеховым, Гиацинтовой. Они ехали в Берлин, театры были закрыты на лето. Но они выступили на маленьком вечере в нашем гимназическом зале. Тогда я впервые видел Михаила Чехова вблизи, он выступал в самых разных амплуа: во-первых, великолепно читал монолог Мармеладова, а затем совершенно другое - "Злоумышленник" Чехова, где изображал этого болвана. И "Хирургию" Чехова, когда тянут зуб. "Под душистой веткой сирени" - очень смешной чеховский рассказ, где он изумительно изображал великовозрастного гимназиста. Подгорный читал стихи Блока, а Гиацинтова всюду ассистировала и замечательно читала стихи Ахматовой. На этом вечере я и познакомился с Зиной, которая поражала огромным бантом, сияющими голубыми глазами, светло-рыжими волосами и казалась героиней какого-то сказочного романа. С тех пор мы дружили, но я за ней не ухаживал. У нее было много поклонников, и она обычно говорила: "Я Вам назначаю свидание в такой-то час на таком-то углу", они встречались, шли дальше, на следующем углу стоит еще один поклонник, которому назначено, и присоединяется к ним. В конце концов она идет, окруженная шестью, семью, девятью поклонниками, которые все друг друга ненавидят. Потом она доходит до какой-то точки и говорит: "Друзья, у меня сегодня урок музыки вот здесь, до свиданья, увидимся завтра", - и исчезает! Мне это ужасно нравилось, но я не собирался быть одним из девяти болванов.

Зато когда я приехал в Прагу, то даже пытался с ней сблизиться. Она не очень хотела этого, но отнеслась ко мне мило: сказала, что я стал взрослым, великодушно мне простила какую-то дерзость. Она была в большой дружбе с моей матерью. Дружба эта выражалась в том, что она приезжала время от времени к моей матери и разговаривала с ней наедине, по-видимому, мать ее хорошо понимала и никогда ее секретов не рассказывала. Вообще, Зина была очень оригинальный человек: когда мы перешли в 7-й класс, она получила отпуск и уехала в Прагу, и там занималась, кажется, очень хорошо, год в Кооперативном институте, но вернулась к нам в 8-ой класс. Потом она получила какие-то полномочия от эстонского Министерства торговли или иностранных дел и добилась необычайной вещи, после которой я ее страшно зауважал: чтобы в земледельческую страну Чехословакию было ввезено два вагона эстонского масла. Я считал, что это фантастический успех такой дипломатки. Вероятно, большую роль сыграло то, что она строила глазки, кокетничала, дальше кокетства, вероятно, дело не шло, но это действовало на советников, от которых зависело разрешение. У нее был формальный жених в Эстонии,

довольно одаренный молодой архитектор, но потом в Праге я отчасти был свидетелем того, как она увлеклась другим - Эриком Игенбергсом.

ПРИЕЗД МАТЕРИ

Эрик Игенбергс был латвийским дипломатом. Человек русской культуры, он учился в Ломоносовской русской гимназии в Риге. Мне он всегда напоминал Стиву Облонского - такое же добродушие и мягкость. Он был очень приятен и в посольстве, у него в обращении с эмигрантами не было того глупого высокомерия, как у многих других чиновников, тех же латышей, старавшихся всеми силами выказать презрение к русским эмигрантам. Проезд через "великую Латвию" в свое время был одним из самых курьезных в тогдашней Европе - от вас требовали три или четыре фотокарточки, выдавали проездную визу, которую я никогда не видывал,- с двумя карточками, прилепленными к ней на отрывных купонах; одну фотокарточку отрывали, когда вы переезжали границу Латвии, другая - когда вы выезжали. Право остановки нам не давали, в Риге можно было оставаться только между поездами, несколько часов. Это было очень странно. Я несколько раз пытался с ними пошутить, сказать, что, видимо, я важная птица, раз они бояться, что я въеду в Латвию и немедленно произведу государственный переворот. Но шуток не принимали. Эрик тоже считал все это нелепым, тем более, что опасность заключалась вовсе не в каких-то эмигрантах, и неизвестно, почему на них ополчился весь полицейский аппарат "великой Латвии". Опасность была в немцах и советских людях, которым никаких таких ограничений не ставили. С Эриком можно было шутить на эти темы совершенно спокойно, он мне даже сказал: "Если Вы захотите въехать в Латвию, обратитесь ко мне, я это устрою".

Не систематически, но несколько раз я видел Зину и Эрика вместе, понимал, что роман идет серьезно, и, действительно, они друг другу подходили. Позднее, когда я бывал у них после свадьбы, они жили под Прагой и были очень счастливы и преданы друг другу. Потом Эрик, когда Чехословакия уже скапустилась, получил повышение - его перевели в Берлин, где он был первым секретарем посольства, покуда еще существовала Латвия. Когда же она стала советской республикой, Эрик, естественно, сохранил связи в Берлине, и поэтому они были на особом положении. Они, например, как раз в это время, получили право въезда в Протекторат, мало того, что из фонда, который был зарезервирован на всякий случай и никому не давался,- они получили и великолепную квартиру. Я сам был у них дважды и поражался - квартира была даже с домашней оранжереей, а одна из стен - стеклянная, и выходила на домашний сад. Они жили вместе с двумя сыновьями, у которых была преданная няня-чешка. Когда я неожиданно встретил Зину, был апрель 1944 г., и, как часто в апреле в Праге, было тепло: солнце, дивные, теплые ветры над Влтавой и такой

мирный, резной силуэт Праги, хотя над Градчанами висели немецкие флаги, которые возвращали в современность. Зина сейчас же спросила, как живут мои родители, я сказал, что отец умер, а маму я не могу оттуда вывезти. И вдруг она сказала: "Знаешь, я ведь очень люблю твою мать, я как раз хочу вывезти моих стариков,а заодно попрошу разрешение и для нее. Я не поверил своим ушам, сознаюсь, я не придал большого значения ее словам, я думал, что она просто старается меня подбодрить, но она добавила: "Я пойду в СД и поговорю с ними". Она взяла мамин адрес и данные, а потом прислала телеграмму, и нарочно так послала, чтобы мне ее принесли ночью, чтобы меня попугать. Я действительно испугался: телеграмма была срочная, и принесли ее часов в 12. Раздался звонок, я был уверен, что это гестапо, поспешно оделся, пошел, а там звонок за звонком, поднял глазок - черно, ничего не видно. Я спрашиваю: "Кто там?" Говорят: "Телеграмма!" Ну, это классический прием полицейских. Я открыл дверь, ожидая увидеть немецкую полицию, но там и правда стоял почтальон, который сказал: "Вы крепко спите". В телеграмме Зина писала: "Непременно позвони мне завтра утром". Я позвонил, и она сказала: "Кажется, дело в шляпе, они обещали". Я не поверил, но она продолжала: "Приезжай к нам, и я тебе расскажу подробности". Я приехал, и она рассказала, как пришла в СД со своим ультраарийским видом и стала говорить, что самое важное после Хеймат (родина) и Фюрера - это Муттер (Мать). Это тоже была национал-социалистическая идея. "Поэтому я прошу Вас дать моей Муттер и моему фатерхен (уменьшительное "отец") разрешения на приезд из Ревеля к нам, а еще у моего друга, который живет в Праге - не знаю, что она наговорила обо мне - у него тоже муттерхен в Ревеле, одна, его фаттерхен умер, дайте ей визу!" Там сидел какой-то эсэсовец, который сказал: "Вы правы, мы вывезем родителей", -и ей дали разрешения. Я, откровенно сказать, не очень всему этому поверил в тот момент, но, конечно, порадовался. Зина угостила меня великолепным обедом, и мы с ней поехали как раз на тот концерт, где Морфесси пел "Зачем я шел к тебе, Россия?" Затем пришло письмо от мамы, что ее вдруг вызвала их полиция, страшно были любезны, сказали: "Гнедиге Фрау, Вам разрешается ехать в Протекторат". Она приехала в июне, с минимумом вещей - вещи и книги вывезти не удалось, только самое необходимое и несколько вещей на память об отце. Так Зина устроила ее въезд в Протекторат. Я навеки сохранил к ней дружескую признательность.

Мама ехала вместе с семейством, которое тоже было из Ревеля, но они получили разрешение по другой линии - они были чешские граждане, Вера Сократова Изба и ее младшая дочь, Таня. Сына их, кажется, взяли в Красную Армию. Сам господин Изба был когда-то торговым представителем Чехословакии в Эстонии, типичный чех, который никогда не овладел как следует русским языком и говорил на невообразимом волапюке. Но он был хороший, добрый человек, очень любил свою семью, старался их обеспечить

и хорошо относился к русским. Мать имела с ними контакт, потому что обучала Таню и их сына. И вот в одно прекрасное утро мама вдруг пришла в Институт! Телеграмму она дать не могла, потому что неизвестно было, когда и куда придет поезд. Накануне мы даже ее встречали, но поезд пришел не с той стороны, потому что дорогу разбомбили, и никто ничего не знал. Я долго наводил справки, когда может прибыть поезд, но мне сказали: неизвестно, возможно, завтра утром, а возможно, и позже. Они действительно приехали утром, и Избы привезли маму. Она была в восторге, сейчас же вымылась, но оказалось, что ее белье в багаже, который появился через несколько дней. Так что пришлось ей надеть мою рубашку. Мы ее сфотографировали в тот же самый день, в моей рубашке и в моем галстуке, и ей это очень шло! Оформили ее прописку, где же, как не в моей комнате, других помещений не было. Приезд моей матери оказал сильное впечатление на всех моих друзей. Во-первых, появился владыка Сергий, который ее уже знал. Он очень хорошо вспоминал моего отца и свое пребывание в Таллине. Они с мамой установили теснейшую дружбу, моя мать прекрасная рассказчица, и она подробно, буквально часами рассказывала о советской оккупации Эстонии, о событиях немецкой оккупации, обо всем, чего она насмотрелась за эти тяжелые годы. Это было новостью для пражан. Не только Владыка, но и многие другие с громадным интересом слушали и обсуждали все. Как я смеялся, в поклонники моей матери, кроме Владыки, сразу попали генерал Чернавин, который ее зауважал и с гордостью сопровождал ее, например, в ближайшую церковь. Мы жили довольно близко от Никольской церкви, на Гаштальской улице. Юра Горохолинский, которому моя мать импонировала всем своим видом и умением держаться, с восторгом мне сказал: "Знаешь, мы совершенно потеряли здесь чувство стиля, а у твоей матери есть стиль". Это было верно, я должен сказать, что как сын я очень гордился тем, как хорошо она одевалась, со вкусом и просто, тем, что у нее такое одухотворенное лицо и она так умеет рассказывать. Кроме того, она была хорошая хозяйка. У нас каждый день кто-нибудь обедал или ужинал, приходили на чай целые группы людей, все мои ученицы. Я, между прочим, передал матери некоторых учениц для совершенствования. Мне не хотелось заниматься с ними в то время - было много дел по Институту.

Мама за 9-10 месяцев, которые мы провели вместе, даже не полный год, сумела создать вокруг себя замечательный духовный центр, центр внимания и человеческой доброты. У нее было много самых разных друзей, и они шли к ней беспрерывным потоком. Я даже смеялся, что стало трудно жить, потому что наша комната вечно занята гостями. Мама чувствовала себя нужной и в то же время полностью принятой русской колонией. Все, кто с ней знакомился, поддавались ее магнетизму. В отношении многочисленных кандидаток в мои жены мама проявила свойственные ей такт и мудрость: она даже переписывалась за моей спиной с некоторыми из моих подруг и,

в общем, оздоровила атмосферу. Она считала, что настоящих кандидаток в тот момент у меня не было. Чешские девушки были все очень милы, но не совсем приспособлены для того, чтобы стать спутницами жизни русского ученого. Некоторые были замужем, а мама считала неправильным разрушать чужую семью, чтобы создать собственную. Вообще она была очень осторожна и скорее выжидала, чем определяла. Надо признаться, что военные годы для женщин были очень плохими: женщин было много, и они из события делались мелочью дня. Таково было разрушительное влияние войны, распущенность, но мамино появление заставило подтянуться всех и в первую очередь меня. Позднее я усматривал в этом решение свыше - встряхнуть меня, заставить отвечать за свои поступки, а не разлагаться, мол, "хоть час, да мой". Эта психология вообще очень опасна, и конец ей был положен моей матерью. Кроме того, она привезла мне много сведений о моих подругах из Эстонии. Судьба Меты была трагичной: сначала русские ее арестовали, потом освободили, она опять делала карьеру в театре "Эстония", потом ее арестовали немцы и тоже освободили. Все это было очень печально, она физически сильно сдала, насколько мама знала. Один раз за все время она появилась у моих родителей, спросить, как я поживаю - она получила открытку, которую я послал ей в день вступления немцев в Прагу. После этого почта перестала действовать. Затем мама привезла сведения об Ирине Крестинской: Ирина была убита в том самом отряде, где был Глеб Мизернюк. По-видимому, их всех убили эстонские белые партизаны, хотя по идее должны были убивать эти бедняжки русские - они и назывались истребительным батальоном. Все это дикие судороги ужасных тоталитарных психологий. Я очень сожалел, узнав о смерти Ирины, но психологически это меня развязывало. Что касается Таси Гроздовой, я относился к ней серьезно, но ясно было, что все это нереально. Отец ее, доктор, совершенно помешался. Поведение ее сестры Маруси было хуже некуда: ее муж, Назимов, исчез, и она попала к немцам. Хотя она как будто сохранила жизнерадостность и остроумие, но эти события оставили свой след, и я лично не представлял себе, что могу сделаться зятем или родственником Гроздовых. Тася была лучше других, но возможно, и у нее были заскоки, о которых мы не знали.

Были и менее серьезные увлечения в Праге. Олечка Дошкаржова была мне очень предана и много мне помогала. Она была одной из самых способных моих учениц. С ней вместе приходила Вера, которая мне очень нравилась - она была готова на многое ради меня. Вера была очень красивая, а Олечка очень умная, худенькая, волевая женщина. Она влюбилась в Юру Грохолинского. А Юра, он Бог знает что сделал со своей личной жизнью: во-первых, когда началась война с Россией, он вдруг обручился с дочерью графини Муравьевой, Таней. Почему именно с ней, никто не знал, она, по-моему, не была даже в его вкусе, но он вдруг объявил, что помолвлен. Ну, что ж, помолвлен, так помолвлен, ваше дело, сэр. Потом

он, очевидно, начал тяготиться этой помолвкой; в тот момент объявили женскую мобилизацию, Олечку Дошкаржову могли забрать и отправить в Германию. Спасти ее можно было, лишь объявив, что она выходит замуж. И Юра вдруг заявил, что она его невеста. Сделал он это, видимо, по донкихотским причинам или просто по глупости. Но результат получился странный: конечно, помолвка с Таней лопнула, а Олечка была поражена, потому что он ей безумно нравился и вдруг - помолвка. Он был инженер, даже директор электрической фабрики в Старо-Болеславе и как будто мог содержать жену. Но были ли ему нужна жена - вопрос другой, Потом он бросил Олечку и занялся Анной, зажиточной женщиной из чешских мещан, ее семья очень заботилась о Юре, его кормили, ласкали, и он вдруг объявил себя женихом Анны. Олечка чуть не покончила с собой, и в этот момент, чувствуя ответственность за Юру, я ее немного приблизил к Институту и к нам, но без всякой личной цели. Все эти сложности разрешились сами собой, когда пришла советская армия.

Почему собственно, когда мы явно вновь шли к историческому кризису, к судьбоносным изменениям войны, почему в этот момент молодые женщины с такой энергией стремились связать свою судьбу с мужчинами, и как можно крепче - почему? Инстинкт опасности? Желание, чтобы кто-то охранял? Не знаю. Действительно, впору было удивиться: сколько женщин кружилось возле меня. Мамин приезд их сильно охладил. Конечно, я проявлял известную слабость, нестойкость, этакое порханье. Строго говоря, нужно было прекратить все раз и навсегда и ограничиться чисто дружескими отношениями. А со мной происходили даже забавные истории, например, одно время я ухаживал за Нонной Якубовой. Ее мать, моя докторша Лидия Андреевна, очень хотела, чтобы Нонна серьезно увлеклась мною, а я - Нонной, и даже всячески меня подталкивала, говорила: “Знаете, Нонна в опасности, она ассистентка Хамперла, и он, очевидно, хочет ею овладеть, пользуясь своим положением начальника. Вы должны ее спасти”. Я спросил: “Вы хотите, чтобы я сделал ей предложение?” Она опомнилась и сказала: “Это зависит от Вас”. Я говорю: “Вы понимаете, что в такое время делать предложение - чистое безумие, мы все висим на волоске”. Эта история кончилась благополучно, мы сохранили дружеские отношения. Но, как я смеялся, все разрядилось забавной вспышкой в духе кубанских казаков.

Мы встречали Новый год, был великолепный ужин. Пациенты часто приносили Лидии Андреевне продукты. Она пригласила нас с мамой, Кирилла Кирилловича Цегоева, издателя и редактора газеты “Новости”, которая при немцах, конечно, больше не выходила. Во время ужина - там была и водка, и все, что хотите, и было отличное настроение - Нонна вдруг говорит: “Кирилл Кириллович, я должна Вас поблагодарить за то, что Вы всегда так хорошо писали обо мне в Вашей газете”. За столом воцарилось молчание, потом Цегоев сказал: “Вы уверены, что это я писал?” -

"Конечно, кто другой мог так компетентно писать о театре?" Тогда Кирилл Кириллович засмеялся и показал на меня: "Это он писал, это он Корсунский!" Это была сенсация. До тех пор в Праге никто не знал моего псевдонима. Нонна обомлела, потом вспыхнула как порох и сказала: "Ах так, значит, Ваши отзывы не были объективными, Вы ведь за мной тогда ухаживали!" Схватила папиросу и прижгла мне лоб. Было так смешно, что несмотря на боль, я захохотал во все горло. Но тут докторша сказала, что Нонна обалдела, и вырвала у нее папиросу. Мама была смущена и поражена таким темпераментом. Лоб мне сразу заклеили пластырем, ничего особенного не было, вечер продолжался. Нонне я сказал: "Это же чепуха - у нас у всех нервы разгулялись, вот и казалось - здесь настоящее чувство, а настоящего и не было". Такие же преувеличения были и с чешскими девушками. Самые серьезные отношения были у меня с Анютой, действительно интересной моей ученицей. У нас только начало что-то наклевываться - она была по-своему тонная девица, но взбалмошная - как произошло какое-то столкновение и мы расстались. Я не называю всех имен, не стоит, может быть, они еще живы, но это было нечто вакхическое.

При этом еще начали являться люди приезжие, они вносили осложнения во всю эту картину. Я тогда сосредоточился на двух моментах: один - интересы Института, второй - возможная индивидуальная помощь тем, кто прибывает в протекторат с Востока. Финансовое положение нашего Института парадоксальным образом улучшалось. Произошло это следующим образом: в один прекрасный момент в 1943 г. я подумал, что можно увеличить продажу репродукций икон, пользуясь нашими цветными клише. Я поехал в типографию Нейберта обсудить технические детали и разговаривал с одним из директоров. Он сказал, что это, конечно, возможно. Я спросил: "Как насчет меловой бумаги? Потому что при переиздании мы не должны ухудшить качество бумаги". Нейберт ответил: "Позвольте, у Вас огромные запасы бумаги". Я удивился: "Какие запасы?" - "Вы разве не знаете?" И показал мне цифры - действительно, огромное количество, несколько тонн бумаги разного типа, в том числе и меловой. Тогда я спросил: "Откуда она у Вас?" - "Как откуда? Она у нас уже много лет, с тех пор как появился Семинариум Кондаковианум и мы делали для них первые работы. Тогда же все это было закуплено и оставлено у нас на хранение". - "Значит, Вы все зарегистрировали и теперь надо просить разрешение?" - "Нет, мы не регистрировали, это же Ваша бумага". Я покаялся, что тоже ее не регистрировал, просто потому что не знал о ее существовании. Он сказал: "На такие маленькие издания не надо просить никаких разрешений, могут отказать, мы проведем их явочным порядком. Причем немцы будут думать, что разрешение дали власти протектората, а власти протектората будут думать, что разрешение дали немцы. И из-за такой мелочи запрашивать друг друга не будут". На том мы и порешили и напечатали популярную Владимирскую Божию Матерь и другие иконы,

увеличив их. Я даже пошел дальше: оказалось, что у Нейберта хранятся еще не использованные нами цветные клише. Мы сделали с них образцы, и я показал их сначала Мысливецу, а потом всему Совету, и все решили, что желательно отпечатать какое-то количество и этих репродукций.

У меня возник амбициозный план попробовать подготовить переиздание первого альбома "Русской иконы" Н.П.Кондакова, который уже был распродан. Затем, к нему выпустить второй цветной альбом русских икон, используя эти клише, которых было 12 или 14. Плюс к тому новые цветные клише, которые можно получить после расчистки икон в собраниях Института. Мне удалось за эти годы скупить ряд превосходных икон, большинство XV, XVI веков, вероятно, из иконного хранилища в Новгороде. Советские власти вывезли новгородский музей и иконы, находящиеся в музее, но не успели вывезти иконный склад, где хранились первоклассные вещи. Позднее немцы сформировали из этого склада выставку, которая так и не доехала до протектората, они возили ее по Германии, а мы только читали об этом в газетах да видели кое-какие репродукции. Но некоторые иконы из этого хранилища, видимо, попали в частные руки и стали продаваться. Их-то я и скупил.

В этот момент у нас появился замечательный реставратор икон, знаток и энтузиаст этого дела, Евгений Евгеньевич Климов из Риги, с которым я встретился в 1937 г. в Изборске и брат которого приезжал к нам с певцом Печковским. Мы с Евгением Евгеньевичем были все время в переписке, а теперь он со всей семьей отступил в протекторат, потому что Рига была в опасности, а потом и пала, опять попав в советские руки. Он пришел в Институт, и мы провели некоторые расчистки. Он сделал их так хорошо, что у меня даже появилась грешная мысль: не попробовать ли нам расчистить - сделать хотя бы пробные расчистки - главную ценность нашего музейного собрания, Спаса Нерукотворного, которого старообрядцы приписывали Андрею Рублеву. После очень осторожных расчисток под верхним холодным слоем XIX века открылись чудеса красок и узоров. Мы задрожали от восторга и пошли ва-банк - стали расчищать всю икону. Фотографировали ее в разных стадиях расчистки, хотя, кажется, большинство фотографий не сохранилось. Мне очень хотелось пустить эту икону во второй альбом, описание икон мог бы сделать доктор Мысливец, а историческое введение - я. Главное, я хотел дать сведения не только о самих иконах, но и об обстоятельствах их покупки, чтобы никто не мог упрекнуть нас в скупке краденого или даже в краже.

Между тем предложения репродукций икон, которые я разослал по Германии, нашли отклик - сдержанный в берлинских магазинах, потому что Берлин уже начали бомбить, в дрезденских и лейпцигских. Зато очень горячий прием они встретили в рейнских областях, оттуда пришли заказы на десятки тысяч икон разных типов. Так что когда мы осуществили эти сделки, даже с 33% посреднику, мы оказались в огромных барышах, у нас стало

накапливаться колоссальное количество денег. Доложив об этом Совету, я предложил не скупиться: мы могли поднять жалованье с 1944 г. всем сотрудникам Института, приравняв его к нормальным окладам в культурных учреждениях протектората. Одновременно я приобрел целый ряд редких книг для кондаковского книгохранилища. Удалось закупить даже полный комплект свода греческих текстов, необходимого при изучении христианства, удалось приобрести некоторые недостающие у нас серии. Правда, недешево, но не стоило копить бумажные деньги, лучше было иметь книги. Продажа икон ширилась весь 1944 г. Отчасти это было понятно: в Германии покупать было нечего. В протекторате хоть можно было купить на черном рынке еду и алкоголь, а там и того не было. Поэтому такие репродукции, воспроизведенные в красках, на высшем тогда уровне техники, для тех, кто интересовался искусством или историей церкви, были драгоценными источниками. Я получил много приятных писем от разных немецких фирм и от отдельных лиц. Особенно мне запомнилось письмо католического священника из Рейнланда, который писал, что глядя на эти репродукции русских икон, он не может поверить, что Святая Русь погибла. Вот какие чувства неожиданно возбуждали наши иконы у немцев, находившихся в состоянии якобы тотальной войны со всем русским! В начале 1945 г. перспективы издания икон стали еще более благоприятными, потому что в игру вошел генерал Клесанда - один из сибирских легионеров, я его раньше не знал, хотя слышал его имя. Он был один из немногих чехов, отлично владевших русским языком. Он как-то сошелся со Шварценбергом, и тот навел его на мысль поместить деньги в наше дело, а у Клесанда была масса денег - у него были разные предприятия, которые приносили большую прибыль, и неизвестно было, куда девать эти деньги. Он хотел приобрести миллионы этих репродукций, с тем чтобы после войны отправлять их в разные страны. Он хотел, чтобы мы дали ему право экспорта. Вопрос оставался открытым, и сам заказ еще не был подписан, когда грянули последние события и началось восстание, но сама эта возможность меня удивляла и подбадривала. Клесанда принадлежал как раз к посредникам между немцами и наступающими союзниками. Незадолго до восстания в Праге он даже летал (каким-то образом его перебрасывали через фронт) в ставку Эйзенхауэра, но вернулся разочарованным и сказал, что американцы и англичане ничего не хотят слушать, у них уже есть какие-то свои идеи и Прага вроде бы будет советской. Тем не менее, он уверял, что американцы войдут в Прагу хотя бы на 3-4 часа, и умолял, например, меня не уезжать с немцами: "Если Вы уедете с ними, Вас будут считать виновным, а если уедете с американцами, которые вошли на 3-4 часа в Прагу, это вопрос другой. Во всяком случае, не бойтесь, мы вас защитим". Он, конечно, не знал, а в ставке союзников ему не сказали, что по Ялтинскому соглашению Прага отдается Советам. Таким неожиданным образом Институт им. Кондакова впервые за все время своего существования

жил безбедно. Более того, даже когда меня уже там не было, сотрудники жили на собранные мною деньги 5 лет, до момента, когда Институт вообще закрыли. Так что моя деятельность была как будто бы правильной. Кто-то даже пошутил, что во мне взыграла кровь новгородских предков с материнской стороны, купцов Квашней, которые вдруг проявились во мне в условиях Средней Европы! Шутка шуткой, но финансовое положение Института был отличным. Когда меня забрали, у меня была пачка собственных денег и я мог не беспокоиться о матери - денег ей должно было по моим расчетам хватить на длительное время, если бы цены оставались стабильными.

Интересно вспомнить, что тогда появились, например, Георгий Евгеньевич Климов и его жена, Софья Терентьевна, очень элегантная дама, со своим сыном Олегом, у которого жена была латышкой. Георгий Евгеньевич проявлял чудеса оборотливости - он умел устраиваться, всегда что-то вывозил, продавал, передавал, и когда приехал в Прагу, то сразу пошел со мной по антикварам и проводил всякие комбинации, я просто поражался: финансовый гений в своем роде. У нас в Институте всегда было много народу, благодаря Маме. С середины 1944 г. уже прекратились регулярные ученые занятия, но канцелярия все равно работала каждое утро, а мы после обеда занимались своими делами. Ходить в другие библиотеки в тот момент было немыслимо, и мы все больше склонялись к мысли, что необходимо куда-то книги отправлять. Был вариант Шварценберга, Клесанда предлагал свой загородный дом под Прагой, были и другие варианты. Но кончилось тем, что часть книг мы успели отправить к Шварценбергу, а часть нашей библиотеки не ушла дальше подвалов нашего же дома, очень глубоких, довольно крепко сделанных. Мы унесли туда большинство ящиков в последнюю минуту, в 1944 г., после первого американского налета на Прагу. Налет всех страшно огорчил: чехи долго тешились мыслью, что союзники их оберегают и Прагу бомбить не будут. Но в один прекрасный день, именно день, раздался рев сирен, и мы увидели огромное количество самолетов, летящих над Прагой на очень большой высоте в окружении маленьких точек - истребителей, их прикрывавших. Эти "сверхкрепости" начали бомбить. Бомбили они, как мы потом сообразили, глядя на план Праги, стремясь попасть в железнодорожный мост и в линию железных дорог - Прага была крупным железнодорожным узлом. Но ни одного попадания не было, они очень ловко покрыли параллельные улицы, разбили госпиталь, казармы, школы; вообще все шло, как описывал в своих сводках Геббельс: они всегда бомбят не военные, а гражданские объекты. Я числился в какой-то рабочей дружине, на следующее и послеследующее утро нас призвали, выдали лопаты и послали разгребать руины. К счастью, это был более или менее благоприятный участок - другие находили много трупов, выносили изуродованные тела. Потом были грандиозные похороны жертв англо-

американского "террор-ангриффа" - так это официально называлось - и мы поняли, что война приблизилась к нам вплотную и уже трясет нас за шиворот. Дело было серьезное. Второй налет был близко от нас, но нас не задел. Все это наполняло чувством бренности, неустойчивости, даже испуга: что же с нами будет?

В конце 1944 г. все мы были опять взволнованы: в Прагу прибыл КОНР - Комитет Освобождения Народов России во главе с Генералом Власовым. Они сотрясали воздух русскими мотивами, вовсе неуместными в условиях протектората, под которым все более и более содрогалась земля. Я, по счастью, не имел никакого касательства к власовцам, иначе бы не вышел позднее сухим из воды, и меня не пригласили на большую церемонию. Кое-кто из представителей русской колонии там все-таки был, в том числе бывший консул в Праге, наш долголетний дипломатический представитель, Владимир Рафальский. Он даже попал в президиум, и позднее, при Советах, жестоко за это поплатился. Теперь все эти речи опубликованы, а тогда мы знали только официальные сообщения. Прибыло два поезда власовцев - в одном КОНР, генералитет и главные деятели, другой с простыми власовцами, офицерами главным образом. Чешская реакция вначале была отрицательной. С одной стороны, чехов коробило, что на власовцах немецкая форма, с другой стороны, они быстро рассмотрели андреевские цвета, а главное, услышали антинемецкие сентенции, и, например, доктор Мыслевец пришел сияющий и сказал: "Они же абсолютно антинемцы, антигитлеровцы, и их вооружает Гиммлер! Это замечательно: у них будет оружие, и тогда посмотрим, кто кого". Это была реакция обывателя-чеха, они очень смягчились в отношении власовцев. Анализ их манифеста тоже был скорее благоприятный, в этом документе была известная гибкость. Но все было слишком поздно.

Время от времени доходил слух, что у немцев будет какое-то необыкновенное оружие, которое переменит ход войны. Речь, очевидно, шла об атомной бомбе, которую они поспешно готовили. "Фау" уже существовали и бомбили Англию, но хода войны это не меняло. Потом все власовцы уехали. Единственные мои контакты с ними были через брата и сестру Редлих. Роман Николаевич Редлих, археолог, НТС-овец, очень милый человек, который не так давно выехал из Советского Союза, несмотря на то, что сохранил немецкий язык, был абсолютный русский патриот, конечно, антибольшевик, формы советского патриотизма к нему не приставали. Однажды в 1944 или в самом конце 1943 г. в Институте вдруг раздался, я открыл и увидел Романа Николаевича в военной форме. Я очень обрадовался, сказал: "А, Роман, входи, входи, рад тебя видеть". Он вошел, закрыл дверь и сказал: "Имей в виду - Роман, но не Редлих, а Воробьев. Я считаюсь капитаном власовских войск, и меня разыскивает гестапо, а я от них спасаюсь". Я знал, что Романа хлебом не корми, а давай пиши с него авантюрный очерк. Так что я сначала даже засмеялся, но он рассказал, что,

оказывается, он был в независимой республике из двух волостей, которые не признавали ни Сталина, ни Гитлера. Там он натворил таких дел, что гестапо решило его арестовать. Но не на того напали. Роман очень хорошо говорил по-немецки, так что при случае мог сойти за немца, и делал иногда вид, что он немец и чуть ли не член гестапо. Он выехал, переполошил всю сеть германского СД внутри Рейха и спасся. Его не поймали, потому что без конца менял документы, да и время было не для систематического розыска. Второй контакт с власовцами был через его сестру, Анастасию Николаевну, по первому браку Пельцер. Она вышла замуж за голландского подданного, который умер от туберкулеза. Она осталась вдовой с голландским паспортом, что было полезно в поездках - голландцы считались арийцами. Она отлично говорила по-немецки, так что могла проехать в протекторат, хотя обычно это было очень трудно, и выполняла некоторые поручения НТС или организаций Власова. Для власовцев она составила книжку с несколько странным названьем - "Этика". Я ожидал увидеть в ней описания добродетелей, но там оказалась правила: как сидеть за столом, как класть вилку и нож, не надо есть с ножа, как закуривать сигарету - сначала предложить огонь собеседнику, все в этом роде. Как нужно танцевать! Я поразился: "Анастасия Николаевна, кому это нужно?" - "Как кому - власовским воинам, они все простые люди, от сохи, советские, правил хорошего тона не знают. Если бы я написала "Правила хорошего тона", они бы сказали: "Мне это ни к чему!", но когда я говорю "Этика" - они относятся к этому серьезно".

Я подивился диалектике Анастасии Николаевны, она вообще была интересной, решительной молодой женщиной и требовала, чтобы я написал облегченный, краткий курс русской истории. Я запротестовал: "Помилуйте, я уже дважды отказался от писания учебников истории, потому что считаю, что мне писать преждевременно, по завету Н.П.Кондакова "Вся жизнь для анализа, один день для синтеза". Мой день синтеза еще не пришел". Но она все-таки заставила меня написать совершенно дикий конспект, при чем еще велела, чтобы я ей диктовал. Так что я надиктовал ей какую-то странную схему, которая ей почему-то понравилась.

Одним словом, замечательная была женщина, у нас были постоянные встречи, кажется, она приехала на масленицу: блины, выпивки, и я ей где-то предложил выпить "на ты". Выпили. На следующий день она вдруг неожиданно приезжает в обеденное время, страшно расстроенная, и говорит: "Николай Ефремович, я вчера с Вами выпила "на ты", это нехорошо". - "Почему нехорошо"? -я страшно удивился. - "Нехорошо, потому что я выхожу замуж за Александра Николаевича Артемова - (он же Зайцев, деятель КОНР'а) - и я думаю, что ему было бы неприятно узнать, что его невеста пьет на "ты", да еще с человеком, у которого такая донжуанская репутация". Я был поражен: за свою жизнь я никогда не пил с женщинами "на вы", но раз Анастасия Николаевна этого хотела, я ей

поцеловал руку и сказал: "Ваше желание - закон". И мы выпили на "вы", после чего мы остались большими друзьями. Это были мои единственные связи с власовцами. Остальное я знаю только из газет и должен сказать, что судьба меня хранила, потому что даже когда они вошли в Прагу после восстания, то не в наш район. Если бы вошли в наш, не пришлось бы мне наговаривать эти воспоминания.

Позднее у людей, которые не были в то время в Центральной Европе или в Германии, я встретил резко критическое отношение к нам - мы-де не знали, чего хотели, метались туда и обратно, поддерживали любую диктатуру и любую силу, которая была рядом с нами, вообще нас изображали как страшно слабых людей. Но я думаю, вопрос в другом: не в слабости или силе, а в исторических обстоятельствах, это был ход истории, колеса истории, которые терзали наши жизни, и мы ничего не могли поделать. Могли на секунду посторониться, но не отвратить их движение. Вот в чем была наша трагедия. А наша свободная воля выражалась не в столь важных решениях, а в сущности, в мелочах, например, покупать на черном рынке или не покупать, верить немецкой пропаганде или проверять ее с помощью заграничных радио, сидеть и ждать у моря погоды или все-таки стараться что-то улучшить в своем быту - вот в чем выражалась свободная воля. И поэтому многие так верили в предопределение.

ПРАЖСКОЕ ВОССТАНИЕ

Несмотря на слова генерала Клесанда о том, что в Праге будет советское влияние, мы продолжали свою размеренную жизнь: Институт был открыт, выполнялись заказы, которых было много, приходили посетители в библиотеку - ученые с Востока, из Риги, или из Ленинграда. Может быть, они просто искали прибежища, чтобы посидеть несколько часов за книгами в тиши библиотечных комнат нашего Института. Я это понимал и всем давал разрешение работать. Но устраивать доклады не разрешалось, да и не до них было. Вся германская территория была разделена на разные зоны военной тревоги, были даны координаты, когда, где, что налетает, и в определенной очереди начинало гудеть предупреждение. На сам протекторат налетов больше не было, но вокруг бомбили. Оказалось, что в применении к Праге немецкие правила изменились: в марте и в апреле 1945 г. начало появляться очень много куда-то идущих людей с Востока. Куда они шли, мы не знали, и что с ними будет, они вряд ли могли представить.

Появилось, неизвестно почему, много власовцев. Один из пришедших ко мне оказался Дмитрий Брунст - один из НТС-овских столпов в Праге, потом сидевший в гестапо, фанатик русской идеи. Затем он уехал в Германию, он по профессии был инженер, и работал по НТС-овским линиям, потом попал

во власовские части. Он сказал, что, во-первых, они все меня очень уважают, считают одним из выдающихся представителей эмиграции и думают, что мне не следует попадать в руки большевиков, хотя, по-видимому, это почти неминуемо. Они предлагают вывезти меня и мою мать на каких-то власовских машинах. Будут вывозить целый ряд семейств, близких к Власову или НТС, и они предлагают включить меня туда. Я решительно это отклонил, сказав, что очень ценю их доброе мнение, но никак не могу покинуть свой пост, потому что, как они знают, Институт имени Кондакова располагает библиотекой и ценностями, я вел его с 1939 г. до 1945 и очень надеюсь, что мне удастся сохранить его. Я не знаю, как сложится судьба, но у нас много заграничных членов, и, вероятно, они нам помогут, когда окончится война. Придут ли советчики, вопрос спорный, а если даже придут, то это не значит, что они непременно разгромят наш Институт. У них будет масса других хлопот. Принцип мой был, кроме всего прочего, никак политически себя не связывать, а отступление с ними было актом политики. Но об этом я умолчал. Тогда Брунст сказал следующее: “Мы очень хотели бы, чтобы Вы были представителем КОНР’а, мы бы оставили Вам манифест и наши тезисы, а когда войдут американцы или советские командиры, вы отдадите тексты им”. Я опять поблагодарил за честь, но не принял поручение, потому что этих документов я не знал и не время было их изучать. Принять их было бы безумием: я как глава Института Кондакова не мог пуститься в пропагандистскую акцию, хотя бы и очень высокую. Брунст был разочарован моим упрямством, но, видимо, другого от меня не ожидал. Это был последний раз, что я его видел, уходя, он сказал, что, возможно, ему придется остаться в Праге до самого последнего момента и он, конечно, будет во всем штатском - не укажу ли я ему каких-либо чехов, которые могли бы его приютить? Я сказал: “Мои чехи в большинстве случаев настроены очень просоветски, они ждут прихода Красной армии”. Я ему посоветовал податься в провинцию, и он с этим как будто согласился. Много позднее я узнал, что он, в конце концов, не сразу, попал в руки советских органов, а еще позднее написал, или от его имени написали, очень странные брошюры, в которых была кое-какая правда, но куда больше домыслов, фантазий, которые вдохновляли органы на борьбу с опасным антисоветским духом.

С Востока я должен еще отметить семейство Синайских: профессор Василий Иванович Синайский был юрист, он написал книгу об истории Псково-Печорского монастыря, которая вышла в 1929 г. с рисунками академика Виноградова. Вот он, его жена, их интеллигентная и милая дочь Туся жили в Праге и несколько раз приезжали в Институт. Туся много рассказывала об оккупации Риги советчиками, о том, как они, приехав туда, вели себя сначала джентльменски и даже ее отец, пойдя на какое-то академическое собрание, был поражен, что его называли по имени-отчеству. Все они как будто очень уважительно относились к академикам.

Рассказала она, как молодой Виппер, сын знаменитого историка, сам историк искусства, оказался тайным партийцем, который работал на Советы уже много лет, и кажется, даже латышская охранная полиция это знала, но на всякий случай его не трогала. Как старик Виппер, специалист по европейской истории, прославившийся своей работой об Иване IV-ом, был выделен: его выбрали в Москве в академики, якобы сам Сталин высказал пожелание, чтобы старик Виппер за умное новое толкование периода Грозного был повышен в чинах. Об этом Туся рассказывала даже с восторгом и говорила, что первые впечатления были положительные. Но потом пошла обычная советчина - аресты, а уж потом, когда началась война, депортировали массу народа, и в эту депортацию чуть не попал Г.Е.Климов, которому удалось выкарабкаться только благодаря необычайному шарму и умению разговаривать с молодыми людьми, которые, очевидно, хотели его арестовать.

Особым было явление Тамары Георгиевны Шмеллинг, поэтессы, которая вышла замуж за Юрия Павловича Иваска. Она тоже была рижанка, я ее немного знал по Прибалтике. Вдруг она пришла и очень нас поразила: худенькая, очень усталая, с маленьким чемоданчиком, который она охраняла изо всех сил, называя его "малыш". Оказалось, что там бумаги Юрия Павловича, его стихи, его переписка с Цветаевой и всякие литературные ценности, которые он хранил. Сам Иваск был мобилизован - о нем рассказывали Избы - в эстонское СС. Я чуть не умер, потому что не мог представить себе Юрия Павловича в СС - слабосильный, подлинный интеллигент, просоветски настроенный... Он никогда не умел стрелять и так и не научился. Но делать было нечего, он попал в части, стоявшие в Померании, там угодил в английский плен, а потом его, конечно, выпустили. Но тогда-то мы ничего не знали об этом, и Тамара Георгиевна горевала, что Юра где-то в Померании. Мы ее всячески старались утешить. Мама оказалась всеобщей утешительницей. Тамара Георгиевна рассказывала, что многие думали, что в этом чемоданчике драгоценности и его даже не пытались украсть, но она держала его обеими руками и не отходила от него буквально ни на минуту. Она у нас даже спала, на столе в канцелярии, там мы ее устроили, потому что она сказала, что не может спать в постели - настолько она грязная, но постели все равно не было - всюду спало бесконечное количество людей.

Появился поэт и литературный критик, страшный фантазер, как потом выяснилось - он фантазировал на все темы, на советские, литературные, критические - Вячеслав Завалишин, позднее он писал в "Новом Русском Слове", одно время блистал за границей, написал книгу о советской прозе. Он пришел в жутком виде, он тоже должен был у нас спать, но мы боялись его положить, потому что на нем полно было всяких насекомых, так что он тоже спал на столе в канцелярии. Кончилось это довольно неприятно. Он остался в Праге и, видимо, имел какие-то отношения с власовцами.

Однажды он приехал ко мне и говорит: "Хотите, могу Вам устроить партию трофейного коньяка?" - "Хорошо,- говорю,- коньяк дело доброе". Он у меня взял деньги на коньяк, но обратно не явился, просто выманил деньги. Позднее, когда я ужасно бедствовал в Западной Германии, а он работал в редакции в Мюнхене, я написал ему и просил прислать хотя бы 50 немецких марок, хотя бы 25, я сидел без копейки. Но он не ответил. Все равно у меня погибло все, что было в Праге, и много денег тоже, но это просто характеристика нравов. Так через Прагу катилась масса людей. Были среди них наши добрые знакомые и даже старый друг отца по Кооперативному союзу, Иван Григорьевич Залипский, почти не изменившийся, все такой же немного заикающийся, поседевший, он появился с молодой женой и маленьким сыном Вовой. При этом люди не знали, могут ли они оставаться в Праге, если они шли в полицию, им отказывали, и они оставались просто так, был уже полный хаос, огромное движение толп. При этом еще действовала почта, еще приходили письма, мама была мастер на переписку. Ее приятельнице, Александре Иосифовне Реннинг, мы даже посылали русские книги, потому что она была чуть ли не в Эльзас-Лотарингии и очень там скучала. К моему удивлению, они дошли.

Интересно действовало русское православное подворье епископа Сергия, где, как мы шутя говорили, воеводой сидел о.Михаил Васнецов, сын знаменитого художника. Подворье было открыто недалеко от церкви, там тоже была маленькая домашняя церковь, храм-то не всегда был в распоряжении православных, там служили и гуситы. На подворье давался чай, иногда что-то варилось, время было уже голодное, суматошное, беженцы требовали чего-нибудь горячего. Народа было очень много. Иногда там ночевали, после больших служб в большой церкви, транспорт уже плохо работал, слишком далеко было ехать. И здесь появлялись люди с Востока. Я был свидетелем приезда профессора Анреевского, философа и богослова, позднее писавшего, по-моему, в "Православной Руси". Он очень страдал в Советском Союзе, в концлагерях. У него была форма активного покаяния: это были жуткие сцены - во время всенощной он падал на колени, рыдал, бился головой о пол, просил прощения в грехах. Вот до чего могла дойти человеческая психика. Он был человеком просвещенным и в то же время религиозно одержимым. Было много верующих. Приехали священники, они постоянно приходили к маме, и она поила их чаем и делала для них постные пирожки. Когда мы с мамой встретились уже в Англии и говорили о том времени, я не мог вспомнить многих лиц, а она с удивлением говорила: "Позволь, ведь это же твои добрые знакомые, ты меня с ними познакомил в Институте". Видимо, в тюремный период моя память стала отбрасывать то, что ей казалось не столь важным. Но этот поток лиц, имен и горестных историй был непрерывен. В конце марта или в начале апреля многие поняли, что дела

у немцев плохи и лучше как можно дальше пробраться на Запад. Синайские попали в конце концов в Бельгию, где Туся вышла замуж за бельгийского инженера. Вышеславцевы оказались в Швейцарии, где у них были родственники.

Весь апрель шел Великий Пост. Мама была богомолка и ходила на все службы. Виктор Васильевич ее сопровождал, я не так уж часто попадал туда. В один прекрасный день мама сказала, что хотела бы, чтобы я исповедовался у владыки Сергия. Владыка огорчен тем, что я давно у них не исповедовался. А времена стоят такие смутные, что все-таки лучше исповедоваться и принять Святое Причастие. Проблема исповеди меня слегка тяготила всю жизнь, я считал неправильным исповедоваться у хорошо знакомых священников, хотя есть тайна исповеди и даже особых грехов у вас нет, но все равно вы делались более закрытым, более осторожным в формулировках, и получалось больше проформы, чем требовалось. Поэтому я предпочитал исповедоваться у незнакомых: настоящая исповедь была в Пюхтицком монастыре, где никто меня не знал, в Псково-Печерском монастыре, где получалась полная анонимность. А в Праге были все свои. Владыку я выношу за скобки, а его помощник, доблестный дроздовец, кажется, он тогда считался архимандритом или просто иеромонахом Исаакием, он, например, мне совсем не нравился как духовное лицо. Я вполне ценил его умение помогать владыке, который был детски наивен, а Исаакий был половчее и похитрее. Как всегда, русские и в частности православные христиане устраивают распри, и у владыки были невероятные распри в приходе по поводу кладбища и церкви, которая там строилась. Не хочу входить в подробности, я не церковный человек и все знал из вторых рук, но какую-то партию возглавлял инженер Миркович, видимо, очень влиятельный и, вероятно, достойный человек, но вносивший страстность в церковные проблемы. Владыка слушал, слушал, шло заседание за заседанием, но в конце концов он вдруг встал и сказал: "Прекращаю сие!" и взял бразды правления в свои руки. Тогда все вдруг почувствовали в нем князя Церкви и поддержали его. Так вот, у Исаакия мне исповедоваться не хотелось. Во-первых у него был жуликоватый вид, напоминавший того самого торговца из деревни Лиможи, который был расстрелян в 1918 г. Не хочу сказать, что он жулил, просто вид такой. Иногда мне не нравился его тон, хотя он был очень красноречив, но это было какое-то пустое красноречие, за ним ничего не стояло. Я присутствовал при отъезде "белых воинов", которых провожал напутственным словом Исаакий. Через несколько дней последовало его же слово, обращенное к красным воинам: тон, накатанность, красноречие были те же. Это, наверно, естественно для монаха, который должен всех прощать и все принимать, но неприятно для слушателя. Кроме того, Исакий в моих глазах однажды осрамился: он был приглашен крестить дочку Юры Грохолинского, и в поезде - мы трое ехали туда с ним - он вдруг стал рассказывать странные

анекдоты. Если он считал нас развратными людьми, то ошибся, никто из нас никогда не рассказывал скоромных, скверных анекдотов. В устах иеромонаха они меня поразили. Он быстро это сообразил и кончил, но это впечатление у меня осталось навсегда. Так что идти к нему на исповедь я просто не хотел. Идти на исповедь к о.Михаилу Васнецову тоже: о.Михаил долгое время был галлиполийцем, военнным, а затем по соображениям отчасти религиозным, а отчасти бытовым, потому что делать ему было больше нечего, он пошел в священники. Возможно, я грешу на него и у него был духовный позыв, но духовные его тенденции мы не очень ощущали. Он был скучен и примитивен до бесконечности. Кроме того у меня было подозрение, что самые интересные моменты он мог рассказать своей попадье, известной сплетнице. Возможно это был большой грех - искушение хвостатого, как говорил владыка. Но когда мама сказала: "А ты пойди к самому Владыке", я решил, раз мама хочет и владыка хочет, я пойду. И пошел. Это было ровно за неделю до восстания.

Исповедь у владыки оказалась последним моим духовным общением с ним. Владыка очень обрадовался, увидев меня, и провозился со мной свыше 50 минут, несмотря на то, что к нем стоял довольно длинный хвост - вечером исповедь начиналась в 6 часов. Почему-то я часто именно так говел в дни моей молодости, отрочества и даже юношества в Ревеле, потому что мы считали, что Страстная неделя слишком переполнена исповедующимися и причащающимися, поэтому лучше исповедоваться пораньше. В то же время, как говорила няня, если исповедуешься рано, то к Пасхе опять полон грехов будешь! Так что брали шестую неделю, конец. Владыка исповедовал меня своеобразно: он мало требовал от меня признаний в грехах, но наоборот, старался развить передо мной свои теории. Одна из них заключалась в том, что каждый человек должен общаться с другими и выказывать в этом общении единство христианских настроений. Он утверждал, что это создает дух, который приличествует Церкви Христовой. Второе было то, что если мы уклоняемся от обязанности общения, то должны это преодолеть. Затем он всячески поддерживал теорию, что испытаний много и мы должны уповать на промысел Божий, что Господь Бог предугадывает, что нам нужно в данный момент и дает нам возможность того или иного решить проблемы. Что касается грехов, он вполне понимал все, что я ему сказал, он думал, что нужно больше общаться друг с другом в лоне Церкви, тогда делается радостнее на душе, она открывается, и возникает внутренняя связь, и никакие адовы силы не одолеют ее.

Владыка был замечательно проницателен и добр, он вовсе не находил ничего плохого в том, что я не ходил в церковь или не блюл обряды. Основной его вопрос был: "Вы веруете?"- "Да, верую абсолютно".- "Вот это главное". И на этом он строил то единство, которое называл православным исповеданием веры. За эти 50 минут душа моя смягчилась, открылась, и гордыня меня покинула. Гордыня всегда была один из основных моих

недостатков, в противовес отцу, как бы другой его полюс. Исповедь у владыки укрепила мою веру. На следующий день было причастие; как всегда, было очень радостно, присутствовала мама, она уже отговела. Наступила очень радостная Страстная, радостная потому, что была наполнена живым духом церковного напряжения. Кульминацией было чтение 12 Евангелий. Все переполнено. Народу огромнейшее количество, и неизвестные, не пражские, из приехавших. Хор пел изумительно, 12 Евангелий читались на разных языках, и Владыке вторили не только Исаакий, и о.Михаил, но и приезжие священники. Получилось соборное служение на разных языках. Мы вышли оттуда с большим подъемом. Должны были встретиться на выносе Плащаницы, назначенном на 2 часа в пятницу, но пражское Восстание началось раньше, и уже с 12 часов мы не рисковали пойти в церковь, потому что для этого нужно было перейти пространства, обстреливаемые со всех сторон.

Ход восстания описан многими историками, и я ограничусь личными, очень узкими впечатлениями. Мы не знали, что будет восстание, ходили смутные слухи, что есть подпольные комитеты, один более левый, прокоммунистический, другой более национальный, но тоже с большим количеством левых элементов, однако не исключающий и старые партии Чехословакии. Во главе национального комитета, как позднее выяснилось, тогда у него был псевдоним, стоял профессор Пражак, мой "промотор", который объявлял меня доктором философии. У меня радио не было, но когда приехала мама, то радио часто приносили и слушали новости, это было даже нужно, потому что иногда передавали сведения о воздушной тревоге. Около 12 часов вдруг по радио началась какая-то катавасия, и мы услышали стрельбу, вроде как в постановке о революции, потом крики "На помощь, на помощь!". Полиция и четники - жандармы, правые элементы, в большинстве случаев сотрудничавшие с немцами - кажется, пытались захватить радиостанцию, потом их оттуда вышибли, и радиостанция призвала пражан к восстанию, а затем стала сразу слать сигналы и обращения к кому-то вне Праги, не адресуясь ни к кому явно, а просто: "Внимание, говорит восставшая Прага, помогите нам". Это шло на разных языках, и по-русски и по-английски, не знаю, как по-английски, а по-русски было вполне удовлетворительно. Началась кутерьма, и оказалось, что в движение приведены какие-то не известные нам силы. Мы видели из окон, как шел солдатик, вдруг началась пальба, на него бросились люди, сбили с ног, так что Олечка, которая в этот момент пришла в Институт, дико вскрикнула, закрыла глаза руками, зарыдала - она страшно боялась любых проявлений насилия. Так началась свобода: с избиения какого-то солдатика.

За несколько дней до восстания исполнявший в то время обязанности протектора К.С.Франк, бывший аптекарь из Судетского района, жестокий нацист, выступил по радио и сказал, что Прага дорога и немцам, и чехам,

ее нужно сохранить, он даже намекнул, что ее нужно объявить открытым городом, чтобы союзники перестали бомбить. В общем он дал понять, что не стоит устраивать восстание, можно сохранить город без резни и разрушений. Мой знакомый художник, Миша Ромберг, молодой человек, который с большим уважением относился ко мне и почему-то считался с моим мнением о его работах, пришел и сказал, что чехи предлагают ему вступить в контакт с партизанскими отрядами под Прагой. Я сказал: "Почему бы и не вступить? Это не значит, что Вы станете партизаном, но понять, что это такое, какую силу имеет, по-моему, разумно, если за это не оторвут голову". Он возразил: "Оторвать голову могут всюду". И ушел. Пропадал 3-4 дня, явился обратно зеленый, бледный, усталый и страшно огорченный. Он действительно был под Прагой, в каком-то лесу, последние километры его даже везли с завязанными глазами, и в конце концов он попал в какую-то избушку, где сидели советские, видимо, чекисты, которые очень резко нападали на эмиграцию - он сказал, что эмиграцию будут чистить страшно. Мише предложили доказать свою лояльность, протащив в Прагу и передав по определенному адресу чемодан со взрывчаткой. Он это сделал с большим риском для себя: если бы немцы схватили его с этой ношей, Миши Ромберга больше не существовало бы, кроме того, взрывчатка могла взорваться и сама. Все это произвело на него жуткое впечатление, он был человек чувствительный, а тут вдруг суровая и грубая действительность. Он мне сказал тогда, что будет движение против немцев, но никто до последнего момента не знал - это было засекречено - будет ли восстание. Оно началось иначе, чем предполагал даже просоветский комитет. По-видимому, национальный комитет пытался захватом радио изменить положение вещей в свою пользу. Миша меня связал с кем-то, и мне принесли ружье, завернутое так, будто это мольберт. В свертке оказалось огромное старое охотничье ружье без патронов. Я даже поразился: "Зачем оно мне?" - "А, на всякий случай, должно же быть оружие. Ворвутся какие-нибудь дураки, Вы им покажете это ружье, и они испугаются!" Ружье мы сунули на склад, оно было явно декоративным. Перед самым восстанием появилась Леночка, все с тем же розовым личиком, пунцовыми губками бантиком, очаровательная, как и прежде. И тут появилась надпись - я до сих пор не знаю, кто ее повесил, но она была у нас на дверях, когда началось восстание. Это тоже было опасно: если бы в дом вошли немцы, то при виде этой надписи они нас разгромили бы. Это была игра со многими неизвестными. Во время восстания меня насторожило, что по всей Гаштальской улице, во всех подворотнях стоят какие-то вооруженные молодые люди и время от времени, по-видимому, для придания самим себе храбрости палят из разнокалиберных видов оружия. Опасно было высунуться в окно - в это время могла начаться стрельба, может быть, и по вам. Так что я просил людей, бывших в Институте, не высовываться. Вообще те, кто был в Институте, там и остались, выйти было невозможно. Потом оказалось, что

немцы бомбили восставшую часть Праги, и население должно было сидеть в убежищах. У нас в доме был большой подвальный зал, мы там сидели, и там же велено было спать. Но я отказался и спал у себя наверху, на диване, одетый. На другой день после восстания, в субботу кто-то пришел и объяснил, что дело плохо, немцы вводят две дивизии СС, они были под Прагой, а теперь вошли в районе Панкраца и действовали очень просто: в тех районах, где были баррикады, расстреливали все мужское население подряд. С другой стороны, через Прагу отступали немецкие войска, и восстание было им занозой, они должны были разметать все эти баррикады, чтобы прошли их обозы.

В субботу, часов в 11 утра, в сопровождении двоих молодых людей появился человек с нарукавной повязкой национальных цветов и сказал, что он начальник национальной обороны какой-то части Праги и он приказывает всем мужчинам выходить на улицу и строить баррикады. Так мы впервые встретились с организацией повстанцев. Всех мужчин взяли, вышел и я и увидел толпу - он выгонял людей из всех домов, среди них оказалось много нездешних, из других районов Праги. Была дана директива строить баррикаду между Гаштальской улицей и Козьей площадью. Я впервые видел, как строят баррикаду: благодаря большому количеству людей постройка получилась мгновенная, похватали машины, перевернули, набивали камнями металлические мусорные ящики, для чего разламывали мостовую, тащили со всех дворов всякий вздор, баррикада быстро выросла, она шла какими-то странными ступенями, и я сказал, что так строить баррикаду нельзя! Все посмотрели на меня с почтением и сказали: "А как надо?" Я объяснил, что если побежит немецкая пехота, то для нее уже и ступени готовы, а с той стороны должна быть отвесная стена. Это всем очень понравилось, и через пять минут меня уже называли "эмиссаром из Москвы": они сделали выводы из моего русского акцента. Самому мне ничего не пришлось делать - людей было огромное количество, а я, благодаря своему замечанию, стал вдруг командиром. Минут за 40 все было готово: разломали мостовую, и потом это все Бог знает, сколько времени, лежало кучей. Я уже исчез с Гаштальской улицы, а куча все продолжала лежать.

Тут же появилось много людей с ружьями, револьверами, они установили дежурство на баррикаде. В этот момент стоявшие на вершине баррикады закричали, что идут немецкие танкетки. У немцев были маленькие танки, пригодные для уличных боев. Большой танк не войдет в улицу, а маленький, танкетка, пройдет всюду. В то же время расстрелять ее очень трудно: она прикрыта броней. Следующей от нас площадью была Староместская, огромная старинная площадь, где стоял памятник Гусу и была ратуша, Никольский храм, русско-гуситский, а дальше - бывший юридический факультет на набережной, который в тот момент был занят, кажется, комендатурой частей СС. Рассказывали, что там и были сосредоточены эти

танкетки. Вдруг две из них пошли в нашем направлении и действительно показались через улицу от Староместской площади. Все закричали и посыпались с баррикады. Танкетки открыли огонь своими пушечками. Ахнули первые выстрелы, одна танкетка попала в угол дома, куда упиралось правое крыло нашей баррикады, и этот угол осел, словно был из игральных карт. Второй удар они пустили в основание нашей баррикады, оттуда все посыпалось, вещи взлетали на воздух, рушились на землю, стоял невероятный грохот. Тут защитники баррикады проявили невероятную прыть. После первого удара я нашел себя прижавшимся к стене третьего дома по Гаштальской улице. После второго удара я был уже в нашем доме и бежал в подвал. Я поставил рекорд скорости: никогда я не удирал так быстро! Улица опустела. Одна из танкеток повернулась и ушла, а другая остановилась на углу и стала разворачиваться. Это оказалось для нее роковым. В нашем доме был француз, бежавший из лагеря военнопленных. У него было противотанковое немецкое ружье, а все дома уже давно по распоряжению немцев на случай налетов были соединены подвальными ходами. Француз, увидев танкетку, которая только что разбила баррикаду, перебежал в угловой дом, выстрелил и попал в танкетку. Она запылала, оттуда выскочили два немецких солдатика и убежали. У нас была победа: "Мы пахали!" Но это было чревато неприятными последствиями: немцы могли послать в отместку несколько танкеток и вообще атаковать нашу баррикаду, бывшую баррикаду. Положение было скверным. Вдруг по радио начали передавать известия, которые нас очень заинтересовали, особенно меня: на выручку Праге пришли части генерала Власова, того самого Власова, который в ноябре 1944 г. во время церемонии был провозглашен главным союзником Германии. Одна из его дивизий повернула оружие против немцев, сообщали, что они дерутся с СС. Первая дивизия Власова, вооруженная новейшими автоматами, дралась удачно. Они с большим удовольствием раскатали обе дивизии СС и остановили их на пути в Прагу. Радио передавало, что всюду радостные толпы народа приветствуют их как спасителей Праги. Представители Власова поехали в военно-революционный комитет. Но через некоторое время комитет сообщил, что они не смогли договориться и власовские части, спасшие какие-то районы города от СС, покидают Прагу. Я понимал, в чем дело, а чехи, конечно, нет. У власовцев была антисталинская установка, а у военно-революционного комитета, если не просоветская, то и не антисоветская, нейтральная, так что договориться они не могли. Мы попали в явное окружение: длинную улицу, шедшую со Староместской площади, занимали баррикады, которые сначала принадлежали восставшим, а потом их заняла немецкая пехота, установила пулеметы и время от времени палила по этой улице. С другой стороны были танкетки, и все контролировали немцы, а что происходит на самой площади, мы не знали, но был страшный пожар и была слышна стрельба.

На нашей Гаштальской улице тоже была баррикада, из окон ее не было видно, но на ней сидели люди. Нам вдруг была дана директива: уходить из этого района, по одиночке. Легко сказать - уходить, а куда? Но нужно было уйти из того района, где вы принимали участие в баррикадах, тем более, что меня все заметили, потому что я иностранец, да еще эмиссар Москвы. Мама уже подготовила мешочек, который висел у меня на спине, и теперь я только обдумывал, в какой момент перебежать эту пристреляннную улицу. За ней начиналась Прага 2, которая была безопасна - там не было немецкого контроля и можно было выйти в другие районы. Мама, конечно, оставалась в Институте, в подвале. Как всегда в таких случаях, чернь или исчезла, или начала обратное движение к немцам. Я уже слышал такой разговор, что вот, понаехали всякие русские и науськали нас. Я пошел в переулочек рядом с нашим домом, стоял и думал, как бы мне перейти, время от времени немцы стреляли, и сразу после пулеметной стрельбы можно было бежать - по крайней мере, снова они могли стрелять только через 2-3 секунды.

Неизвестно, удался бы этот план или меня прошило бы пулями, но покуда я там стоял, переминался и обдумывал, вдруг заговорили репродукторы. Их было очень много - немцы любили всякие сообщения, объявили, что сейчас будут передаваться важные известия. Затем сообщили, что заключено перемирие между чехословацким военно-революционным комитетом и немецким военным командованием, оно начнется в 6 часов и продлится до 12 часов ночи. За 6 часов надо разобрать баррикады и пропустить немецкие обозы без всякого сопротивления. Перемирие давало пройти без боев через Прагу тем немецким корпусам и дивизиям, которые старались уйти как можно дальше, чтобы сдаться в союзный, а не советский плен.

Советские войска, которые к концу восстания были довольно далеко от Праги, не спасали город, и в сущности, главную роль по спасению чехов сыграла Первая дивизия Власова, которая вошла в Прагу вечером 5 мая и разбила в бою 6 мая две дивизии СС, которые пытались навести в Праге порядок. Но военно-революционный комитет не договорился с руководством Первой дивизии, которая тоже ушла 7 мая в направлении на Запад.

Я сейчас же пошел обратно домой, снял мешочек и лег отдыхать. Великая вещь сон, я уснул около 8 часов вечера, а часа в 4 утра меня разбудила мама, говоря, что опять бомбят. Я поднял голову с подушки, и как у меня обычно бывает, сразу пришел в себя и отбросил этот вариант: ни взрывов, ни шума, похожего на падение бомб. У матери был в этом отношении уже комплекс, она очень боялась бомбежек, потому что попала под них в Таллине, когда советская авиация бомбила нижнюю часть города, к счастью, не ту, где жила она. После этого она впадала в панику,

как только слышала что-нибудь похожее на бомбежку. Но сейчас я слышал страшный скрежет железа о камни и через некоторое время уже точно определил, что это на большой скорости входили советские танки Т-34 - армия генерала Рыбалко, будущего маршала танковых войск. Они прорвали немецкую оборону в Саксонских Альпах и яростным наскоком старались занять Прагу, пройти сквозь город и окружить отступающие немецкие части. Немцы стремились в районы американских войск, а советчики старались их задержать. Мы тогда не знали об этом разграничении по соглашению Рузвельта, Черчилля и Сталина на погибель Центральной Европы, может быть, не знали и военные, но у них были свои директивы окружить немецкие колонны, и это им полностью удалось. В самой Праге немецкого сопротивления уже не было, только на бывшем юридическом факультете Карлова университета, недалеко от нас, в великолепном новом здании, засели отряды головорезов из СС, которые отметали всякие соглашения с военно-революционным комитетом и не желали вступать ни в какие переговоры. Когда им что-то сообщали по громкоговорителям, они отвечали немецкими боевыми песнями и стрельбой. Туда были брошены советские танковые соединения, и гнездо СС было подавлено танковым огнем прямой наводки. Стрельба в упор положила конец немецкому господству в Праге, по-видимому, навсегда.

Но мы об этом узнали позднее, мы слышали залпы, но точно ничего не знали. Тем не менее, уснуть как следует мне в ту ночь не удалось: 8 мая примерно в половину шестого раздались дикие звонки и стук в дверь. Я спал одетый и побежал к дверям - оказалась уйма наших жильцов сверху, которые чрезвычайно уверовали в меня с тех пор, как прошел слух, что я эмиссар Москвы и специалист по постройке баррикад. Они хором закричали: "Пане докторе, что делать? Ведь американцы не вошли в Прагу, а вошли и входят советские войска, а у нас нет красных флагов! Я сейчас же гениально(!) предложил, как, впрочем, делали во всех других домах, воспользоваться немецким национал-социалистическим флагом. Мы моментально выстригли середину - белый фон со свастикой - и получилось два вполне приличных, не очень больших красных флага, которые тут же были вывешены на нашем центральном балконе. Я побрился, что-то съел, вымылся и пошел смотреть, что происходило на Староместской намести. Мама осталась дома, всячески меня заклиная, чтобы я был осторожен. Улицы были запружены народом, со всех сторон шли люди, как и я, разбуженные скрежетом танков или стрельбой у юридического факультета. Я вышел на площадь. Прага за время войны страшно сдала, из замечательной красавицы, чистой, подтянутой, очень зажиточной столицы она превратилась в обшарпанный город с массой обгорелых домов после восстания. Сгорела почти вся ратуша, погибли замечательные исторические часы с шествием апостолов и со скачущей вокруг Христа смертью с косой. Потом их отстроили, но это было уже не то. С одной стороны, все вдруг

почувствовали облегчение: конец эпохи, на немцев теперь наплевать, а что будет с Советами, увидим, все-таки братья-славяне. С другой стороны, проявились неконтролируемые низменные чувства - люди вдруг начинали сводить счеты с теми, кто, по их мнению, помогал немцам.

В тот момент я впервые увидел советский танк Т-34, который остановился на площади вблизи Никольской церкви. Из люка вылез старшина и, еще когда вылезал, то закричал: "Кто говорит по-русски?" Чехи по-русски не говорили, только кричали: "Наздар! Наздар!" (Привет!) Я мысленно сейчас же отметил разницу цивилизаций: когда 15 марта 1939 г. пришли немцы и я пошел на главпочтамт отправить открытки родителям и Мете, я увидел гигантов эсэсовцев, которые ласково улыбались, как удавы, глядя на низкорослых маленьких чехов, а все чехи великолепно говорили по-немецки. А тут пришла дружественная советская армия и увы, никто не говорил по-русски. "Ну, кто говорит по-русски?" - закричал он с надеждой и с ужасом - неужели никто? В этот момент я сказал: "Я говорю!" Он меня спрашивает: "Где мы, что это?" Я говорю: "Это Прага и ты, товарищ старшина, на Староместской площади". Он повторил: "На площади, Прага",- а потом пустил по матушке и Прагу, и площадь и сказал, что ему нужно какое-то местечко под Прагой, как бы выехать туда? К счастью, я знал и указал ему направление, так что он тут же полез наверх, люк захлопнулся, танк повернул и ушел. Когда он разговаривал со мной, я увидел, что у него орден на георгиевской ленте: это, как я потом узнал, был орден Славы, который дается за исключительную боевую доблесть. Я ему сказал: "О, орден на георгиевской ленте!" Старшина дико на меня посмотрел, он молодой был, небритый, весь закопченный, "Чего?" - говорит. Георгиевская лента для него не звучала. Хотя были введены отличия, причем многие на основе старых заслуженных царских эмблем и отличий, простой боец об этом не слыхал. Тоже характерная черта нового порядка. Он ушел, и все чехи стали меня спрашивать: а что он сказал? Я ответил, что он хотел определить направление, но умолчал о том, что он послал в места не столь отдаленные Прагу и площадь, ему не интересные. У него была чисто военная цель. Появились автомобили с военными. Во второй половине дня во многих местах появились ансамбли на грузовиках, танцоры и певцы, и грузовики превращались в эстрады, раздвигались доски. Это производило впечатление. Затем появились машины, наполненные офицерами. Прага оказалась точкой скрещения трех фронтов: с Балкан пришел фронт маршала Малиновского, вернее, его правое крыло; в центре был фронт генерала Еременко, который блестяще оборонял Сталинград, и соединения маршала Конева, т.е. прибывшие уже из Германии, из-под Берлина или Дрездена. Неудивительно, что Прага наполнялась офицерами. Прагу особенно тщательно громили со всех сторон. Посмотрев на все это, я вернулся домой и сделал первую попытку приспособиться к новым обстоятельствам. Уже было ясно, что мы вошли

в сферу советского влияния. Я сейчас же убрал официальные портреты Гитлера и президента Хаха, которые по немецкой традиции висели в канцелярии.

Недели две до восстания я очередной раз был в типографии Нейберта. Когда я уходил, он вдруг дал мне завернутый в длинную тонкую трубочку и тщательно залепленный плакат. И говорит: "Это Вам подарок, но Вы его раскройте только в своей комнате, и когда будете один". Я, откровенно сказать, не придал большого значения этому подарку, они иногда публиковали странные вещи, и особенно во время войны - геральдические древа чешских королей, всякую сомнительную, но нравящуюся широким массам мифологию истории. Я решил, что это оно и есть. Но открыв дома пакет, я ахнул: там были два свежеотпечатанных портрета, того же размера, что официальные, - Бенеш, президент Чехословацкой республики, и Сталин, причем узнай об этой продукции немцы, Нейберту не сносить бы головы. Я удивился, до какой степени он ненавидит немцев и ждет прибытия Советов. А ведь он был типичный предприниматель, осторожный, солидный экономист. Правда, у него время от времени прорывались советофильские разговоры. Я даже осмелился ему сказать, что если придет советская армия и здесь будет советский строй, то ему, вероятно, придется проститься со своим предприятием, которое заменяло ему и жену, и детей. На это он сказал: "Нет, пан доктор, они же братья-славяне". Нарочно рассказываю этот эпизод -очень характерное состояние умов у чехов, с отталкиванием от нацизма они начинали идеализировать советские войска и советские порядки. Но тогда я был очень рад подарку Нейберта, который никому не показал, запечатал все обратно и положил туда же, где лежало пресловутое недействующее охотничье ружье. Теперь я поставил эти два портрета, а старые вытащил. И пошли звонок за звонком, стали приходить люди, которые хотели установить с нами контакты после тревожных дней восстания. Кое-кто, как Левицкие, были совсем отрезаны от нас в другом районе, а наоборот, Наливкин, который все время просидел у нас, побежал домой, сообщить жене, что все в порядке. Так что движение было значительное. Возвращаясь к портретам, скажу, что появился вдруг талантливый инженер, Николай Сергеевич Ерофеев, который сделал в свое время карьеру в Берлине и имел там большую контору, но так как их там страшно бомбили, он перенес центр в Прагу, а там оставил свое отделение. Он страстно ненавидел немцев и представлял тот тип эмигранта, которые позднее стали называться советскими патриотами. Вероятно, таким был Союз советских патриотов в Париже: они в тот момент боготворили Сталина, идеализировали советский строй, и говорить с ними было даже забавно. Я ему сказал: "Николай Сергеевич, я думаю, что Вы большой фантазер!" Он принял это за комплимент, сказав: "Знаете, Николай Ефремович, без фантазии не может быть истинного инженерства". Теперь он был в восторге и сказал мне: "Позвольте Вам от души сказать

- я уверен, что Вы и Институт войдете в советскую орбиту и будете драгоценным источником улучшения советской культуры и Вам ничто не будет грозить". Так его поразили эти портреты. Забегая вперед, добавлю, что Ерофеев был очень скоро арестован и попал в группы тех эмигрантов, которых вывозили на грузовиках (железные дороги тогда плохо работали или не работали вовсе). Он очутился во Львове, где довольно рано умер, чуть ли не в декабре того же года. Кажется, никто не хотел слушать его панегириков в честь Красной Армии и гения Сталина, с ним обращались сурово, как и со всей массой эмигрантов. В это довольно сумбурное время я старался не выходить далеко за пределы Института. Городской транспорт не действовал, трамваи несколько дней после восстания по центру не ходили, а пускаться в длинные путешествия по Праге я считал неразумным, ибо все время опасался, чтобы чего-нибудь не произошло с Институтом. У нас на дверях висело объявление, что мы под защитой "Народных стрелковых дружин", появилась Леночка, была очень мила, сказала, что придет еще, но сейчас страшно занята, работает как переводчица - они приняли немецкие учреждения, и нужно разобраться в горах документов.

Прогулка по городу вместе с мамой привела меня в полное смятение и вызвала настоящее омерзение к толпам черни. Во-первых, всюду шли самосуды, на фонарях висели трупы людей, повешенных толпой, кто они были, почему повешены, никто не знал. Около Сметанова зала мы вышли - огромное движение, все время едут советские грузовики, полные участников ансамблей песен и плясок, машины со штабными советскими офицерами, идут толпы гуляющих, страшно жарко, даже душно. Какие-то типы хлопочут вокруг людей, у которых рты завязаны тряпками, а на шеях петли - их тоже собирались повесить на фонарях. Те смотрят безумными глазами на своих палачей, которые перебрасываются шутками, курят, сплевывают, вообще не торопятся. Это меня поразило: нет ненависти, ничего нет, а есть, я бы сказал, садизм вразвалку, и рядом стоят группки мальчишек. На двух фонарях висели какие-то типы, сделаны надписи - "изменники", но кто эти изменники? Кто их осудил? Почему их повесили без суда, без следствия, без приговоров? Я старался отвлечь мамино внимание, все думал, она еще упадет в обморок или бросится освобождать их и сама вляпается в историю, картина жуткая и тошнотворная.

Дальше еще сцены. Убирают какую-то баррикаду, люди босые, волосы острижены клоками, в разорванных одеждах, и женщины, и мужчины работают, а вокруг них стоят чехи с надписями "Революционная гвардия" и поплевывают. Тем, видно, пить страшно хочется, умирают от жары, некоторые говорят "Пить, пить!", а их ругают площадными словами: "Работай, сволочи, изменники". Я спросил стоявших в толпе: "Кто это такие?" - "Те, кто сотрудничали с немцами, доносили, девки, которые гуляли с немецкими солдатами..." Возможно, и гуляли, но я поразился отсутствию правосудия: мы только что восставали против тирании немецкой,

садистов из гестапо - а сами? Публично, массами, без суда и следствия проделывать такие вещи! И это называлось народный гнев! Народного гнева здесь было мало, а вот народного безобразия достаточно. Эту группу спасли два советских солдата: они смотрели на это, смотрели - а жара страшная, 30 градусов с гаком, духота невыносимая, люди прямо падают и все просят "Пить, пить!" И вот вдруг эти два солдата рассердились и говорят: "Давай воду, понимаешь, воду давай!" Главный вытаращил глаза, выплюнул сигарету, смотрит с изумлением на освободителей-союзников, а те злятся: "Ты что, не понимаешь? - и по матери его. - Жарко! Люди пить хотят! Пить! Воды!.." И революционный гвардеец испугался, и через пять минут принесли ведрами воды, которую стали давать этим жертвам национального беспутства. Мы вышли к Сметанову залу, и я невольно вспомнил, какие здесь были великолепные концерты, никому не могло прийти в голову, что на этих высоких древних фонарях будут раскачиваться трупы чехов. Возможно, они сотрудничали с немцами и заслуживали наказания, но не самосуда. И, к чести советских войск нужно сказать, что, видимо, такое же ощущение было у всех тех, кто прошли с боями, действительно жертвуя жизнью, а не как шакалы, поджав хвосты, сидели при немцах молчком, а потом, когда немцев уже не было, бросились убивать и вешать без разбора. Два дня спустя на всех заборах и столбах был расклеен приказ русского генерала-полковника, коменданта Праги: оружие сдать, самосуд прекратить. И все прекратилось! Самая поразительная черта черни - она боится угрозы хлыста: эту чернь я возненавидел всеми силами души, я много раз встречал ее и раньше, но никогда в таком огромном количестве, как в Праге после этого трижды ненужного восстания. Позднее я думал: зачем подняли восстание? Зачем погубили столько памятников? Зачем погибали молодые люди на никому не нужных баррикадах? Зачем это нужно было? Для престижа? хотели сделать жест в отношении будущего правительства Бенеша? Восстание произошло, и восстание было кровавым, многие погибли напрасно. Зря погибло много власовцев, причем было ясно, что это власовцы спасли Прагу от немцев, это они дали возможность военно-революционному комитету договариваться с германским командованием. Но на третий день всюду стала известна официальная ложь: оказывается, Прагу освободили танки маршала Рыбалко. Все, кто сами там были, говорили: "Вот как создается история на наших же глазах!" Телеграммы ТАСС были полны таких же фантазий, как речи Ерофеева! Корреспонденты не щадили красок и слов. Советские войска были встречены с восторгом, но спасение пришло все-таки не от них, немцы уже кончили борьбу, когда появился Рыбалко и залпами орудий Т-34 прикончил эсэсовское осиное гнездо в здании юридического факультета.

С моей точки зрения восстание развязало низменные чувства, оно не вызвало героизма, не было подъема патриотизма. Во-первых, когда получили оружие, чернь, не зная, что делать, бегала из дома в дом, выискивая, где есть

немецкие квартиры, вытаскивали оттуда перепуганных стариков-немцев, пинали их и бросали по лестницам - никакого геройства в этом не было, и не было нужды так расправляться с ними! Очень часто это были исконные жители Праги и никакого отношения к нацистам не имели! Но после начала этого восстания и ненужных жертв эти страсти начали бушевать. Нужно ли это было? Не достойнее ли было, чтобы это все прошло более спокойно и были бы устроены настоящие суды? Суды потом прошли, но сколько людей погибло без судов! Я сильно сомневаюсь, что люди погибали заслужено. Может быть, они были мерзавцами и предателями, но мне кажется, что в интересах общественного мнения их надо было привлечь к открытому суду. Я слышал, что подобные явления в подобной же форме, когда остригали волосы, были и во Франции и в других странах, так что здесь была какая-то организация. Чья? Думаю, в данном случае инициатива исходила от средненациональных партий, а это очень левые партии, с коммунистическим уклоном. Золотая славянская Прага моих молодых лет, та, что была увенчана сокольским слетом или мечтами об объединении славянских государств, о справедливой демократической Европе, Прага, связанная с именами лучших представителей чехословацкой мысли в веках, лозунгом которых было гордое и справедливое изречение: "Правда побеждает", Прага, которая слезами и пением национальных гимнов провожала независимость республики 15 марта 1939 г., которая с достоинством и мужеством встречала каждодневный немецкий натиск на все чехословацкие ценности, - эта Прага вдруг исчезла! Ее сменила какая-то низменная Прага, населенная чаще всего трусами. Революционные гвардейцы, которые стояли с довольным видом и плевали на пленных, за все годы немецкой оккупации ничем себя не проявили и пришли к шапочному разбору, как племянник нашей дворничихи - он все время просидел у тетки, а когда все кончилось, вдруг вытащил из кармана надпись РГ, а из тетушкиного шкафа автомат и превратился в правящую силу. Эта Прага была мне омерзительна - бессудная, попирающая все принципы человечности и справедливости. Я увидел братьев Новгородцевых, старшего, Бадю, иподьякона, инженера, потом сделавшего карьеру, кажется, в Ленинграде, и его младшего брата, развратного мальчишку. Мы с Гавриловым удивлялись его элементарной развращенности в разговорах - это была какая-то деградация Новгородцевых, странно, как у такого блестящего человека, как Новгородцев, и очень умной, хотя и малоприятной его жены могли быть такие безнравственные дети. Увидев их с надписями РГ и винтовками за плечами, я понял, что приспособление и расслоение русской эмиграции пошло полным ходом и что русская эмиграция в этом смысле, видимо, не уступает чехам, хотя и не дошла до физических расправ. Душевным отдыхом и контрастом явились для меня военные ансамбли русских песен и плясок. В громкоговорителях звучали русские напевы, по крайней мере, чувствовалось, что эти люди

прошли военным походом огромные пространства России, выгоняя непрошенных тевтонов, и имеют право на радость. А публика? Публика кричала от восторга, хотя текстов никто не понимал. А тексты были самые разные: военные песни, от разухабистых, веселых и до лирических, щемящих. На Вацлавскую площадь, Вацлавак, все время шли волны пражан, она оставалась центральной площадью, и так же непоколебим, как прежде, скакал святой Вацлав на коне.

У нас с матерью произошли очень интересные встречи с какими-то военными. Группа военных явно не ориентировалась в окружающем. Я сказал, что может быть, могу помочь, объяснить. Все обрадовались, оказалось, что в группе какие-то два генерала из военного совета фронта. Их многое интересовало, я начал объяснять, и они сразу спросили, кто я. Я сказал, что я из старой эмиграции, когда-то получил здесь образование, сейчас научный работник в области археологии и истории. Больше вопросов об этом не задавали. Зато генералы сейчас же поинтересовались, как прошло восстание и какую роль сыграли власовские дивизии. Я объяснил, что мы сами власовских дивизий не видали, а по радио говорили - и рассказал, что они спасли нас от двух дивизий СС, а затем не смогли договориться с военно-революционным комитетом и поэтому вышли из Праги в западном направлении. Тогда один из генералов спросил, в чем был камень раздора, я сказал, что нам не говорили, но мы полагаем, что они настроены антисталински, а военно-революционный комитет не имеет таких чувств. Генералы обменялись взглядами и сказали: "Понятно!" Фамилия одного из этих генералов звучала очень по-немецки, что страшно смущало чехов, но он был русским. Думаю, что это были особые отделы, уже приехавшие со штабом фронта, потому что, у них было очень много офицеров, они интересовались только политическими вопросами, а простые солдаты или офицеры, с которыми я разговаривал, не задавали вопросов о Власове и Праге, и, вероятно, разговор со мной был им полезен - давал независимую точку зрения. Они были очень милы и попросили показать им Прагу. У них были машины, несколько американских джипов, и мы поехали по Праге. Они были очень любезны с моей матерью, меня называли "товарищ руковод". На сгоревшей площади около русской церкви, когда я объяснял, набежало несколько сотен советских солдат, военных, которые услышав, что я объясняю, чуть меня не затуркали, все говорили: "Товарищ руковод, товарищ руковод!" Мне понравился такой, я бы сказал, интеллектуальный интерес, они хотели знать историю, эмоции, которые сопровождали восстание и т.п. Потом мы поехали на Градчаны и пошли на святого Вита - высокую колокольню с длинной и крутой лестницей, так что мы растянулись цепочкой. В какой-то момент один из генералов - мы с ним оказались только вдвоем, фамилию его лучше не называть, если бы даже я и помнил - вдруг рассказал, какое сильное впечатление производит на него начало фильма Эйзенштейна "Иван

Грозный" - коронование молодого Грозного. Он сказал: "Я сам из простых, начинал жизнь пастухом в деревне и сохранил хорошие впечатления о церкви. Каждый раз, как идет этот фильм, я стараюсь увидеть начало - уж больно мне нравится, как там "многая лета" поют. И вспоминаю, как у нас в городе в соборе был такой дьякон - как рявкнет "многая лета", так все подвески на люстрах начинают трепетать в унисон". Другой генерал, с немецкой фамилией, обратил на себя мое внимание тем, что у него совсем еще не было орденов, много позже я сообразил, что многие такие специальные части во время войны находились внутри России и теперь были переброшены на фронт в самый последний момент, когда началась оккупация славянских государств. Я, конечно, показал им дом, где проходила партийная конференция 1912 г., что на них тоже произвело впечатление. Потом мы осмотрели цветные стекла в святом Вите, я много объяснял и даже показал последние, вставленные во времена Первой Республики за счет какого-то банка: изображения последних дарующих - банкиров в ультра-современных пиджаках с крахмальными воротничками. "Это продолжение иллюстрации, там вооруженные рыцари, короли, монахи, потом геральдические цеховые одежды граждан, а теперь перешли уже к капитализму". Они горячо меня благодарили, отвезли нас к дому и через несколько дней прислали нам замечательный дар.

У чехов всегда было чувство юмора. Когда в 1940-41 гг. на улицах часто играли мотив "Вир фарен геген Энгланд" - "Мы едем против Англии" - чехи хорошо это прокомментировали: "Но поездка несколько затянулась, не правда ли?". Но я не помню ни одного анекдота о восстании. Видимо, это было слишком грязное дело для юмора. После прихода советской армии начались аресты. Неизвестно кем сформированные части стали арестовывать чешских граждан, работавших с немцами. С другой стороны, советские органы безопасности, т.е. военная контрразведка, СМЕРШ, которая в Праге была представлена особенно густо, ибо сошлись три фронта, начали аресты главным образом по русским линиям. Как мне потом объяснили знатоки, эти спецчасти трех фронтов старались друг перед другом набрать как можно больше арестованных.

Общие настроения среди обывателей, русских и чешских, симпатии к советским солдатам стали падать, потому что обнаружилась, как ни странно, их большая заинтересованность в часах. Они старались их купить или отнять. Один из моих знакомых с женой ждали: вот, придут наши дорогие герои, освободят. И пришли. Они пригласили на завтрак первого попавшегося сержанта или старшину, дали ему водки и всякой всячины, он наелся, закурил, рассказывал о своих подвигах, а потом говорит: "А что это у тебя за часы на руке, ну-ка покажи!" Хозяин показал. "А там что за часы?" Там стоял какой-то будильник, у хозяйки на руке тоже были часы. Он говорит: "А если твои часы испортятся?" Хозяин наивно говорит: "У меня есть резервная пара". Тот сказал: "Ну, хорошо, спасибо, значит, эти часы я

возьму на память". Хозяин думал, что он шутит, но старшина не шутил. Тогда мой знакомый страшно расстроился: часы были хорошие, купленные за большие деньги. После этого он стал клясть их мародерами. Я ему еще сказал: "Не обобщайте, один оказался мародером, но советская армия в целом не грабит население, это же союзная страна". Целый ряд таких вещей снижал престиж армии. Кроме того, армия вела себя слишком вольно с чешками. На Т-34 часто возили девчонок. Многие квартиры были заняты военными, и во всех них стоял страшный гомон, визг, пили трофейный алкоголь и было много чешек. Это не нравилось чехам. Обычная история у любой армии.

Некоторые аресты были просто курьезными. Прибежала Вера Ивановна Савицкая, жена Петра Николаевича - его увезли. Он пробыл где-то 8 часов, потом вернулся и рассказал, как его допрашивали: дали какой-то список немецких профессоров местного университета - охарактеризуйте их. В некоторых случаях он писал: враг, но колеблющийся. Он говорил, что положение было трудное: что сказать о таком человеке? Вначале его не трогали за то, что он претерпел при немцах. Потом его арестовали второй раз и опять выпустили. Его забирали 4 раза, иногда на несколько дней, и в конце концов он очутился на Лубянке, а потом на много лет в мордовских лагерях. Эмигрантов то арестовывали, то отпускали, и они должны были чуть ли не сами себе писать обвинения. Перебрали всю эмиграцию и одним из первых арестовали Владимира Трефильевича Рафальского, бывшего консула еще императорского периода. Он был милейший человек, часто помогал Институту при переводе текстов на французский. Арестовывать его приехал полковник, и арестовали его за то, что он присутствовал на заседании КОНР, когда прибыл Власов, и сидел там за почетным столом. Трагедия его заключалась в том, что он собирался уехать на Запад еще задолго до восстания и даже был в вагонах, которые уходили на Запад. Но его деверь, Александр Дмитриевич Щербачев уговорил его выйти оттуда, говоря, что это безумие, что он не должен уезжать по линии немецкой эвакуации. Интересная история разыгралась, например, с Сергеем Ивановичем Варшавским, известным журналистом, по профессии присяжным поверенным. Он был еще в ОСВАГ'е (осведомительное агентство) у Деникина. Помню один эпизод нашего общения, он относится, как мне кажется, к 1935 г., когда устроили диспут на объединенном заседании Союза русских писателей и журналистов и Русского народного университета. Бем читал доклад об учреждении Союза советских писателей. Бем, один из специалистов по советскому периоду, интерпретировал создание Союза СП как некоторое облегчение положения писателей.

Предыдущие годы изобиловали литературными скандалами, ибо разные писательские организации пытались захватить руководство. Его полностью поддержал Варшавский, но я, выступив в прениях, высказал другую точку зрения, ибо считал, что это урежет писательскую свободу, потому что

теперь, если вы пойдете не в ногу с Союзом СП, вас будет громить уже не индивидуальная группа, а Вы окажетесь антигосударственным, антисоветским явлением. И, к сожалению, я оказался прав. Тогда это вызвало раздражение у Варшавского, но Бем сделал вид, что все в порядке, что он не против моих тезисов. Варшавский был отличный лектор, я несколько раз был на его докладах, он читал обычно или в Русском свободном университете, или в Русском юридическом обществе, всегда делал увлекательные доклады. Он был постоянным корреспондентом "Возрождения", довольно правого органа печати, издаваемого Гукасовым, последним русским капиталистом за границей. Варшавский был председателем нашего Союза русских журналистов и писателей, и до прихода немцев и при немцах он издал несколько антисоветских брошюр. Анализировал сталинскую конституцию и разные юридические проблемы. Ко всему этому он относился очень скептически. У нас были общие знакомые, кроме того, он часто бывал в "салоне сплетен и слухов", т.е. в парикмахерской Васильева. В свое время он там с хохотом, еще до всех событий, рассказывал о Бунине. Бунин приезжал к нам в 1937 г. Союз русских писателей и журналистов устроил чтения, он читал изумительно, лучше всех писателей. Следующим за ним в этом плане шел Набоков, все остальные писатели, которых я слышал, читали собственные произведения гораздо хуже. Было огромное стечение народу, он уже получил Нобелевскую премию и имел большой успех. Через 2-3 дня он уехал в Париж через Германию. И вдруг сенсационное известие в газетах, что Бунин арестован гестапо, подвергнут унизительному обыску и так оскорблен, что не объясняется по поводу этого, а только рычит.

Вся пресса набросилась на гестапо и на методы немецких властей. Я как раз пришел бриться и встретился с Сергеем Ивановичем. Говорю: "Нет ли каких-нибудь дополнительных сведений? Неужели они не понимали, с кем имеют дело?" Варшавский давится от смеха и говорит: "Я сейчас Вам все расскажу." И рассказал, что Бунин по дороге решил заехать к Галине Кузнецовой, с которой, как известно, у него были тогда очень близкие отношения. Она уже покинула дом Бунина в Канне и жила в районе Баденского озера в Германии. Бунин провел у нее, видимо, сутки. Потом приехал на границу. Но не учел, что он эмигрант и у него точная виза, где сказано, что он переезжает такую-то границу и должен выехать на другую станцию. Таможня и паспортный контроль обратили внимание, что он просрочил сутки: где он был? Его спрашивают, а он не понимает или не хочет говорить. Тогда его стали обыскивать и раздели донага, но, конечно, ничего не нашли. Потом его посадили в какую-то комнату, вроде как арестовали и послали запрос в Берлин. Там, очевидно, сообразили, что это нобелевский лауреат Бунин, и сказали, чтобы его выпустили. Но скандал был колоссальный, потому что его задержали больше, чем на 12 часов. Иностранная пресса клюнула на это и сделала из него великомученика

нацистского режима. Варшавский мне с хохотом об этом рассказывал. Варшавского как адвоката веселили такие извивы человеческой психологии.

Когда пришли советчики, за самим Варшавским приехал капитан и повез его на Бубенеч, где до этого было много всяких отделов СС. Политические полиции всех режимов любят селиться в те помещения, где были предыдущие политические полиции, как бы символизируя непрерывность политического сыска. Режимы меняются, а сыск остается. Варшавского привезли в элегантную виллу, ввели внутрь: “Садитесь за стол, Вам придется написать Вашу биографию”. Стопка бумаги, чернила. Потом капитан на него посмотрел и сказал: “Пожалуйста, снимите галстук и выньте шнурки”. Капитан все взял и унес, а Сергей Иванович сидел и писал. После он рассказывал, что решил создать правдоподобную биографию, фактов не скрывать, но акцентов не ставить. Так как он всю жизнь был юристом и занимался еще журналистикой, то у него получилась умеренная фигура умеренного эмигранта. Когда он писал уже часа три, ему принесли баснословный ужин, потом крепчайший сладкий чай. Еще через полчаса - видимо, в это время читалась биография, был уже поздний вечер - вдруг вошел капитан, принес ему шнурки и галстук и сказал: “Одевайтесь, я Вас сейчас выведу”. Провел его мимо часовых и сказал: “До свиданья”. Варшавский шел по хорошо знакомым ему улицам Бубенеча, и вблизи профессорского дома встретил знакомых эмигрантов. В районе как раз шли аресты. Он всех успокаивал, говорил: “Меня выпустили, я только что оттуда, написал свою биографию, они прочитали, сказали: Идите домой”. Они ищут тех, у кого были контакты с немцами.” Потом он пошел домой, и по некоторым сведениям он как будто дошел до дома, вошел в дом, и в этот момент приехала советская машина, и Сергей Иванович Варшавский исчез навсегда. Таких историй было очень много. Например, генерала Чернавина забрали, привезли к какому-то полковнику. Тот спросил его имя-отчество, фамилию, проверил паспорт, потом говорит: “Подождите”. Пришел младший офицер и повел Виктора Васильевича по ступенькам вниз, в угольный склад. Он просидел там 7 часов. Потом его опять привели к тому полковнику, и он стал его спрашивать о службе, все записывал, а потом стал его ругательски ругать. Лейтмотив был: Вы боевой генерал, получивший в свое время георгиевское оружие за храбрость, как Вы могли поддерживать каких-то белых бандитов, Деникина и компанию. Он противопоставлял Чернавину себя как истинного патриота. К счастью, Виктор Васильевич, который в моменты волнения почти лишался дара речи, ничего не мог сказать. Прокричав так часа два, он вдруг позвал младшего офицера. К удивлению Чернавина, его провели мимо часовых, вывели на улицу и сказали: “Идите домой!”. Он пришел в Институт. Было уже поздно, он был не в себе, мы дали ему чай и что-то укрепляющее, и он нам все рассказал. Тогда я видел его в последний раз. Его больше не арестовали, и умер он уже в советской Чехословакии. Некоторых генералов,

как, например, Шиллинга, когда-то начальствовавшего Одесской областью, председателя Союза Инвалидов в Праге, арестовывали несколько раз, он даже стал обижаться - его 4 раза приглашали и 4 раза выпускали, накормив ужином. Когда на пятый день никто за ним не приехал, он расстроился, он уже привык ужинать. Его арестовали позже, уже без ужина! И он исчез.

Очень печальна была судьба генерала Войцеховского. Он благополучно пересидел бурю восстания. Их район был рядом с главным полицейским управлением, и там были сильные столкновения. Через три дня после восстания, когда начались аресты уже не в порядке самосуда, а будто бы уже существующими органами Чехословацкой республики, его арестовали и временно отправили, как я потом слышал, - я больше никогда не видел его - в один из импровизированных лагерей в бараках, который устроили для заподозренных в сотрудничестве с немцами в Страшницах. По описанию тех, кто там был, в том числе и Войцеховского - он успел рассказать это потом своим близким - это был кошмар. Туда свозили чехов, обычно их страшно избивали по дороге, не давали есть, пить, стража была исключительно груба, заключенных били резиновыми палками. Он просидел там 3 дня, пока не появились будущие или бывшие чехословацкие чиновники, и когда он сказал, что он генерал Войцеховский, который командовал Вторым Пражским округом, они очень извинялись, что заставили его там страдать. Его отвезли на машине домой, он успел принять душ, переодеться и сел закусывать, в этот момент раздался звонок, и за ним приехали советские. Его увезли, и он исчез навсегда. Позднее мне передавали из вторых, третьих, четвертых рук, что он будто бы умер в одном из лагерей на Колыме и что он очень достойно вел себя там, своим поведением подавая пример силы воли, спокойствия, мужества и выдержки. Слухи подтверждали мое впечатление об этом человеке небольшого роста, с пронзительными умными глазами, который, видимо, был отличным военачальником и русским патриотом. Знакомство с ним я считал одним из самых интересных за всю мою жизнь в Праге.

Трагична была и судьба профессора А.Л.Бема. По существу, он даже не был профессором из-за разных интриг в Карловом университете. Он не преподавал в России, был, кажется, библиографом Академии Наук, поэтому ему долго не удавалось стать преподавателем в Праге, наконец, он стал лектором, преподавал русский язык. Затем он сделал, или скорее ему дали докторат, потому что он написал много исследований о Достоевском, чрезвычайно интересных, и был даже одним из авторов нового метода мелких наблюдений, как он его сформулировал. Но до профессуры его не допустили. А уж позднее, когда Чехословакия вошла в советскую орбиту, то об этом и речи не могло быть. Бем был известен и как руководитель Скита поэтов и как литературный критик. Писал он преимущественно, в польских русских газетах, где у него были связи. Он был противником методов парижского критика Адамовича - учение, которое тот проповедовал, Бем считал уничтожением работы над поэтическим образом в стихах. Высшей формой литературы провозглашался дневник, а Бем это отрицал. Он очень высоко ставил Ходасевича, и когда тот умер во время войны, Альфред Людвигович прочитал хороший, вдумчивый доклад его памяти в

Русском свободном университете. Бем был также деятелем “Крестьянской России” и работал там под псевдонимом Омельянов (фамилия его матери). Он, должно быть, считал невозможным употреблять фамилию Бем - он был лютеранином, потом перешел в Православие и стал Алексей Людвигович, но мы все называли его по-прежнему Альфред Людвигович. Он был довольно интересной фигурой, и я всегда с удовольствием с ним общался. У него было отличное собрание эмигрантики, в частности эмигрантских поэтов. Он собирал самые редкие издания: с Дальнего Востока, из Южной Америки, на полках у него стояли чрезвычайно редкие сборники стихов. Жизнь его была нелегкой: у него в детстве был детский паралич, поэтому он хромал, ходил, опираясь на палку.

Он был великий специалист по Достоевскому и чем-то смахивал на Федора Михайловича внешне. Он был женат, у него были две дочери, умных, но не очень приятных в общении, очень резких, пошли в мать. Альфреду Людвиговичу, по-моему, нелегко было справляться с женой, которая говорила всякие ужасные вещи прямо в лицо посетителям. Он много сделал для того, чтобы продолжить издания Скита, дружил со многими чешскими литераторами. Иозеф Гора по его инициативе даже пришел как-то в Скит. (Моя статья о поэзии Иозефа Гора была в 1935 опубликована в таллинском журнале “Новь” 8). Бем был великий гуманист и страшно морщился от всех насилий в СССР и в Германии. Он старался держаться тише воды и ниже травы при немцах, и вдруг, к нашему страшному удивлению, был арестован один из первых. Сначала даже не советчиками, а будто бы чешскими партизанами. Потом он попал в советские органы и быстро погиб по свидетельству Владимира Мондича, гимназиста из Русской гимназии в Праге. Мондич был из Прикарпатской Руси, и, когда туда пришла Красная Армия, его взяли переводчиком в органы, и он так и вступал с ними в Прагу. Насмотрелся всякого. Через некоторое время сбежал к американцам и написал воспоминания “СМЕРШ”, а рассказывал он еще больше, чем написал. Он утверждал, что Бем вскоре после ареста покончил с собой, выбросившись из окна одной из бывших гестаповских вилл. По официальной версии Бем погиб при автомобильной катастрофе. Мне рассказывали, что возможно, чехи арестовали Бема по ошибке, потому что одним из осведомителей гестапо был профессор Брант, тоже живший в профессорском доме. Он тоже прихрамывал и ходил, опираясь на трость. Тоже иностранная фамилия, на “Б”, как будто напоминающая немецкую. Видимо, произошла ошибка. Бранта, между прочим, незадолго до пражского восстания, вызвали в гестапо, там его вдруг свалил сердечный приступ, и он умер. Мне чуть ли не Ефремов говорил об этом. Может быть, чехи, поняв ошибку, перебросили его советчикам, и те задержали его уже по линии “Крестьянской России”. Он все равно бы погиб в условиях советского лагеря или тюрьмы, он был человек болезненный, всегда сидел на диете. Я оплакал Бема, когда сам уже сидел в тюрьме.

Он был замечательным руководителем Скита, был предан литературе и имел педагогический талант: не осаждать молодых авторов, но подталкивать их - а вдруг да разовьются? Оба мои рассказа - “Младшая сестра” и “Жена” вызвали его одобрение, он даже удивлялся - откуда у меня такие подробности? Его особенно увлекало в моих рассказах то, что я старался их построить, а не просто написать на одном дыхании, как часто пишут беллетристы. В нем было конструктивное начало, он любил построения, развитие прозы как определенной геометрической задачи. Это воодушевляло молодых авторов. Я навсегда соединил имя А.Л.Бема не столько с Достоевским - я во многом не схожусь с его построениями - для меня Бем больше связан с интерпретациями произведений молодых авторов. Его замечания о “Коннице” Эйснера, о “Поэме временных лет” Вячеслава Лебедева я запомнил на всю жизнь.

У Альфреда Людвиговича было, насколько я понимаю, неудовлетворенное литературное и научное самолюбие, он считал себя, и многие, пожалуй, были с этим согласны, гораздо интереснее многих других критиков или ученых. Между тем другие имели признание редакций, хорошие гонорары, громкие имена, а он все оставался с боку припека, его ценили знатоки, но мало знала широкая публика. Это частое явление у русских литераторов и ученых, работающих за границей, где узкая культурная среда и недостаточный резонанс. В отношениях с молодыми он был щедр, и ему обязаны поддержкой Эмилия Чегринцева и особенно Алла Головина, поэзию которых он высоко ценил. Злые языки у нас в Скиту разное говорили об этом, мне было все равно: если даже он увлекался этими поэтессами, решительно ничего плохого я в этом не видел. Наоборот, намек на лирику создавал приподнятую атмосферу, невредную в среде поэтов. Мы с Альфредом Людвиговичем нередко сталкивались по поводу советской литературы, и я серьезно ему возражал и защищал свою точку зрения. Мне говорили: “Вы очень часто оппонируете Бему”. Я отвечал: “Не потому, что он Бем, а потому что он, говоря о советской литературе, вдруг теряет ее масштаб - то напрочь ее отрицает, то наоборот, относится к ней слишком либерально”. Но у нас никогда не было враждебных столкновений, и мы уважали эрудицию и методы возражения друг друга. Я показывал Бему, что не собираюсь поступаться своими обоснованными суждениями, он это понимал и, я думаю, уважал.

К Николину дню, 22 мая 1945 г., выяснилось, что почти все выдающиеся представители эмиграции или сидят, или уже побывали в лапах советских органов. Но я еще в их решето не попал, так что при встрече со мной кто-то из отпущенных даже удивился: “Как? Вас еще не арестовывали? Нет? Странно!” Я все время ездил и наводил справки по поводу открытия разных учреждений Чехословацкой республики. Большую помощь оказал мне князь Карл Шварценберг, который свел меня со своим младшим братом, Франтишеком, причисленным к Министерству иностранных дел,

а позднее назначенным на дипломатический пост в Ватикан. Я был у него, он как раз недавно женился, у него была очаровательная жена, и мы уговорились, что 23 мая я приеду в МИД, где он к этому времени поговорит с разными советниками, как лучше оформить протекцию над Институтом. Я считал, что Институту лучше не попадать в введение Министерства внутренних дел или Министерства просвещения, потому что это не чешская организация, а международная. Лучше, если нас будет курировать Министерство иностранных дел. Он согласился и обещал мне всевозможную поддержку. Домой я приехал очень довольный и нашел маму с Наливкиным в страшном волнении. Оказывается, без меня появился чех подозрительной наружности с автоматчиком. Этот автоматчик, полуграмотный парень, стал спрашивать, где я. Меня не было, и мама спросила: "Зачем он Вам нужен?" - "Я должен отвести его к моему начальству". - "А где Ваше начальство?" - "Там, где ему нужно быть". Тогда моя мать вдруг подошла к нему и строго сказала: "А мандат у тебя есть?" Солдат страшно растерялся, он, видимо, даже не знал, что такое "мандат": "Нет, мандата нет". - "Нет?- сказала мама.- Смотри, как бы тебе не нагорело за самоуправство: ты знаешь, что это за учреждение?" Солдат совсем сконфузился и сказал: "Да я что ж, я... начальство, начальство..." - и смылся вместе с чехом. Но маме и Наливкину это все очень не понравилось, и когда я приехал, мама сказала, что не может оставаться в помещении и просит меня поехать с ней к доктору. Мы быстро ее собрали - взяли такой дежурный чемоданчик - и сразу поехали. Наливкин уехал домой и оставил объявление, что Институт закрыт до 23-го.

Поехали мы в Страшницы, к Лидии Андреевне. Я по дороге еще ей позвонил, и она нас уже ждала: "Приезжайте, будем праздновать Николу Чудотворца". Нонна, помню, легла в приемном покое, нас с мамой положили в гостиной, все было хорошо. Я немножко ухаживал за Нонной, хотя, конечно, понимал, что это глупейшее занятие в такой момент. Мы услышали просто невероятное количество печальных рассказов о том, как русскую колонию прочесывают органы. Целый ряд бывших членов НТС, других молодежных организаций, скаутов и витязей были задержаны и исчезли, исчезли все из Общевоинского союза. Таксисты, которые числились русскими нацистами -они записались не потому, что были нацистами, а потому что у них тогда не отнимали право на езду - тоже исчезли. Арестовали многих педагогов, арест на аресте. Вся колония сидела, притаившись: что будет дальше? Всюду как гребенка прошла. Перспективы были зловещи. Мы провели Николин день, поблагодарили, и 23-го к 9 часам утра я отвез маму в Институт, пришел Наливкин, и, кажется, Е.И.Мельников, Левицкие в тот момент уже уехали. Я отправился в Министерство иностранных дел, нашел Шварценберга, мы с ним еще раз поговорили - он уже вел предварительные переговоры и дал мне схему, как и что говорить, в случае если придут советские или чешские власти - тогда

нужно было адресоваться к нему. Он сказал, что товарищу министра удастся доложить только через 2-3 дня. Советники, с которыми он говорил, согласны с нами. Он даже написал такой меморандум по пунктам: почему Кондаковский Институт принят такими-то инстанциями и как бы заявление, составленное как будто тоже Кондаковским Институтом, почему мы просим о протекции. Я успокоился и отправился домой. Шел по Праге медленно, смотрел на нее. Я очень любил Прагу, все-таки 17 лет там прожил и вырос духовно, сколько там было передумано, перечувствовано, испытано хорошего и плохого. Я вспоминал, как раньше здесь ездил Масарик, потом, как немцы маршировали по Градчанам, тогда все было закрыто, теперь открыли, но уже нет Масарика. Бенеш, если и ездил верхом, то, наверное, в провинции, по большим праздникам. В районе Градчан все как будто было по-старому. Но дальше - следы пожаров, разрушений - это была печальная Прага, и, подойдя к дому, я совсем расстроился, современность звучала во всех окнах, лезла в глаза, и деться от нее было некуда.

Перед нашим домом на Гаштальской стояли 2 громадных грузовика со скамейками и навесом, на них были надписи: "По следам победы - слава героям Советской армии", "Шахтеры из Донбасса приветствуют славную армию". Было много народу, разминали ноги перед машинами. Рядом стояли легковые машины. Я прошел мимо машин, поднялся в Институт и увидел, что в канцелярии тоже полно народу. Наливкин, веселый, улыбающийся, говорит: "Приехала целая группа, хотят, чтобы Вы показали Прагу, вот это шахтеры из Донбасса "по следам победы", а тут офицеры привезли Вам подарки от генералов". Человек 10 офицеров во главе с полковником сидят с мамой и разговаривают, увидели меня: "А, товарищ руковод! Вот, генералы, которым Вы показали город, прислали Вам, во-первых, трофейный коньяк, две дюжины, а для матушки Вашей мешочек гречневой крупы, она сказала, что не ела гречневой каши уже несколько лет. Просили сказать Вам спасибо за показ Праги и за стихи о том, как в Берлине русские рубли чеканили". Я был очень тронут, действительно, я читал им "Конницу", на них особенное впечатление произвели стихи, посвященные Германии:

"Не в первый раз пылают храмы
Угрюмой, сумрачной земли,
Не в первый раз Берлин упрямый
Чеканит русские рубли.
На пустырях растет крапива
Из человеческих костей.
И варвары баварским пивом
Усталых поят лошадей"
(А.Эйснер, 1928).

Полковник сказал, что все это мне посылает военный совет фронта и они надеются, что я не откажусь показать Прагу и горнякам Донбасса. Я

сказал: "Конечно, как можно! Сейчас покажем все, но перед этим давайте попробуем этот самый трофейный коньяк". Откупорили бутылки, принесли стаканы, все еще больше оживились, офицеры пустились в воспоминания, в рассказы. Потом слышим: звонок. Наливкин пошел открыть, приходит и говорит: "Это Вас". Я вышел в коридор и вижу - молодой человек, лицо как будто знакомое, а рядом с ним старший лейтенант и сзади еще солдат с автоматом. Старший лейтенант спросил - такой-то? - Да. - Он говорит: "Я просил бы Вас пройти со мной, мое начальство хочет с Вами поговорить". Я говорю: "Как долго меня задержит Ваше начальство?" - "Минут 20-30". Я говорю: "Нельзя ли мне сначала выполнить другую нагрузку, а потом пойти к Вашему начальству?" - "Какая нагрузка?" Я говорю: "Только что от военного совета фронта прибыли офицеры и горняки из Донбасса, которые едут по следам победы, они просят, чтобы я показал горнякам Прагу". Старший лейтенант мне говорит: "Боюсь, что сначала Вам все-таки придется поговорить с моим начальством". Я говорю: "Я, право, не знаю" - и открыл дверь в канцелярию, где сидел полковник.

Он отбивал родной город матери, Торжок, от немцев, запомнил топографические особенности города, рассказывал маме, и она очень переживала, узнавая части Торжка. Я говорю: "Товарищ полковник, Вы говорите, чтобы я ехал с горняками, а вот здесь хотят, чтобы я шел в другое место". Полковник говорит: "А, что, кто? А ну, пусть идет сюда". Старший лейтенант вошел, и полковник ему говорит: "Старший лейтенант, кажется (тот был в защитном, и звездочки на погонах было плохо видно)? От совета фронта послана группа горняков, и вот мы просим товарища Андреева, который уже проявил себя как руковод, показывая Прагу нашим генералам, чтобы он показал ее нам и горнякам". В этот момент старший лейтенант шагнул вперед и сказал всего одно слово. Я никогда его не слышал и потому не понял его, потом уже я сообразил, что он сказал "СМЕРШ". Климат в комнате мгновенно изменился. Полковник осел, офицеры замолчали, и полковник, глядя на часы, сказал: "Может быть, мы сначала поедем пообедаем, а потом заедем за товарищем руководом",- и все они исчезли, исчезли навсегда, и, конечно, никто и никогда не появился больше с шахтерами Донбасса по следам победы. Я вышел в коридор, старший лейтенант за мной, молодой человек и автоматчик стояли около дверей. Он говорит: "Это недолго, мы даже пешком пройдем". Все, что он говорил, было ложью. Я хотел надеть макинтош, а он вдруг сказал - старший лейтенант Воронцов - как я потом узнал: "Я бы на Вашем месте надел более плотное пальто, на улице то дождь, то солнце, в макинтоше Вам будет холодно." Все-таки предупредил. Он, конечно, знал заранее, играя со мной, как кот с мышью, что я уже человек обреченный и домой не вернусь. Но я не вдумывался, решил, что может быть, он и прав, действительно, погода переменчивая, надел тяжелое драповое пальто, сослужило мне добрую службу в течение следующих лет - было мне и одеждой, и одеялом, и подстилкой, и подушкой. Затем мы вышли. Мама меня поцеловала, что-то

говорила старшему лейтенанту, тот ей мило козырял и успокаивал. Впереди шел я, за мной офицер, сзади этот молодой человек, затем автоматчик, шествие медленно спускалось по лестнице, встречные с удивлением смотрели на меня, ведь меня считали эмиссаром Москвы! А этого эмиссара уводили, как уводили многих других. Никто, конечно, не понимал, что вместе со мной уходила эпоха и даже Кондаковский Институт, в сущности, прекращал свою деятельность. Есть что-то постыдное в том, как вас ведут по людной улице, полной доброжелательных людей, как преступника. Вообще, когда пришла советская армия, мы испытали странную невозможность, как бы искренно мы этого ни хотели, включиться в круг эмоций русских людей, пришедших в рядах этой армии. Это оказывалось по многим причинам невозможным, хотя бы из-за того, что вы, как и многие другие, боялись такого унизительного шествия под арестом. К моему удивлению, никакой машины не было. Несколько раз накрапывал дождь, и Воронцов был прав, что рекомендовал мне пальто, иначе я бы сразу простудился. После довольно длинной прогулки мы вышли на набережную в районе Смихова. Воронцов вошел в дом, перед которым стояли двое часовых, пробыл там минут 20, потом вышел и сказал, что начальник уже уехал и нам надо идти в другое место, после чего мы вышли на большую улицу, по которой ехало много военных машин. Он остановил один из грузовиков, мы влезли, и нас повезли в район Баррандова. Там мы вышли, машина укатила, и мы оказались перед высоким казаком, старшиной в кубанке. У него была пара лошадей, тарантас, лошади были выпряжены, и ходил вокруг них с деловым видом. Воронцов сказал: "Побудьте с ним, а мы должны еще найти кое-кого в городе". И они ушли. С тем молодым человеком я обменялся несколькими фразами, покуда Воронцов ходил в дом на набережной. Я спросил, что все это значит. Он сказал: "Они хотят использовать Ваши знания протектората". Я спросил: "Что же они хотят знать?" - "Ну, это они Вам, наверное, скажут сами. Во всяком случае Вы будете загружены работой". Странная манера загружать работой: снять меня с показа Праги, тащить пешком через весь город, а перед этим говорят, что возьмут только на 20 минут. Я понял, что попался. Кубанец был довольно любезен и предложил: "Давайте поедим, у меня есть сало, яйца и хлеб, и водка есть. Не можете ли Вы пойти в этот дом и попросить, чтобы нам все прилично сделали. Я пошел туда и сказал чехам, что старшина хотел бы сделать себе яичницу, они согласились. Яичница была хороша - 8 яиц, с салом, хлеб был отличный, и мы с ним закусили. К моему удивлению, у меня был аппетит. Потом он сказал: "Вы как хотите, а я хочу вздремнуть",- и лег в тарантас, а лошади стояли рядом и дремали. Перед этим у нас был довольно забавный разговор о лошадях. Я сказал: "Неплохие лошадки! И тарантас знаменитый! С Кубани идете в конном строю?" - "Какое там! Это мы у венгерского феодала взяли, и лошадей, и тарантас!"

В сушности, я мог тогда удрать, документы были при мне, я более или менее знал Баррандов ту часть Праги, где были киностудии и хороший ресторан “Баррандов”, в котором я не раз в мирное время танцевал с дамами после отличных ужинов. Но я решил, что удирать не стоит. Во-первых, у меня не было транспорта и никаких гарантий, что где-нибудь тут меня не встретит Воронцов со своим автоматчиком. Во-вторых, я понимал, что даже если я и удеру, то меня сразу изловят, и тогда, вероятно, отношение ко мне будет еще хуже. Чехи, у которых мы закусывали, держались лояльно, но не очень дружелюбно. Видимо, они ждали, что старшина угостит их, но он ничем не угощал. У него было очень немного водки, он налил полрюмки мне, полрюмки себе и выпил, и еще глоток остался ему на вечер. Я нашел в бумажнике конверт, я всегда носил с собой пустой конверт с листком бумаги, на всякий случай, и написал маме письмо - что мы только что поели, съели яичницу, что я еще не видел никакого начальства, мы едем куда-то еще, чтобы она не беспокоилась, указал время и надписал ее адрес. Почтовой марки у меня не было, хотя они уже, вероятно, перестали выходить. Я дошел до угла, там был почтовый ящик, бросил письмо без марки в ящик и вернулся. К сожалению, заснуть не смог. Дело шло к вечеру, часам к 9 явились Воронцов, автоматчик и мальчишка и привели брюнетку, которая оказалась венгерской еврейкой, недавно освобожденной из немецкого концлагеря. Они хотели заполучить ее в переводчицы и приехали к ней на квартиру. Но она их не впустила, а позвонила в комендатуру, оттуда приехали и хотели арестовать Воронцова и автоматчика, был страшный скандал между двумя родами войск советской армии! Воронцову это очень понравилось, он сказал: “Молодец дивчина, как она оборонялась”. Но в конце концов они ей объяснили, что ничего плохого не сделают. Мы двинулись. Наших гнедых заложили в тарантас, на облучок сели мы со старшиной, на главное сиденье сели Воронцов с евреечкой, а лицом к ним, на маленькое сиденье - автоматчик и бледнолицый юноша.

Быстро промелькнули бесконечные пустыри и заборы, вокруг которых ходили вооруженные чехи или стояли советские часовые. Проехали мимо немцев - видно было за забором - оборванных, обросших, в штатском, собранных там после ареста. Затем выехали на шоссе, которое шло по берегу Влтавы к замку Збраслов, где был русский музей, директором которого состоял Николай Васильевич Зарецкий и в музейную комиссию которого входил между иными и я. Район этот был мне хорошо знаком. Уже были сумерки, и тополя на берегах при лунном свете были сказочно красивы. По берегам стояли лагерем сдавшиеся немецкие дивизии, все уже спали, кое-где маячили часовые, и время от времени, очевидно, для придания себе бодрости, пускали очереди из автомата. Я с интересом смотрел: сколько тысяч немецких солдат, и все сдались. Вот что значит отсутствие волевого начала при наличии еще огромной потенциальной

силы - армия уже не работала как боевая организация. Мы ехали все дальше, выехали из знакомых районов на дорогу на Сазаву, где в свое время было выселено чешское население чешское и поселились соединения СС. Советские спецвойска, т.е. СМЕРШ, заняли те же районы и те же поселки. Чем дальше мы ехали, тем больше я падал духом. Во-первых, наглядной стала ложь, которую, хотя любезно разводил старший лейтенант Воронцов: вместо его 20 минут для разговора с начальством прошло уже почти полдня! Лошади иногда тащились шагом иногда бежали мелкой рысью, тарантас венгерского феодала был все-таки переполнен: пять дюжих мужиков и женщина. Я видел, что дело нешуточное, уезжает Николай Ефремович надолго. Мы проезжали счастливо озаренные огоньками чешские деревни, богатые дома, все было мирно, как и в Праге, и чувство было такое: слава Богу, война кончилась, нет этого проклятого затемнения! Но для нас, арестованных, начиналось новое затемнение, полное затемнение нашей судьбы. Воронцов продолжал самодовольный монолог, ни к кому, собственно, не адресуясь, может быть, к соседке, которая молчала и, видимо, не горела желанием быть переводчицей в органах безопасности. Все остальные молчали всю дорогу, иногда только старшина реагировал, если Воронцов обращался к нему.

Волей-неволей я начал осмысливать, вернее, инстинктивно -это мое свойство - строить не то что систему, но схему: что же со мной произошло? И я думал, как-то осеняя себя флагами: мое детство под бело-сине-красным русским национальным флагом, счастливое, с родителями, с ощущением русского единства и повышенным значением общечеловеческого начала. Потом врываются красные флаги: гражданская война, завершающая крушение старого порядка, бессмысленный ряд смертей, бегство, исчезновение счастливого мира и жизнь на ветрах истории, которые уносят двоих из нашей семьи, Танечку и няню. Остаток семьи уходит под защиту сине-черно-белого флага независимой Эстонии, где мои родители уже не ведущая сила, они должны приспособиться. Но мне все-таки удается получить среднее образование, и, благодаря моим инстинктам и помощи друзей, я ухожу в широкий мир, опять осененный бело-красно-синим флагом, национальными цветами свободной Чехословакии. Здесь я достиг, казалось бы, высот, получил высшее образование, начал научную деятельность и почти сделал блестящую академическую карьеру. Но опять все обрывает красный флаг, на этот раз с белым фоном и черной свастикой германского национал-социализма. Он разбивает на наших глазах все, чем гордилась независимая Чехословацкая республика, и несколько лет учит нас носить маску, лицемерить, т.е. тому, что не было свойственно прежней буржуазной культуре. И вот теперь этот странный гибрид средневековья, безумия, шовинизма и веры во всемогущество силы повергнут. Эта грубая сила побеждена другой грубой силой, над нами опять колышутся красные знамена. Еще более откровенно, чем нацисты, коммунисты начинают

просеивать население сквозь свое решето. В этот момент чехи еще не находятся под их контролем, но русская эмиграция уже всецело в лапах советских контролеров. Самое удивительное, когда мы ехали в Страшницы, я увидел обозы советской армии: бесконечные обозы по окраинам Праги. Больше всего меня смутило в них смешение начал: с одной стороны, огромной мощности грузовики, американские джипы, мотоциклетки у тех команд, которые ведут эти обозы, а с другой стороны, сами обозы - огромное количество разношерстных повозок, лошадей и - что меня больше всего поразило - верблюды, арбы, скрипящие так, как они скрипели во времена нашествий Батыя, и на них солдаты в советской форме, поющие унылые восточные песни. Я попробовал с ними заговорить, но они по-русски ничего не знали. Это были таджики, киргизы, представители других среднеазиатских советских республик. В каком-то смысле в Чехословакию действительно входила Евразия, которая, однако, не обнаруживала никакой духовности - она явно была из совсем другого духовного теста, чем привычная нам Европа. У Евразии оставалось нечто свое - русское начало. Русский язык, если на нем говорили представители советской армии, было интересно послушать. Хотя тут же, в спецчастях, стояла кромешная ругань, которая, впрочем, была чужда большинству членов советской армии, даже, кажется, запрещалась. Что оставалось? Оставалась вне формы, вне коммунистического одеяния, вне красных флагов некая эмоциональная сущность: русские. Когда я читал стихи о коннице, о том, как русские взяли Париж в 1815 году, все оживлялись, находился общий язык, это было в каком-то смысле символично. Когда я им показывал Прагу, я мог рассказать по-русски о динамике истории, и все оживлялись, у них как будто не было даже чувства коммунистического превосходства. Но видно было, что воздействовать на нас будут полицейскими методами. Потому что если они сотрудничать со мной по протекторату, зачем же было отрывать меня от основной работы, от Института, где мое присутствие завтра было просто необходимо, ибо ожидался ответ Чешского министерства иностранных дел о формах работы Кондаковского Института в Праге. Меня же увозили на Сазаву лошади, взятые у венгерского феодала, и его же феодальный тарантас. Вот, везут меня русские люди, а куда и с какой целью?

В СМЕРШе ФРОНТА МАЛИНОВСКОГО

В этот момент мы подъехали к очевидно еще эсэсовскому шлагбауму на дороге. Мы остановились, сейчас же сбоку вспыхнул прожектор, осветил нас, погас. Старшина закричал: “Свои, свои”. Из темноты ответили: “Точно. Езжай!” Шлагбаум поднялся и мы проехали. “Ну вот, мы и дома”,- весело сказал старшина. Понятие дома может быть очень относительным, сердце мое ушло в пятки. Луна неверным светом освещала дома, залитые электричеством, мы остановились перед довольно большим. Равномерно ходили два автоматчика. Нас выгрузили, и старшина уехал. А мы -

Воронцов, евреечка, автоматчик, я и бледнолицый молодой человек - вступили в большой зал. Воронцов сказал: "Подождите меня здесь",- и ушел. Минут через 10 появился и сказал евреечке: "Пожалуйста, идите за мной". Потом вернулся в сопровождении нового лица, старшины Романова, которому сказал: "Начальник приказал отвести их,- показав на меня,- к помначвзводу, понял? Они будут там ночевать, понял?" Романов сказал: "Есть!", вывел меня опять на крыльцо, мы спустились мимо часовых, и пошли вперед, сначала по более или менее освещенной дорожке, потом освещение исчезло, луна по-прежнему опрометью неслась по небу, и я почувствовал, что перед нами пространство, где стоят кони, потому что слышалось ржанье, топот лошадиных ног труд лошадиных челюстей, пережевывавших что-то. уже потом я сообразил, что это был СМЕРШ при кубанской казачьей дивизии.

Романов шел рядом и иногда говорил: "Осторожно, смотрите, не оступитесь, здесь спуск",- и даже раза два придержал меня за локоть, что было как-то неуместно. Это же СМЕРШ, а вас под локотки поддерживают! Старшина был с лицом скопца, а я всегда боялся скопцов, потому что читал, что они чрезвычайно жестоки и поэтому на Востоке их всегда использовали при пытках, они как бы мстят за минус в своей природе. Странное учреждение: после того, как Воронцов отвел эту венгерку, он сказал мне: "К сожалению, начальник уже лег спать, и беседа с Вами отложена до завтрашнего дня". Эти слова, как будто любезные, были в вопиющем конфликте со всем его обманным поведением. Где-то благоухает сирень, черемуха, в смутном непонимании того, что происходит, я дошел с Романовым до другого дома, тоже освещенного электричеством. Романов сказал: "Пожалуйста, подождите, я сейчас",- и исчез в доме. Оттуда доносилась гармоника. Это не было хорошее музыкальное исполнение - кто-то разучивал мотив, запинался, вдруг останавливался. И опять начинал ту же мелодию, запинался, останавливался, и так бесконечно. Похоже было, что гармонику терзают в одном и том же направлении. Романов появился и говорит: "Прошу Вас". Я поднялся по 4-5 ступенькам в дом, мы вошли в большую комнату, где стояли две кровати, шкаф, стол, несколько стульев, на одном из них сидел лейтенант с расстегнутым воротничком и, как я выражался тогда, насиловал гармонику. Я сделал два шага и остановился. Романов тоже стоял молча, оба мы смотрели на лейтенанта. Он молчал, потом, после очередной неудачи с пассажем на гармонике, посмотрел на меня и говорит: "Водку пьешь?" Я ответил: "Пью". - "А у меня нет". И продолжал играть. Потом, поиграв еще минуты две - я стою, Романов стоит - он говорит: "Романов, принеси, понимаешь?" И показал рукой как бы стакан, Романов кивнул. Тот продолжал играть, не обращая на меня внимания. Прошло 2-3 минуты, появился Романов с графином, наполненным красной жидкостью, и небольшим стаканом. Лейтенант отложил гармонику, налил в стакан красной жидкости, протянул мне и

сказал: "Пей". Я посмотрел на красную жидкость, на лейтенанта, на Романова и понял, что меня хотят одурманить, а потом, вероятно, будут пытать, и я вдруг очень энергично сказал: "Один пить не буду". Лейтенант посмотрел мне прямо в глаза, и я увидел, что он понял, почему я отказываюсь. Он усмехнулся, и сказал: "Романов, принеси еще какие-нибудь кружки". Романов принес чашку и еще стакан, надломанный сбоку, туда тоже налили ту жидкость, и мы все выпили. Он сказал: "За победу!". Я чуть не умер: это оказался спирт, настоенный на малиновом варенье. Потом лейтенант рассказал, что водка у них дефицит, ее давали во время военных действий, а как война кончилась, так и запретили, а пить хочется. "Но нам поперло,- говорит,- отбили немецкий обоз, а там медицинский спирт. Но спирт-то не будешь пить так -вот мы и сообразили: нашли малиновое варенье и на нем настояли!" Романов по распоряжению лейтенанта принес закуску - холодные котлеты, очень вкусные, нарезал хороший хлеб, и даже соленый огурец был положен на тарелку. Должен признаться, что такого финала первого дня в СМЕРШе я никак не ожидал. Я выпил с большим чувством и, конечно, охмелел, как и мои партнеры. Вскоре мы уже пели втроем песни, лейтенант все пытался подыграть нам на гармонике, но, увы, музыкального таланта у него не было. Мы пели, чуть ли не обнимаясь или придерживая друг друга, военные песни, и советские, и русские, и казачьи. К счастью, я тогда знал много песен, правда, всегда не до конца, но и мои со-певцы тоже не знали полного текста, по пьяному делу полный текст и не был нужен, требовалось несколько слов и, главное, кусок мелодии. Финала я не помню, а проснулся я утром на одной из этих кроватей, накрытый пальто, которое, дай Бог здоровья Воронцову, я взял по его инициативе, и в безумном похмелье, головой не двинуть. Но проснулся я не сам по себе, а потому что вошел кто-то и сказал: "Товарищ помначвзвода, товарищ лейтенант, проснитесь!"

Не знаю, как лейтенант, но я проснулся и увидел незнакомого старшину, тоже громадного роста, тоже казака, который сказал: "Согласно Вашему приказу, товарищ лейтенант, были посланы косцы, накосить фуражу для коней". - "Ясно! - сказал лейтенант хриплым голосом.- Помню". - "Так что докладываю, товарищ лейтенант, комендантский патруль их всех арестовал!" - "Этого я не приказывал", - сказал лейтенант гробовым голосом, но постепенно он, видимо, трезвел, и голос стал звонче. Старшина говорит: "Так что докладываю, они косили, как было положено, и накосили достаточно, а эти проклятые, чтоб им лопнуть, чехи, донесли комендантскому патрулю, что косят хорошую траву". - "А какую траву косили?" - "Ясно, какую, хорошую, что же коням, плохую траву есть? Какую видели, ту и косили!" - "Ну и что?" -"Ну и то! Приехал патруль и говорит: вы, тарарам- там-там, что же, нарушаете приказ командующего фронтом - нельзя косить траву без соглашения с местным комендантским управлением, а оно должно снестись с чешскими органами, а вы что

делаете, сволочи? Старший сержант, который был с ними, сказал: "По-вашему, лошади должны сдохнуть, пока вынесут решение?" А патруль сказал: "Не знаю, кто сдохнет, но ты у меня насидишься",- и их всех арестовали". - "Сколько было косцов?" - "Как Вы приказали - семеро". - "Я не приказывал им,- тут лейтенант сел, хмель в нем, видно, проходил,- чтобы они так косили, чтобы их арестовали, я приказывал, чтобы они косили впотайку, по-тайному!"

Тут у него, видимо, забило в висках, и он сказал: "Ладно, я пошел, приду, разберусь"- шагнул куда-то и вытащил тот же графин, опять полный, и говорит мне: "У тебя, наверное, в голове такой же туман, давай глотнем, освежимся". Мы глотнули, и, как по русской пословице, клин клином вышибают - вдруг безумная боль, которая сдавливала мне голову, исчезла, и я стал нормально думать и двигаться. Оказалось, что уже 7 часов утра, уже слышно, что происходит движение, всюду двигаются лошади, всюду ходят кубанские казаки. Романов сказал: "Я Вас поведу на завтрак к офицерам". И спрашивает: "Вы пойдете, помначвзвода?" Тот говорит: "Пошел бы, да вишь, чего наделали, идиоты, послал косить траву, так они под арест попали, теперь хлопот не оберешься, пойду сначала их отхлопатывать, а потом уж завтракать". И он исчез. Романов предложил мне умыться, принес полотенце, мыло, сливал мне воду, но у меня, конечно, не было с собой зубной пасты. Я ему говорю: "Жалко, не взял пасту и щетку, вредно для зубов не чистить их. Надо было взять с собой". Романов удивился, пошевелил бровями, но ничего не сказал. Мы пошли завтракать, он сам там не завтракал, там сидели офицеры. Это был двухэтажный дом, в нижнем этаже, в кухне, уже сидела чешка-хозяйка, которую оставили при доме и она там наводила порядок. А верхнее помещение было устроено под офицерскую квартиру, и там давали очень вкусный завтрак. Потом я познакомился с поваром. Повар был первостатейный жулик и замечательно интересная фигура, типично советская. Мы подружились, и он рассказал свою историю. До войны он был поваром в правительственном санатории в Крыму. Его мобилизовали, но быстро выделили. "Потому,- сказал он,- что все любят поесть, но мало кто умеет приготовить". Это был здоровенный, ражий мужчина, с отъевшийся красной мордой. Готовил он замечательно. Утром он дал горячий суп и оставшиеся битки с горошком. Затем он мне сделал прекрасный кофе: из трофейного. Офицеры то приходили, то уходили, знакомых я не видел, со мной они разговаривали очень любезно. Потом сказали: "Идите гулять, чего Вам сидеть дома, только не выходите за зону, где часовые, а внутри можете ходить. Там, в саду, видите - стол, привозят не Бог весть что за газеты, фронтовые, но все-таки интересно". Я пошел читать газеты, действительно, типичные пропагандистские тексты: Фриц слабеет, а мы сильнее - главный мотив, написаны, как всегда в таких случаях, подозрительно простым языком, на котором никто не говорит и не пишет. Дружба с поваром упрочилась после истории с

кастрюлей -он позвал меня и говорит: "Пожалуйста, поговорите с этой стервой!" - "С какой?" - "Да тут старушенция чешская, такая вредная, а мне нужна ее большая кастрюля, медная. Ах, какая кастрюля! Таких кастрюль я в нашем Союзе не видал!" По этим восклицаниям я понял, что у него больше, чем просто необходимость сварить что-то в этой кастрюле, он явно хотел получить ее в собственность. А старушка это чувствовала. Одним словом, я пошел туда. По его настоянию я стал переводить его слова: "Одолжите, хозяйка, вот эту кастрюлю, потому что я готовлю для господ офицеров, и мне хотелось бы приготовить что-нибудь особенное". Старушка была типичная чешка, т.е. страшная скопидомка и по психологии своей мелко-буржуазного типа. Вероятно, таковы хозяйки во всем мире, но в Чехословакии это особенно било в нос. Она потому и пришла туда даже раньше, чем ее вселили, и объяснила, что это ее дом, и советские власти впустили старуху. Теперь повар прыгал вокруг нее, а она сказала: "Пусть берет другую кастрюлю". Но ему нужна была именно та. И он разразился пламенной речью, которую я должен был переводить в смягченном виде. Смысл сводился к тому, что "видать сову по полету": вот проливать кровь за братьев славян, и чехов в том числе, и за эту старушенцию тоже, советская армия хороша, а вот когда они пришли, освободили, побили всех немцев и теперь хотят кастрюлю, чтобы сделать необычайное тушеное мясо, то, видите ли, ей жалко. А ведь здесь же было СС, и она никогда не увидела бы свои кастрюли, если бы мы не освободили эти дома, объясните ей это. Я объяснил не без удовольствия, и это подействовало, я даже удивился. Она сказала: "Ладно, пусть берет, но если он не отдаст ее через 2 дня, я дойду до самого генерала". Повар был доволен: "Хоть до самого Господа Бога!" - ясно было, что кастрюли старушке больше не видать! Дружба наша с ним укрепилась, после чего он распоясался и предложил: "Хочешь, махнем?" Я ничего не понял: "Что махнем?" - "Махнем часы". - "Какие часы?" - "Твои!" - "А что значит "махнем"?" - "Обменяем! Вот, смотри",- он закатал рукав, и оказалось, что у него по левой руке до локтя идут все часы и часы, 14 пар часов, и на другой руке то же самое. Он говорит: "Делается так - меняемся не глядя, это же интересно - может быть, ты получишь лучшие." Но я категорически отказался: часы были подарком от родителей. "Эх!- сказал повар, - спортивной жилки не вижу".

Один из офицеров, старший лейтенант из Одессы поразил меня глубоким знанием, в деталях, пребывания Пушкина на юге России, в частности в Одессе. Он цитировал разные строчки из Пушкина, где есть намеки на юг и на Одессу, и даже воодушевил меня - я никак не мог ожидать, что ординарный член карательных органов вдруг может иметь такой запас образованности. Он объяснил, что перед войной учился в Педагогическом, готовился в учителя, и у них придавали большое значение краеведению, и это было очень интересно. За обедом был сюрприз: вдруг появился Петр Николаевич Савицкий. Его тоже привезли. Это был его не

то третий, не то четвертый арест, из этого я заключил, что есть какая-то причина, по которой нас увезли так далеко за город. Петр Николаевич поразил меня бледностью, внутренней озабоченностью и совершенно фальшивыми речами. Меня это не то что удивило, но обеспокоило: значит, он находился в разладе мыслей и чувств. Фальшивость была, например, совершенно ни к селу, ни к городу и выражалась в том, что он ел, скажем, суп - мы обедали с офицерами - и вдруг Петр Николаевич говорит: "Лет 20 не ел подобного супа!" Явное преувеличение, и, главное, ненужное, этим он хвалил повара, а не социалистическую систему. Или он говорил: "Я посмотрел сегодня прифронтовую газету: какая острая мысль!" Как раз мысли там вообще не было, сплошные агитки, это понимали и сами офицеры.

Такие заявления показывали, что Савицкий страшно боится. Когда мы гуляли в саду, я спросил, как его дела, а он сказал: "Положение очень трудное, потому что они меня спрашивают о 1920-х годах, которые я уже не помню". Я понял, что его допрашивали о его нелегальных поездках в Советский Союз, когда он принимал участие в подмосковных, или еще где-то в Советском Союзе, конференциях якобы тамошних евразийцев. Согласно эмигрантским сведениям, это все была инсценировка так называемого "ТРЕСТА", работавшего по заданиям советской политической полиции, полностью ли по заданиям, это уже вопрос другой, и при чистках многие чекисты, осведомленные об этих делах, были ликвидированы. Явно, что первые арестовывавшие его ничего не знали об этих делах. Теперь эти инстанции получили указания из центра, потому его и арестовали в 4-й раз. Хотели проверить кого-то из своего аппарата или восстановить детали, которые из-за ликвидации чекистов, уже не могли полностью осознавать. Так я предположил, анализируя все, что говорил Савицкий. Понятно, чем он был встревожен и обеспокоен, ибо это, во-первых, могло затронуть других людей. Возможно, он не хотел помнить какие-то имена в Советском Союзе - я видел, что он даже не совсем понимает, о чем я его спрашиваю, так что я скоро бросил это занятие. Он сообщил, что здесь есть еще арестованные, в главном доме, где он уже имел свидание перед обедом, видимо, с начальником здешнего СМЕРШа, гвардии майором Петровым. В главном доме, по словам Савицкого, находилась КПЗ, камера предварительного заключения, которая очень серьезно охранялась и в которой было немало наших общих пражских знакомых. В таком же положении, как мы, был евразиец, почему-то ставший нацистом, по-видимому, под влиянием Меллер-Закомельского, который тоже был когда-то евразийцем, - доцент Иван Семенович, фамилию я забыл, русский историк. Он сделал магистрскую работу по русской истории при русской академической группе и собирался делать докторат. Человек громадного роста, большой учености и, по-моему, сумасшедший, мы его никогда не приглашали в Институт Кондакова, потому что Толль сказал, что это просто несчастье - он переполнен

знаниями, но лишен четкости мысли. Гуляя по саду, я его увидел - он сидел в одном из соседних домов, в чердачном помещении, за закрытым окном, и даже кивнул мне, но его охраняли. Савицкий меня поразил: ко всему прочему у него был еще один, поверхностный, но важный комплекс - что он ошибся, оценивая советскую патриотическую волну во время войны как показатель эволюции власти. И Савицкому как исследователю было крайне неприятно ощущать эту ошибку на собственной шкуре и видеть на моем примере и на примере многих других, что мы тоже невольные жертвы неверных представлений о сущности и развитии советской власти. Он рассказал, что майор Петров получил его стихи, но не его личный экземпляр - очевидно, забрали у арестованного. Савицкий начал писать стихи во время войны, когда невозможно было выразить прозой все, что хотелось. Это была своеобразная поэзия, продиктованная сильным чувством во время гигантской военной борьбы и, конечно, Петр Николаевич поддерживал успехи советского оружия, воспевая его явно или в потаенной форме. Стихи производили впечатление и как бы их продолжением стали "Стихи", которые он писал в заточении (под псевдонимом "П.Н.Востоков" опубликованы в Париже в 1960 г. с "Необходимыми замечаниями Н.Е.Андреева" <ред>).

Майор эти стихи видел и, не веря, что их написал сам Савицкий, а думая, что это просто форма самооправдания, подготовленная для подчеркивания своей роли оборонца, предложил Петру Николаевичу написать стихи о победе конных дивизий, которые отбили Одессу, видимо, родной город Петрова. Савицкий написал их, начало я помню:

Нет имени почетнее, чем конник,
Ведь конник создал Русь и защитил ее,...

Дальше шло о том, как славные потомки древних русских конников отбивают у тевтонов Одессу. Баллада произвела сильное впечатление на Петрова и убедила его, что автор других просоветских виршей - Савицкий. Погуляв со мной примерно три четверти часа, Петр Николаевич ушел, сказав, что от него требуют письменных изложений. И больше я там его не видел. Сам я все больше нервничал, даже болтовня моего друга-повара меня уже не веселила, и чай, который он мне дал с замечательным пирогом, тоже не пришелся ко двору - сердце у меня екало и падало вниз. Я все думал, что со мной будет. Иван Семенович исчез из своего окна, я решил, что он допрашивается, или его увезли, или перевели в КПЗ. День клонился к вечеру, пришел друг-повар и предложил поужинать. Я не хотел, но он сказал: "А ты не думай! Чего думать - думать, не думай, два рубля не деньги! Ты пойди попробуй, я пирог сделал к вечеру, я тебе горячего дам на кухне", - и дал. Пирог был замечательный, я его съел, несмотря на душевное расстройство, и хорошо, что съел. Наконец, около 7 часов за мной пришел Романов и сказал, что начальник хочет со мной разговаривать. Мы пошли к главному дому, но не вошли, перед домом ходили два автоматчика, и

Романов поручил меня одному из них, старшему сержанту с суровым лицом. Тот сказал: "Присядь". Я присел на пень, или полено, или бочку какую-то и ждал около двух часов, покуда начальство позвало меня внутрь. Полагаю, что было уже около 9 часов вечера, когда меня провели в уже знакомый зал, а оттуда в комнату направо. Я вошел и очутился в просторной канцелярии, за столом сидел майор, напротив был пустой стул, он посмотрел на меня и сказал: "Андреев, Николай Ефремович?" Я сказал: "Андреев, Николай Ефремович." - "Садитесь."

Майор был черняв, выбрит, тщательно одет, я обратил внимание, что у него не было знаков отличия - видимо, из тех спецвойск, которые двинули на фронт в последнюю минуту, когда уже шла оккупация славянских стран. Был он молод, лет 26-27. Он стал со мной разговаривать, все более повышая голос. Он давно уже хотел меня выудить и присмотреться, что я за фигура, и вот он наконец меня увидел. Есть враги открытые, которые борются с оружием в руках, с открытым забралом, и он, майор, готов таких врагов уважать. Но есть враги другие, скрытые, которые сидят в потемках, в углах. Это скорпионы, которые жалят других ядовитой слюной, заражают их, приводят в безумие, и те сражаются с советской державой. А мы, идеологи, сидим в кустах и науськиваем их на борьбу. Эта интерпретация меня поразила: ничего подобного я за собой не числил. Вообще его поведение было удивительно. Я пытался возражать, но чем больше я возражал, тем больше он кричал. Он сказал, что давно присматривался ко мне. Понес какую-то ерунду, что ему ясны все изгибы моей подлой души - договорился даже до того, что если бы я встретился с ним во время войны, то и разговора никакого не было бы, я был бы просто ликвидирован, как гад. Счастье мое в том, что война кончилась и советское правосудие разбирается в степенях подлости. Судя по всему, моя степень подлости была довольно высокой и меня ждала скверная перспектива. Из разговора выяснилось, что я одно время был связан с эсерами. "Вы эсеров знали?" - "Целый ряд знал". - "Вот видите! А Вы знаете, чего эсеры добивались?" - "Да, конечно",- и я рассказал об эсеровской программе. "Вот, Вы и программу знаете, Вы работали в эсеровских организациях, нечего отнекиваться". Я и не отнекивался, я сказал, что никогда не был эсером, никто мне этого не предлагал, я работал в эсеровском журнале "Воля России", потому что он печатал молодых критиков. Майор страшно рассердился и сказал: "Что ж, по-Вашему, редактор "Воли России" верил в Ваши прекрасные глаза? И был политически неподкован? И никогда не спросил: "Как веруете"? Нет уж, такой белибердой меня не кормите, Вы были связаны с эсерами, это несомненно. И с другими группировками Вы были связаны, и более всего с фашистами". Тут уж я совсем поразился. Он стал поносить фашизм и меня как идеолога фашизма. Когда я в ужасе прорвался в какой-то антракт и сказал: "Позвольте, когда же я что-нибудь прибавил к идеологии фашизма? Когда и что я на эту тему говорил?", он ответил: "Вот Вы мне

и расскажете, что Вы говорили и что Вы придали фашизму!"- и пошел крыть дальше. Оказалось, что из фашистов ему особенно неприятен НТС, который тесно работал с Гиммлером, прокрадывался на территорию Советского Союза и пытался отравить чистую советскую молодежь своими глупыми идеями. И я тут играл важнейшую роль, потому что снабжал их этими идеями. Я потерял самообладание и сказал, что это фантазии, которые не выдерживают критики. "Вы будете отрицать, что Вы их знали?" - "Конечно, знал! Это были люди моего поколения, я десятки часов провел в спорах, например, с Кириллом Вергуном, потому что не разделял их точек зрения". - "Да, но Вы у них бывали и когда Кирилла Вергуна не было". - "Кирилла, не было, но я бывал у них очень часто по личным причинам". - "Не заговаривайте мне зубы, Ваш роман с сестрой Вергуна был только ширмой, прикрытием Вашей идеологической связи с этой организацией".

Тут я страшно возмутился: "Послушайте, товарищ гвардии майор! Ни одно самое развращенное воображение не могло представить, что Вы и советские органы будут здесь, в Чехословакии, поэтому маскировать мои отношения с какими-либо организациями было незачем. Все интересовались политикой в открытую. Мне были интересны многие партии, и я получал приглашения от многих партий войти в них, но никуда не вошел". На эту тему мы долго препирались, и в конце концов он сказал: "Вы все отрицаете, как будто Вы пай-мальчик, который ничего плохого не сделал и его надо гладить по головке. Если Вы говорите, что Вы не монархист, не фашист, не нацист, не нацмальчик, то кто же Вы идеологически?" Тогда в полном отчаянии я сказал формулу, которая вдруг смягчила ситуацию: "Кто я? Я представитель либеральной интеллигенции, а с нее, как сказал Ленин, взятки гладки!" Ссылка на Ленина произвела необыкновенное впечатление на майора. Он вдруг как бы остановился с размаха и говорит: "Точно, точно! " И прекратил свои расспросы. Возможно, формула напомнила ему, что я мог знать Ленина гораздо лучше него по роду моей профессии, и на всякий случай он принял ее к употреблению. У него в мозгу появилась какая-то зацепка - авторитет Ленина обернулся в мою пользу. Тем не менее, он сказал: "Да, но либеральная интеллигенция в Вашем лице пошла на подлое служение нелиберальным идеям",- и опять принялся обвинять меня в идеологическом обслуживании нацизма и всех видов фашизма, к которым он причислял и НТС, хотя каждый раз выставлял его отдельно. Он кричал часа два с половиной, все это шло крещендо, и он договорился до того, что сам Геббельс мог бы позавидовать моему лицемерию, тому, как я стараюсь даже сейчас затемнить истинное положение вещей, а ведь только полное покаяние могло бы смягчить мою участь. При этом мы курили - он, как труба, одну за другой, и мне давал. Я курил впервые в жизни, потому что это был как бы единственный возможный для меня акт свободы: взять или не взять папиросу. Дым хотя бы на мгновение скрывал от меня его лицо,

он продолжал орать как бешеный. Он кричал: "Вы зловещая фигура, вы питалась подлостью и отравляли слабых, играли роль подколодной змеи". И тут я сказал: "Товарищ гвардии майор, я вижу, Вы считаете меня врагом народа, так для чего вообще этот разговор?" Майор вдруг откинулся на кресле, взглянул на меня и страшно усталым голосом сказал: "Врагом народа? С чего Вы взяли!" - встал и вышел. Было без десяти 12. Вместо него вошел старший сержант, открыл настежь окна, чтобы выпустить клубы дыма, которые заволакивали эту большую комнату, и хлынул дивный, майский воздух Чехии, полный запахов сирени и черемухи. Резкий контраст природы с этой дикой канцелярии, отравленной табаком и выкриками майора.

Старший сержант сейчас же спросил, не хочу ли я пить. Оказалось, там был графин с водой, он дал мне стакан. И пустился рассказывать о своей военной карьере, как он был контужен в Крыму, под Перекопом и как после этого он не мог служить на действительной службе, но годился в органы. Болтовня его была очень приятна, он рассказывал простые вещи, простым человеческим языком и, видно, радовался, что уцелел в тяжелой, страшной, кровавой войне - и вот, только контужен. Он был по-своему добр, я не чувствовал никакой злости ко мне, ему нравилось, что я с большим вниманием его слушал и даже кое-что спрашивал.

Майор отсутствовал почти час, я не знал тогда, что это был ужин. Весь уклад органов следовал расписанию дня Сталина: начинали работу поздно, после 10 утра, зато заседали примерно до 4 часов следующего утра, с перерывом после обеда на мертвый час, когда отдыхал Сталин. Ужин проходил между примерно без четверти 12 до 1.15, когда, по-видимому, Сталин ужинал. Это я узнал позже. Он вернулся и начал разговор в другом ключе. Перестал кричать, обвинять меня в чем-то, спросил у меня паспорт и другие документы, посмотрел, стал записывать их на лист, потом расспрашивал меня о моей деятельности в Праге: когда приехал, где учился, какие ученые степени получил, что делал в Институте, после этого начал спрашивать политическую биографию. Я сказал, что у меня политической биографии нет, он прервал меня: "Если не ошибаюсь, Вы доктор философии?" Я подтвердил. - "Как же Вы можете говорить, что у человека нет политической биографии? Это заявление уже политика! Я опять Вас спрашиваю: какая у Вас политическая биография?" С трудом я выяснил, что он хочет знать, как я приехал в Прагу, с кем встречался, какие политические организации знал, куда меня приглашали вступить, почему не вступил. Так мы провели время почти до 4-х часов уже без эксцессов. Он подчеркивал, что я был близок к эсерам и другим организациям, сказал: "Вот вам задание - завтра Вы напишете мне Вашу политическую биографию, а потом я Вас вызову". Тогда я спросил, что же будет с Кондаковским Институтом? Зачем меня взяли оттуда? Я объяснил, что Институт в очень трудном положении, и, если меня не будет, дело могут завалить. Он подумал

и сказал: “Судьба Кондаковского Института не входит в мои полномочия, я выясняю Ваш политический профиль, посмотрим, что Вы напишете, а потом уж сделаем выводы”. На этом мы расстались. Меня опять отвели к помначвзвода, я лег на ту же постель, но уже без алкоголя. Помначвзвода спал. Меня ввел караульный, посветил фонарем, пожелал спокойной ночи и ушел. А я, как ни странно, несмотря на страшное волнение, заснул, видимо, физически был страшно утомлен. На другой день я проснулся часов в 9. Пришел Романов, опять дал умыться и дежа принес зубную щетку, я его поблагодарил, но с опаской отнесся к этой щетке, не зная, какого она происхождения. Потом пошел к повару, и тот покормил меня, я опоздал к офицерскому завтраку, и вообще я заметил, что вдруг как бы выпал из офицерского общества - больше меня не звали к столу, хотя давали ту же еду в кухне, что меня даже больше устраивало. Затем я весь день писал свою политическую биографию.

Вечером меня не вызывали, спал я опять у помначвзвода, который мне очень нравился, он был занятой человек, отвечал за фураж лошадей, и это очень его беспокоило. Ему только через сутки удалось освободить косцов, сказав, что это недоразумение, они не поняли, что было сказано по телефону. Тут же он потребовал и получил разрешение на покос в другом месте. Но в тот вечер, когда я там сидел и думал, что меня уже сегодня не вызовут, объявили, что нужно чистить оружие - войне конец и будет сдача автоматов. Поэтому возле коновязей, где помещался рядовой состав СМЕРШа, вдруг началась страшная пальба. Лейтенант вышел на крыльцо и закричал громовым голосом: “Отставить стрельбу! Что, не настрелялись за 4 года?” У него был здравый смысл, и он не имел никакого отношения к садистской стороне СМЕРШа, а только материально обеспечивал эту единицу армии. С другой стороны, этот рассудительный русский человек, участвовал в такой истории: ему и еще одному старшине, видимо, тому, что косил сено, привели двух немок. К моему удивлению, был поставлен стол, потом принесли еду, они вчетвером поели и ушли. Часа через полтора-два вернулся лейтенант, завалился спать и спал до утра. Я - был, кажется, третий день моего пребывания там - обедал у повара и спросил: “Куда это они шатались?” - “Как куда, в баню с девками!” - “Какую баню?” - “Здесь у нас есть баня”.- “А девки откуда?” - “А девки пленные, немки. Они их покормили, я дал жратвы, потому что и немки хотят есть, а нашим перед тем, как возиться с ними, тоже надо наесться, ну, и потом они в баню ходили, веселились”. Меня это поразило. - “А куда они немок потом дели?” - “Обратно в тюрьму”. Так спокойно, будто ничего не случилось. Меня лично покоробила животность, элементарная грубость таких отношений: какой-то дом терпимости, где женщины объект чисто физиологической потребности этих солдат. Когда я ждал около главного дома два часа, я обратил внимание, что в этой части дома играет патефон, и пластинки были зарубежные и советские, и бегала женщина или

девушка, грудастая, в военной форме, но с яркой рубашкой под кителем. Я даже спросил старшину сурового вида, который оказался украинцем. (Позднее он поехал в Москву на парад Победы, его выбрали от этой части за то, что у него было очень много орденов, и все солдаты говорили ему: "Вот Сталина побачит, Сталина побачит!" Солдаты говорили на смеси русского и украинского, что свойственно было и кубанцам, и русским солдатам с юга России.) Я спросил: "А что это за дивчина там бегает?" - "А это жена начальника". Я немножко удивился, как это начальник с женой в одном отделе служат, сказал повару, и он мне объяснил: "Это жена походно-полевая, знаешь, как в армии: начальник облюбует девку, подкормит, подпоит, ну, она с ним поваляется некоторое время, потом ее в другую часть, а себе свеженькую возьмет". Я многое относил на счет цинизма повара, но, похоже, тут он был реалистом.

Написав первую записку, я передал ее, как велел майор, через Романова на второй день моего пребывания. На третий часов в 11 меня позвали к начальнику в знакомую мне уже канцелярию. Когда я вошел туда, он посмотрел на меня и сказал: "Что за дребедень Вы мне написали?"- и бросил все к моим ногам, страшно напомнив мне этим немецких полицейских, которые бросали мне мой паспорт и прошение о визе для мамы. Он сказал: "Что Вы пишете? На кой *** мне ваши мысли и чувства? Это меня нисколько не интересует!" Я говорю: "Товарищ гвардии майор, Вы же сказали, что Вас интересует моя политическая биография, я Вам сказал, что у меня ее нет, но Вы настаивали, что есть, я Вам и описал мое отношение к политике, из которого явствует, что я ничего не делал, руководствуясь своими политическими взглядами, и не входил ни в какие организации". Он сказал: "Это меня не интересует! Нечего писать такую чепуху!" - "Тогда объясните, что Вам надо написать?" В конце концов, выяснилось, что он хочет через меня узнать историю разных политических деятелей и политических организаций в Праге, с которыми я сталкивался; кого я знал и из какой политической организации, на какие собрания ходил, кто мне делал предложения вступить в организацию, почему я не вступил.

Такой каталог, как я сообразил, интересовал его не столько как описание моих действий, сколько как материал для создания представления о тех, кого я там упомяну, об их организациях. Задача была грандиозная, и я писал еще 2 дня, а затем подал ему опять через Романова. Потом он меня вызвал и ничего не сказал о моей биографии, но сказал следующую вещь: "В сущности, я не вижу у вас состава преступления, но на Вас много пятен". - "Какие же пятна, товарищ гвардии майор?" - "Уж больно у Вас подозрительные знакомства". Когда я изумился, он сказал: "Посмотрите,- он вытащил мою рукопись, брезгливо держа ее двумя пальцами,- кого Вы только не знали: графиня Панина, князь Долгоруков, Милюков, целое сонмище эсеров, Деникин, и т.д., и т.д. Собрание контрреволюционеров, злейших врагов Советского Союза! Вы не думаете, что знакомство с ними

- это пятна на Вашей биографии?" Я так не думал, но из осторожности промолчал. "Тем не менее, я сделаю вот что: мы с Вами сегодня или завтра поедем и посмотрим ваш Институт". Я был очень доволен. Мы поехали на следующий день. С нами ехал и Савицкий, которого я больше не видел - мы обедали в разное время - теперь он возвращался домой. Его отпустили вблизи его дома, он попрощался и исчез в темноте. Это было его четвертое освобождение. Сутки или двое спустя его забрали в пятый раз, уже навсегда, он был увезен в Россию, где прошел сложный путь концлагерей и лесозаготовок.

Ехали мы в довольно неприятном автомобильчике - полутонке, сверху кузов и скамеечки. На скамеечках сидели автоматчики, Савицкий и я, разговаривать не разрешалось. Майор сидел в кабинке с шофером. Ехать по Праге было интересно, кое-где уже восстановили мостовые, но было еще много пожарищ и всякой гадости, которая осталась после этого трижды ненужного восстания. Меня всю дорогу преследовал запах немецкого древесного бензина, на котором мы ехали, он жегся из дерева тут же, получалась одуряющая вонь. Мы остановились на Гаштальской улице. Вечер был темный. Майор взял меня и одного автоматчика, и мы пошли. Вошли в наш дом, прошли по лестнице наверх.

Перед Институтом Кондакова, к моему удивлению, стоял часовой, который при виде офицера и человека с винтовкой озадачился и сказал: "Пропуск, товарищ майор". - "Какой пропуск?" - "По распоряжению комендатуры пускаем в Институт только с разрешения товарища Андреевой". Майор удивленно взглянул на меня и сказал: "А где эта товарищ Андреева?" - "Она внутри". - "Ну иди и скажи, что мы приехали". Часовой вдруг заколебался, говорит: "Ну, ладно, входите". И мы вошли. Автоматчик остался с часовым, а мы прошли по коридору к моей комнате, я постучался, мамин голос сказал: "Войдите"! - и я вошел, за мной майор. Там была моя мать и одна из моих приятельниц, Ева, хорошо говорившая по-русски, бывшая моя ученица. Они с мамой пили чай или ужинали. Была сцена встречи матери с сыном. Она пригласила всех к столу, на что майор охотно согласился, достали бутылку трофейного коньяку, который привезли тогда от военного совета фронта, откупорили, налили майору, Еве, мама не пила, я тоже в тот момент не был расположен к алкоголю. Позвали даже автоматчика, а потом был разговор. Майор сказал, что с его точки зрения у меня нет состава преступления и он, осмотрев Институт, собирается завтра оформить меня на освобождение. Он не может оставить меня на ночь, но завтра я приеду. Он пошел смотреть другие залы, иконные галереи, библиотеку, все осмотрел, с интересом поглядел на портреты Сталина и Бенеша, но ничего не сказал, видимо, Институт ему, как и всем, казался солидным учреждением. Он сказал: "Я понимаю, что Вы все волновались о нем". Мама подтвердила, что мое исчезновение вызвало панику и люди не знают, что делать, ждут моего

возвращения. Майор держался хорошо, но я на всякий случай взял у мамы зубную пасту и щетку, свое полотенце, переменил рубашку и взял смену белья. Несмотря на сладкие речи майора, я уже привык ему не верить, и, кроме того, мне показалось странным, что он мог выпустить Савицкого сейчас и не мог выпустить меня. Ева спросила, когда мы придем завтра, потому что она хотела помочь маме сделать ужин. Майор подумал, подумал и сказал - ближе к вечеру, часов в 6-7. Мама меня спросила о впечатлениях, я сказал, что, в общем, хорошие бойцы, всем интересуются, ко мне подходили солдаты и сказали: "Товарищ Андреев, говорят, Вы доктор философии. Я вот много прошел с боями и хотел бы написать военный роман - как Вы думаете? Можно написать военный роман, если я раньше не писал?" Я ответил, что это вопрос таланта, раз, а во-вторых, того, насколько вы понимаете литературные приемы, потому что романы пишут с определенным пониманием техники - нельзя писать все. Я посоветовал ему написать воспоминания, это легче. Майор с интересом слушал о своих подчиненных. "Ага,- говорит,- мемуары собираются писать, ишь ты! А мне некогда писать мемуары".

В конце концов он откозырял, повторил, что, значит, завтра, часам к семи, и мы уехали. Спал я опять у того лейтенанта, и наутро, когда я пришел к повару, все уже знали от автоматчика, что ли, что меня сегодня выпускают и что я поеду в Прагу. Ко мне вдруг пришли старший сержант, который открывал у начальника окна, еще кто-то и говорят: "Товарищ Андреев, слушай: тебя выпустят, ты сегодня или завтра поедешь в Прагу, так у нас просьба - не мог бы ты там где-нибудь водки достать, 2-3 бутылки? Мы тебе денег сколько хочешь дадим, водки очень хочется!" Я сказал: "Если меня выпустят, то я вам найду 3 бутылки водки". И отправлю на ваше имя. Но для этого мне нужно освободиться". - "Это ясно. Мы надеемся, что ты не забудешь".- "Нет, не забуду, ежели меня завтра выпустят, но чем дольше меня здесь держат, тем меньше водки там остается, потому что там тоже пьют! На другой день в 11 часов нам говорят: "Надо ехать". Посадили меня в легковую машину, со мной сел Иван Семенович, майор впереди, сзади два автоматчика. Я вдруг смотрю, не на Прагу поворачивают, а куда-то в другое место. Ехали мы километров 40 или 50 и приехали в неизвестное мне место: большой господский дом, огромное имение, и двор переполнен военными машинами. Там стоял штаб СМЕРШ, кажется, армии или даже фронта. Идет обед, им речи говорят, и наш начальник туда пошел, а нам велел сидеть в машине. Нам принесли замечательный куриный суп, с мясом, после этого жаркое. Потом мы сидели, гуляли по двору и наблюдали советские нравы. Особенно своенравны были водители машин. Они такие номера откалывали, чтобы достать алкоголь или девушек! Комендант всего этого дела и начальник машин был майор, очень злой, который чуть что кричал на водителей: "24 часа! Изоляция!" Вызывал часовых, те брали человека и уводили. Так он на наших глазах человек 6 посадил. А

наш водитель интересовался новыми марками машин. Все ходил по рядам и удивлялся: "Вон сколько марок! И не сосчитать! И все разные, и один другого удобнее!" Потом он пустился обсуждать с другими водителями качество машин - какие лучше, немецкие, или французские, или итальянские. Я спрашиваю: "Откуда такое разнообразие? А, говорят, на Восточном фронте немцам помогали их союзнички, они побросали машины, а мы забрали, отремонтировали, и ходят! Эти машины их страшно прельщали. Я видел типичный восторг русских людей перед техникой. Когда-то отец говорил, что это очень опасный восторг - сейчас же все развинтят и посмотрят, а как это устроено. А собрать не смогут. Но водители, видно, поднаторели, они могли и разобрать машину, и собрать. Так что прогресс был налицо! Как всегда, водители были дружественные и деловые парни, они хорошо обращались с нами. Автоматчики - другое дело, те сидели очень строго и не давали нам с Иван Семеновичем разговаривать. Мне позволяли гулять, а Ивану Семеновичу очень мало, и если он хотел куда-то идти, его сопровождали. Я более или менее свободно гулял в пределах двора, но только двора, потому что в воротах тоже стояли часовые. Официальный обед, который начался примерно в 1.30, достиг кульминации в 3.30, крики "Ура! Великому Сталину ура!" значило, что пили тосты. После этого заиграла музыка, полковой оркестр, который гремел песню о Сталине и гимн Советского Союза. Я спросил: "Что же они делают потом?" - "После обеда им дают директивы". Директивы давали часов до 7 вечера, потом появился наш майор, подошел к машине и сказал: "Вас кормили?" - "Кормили". - "Претензий нет?" -"Нет." - "Тогда поехали". И мы поехали обратно. Он говорит: "Придется Вам вернуться в Прагу завтра, сегодня у меня нет транспорта, совещание было сверхплановым, я не знал о нем, когда был у Вас в Институте". На другой день утром я с удовольствием почистил зубы своей щеткой и душистой пастой. Часов около 9 пришел Романов и сказал: "Вам надо грузиться". Меня посадили в кабину грузовика, заместитель Петрова, довольно мрачный майор, о котором мне кто-то из солдат говорил: "Уж он так дает жизни, так дает, ежели не отвечают на допросах, жестокий человек", - сел со мной рядом. Внутри поместили Ивана Семеновича под стражей и других неизвестных людей, не русских, там был немец, венгр или чех, рядом с ними автоматчики, и разговаривать им не полагалось. Приехали мы в Прагу на Карлову Намести, к знаменитому и любимому мною ресторану "Черный Пивовар". Великолепный ресторан, где у меня большую часть войны даже был блат, мне там всегда давали еду без карточек, покуда "Черный Пивовар" не превратили в немецкий ресторан, куда нам вход был запрещен.

Мы остановились около большого дома, который при немцах был отелем или офицерским домом, было много комнат, во всех стояли койки, ночные столики. Все было прилично, цивилизованные уборные, водопровод, все действовало. Сначала увели Ивана Семеновича, потом этих нерусских

в другую сторону. Майор ушел. Выкрикнули меня, я вышел, и какой-то офицер, тоже майор, но совершенно мне незнакомый, говорит: "Идемте со мной". И пошел в дом. Я ему говорю: "Товарищ майор, мне сказали, что меня сейчас выпустят". -"Может быть, и выпустят, но мы должны кое-что оформить. Идем, идем". Мы вошли в дом, и я вижу, что попал из огня да в полымя. Майор меня надул на все 100%, потому что хотя он сам и не оформлял меня, но я оказался среди огромного количества арестованных, и это были главным образом русские эмигранты, многие - мои знакомые. Эти 4 или 5 этажей были полны эмигрантами. Я пытался поговорить с майором, но он сказал: "Потом, потом, сиди и молчи, потом разберемся, обожди минуточку, видишь что делается?" Я видел, что делается - меня обманывали по всем статьям.

По-видимому, я попал в центральное КПЗ, специально для эмигрантов, здесь были если не сотни, то многие десятки эмигрантов. Я увидел эсера Сергея Порфирьевича Постникова, кандидата в эсеровский ЦК, который когда-то предупреждал меня о скользких шагах Германа Хохлова. Сергей Порфирьевич, с его огромной седой гривой волос, с бородой, с усами, казался таким патриархальным, гораздо старше своего возраста, солдаты относились к нему хорошо, называли его "папашей", и он все время говорил: "А ну-ка, сынок! Принес бы ты мне чаю". - "Ну как, папаша, не принесть, принесу!" - и ему приносили чекистский чай, очень крепкий и сладкий. Постников был настроен мрачно и сказал, что не предвидит ничего хорошего для русских эмигрантов. "Что меня,- сказал он,- удивляет, это сходство теперешних полицейских ухваток с дореволюционными. Но тогда мы хоть знали, за что сидим и на какой срок, а теперь наша судьба нам вообще неизвестна". В пессимизме я нашел и князя Константина Александровича Чхеидзе, одного из деятельных евразийцев. Он горестно говорил: "Знаете, что со мной сделали? Ко мне приехали на дом, сказали: "Вы евразиец?" - Евразиец. - "Кажется, редактор евразийских изданий?" - Да. - "У Вас они есть?" - Есть. - "Мы хотели бы ознакомиться с ними". Он показал все эти издания. Они взяли Чхеидзе и все его издания с собой, привезли в соответствующий СМЕРШ и сказали: "Садитесь, пожалуйста, может, хотите чаю?" Дали ему чекистский чай и сказали: "Теперь возьмите карандаш и подчеркните в этих изданиях, Ваши передовые писали". - Вот они. Ага, вот Ваши личные статьи, с Вашей подписью - и все антисоветские фразы". И князь горестно сказал: "Я сам себе составил протокол, потому что когда вы читаете антисоветскую фразу без контекста, то получается невообразимый букет". Там же был профессор Маракуев, один из первых моих знакомых по Праге, когда-то директор Кооперативного и сельскохозяйственного института, благодаря ему я смог въехать в Чехословакию. Потом мы с ним общались, он даже как-то раз был у нас в Институте Кондакова, делал сообщение. Он скорбно улыбался и, посмотрев на меня, вдруг сказал: "А я Вас помню мальчиком, когда Вы пришли ко

мне в кабинет - мальчиком с ясными глазами. Это было 17 лет назад!" Теперь Маракуев тоже был мрачен и сказал, что не видит никаких шансов для эмиграции: даже если нас не пошлют на смертоубийственные работы, мы все равно скоро умрем от треволнений. Тут был целый ряд членов Союза инженеров. Я отметил для себя отсутствие в этом КПЗ самых выдающихся членов колонии и ведущих политических фигур, значит, их уже изъяли или держали отдельно, или с ними еще играли, как с Савицким.

Общее волнение и беспокойство заразило и меня, я вдруг потерял обычное хладнокровие, стал нервничать, что нехорошо в таких ситуациях. Я просто не мог найти себе места, пробежался по всем этажам, на самом верхнем стояли часовые, и нас туда не пускали. Кто там сидел, не знаю. Не впускали и в некоторые другие комнаты, хотя мы видели, кто там сидит. Впрочем, некоторые часовые относились к этому спустя рукава, та комната, куда попал я и где был С.П.Постников, содержалась либерально. Ему все время приносили чай, я не мог не улыбнуться - он пил уже шестой, седьмой чай и просил еще. И слава Богу, что ему давали. Нам дали ужин или, может, это обед был, поели супа. Была дивная погода, нежнейшая голубизна неба, безоблачность, словно небесный океан звал вас лечь в глубокую траву и смотреть только на вечность, отраженную на небосклоне. В этом доме было очень много больших окон, которые открывались в верхней части, а по нижним и средним рамам были крест-накрест набиты доски - выскочить в окно можно было, только оторвав доски, а это наделало бы шума. Но, увы, после 3 часов, в разгар теплыни, вдруг появился старшина с лестницей и с двумя солдатами, принес доски, огромные гвозди, молоток и даже топор. Он стал закрывать и забивать верхние рамы таким же образом, что и нижние. Мы пришли в ужас, но на все вопросы и негодующие замечания старшина, стоя на стремянке, строгим голосом отвечал: "Приказано забить, если жарко, не мое дело. Благодари Господа Бога, что здесь еще не успели навесить козырьки" (деревянное сооружение над окнами, которое отнимает свет и создает в советских тюрьмах вечный полумрак). Он был неумолим, и мы понимали, что это решение начальства, которое действовало по инструкции. Мне невмоготу было сознание, что моя мать обманута: она ждала вчера, ждет сегодня, и ни слова нет, и нельзя дать никакого знака, а отсюда всего 5-7 минут ходьбы до Института. Я стал разваливаться психологически. Наступил роковой момент - такое настроение очень опасно у сидящих, еще не приговоренных, но ожидающих приговора, это начало психологического распада. Это настроение выразил мой пражский приятель, очень талантливый поэт Вячеслав Лебедев, который в одном из стихотворений написал: "А мне судьба моя дороже чужих, трагических судеб" - вот этот мотив эгоизма вдруг начал стучать в виски. Наплевать, что здесь сидит столько людей, а вот мне бы выскочить наружу. Этот момент был неприятен, я как раз вспомнил эту строчку и вдруг начал думать о Лебедеве. Это меня отвлекло, его строчка предупредила, что не надо идти

этим путем, это значит впадать в бессильную панику, которая даже нужна советскому следствию. Я вспомнил Лебедева, его руку, искалеченную на гражданской войне, его скептицизм к тому, что называется почвенной основой России - опыт гражданской войны. Там он стал западником, более западно ориентированного человека я не встречал. В своей "Поэме временных лет" он писал:

Перед Европой - на колени!

Поэт слышит:

Загробный хохот Бонапарта:
- На ученические парты
Садитесь вновь, за буквари!.. (В.М.Лебедев, 1928)

Раз не сумели понять, что такое свобода, то свалились в новейшую несвободу, коммунистическую. Поэтому он очень ценил "Волю России" и Марка Львовича Слонима, одного из главных моторов этого издания, которого Лебедев называл самым конструктивным и интересным редактором зарубежья, потому что Слоним, в "Воле России" отражал новейшие европейские искания, но не коммунистические, а главным образом социалистические, которые хотели переустроить мир на основах справедливости, братства и свободы, без диктаторского насилия. Мы встретились с ним в последний раз после восстания, когда пришли в международный Красный Крест, потому что нам сказали, что международный Красный Крест берет под защиту людей с нансеновскими паспортами, как у Лебедева, и у меня. Тогда маленький Лебедев впал в ужас и сказал: "Посмотрите: что это?" - и показал на десятки подвод с ранеными, гражданскими немцами и чехами, пострадавшими во время восстания, явно не революционными чехами, потому что они стояли на солнцепеке и стонали, просили воды. Вокруг ходили чешские красногвардейцы, отгоняли публику и не давали им пить. Лебедев был вне себя, совершенно бледный, и сказал: "Знаете, я прошел белую и красную войну, но такого не видел!" Он пошел к международному директору, и вместо того, чтобы говорить о паспорте, о защите, он сказал: "Почему международный Красный Крест ничего не делает для того, чтобы помочь этим раненым?" Представитель Красного Креста, не то швед, не то датчанин был страшно изумлен, он, видимо, плохо понимал по-чешски. Лебедев перешел на немецкий и по-немецки тоже говорил яростно, так что в конце концов представитель замахал на него руками, побежал куда-то, а потом двое или трое служащих с красными повязками на руках вышли и сказали что-то красногвардейцам. Вспомнив Лебедева, я почувствовал облегчение, беспокойство отошло от сердца, я подумал, что надо взять себя в руки и прекратить бесноваться, как большинство людей, которые попали как кур в ощип и теперь не знают, как выйти оттуда живыми.

Ночевал я в той же комнате, где Сергей Порфирьевич, профессор Маракуев. Чхеидзе был в другой комнате. Он был как сумасшедший,

направо и налево рассказывал все ту же историю - как он составил себе обвинительный приговор, выписывая антисоветские фразы. Проснувшись на другой день очень рано, я постарался вымыться как можно лучше, там были даже души, так что я принял душ и тщательно побрился. Потом пошел вниз, там уже стояли люди, которые разливали нам утренний завтрак, именно "разливали", потому что это была жижа, которую они называли кофе. К нему давалась порция хлеба и на бумажке кусковой сахар. Я тут же выпил кофе с сахаром и съел хлеб, потому что не знал, что мне предстоит, лучше положить хлеб в живот, где он будет в полной сохранности.

После этого я отправился искать майора и нашел его. Он был такой немного четырехугольный в лице, с бараньими глазами, жидкими волосами, увидев меня, он все припомнил: "Ах, да! Помню, помню, я посмотрю твои бумаги",- заговорил он на "ты". Переспросил фамилию, ушел куда-то и потом сказал, что бумаги передал, они потом скажут, что будет. Появился шанс: а вдруг меня выпустят. Прошло часа три, уже начали раздавать обед, суп. Я есть не хотел, но съел тарелку супа, в котором плавало что-то вроде макарон. А потом вдруг подошел майор: "Ваша фамилия Андреев?" - "Да, Андреев". - "Идите вон в ту комнату". Я пошел в ту комнату, где сидели майор и капитан. Вошел, сказал, что меня послал майор, моя фамилия Андреев. "Николай Ефремович?" - "Да". Майор сказал: "Это к Вам, капитан". А мне сказал: "Идите с ним, он Вас оформит". Я все еще имел безумную мысль, что меня оформят на свободу. Я вышел за капитаном, к нам присоединился еще какой-то инженер и два автоматчика, и все это шествие пошло по Карловой площади к зданию суда. Я никогда там не был, но знал, что там помещается суд. Мы вошли, и сначала нас оставили в нижнем помещении, капитан куда-то ушел, потом позвал нас, и мы прошли наверх, в комнату, где стоял стол, за который он сел, и стулья, на которые сели мы. Сначала капитан взял документы инженера, заполнял анкету и все переспрашивал даты, подробности его образования и службы. Время от времени он смотрел в документы, которые были в папке перед ним. Инженер находился, как и большинство сидевших в КПЗ, в состоянии паралича сознания. Он не понимал, что говорит, и старался все время вставить, что всегда сочувствовал советской власти. Капитан даже оторвался от записей, и у них произошел диалог, который мне запомнился. Он говорит: "Значит, Вы сочувствовали советской власти, в какой же форме Вы сочувствовали?" Тот сказал: "Я, знаете, всегда ходил на советские фильмы". -"Где же Вы ходили на советские фильмы?" - "До прихода немцев, когда показывали советские фильмы в чешских кино, я всегда их посещал". "Ну и что же,- иронически сказал капитан,- нравились фильмы?" Бедный инженер говорит: "Да, очень! Я восхищался игрой русских актеров". Капитан опять сказал: "Не правда ли, талантливая публика?" Тот сказал: "Да, очень, я всегда считал русское искусство передовым".-

“Да,- сказал капитан,- это хорошо, что Вы считали русское искусство передовым”. Этот бессмысленный разговор с явной издевкой со стороны капитана продолжался минут 10, причем инженер договорился до того, что он во время войны проявил себя патриотом. “В чем же выразился ваш патриотизм?” - “Я сочувствовал победам советских войск”. - “А! - сказал тот,- вы поделились с кем-нибудь своими чувствами?” - “Ну,- сказал инженер,- разве можно было говорить вслух о таких вещах!” - “Так что вы,- сказал капитан,- держали кукиш в кармане?

” Я отнюдь не был настроен на юмор, но не мог не улыбнуться при этих невероятных высказываниях парализованного страхом инженера. Дальше был довольно интересный разговор: что в свое время этот инженер принадлежал к белой армии, а потом входил в Общевоинский союз. В начале войны с Советским Союзом в 1941 г. генерал фон Лампе, тогда председатель РОВСа, предложил Гитлеру помощь Общевоинского союза, но Гитлер ее отверг, сказав, что не нуждается в помощи не-немцев. Инженер сказал: “Видите, он не хотел принять нашу помощь, ведь мы были за победу советского оружия”. Тогда капитан спросил: “Ваша организация была просоветской?” - “Она была русской патриотической организацией”. - “Какие цели ставила организация?” - “Сохранение кадров русской национальной армии”. - “Для чего?” - “Чтобы всегда сохранялась основа русской армии...” Тут инженер замолк, а капитан сказал: “Вы хотите сказать, что после падения советской власти это были бы кадры русской армии, не так ли?” - “Я не совсем уверен, но, может быть, так думали наши вожди”. - “Ах, вожди, а Вы думали по-другому? И высказали иное мнение?” - “Я был человек маленький, где мне было выражать!” - “Мнение Вы не выражали, а членские взносы платили?” - “Платил”. - “И тем самым поддерживали мысли ваших вождей?” - “Но это была общая наша обязанность платить, потому что прежде мы были однополчане”. - “Но когда Гитлер отверг помощь Общевоинского союза и Вы стали сочувствовать победам советского оружия, вы перестали платить членские взносы?” - “Собственно говоря, мне это не приходило в голову”. -”Не приходило? Значит, Вы продолжали поддерживать организацию, которая в случае падения советской власти должна была создать кадры новой национальной русской армии, не так ли?” Бедный инженер не знал, что и сказать. “Не морочьте мне голову такими разговорами”,- сказал капитан.

Потом он позвал одного из автоматчиков, тот подошел, и они, к моему удивлению, пошли к стене. В стене оказалась маленькая дверь, он дал автоматчику заполненный лист, дверь открылась, и они вошли туда. Оказывается, из этой комнаты было прямое сообщение с тюрьмой. Затем он начал разговор со мной. Вытащил такой же чистый лист и начал заполнять анкету. У него лежали мои документы, еще какие-то бумажки, и он что-то оттуда списывал, что-то спрашивал у меня. Я сказал: “Товарищ

капитан, Вы меня оформляете: куда?" - "Это рассмотрит начальство, а пока я оформляю Вас на то, чтобы Вы были здесь, в соседнем помещении". Он деликатно не сказал слово "тюрьма", позвал автоматчика, встал, пошел к этой двери, я шел за ним, сзади автоматчик, он постучал, изнутри открыли, и мы оказались в тюремном коридоре. Он протянул бумагу и сказал: "Вот тебе еще один". Там стоял старший сержант. Капитан повернулся и вместе с автоматчиком ушел. Дверь захлопнулась, а я остался в коридоре тюрьмы. Старший сержант посмотрел на меня, опять проверил, кто я, год рождения, чем занимался, и сказал: "Ну что ж, молодой еще". Я молчал, я не был так уж молод, мне было 37 лет. Я настолько уже привык к шуточкам советского типа, что предпочел промолчать. Он посмотрел на лист, в какой-то список: "Куда же мне тебя поместить? Ну, ладно, разве что в 9-ю, идем". Самое интересное, что у меня был с собой маленький портфель с зубной пастой, сменой белья, и никто в него не заглядывал. Он открыл 9-ю камеру и сказал: "Входи и устраивайся на новоселье". Я вошел в камеру, и сердце мое окончательно упало. Во времена Чехословацкой республики здесь содержались уголовные преступники. Для птиц более высокого полета построили новую тюрьму. При немцах здесь содержали всяких, политических тоже. В этой старой структуре тюрьмы было нечто наивное, от XIX века: вы входили, сначала в предкамерье, перегородка с открытой дверью между входной дверью и настоящей камерой, здесь стояла параша, которая издавала соответствующее зловоние, отравляла воздух и одновременно вашу душу.

Шаг-два, и вы входили в настоящую камеру, довольно просторную, когда вас было там пятеро. Под окнами нечто вроде нар, и у каждого матрац. Матрацы все очень грязные, окно продолговатое, типично тюремное, вылезти в него было невозможно. Зато в это окно виднелась башня с часами, которая открывала въезд на Карлову площадь, и мы могли видеть часы и слышать куранты. Это была связь с живым миром, который был уже вне нашей досягаемости. До моего появления там было 4 человека, они сразу вскочили, когда я вошел, и мы познакомились. Я сильно усомнился в своем будущем, потому что сокамерники мои были люди явно обреченные.

Немец, которого органы считали сотрудником гестапо, хотя он это отрицал. Но кто его слушал. Украинец, бендеровец, из так называемой украинской повстанческой армии, которая действовала не то в Галиции, не то в Карпатах. Двое молодых русских, по 22-23 года, бывшие красноармейцы, которые попали в плен и из-за голода в лагерях пошли в рабочие батальоны - полувоинские отделения, работавшие на немецкую армию. Им сказали: "Иди, мы дадим тебе жрать",- они и пошли. Идеологической установки у них не было. Но это не играло роли для советских властей, и путевка в лагеря была им уготована, вопрос, на сколько лет. Все они производили жуткое впечатление - обросшие, небритые, измученные душевно, белье все грязное, кошмарные матрацы, от которых меня просто тошнило. Так что

я сел в полном душевном изнеможении, мне было так противно садиться - все казалось страшно грязным, и я сел прямо на пол и с ужасом подумал: что же со мной будет? Через минут 30 вдруг загремели засовы, и появился тот старший сержант, который сказал, что я еще молод. Он вошел в камеру, посмотрел на меня и сказал знаменательные слова, за которые я ему очень благодарен: "Что же ты, Андреев, мораль теряешь? Не ты в тюрьме первый, не ты последний, а выйдешь - забудешь!" Эта странная фраза подействовала на меня, как бальзам. Действительно, я ведь могу выйти из тюрьмы! Он добавил: "Пойдем, дам тебе чистый матрас". И мы с ним вышли из камеры, которую он заботливо закрыл, прошли по коридору к его столику, он открыл одну из дверей, там оказались чистые набитые соломой матрацы. Я положил его около стены, где сидел, теперь я мог там спать. Как мало человеку нужно! Я очень благодарен тому сержанту, который меня пристыдил: что ж я мораль теряю! Вот у моих сокамерников уже никаких надежд не осталось, а мне никакой статьи не предъявили, не осудили, а первый майор все говорил, что не видит состава преступления,- может быть, меня еще выпустят! Эта бредовая идея придала мне энергии. В этот момент принесли ужин: с мясом, с жареной картошкой и овощами, высококалорийная еда, очень вкусная, и к ней эрзац-кофе, правда, сахара у меня не было, я его еще утром съел, но кофе выпил с удовольствием. Вдруг жизнь показалась мне лучше, чем была на самом деле. Вскорости мы могли ложиться спать. В тюрьме были аркадские нравы: нас никто не трогал, никуда не вызывали, мы могли лечь спать, если хотели. Я лег на новый матрац и, как всегда в таких случаях, вдруг уснул. Уснул одетый и спал до утра. Прошло несколько дней, я даже точно не знаю, сколько, у меня они слились. Это было время ожидания, звонили часы, нас очень хорошо кормили три раза в день, давали прекрасные супы, даже утром давали суп, довольно много хлеба - утренняя пайка была свежая - хлеба солдатской выпечки, который мне нравился. Возможно, мы получали еду из котла, который работал и на охрану, еще не успели размежевать пайки арестантов и стражи.

Для арестованных выгоднее всего, когда питание идет из общего служебного котла, потом я не раз встречался с этим, и каждый раз это было в пользу нас, арестованных. Здесь могла играть роль и пропаганда - большая часть тюрьмы была занята чехами. Там происходило нечто невероятное,: избиения, дикие крики, муштра. Они должны были орать во все горло "гражданин начальник" и вставать смирно, когда их били. Совершенное гестапо, только навыворот. У них были почти голодные пайки. Нас со второго дня, как я туда попал, стали каждый второй день брить, приходил парикмахер, арестованный чех с другой половины. Я с ним говорил по-чешски, и он рассказал массу подробностей и Христом Богом умолял дать какую-нибудь еду. Я давал ему свой хлеб и всякую всячину - то, что он описывал, было жутко. Нас водили гулять минут на 10-

15 на часть двора, а другая часть, большая, была для чехов, с нами обычно ходил пожилой солдат-украинец, я его мысленно называл "дидом", так вот "дид" неодобрительно смотрел на все, что проделывали на чешской стороне: их водили голыми, заставляли делать в голом виде гимнастические упражнения - издевались. Он очень осуждал все это. Я как-то с ним разговорился, и он сказал: "Знаете, какая скотина человек, какая скотина к человеку человек!" Он не знал, что высказывает истину, известную еще с римских времен: "Человек человеку волк". Это вспоминалось в тюремных застенках бывшей Чехословацкой Республики.

Я внутренне нервничал, меня все ужасно тяготило, делать было нечего, и после льготного пребывания на Сазаве, тамошних попек, лукулловских закусок на кухне с поваром, здесь мне все казалось просто безобразием. Часы отбивали четверти и получасы, время шло, и однажды, дня через два, меня вдруг вызвали. В канцелярии сидел майор-грузин. Он был очень вежливый человек, посадил меня, угостил сигаретами, потом говорит: "Знаете, мне нужна Ваша помощь, я получил несколько чешских писем, Вы не могли бы мне их перевести и карандашиком написать рядом, что это значит". Я все написал, даже предложил ему: "Хотите, я отвечу по-чешски?" Он засмеялся, сказал: "Нет, это слишком, мое начальство не поймет, что я там отвечаю чехам, нет уж, мы им ответим по-русски, пусть страдают, переводят". Он был очень любезен, сразу сказал: "Хотите чаю?" -называл меня на "вы", дал чекистский чай с огромным количеством сахарного песку. Я с удовольствием выпил - в нашей еде явно не хватало сладкого. Он даже сочувственно ко мне отнесся, знал мои дела, расспрашивал меня, как я себя чувствовал здесь, в Европе. Я ему говорю: "Товарищ майор, я бы хотел выяснить, почему меня держат, меня же обещали выпустить". Он говорит: "Сказать сказали, и наверное выпустят, но вот когда? Надо потерпеть". Я сказал, что это сорвет все дела, не только мои, но и общественные, которыми я занимаюсь. Он ответил: "Я понимаю, но сделать ничего нельзя. Мы ведь в тюрьме Вас только держим, мы не разбираем Ваши дела". Это я понимал. Там был телефон, я и говорю: "Вот бы позвонить по телефону, сказать, что жив-здоров, нахожусь в Праге". - "Нет,- сказал он,- во-первых, нельзя, потому что Вы считаетесь арестованным, а во-вторых, телефон внутренний". Я сначала хотел попросить его послать письмо, потом подумал, что он рассердится, и спросил: "Что же Вы мне посоветуете?" - "Сидеть и ждать. Надо учиться мудрости у восточных людей: когда они не знают, что делать, они сидят и ждут". Я невольно подумал об отце, который тоже всегда говорил: "Если не знаешь, что делать, не делай ничего, жди". Единственное событие за это время, которое как-то меня взволновало, случилось при выносе параши: парашу должны были по очереди выносить двое, и когда мы с советским мальчиком несли парашу, то по ошибке дежурного выпустили людей из нескольких камер сразу, и среди выносивших я увидел Савицкого. Мы

воззрились друг на друга, но не показали, что знаем друг друга, лучше было не осведомлять тюремщиков, что тут сидят хорошие знакомые. Но я был поражен: значит, его опять забрали. Я увидел его через день после того, как попал сюда, мы с ним расстались 5 дней назад, и его уже успели посадить. По разговорам я понял, что другие параши тоже несли русские. Вероятно, на 5-й день, без четверти 12 - мы уже предвкушали вкусный обед - вдруг загремели замки, и вошел неизвестный старшина. Он спросил меня и говорит: “Идите с вещами”. Вещи у меня были - пальто и портфель, я был готов в одну минуту и вышел, я думал, меня опять зовут к грузину заниматься чешской перепиской. Но, выйдя в коридор, я увидел, что происходит что-то другое: коридор был полон людьми, главным образом моими знакомыми русскими. Вся русская Прага была вокруг: демократическое равенство - как ни прыгай, все равно окажешься в советской тюрьме. Оборонцы и пораженцы, сторонники Гитлера и его противники, все оказались вместе, все были стрижены и бриты НКВД.

Кто-то произнес громкое слово “этап”, я еще не знал его зловещего смысла для арестованного - это всегда большие испытания. Позднее П.Н.Савицкий писал мне, что на его глазах при слове “этап” человек умер от страха - от сердечного припадка. Но тогда мы этого еще не понимали, и слово “этап” для меня означало только, что нас куда-то увозят. Значит, уменьшается надежда на то, чем я жил все эти дни - что так как на меня не составили обвинительного протокола, то меня выпустят. Я не успел охватить сознанием, кто там был, все знакомые лица, большинство бородатые, но некоторые, как я, уже были побриты, почему я и подумал, что иду к грузину - меня уже успели утром побрить, а грузин всегда почему-то вызвал в дни бритья. Раздалась команда: “Слушай фамилии и двигайся, когда говорят!” Начали выкрикивать фамилии, сначала одну партию - мы видели, как их выводили и грузили в машину. Потом - вторую, в нее попал и я, мы тоже вышли, целой группой, вокруг стояли автоматчики, можно было подумать, что они ожидали восстания. В грузовик с брезентовым кузовом село человек 20 арестантов и 5 автоматчиков. Затем около нашего автомобиля оказался офицер, майор или капитан, одетый в походную форму, он сел рядом с водителем. Брезент задернули, чтобы нас не могли видеть с улицы и чтобы мы не видели улицу, и мы поехали. Судя по шуму, мы ехали по центру города, сначала медленно, потом стали набирать скорость. Люди быстро нашли, где можно смотреть сквозь брезент, и установили, куда мы едем. Через полчаса они сказали, что мы едем в направлении Судет, но мы не повернули на восток, к польским границам, а поехали как будто бы в Германию. Потом они доложили, что мы едем, по-видимому, на Дрезден. В грузовике оказался целый ряд знакомых по Праге. Пожалуй, лучше всех я знал Александра Дмитриевича Щербачева, о котором упоминал в связи с арестом Варшавского. Он хорошо ко мне относился и поддерживал Институт. Он даже числился среди его членов и одно время платил членские взносы. Было приятно увидеть его даже здесь. Потом я увидел Александра Николаевича Редченкова, в просторечии

Сашу, он был из местной гимназии, приятель Юры Грохолинского и, как я позднее узнал, один из яростных деятелей НТС в Словакии. Женат он был на очень миловидной Ляле Калах, о них сложили частушку: "Саша наш совсем монах, где же Лялечка Калах?" Мы обменялись улыбками и кивками, все-таки этот человек хотя бы знал, кто я, и я знал, кто он.

Здесь оказался и Борис Васильевич Седаков, один из главных деятелей "Крестьянской России" и фактический редактор их последнего органа "Знамя России", в котором и я напечатал статью "Культура в изгнании" ко Дню русской культуры в 1936 или 1937 г. Статья имела успех, была перепечатана потом русской газетой в Вильно. Седаков был один из деятелей грузинской национальной группы, требовавшей независимости Грузии. Сейчас он был наиболее панически настроен, все время плакался, что нас ожидает горькая участь, мы же в руках НКВД, и НКВД может нас высадить под этим кустом и всех убить. Кто-то сказал: они все могут сделать, но Вы не можете все это говорить вслух, кажется, он очень обиделся на это. По существу он был прав: власть этих людей была безмерна. Он был отделен от нас, не знаю, что с ним случилось потом. Были и незнакомые мне русские лица, был один немец, одна женщина. Инженеры, банкир. Банк назывался "Касса Чешско-русская взаемност", и одним из его директоров был Михаил Иванович Батраков, оборотистый финансист, с которым я познакомился в момент кризиса, когда мы переходили от протектората к немцам. В тот момент он появился в Кондаковском Институте и купил за баснословные деньги красочный экземпляр "Русской иконы". Он давал такие большие деньги, что я продал ему один экземпляр -это сильно пополняло нашу кассу. Он был очень доволен - я ему сначала объяснил, что все уже распродано. Он мне прямо сказал, что у денег у него много и он хочет поместить их в такие вещи, которые после кризиса будут цениться, как "Русская Икона" Кондакова. Теперь Батраков тоже оказался здесь. Он был в Добровольческой армии и был вычищен из Общевоинского союза за "большевизанство". Это ему особенно нравилось, он сказал: "Подумайте, как мне везет, из РОВСа выкинули, а все равно сажают! Когда я попытался им это сказать, мне ответили: "Это ваши эмигрантские склоки, нас они не интересуют". Здесь же оказался Пивоваров, позабыл его имя-отчество, хотя мы были в хороших отношениях. Он жил в том же доме, где мать Сирина (Набокова) и Новожиловы. Ему было лет 46, он имел магазинчик - мелочную торговлю "Пивоваров и компания", шутка такая, потому что он работал сам по себе, правда, помогала жена. Он бывший марковец, служил в марковских цветных войсках.

БАУЦЕН

Был на грузовике Николай Иванович Зеленый, которого я знал очень отдаленно, инженер, кажется очень талантливый инженер, прославившийся в Чехии. Он сам сказал мне, что он чешского происхождения, но совершенно обрусевший, и, когда приехал в Чехию, то испытывал большие затруднения,

как и все русские, овладевая чешской речью. Но наследственность все-таки сказалась: у него было хорошее произношение и благодаря этому он делал быструю административную карьеру. Он поддерживал отношения с русской эмиграцией, ходил на собрания и как бывший артиллерист Белой армии состоял в Общевоинском союзе: видимо, это и было причиной ареста. Был он интересный собеседник. Был там также Михаил Иванович Елагин, его отец преподавал французский, а сам он был милый шалопай, культурный, остроумный интересно болтающий. Его несчастье заключалось в том, что он записался в нацистскую организацию. Дело было в том, что его отец до второй мировой войны был тесно связан с французами, побаивались, что его вышлют из Праги или даже посадят за слишком уж большую преданность Франции. Сын его прикрыл, пошел в нацистскую организацию, в которой просто числился. В этот момент судьба русских нацистов казалась особенно мрачной: если у нас еще могли быть какие-то оправдания, то у них едва ли.

Центром внимания в грузовике был Борис Васильевич Седаков, которого я очень уважал и с которым у нас в свое время было много интересных бесед. Бывший московский присяжный поверенный, человек очень умный, начитанный, критически ясно мыслящий, он был одним из движителей "Крестьянской России". Для него было самоочевидно, что в политической жизни будущей России нужно равняться на крестьянство. Он отлично говорил, его анализы были всегда написаны остро, но не очень-то оправдывались: он сулил всякие катастрофы советскому правительству, но они если и происходили, то правительство все-таки выживало. Он очень скептически относился к политическому зарубежью, низко оценивал НТС, который он считал компромиссным "гибридом" останков разных идеологий: непредрешенчества, идеологии Общевоинского союза борьбы с большевизмом во что бы то ни стало - даже пафос эсеровщины - бросим бомбы куда угодно. Он считал, что это искусственное образование и оно развалится. Но жизнь решила иначе: именно НТС выжил вопреки логике, когда остальные русские политические организации исчезли. Я очень обрадовался, что он жив-здоров, и мы вполголоса побеседовали. Он сказал: "Я уверен, помяните мое слово, что Вы выйдете, не сразу, но выйдете. Запомните то, что я Вам сейчас расскажу, я-то не выйду, поэтому нужно кому-то рассказать, и Вы, возможно, последний человек, кому я могу рассказать, как это было. Помните, еще до начала восстания я твердо решил с советскими войсками не встречаться и стал подаваться на Запад. Ошибся я только в одном: надо было уйти раньше, чтобы американцы застали меня уже живущим на Западе".

Седаков ясно понимал, что восстание или зальют кровью немцы, или советская армия возьмет патронат над советской Прагой. Интермеццо с Власовым остановило немецкую расправу над Прагой, и Седаков дошел до зоны, которая уже была американской. "И здесь,- сказал он,- я сделал

ошибку: надо было отсидеться в чешском доме и идти ночью, а я решил действовать легально. Я устал, я думал, что у них будут переводчики". Он подошел к американцам, стоявшим на пороге и проверявшим документы, американский лейтенант посмотрел его документы, ничего не понял, очевидно, из-за нансеновского паспорта и спросил: "Наци ор демократ?" - и тот сказал: "Демократ". - "Ага", - и показал: иди налево. Седаков пошел налево, а там была советская застава. Советские увидели его: "Стой, куда идешь? Кто такой? Куда лезешь? Там же американцы! Ну, иди за нами". И его повели. Посмотрели документы, записали фамилию, и получилось, что он "пытался пройти без разрешения из советской зоны в американскую": состав преступления. И его посадили и как бы забыли: никто его не вызывал, он оброс, запаршивел, кормили их скверно. Потом на грузовике повезли в другой центр, похожий на тюрьму. Он попал в подвал, где вокруг ходили солдаты, очевидно, была СМЕРШевская организация. Им не интересовались, один раз его вызвал офицер, опять посмотрел документы: "Из Праги? - "Из Праги". - "Ну ладно, придется Вам подождать". Увели. Он просидел там чуть ли не 2 недели.

Вдруг его вызвали на допрос. Там сидел майор, который встал, когда он вошел: "Седаков Борис Васильевич?" - "Да." - "Ох, как я рад Вас видеть, здравствуйте!"- и пожал ему руку. Седаков ничего не понимал, а тот усадил его и говорит: "В каком вы виде! Как же так?"- позвал старшину, отдал распоряжения, Седакова через 10 минут постригли и побрили, посадили в горячую ванну, дали свежее белье. Примерно через час в совсем другом виде и в другом настроении его опять привели к майору, который сказал: "Ну вот, теперь у Вас вид куда лучше, Вы, наверное, голодны?" Тот говорит: "Да как Вам сказать..."- И ему принесли великолепный завтрак и "чекистский" чай. После завтрака майор предложил закурить. Седаков не курил, но тут на радостях захотел. Майор говорит: "Я в восторге, что вижу Вас. Знаете, кто я?" - "Нет." Он назвал фамилию: "Я, говорит, из Москвы, я тот офицер, который следил последние годы за "Крестьянской Россией". У меня все данные о Вас. Если Вы отдохнули, давайте поговорим". Говорили они три дня, и все эти три дня он жил, как он выразился, по-княжески: его кормили, холили, каждый день брили, и они с утра до вечера разговаривали с майором, который обнаружил действительно отменное знание "Крестьянской России". Некоторые факты биографии Седакова или деятельности "Крестьянской России" он помнил куда лучше, чем сам Седаков! Интересно, что прилетев в Прагу, он явился на квартиру Седакова и даже спал в его кабинете на диване, где последнее время спал сам Седаков, потому что жена и сын уехали в провинцию задолго до восстания. "Я,- сказал он, - спал там, чтобы представить себе Вашу психологию". Это был один из трюков советских Шерлок Холмсов. "Он смотрел книги,- Седаков усмехнулся,-но стоящие книги почти все были отвезены в провинцию, осталась дребедень. Я потом

ему это сказал, и он несколько разочаровался". У них заходил разговор и обо мне, поскольку у них была напечатана моя статья "Культура в изгнании". Майор был склонен считать моими все заметки, подписанные "Н.А." или "Н.А-в", но Седаков ему объяснил, что я никакого отношения к "Крестьянской России" не имел, а просто дебютировал в культурологическом номере журнала и что "Н.А." и "Н.А-в" - это Николай Антипов, действительно их сотрудник. Седаков опять сказал: "Они Вас выпустят". Он спросил, как у меня проходило следствие до сих пор, и когда узнал, что первый майор объявил, что у меня много пятен, но нет состава преступления, то с уверенностью сказал: "Это его мнение, иначе он бы составил протокол". Слова Бориса Васильевича были для меня бальзамом. Мы говорили вполголоса, чтобы не слышала охрана - Боже упаси! - или даже другие арестанты. Он надеялся, что мне удастся передать все его жене и сыну, которые были в районе американского расположения войск, под Плзенем. "Запомните все, неизвестно, увижу ли я кого-нибудь еще". Когда я вышел, гораздо позднее, чем он думал, то попал на Запад, потом в Англию. Я никогда ничего не слышал о его жене и не нашел никого из крестроссов. Был представитель крестроссов в Нью-Йорке, я написал ему в свое время письмо из Кембриджа, но не получил ответа. Кое-какие детали я повторил, заучил адрес его жены, но этот адрес оказался на территории Чехословакии. Я послал туда открытку, но реакции не было, они или переехали, или они тоже были интернированы.

Так как мы были уже на советской территории, то сразу начались уголовные преступления. Поразительным образом социалистический строй толкает на незаконные действия. Первым был увоз нас из тюрьмы без обеда, либо это был трюк - подвергнуть нас голодовке, либо, скорее, хозяйственная манипуляция: выписали продукты, которые остались в распоряжении тюремного начальства. А мы обнаружили, что в нашем грузовике лежит гора хлебных буханок, те, кто сидел ближе к ним, изловчились и украли 2 буханки, разделили и дали каждому. Мы с наслаждением съели этот теплый, вязкий, еще не отлежавшийся хлеб. Второе преступление - они достали и сахар, сделали вид, что мешочек разорвался, и раздали каждому по 3 куска сахара. Конечно, если бы это обнаружили, то, вероятно, был бы крик, но мы уже заметили, что в советском хозяйстве много беспорядка, и, очевидно, никто не стал бы все это пересчитывать.

Мы подъезжали к Дрездену. Наши охранники, как и все русские, люди эмоциональные и не интеллектуальны, выражали все, что видели, в восклицаниях: "Ишь, как разбомбило! Все развалины, развалины! Смотри, какое чудо: торчат два здоровых дома, один тюрьма, а там что? что там-то? Русская церковь! Тоже не разбита!" Потом в Берлине мне рассказывали, что это было воспринято как чудо: разбомбили весь город, а русская церковь и тюрьма уцелели. Почему? Какая ирония истории была в этом?

Налет был колоссальный, погибло множество людей, потому что в Дрезден съехалось огромное количество обозов с отступавшим гражданским населением, и вот англо-американская авиация показала себя во всем блеске - погибло чуть не 120 000 человек. О них и о налете на Дрезден потом на Западе не любили вспоминать.

Мы подъехали к тюрьме, грузовик остановился, сопровождавший нас офицер выскочил и спросил: "Борис Васильевич, как Вы себя чувствуете?" Тот бодрым голосом сказал: "Жив!" Появился комендант тюрьмы и автомачики. Выкликнули нескольких человек, один - немецкий разведчик, как сказал сидевший с ним рядом, другой - власовец, с содранными офицерскими погонами, тоже, кажется, работавший в разведке. Взяли еще того грузина и Седакова. Крупную рыбу отделили, а мы, мелкая рыбешка, вобла, остались. Нас тоже стали выводить группами по 6 человек, и я попал вместе с Шербачевым, Зеленым, Батраковым, Пивоваровым и еще кем-то. Мы попали в "Синг-Синг", какие я видел в американских фильмах, - весь из железа, металлические сетки, чтобы не бросались вниз, а когда кто-нибудь шел по лестницам или коридорам, все это железо гремело, и было эхо. Огромное, страшное сооружение. Нас привели на 3-й этаж, в камеру, где, к нашему удивлению, была действующая водяная уборная со спуском. Камера была для двоих максимум, но туда набили 10 человек, так что мы могли сидеть или полулежать. Я спал сидя, мне было все равно, я в этом отношении счастливый человек - могу спать даже стоя. Все мы были из Праги, в том числе Елагин, который держался бодрячком, рассказывал всякие глупости, теперь уже совершенно не актуальные: кто-то на него донес, его вызвали в гестапо, и Гайде ругал его за распространение радиоинформации. Но ему удалось оправдаться тем, что он никакого радио не слушал, просто ему кто-то что-то сказал, а он передал. Гайде сказал, что выпускает его как члена русской национал-социалистической организации, иначе ему пришлось бы худо, но предлагает на будущее воздержаться от распространения нелепостей. Там он вылез, а здесь попался, по той самой национал-социалистической линии. Есть нам ничего не дали. Так мы начали знакомство с советской системой заботы о гражданах. На другое утро нам принесли эрзац-кофе, по куску хлеба и по 3 кусочка сахара. Можно было мыться -в коридоре оказался шланг, и нас выпускали с автоматчиками по одному. К 12 часам нам сказали - "этап". Тут уж мы просто зарычали, второй день нас увозили от обеда. "А обед?" - "Какой обед?" - "Мы не получили обеда вчера и не получили сегодня, и все из-за этапа". И нам принесли бак псевдощей - какой-то брандахлыст, горячая масса, намек на овощи, даже картошки не было, но хоть что-то, и мы съели по миске этого супа. Из-за этого мы выехали с опозданием на час и еще благословляли судьбу, что попался покладистый капитан. Компании нашей не прибавилось, но и не убавилось, ехало человек 20, включая одну женщину. Повернули на Восток, на Польшу, и мы немного сдрейфили.

Советская стража не знала, куда мы едем, но у нас были знатоки германского ландшафта, и они сообразили, что, должно быть, едем в Бауцен - 50 километров от Дрездена. Я знал, что там в древности жили славяне, так называемые лужичане. Часа в 3 дня подъехали к Бауцену и очутились перед большими воротами с башнями вроде крепости или тюремного замка. Мы подъехали, остановились, офицер соскочил и ушел докладывать, нам не позволили выйти из машины, и мы просидели там еще полчаса. Зеленый, человек очень высокого роста, высунулся из-под брезента, поглядел, поспешно втянул голову обратно и шепотом сказал: "Господа, мы в тюремном городе".

Мы приехали в спецлагерь номер 4 оккупационных войск, так официально называлось это учреждение. Возможно, такое лицемерное наименование должно было ввести в заблуждение союзников, чтобы те не сообразили, что здесь был концлагерь. На деле это была грандиозная тюрьма на 7 000 человек, где в тот момент столько и сидело. Их арестовали, но дел не разбирали. Появилось шествие: впереди шел подполковник низенького роста с совершенно невыразительным лицом. Как мы потом узнали, это был Казаков, начальник спецлагеря, за ним шел майор, потом капитан и старший лейтенант, а впереди быстро, почти полубегом, возвращался капитан, который привез нас, он уже издалека закричал: "Ну давай, выходи, давай!" Автоматчики тоже заорали: "Давай, давай!" - распространенная команда, которая потом сопровождала все действия арестованных, как будто не было других глаголов в русском языке. Мы стали вылезать из машины, брали с собой сразу все вещи. Капитан диким голосом закричал: "Становись по четыре в ряд!" Мы встали в ряд, и оказалось, что нас как раз 20 человек. Он подошел к подполковнику, у того уже был лист, он посмотрел: "Ну, что ж, принимаю". Тогда полковник говорит майору: "А в какой блок?" - "В третий! Веди их!" В этот момент капитан, который вышел с ними, закричал дурным голосом, как описывал Толстой: "Стража, веди их." И загнул такую матерную брань, что всем жутко стало. Мы пошли по четверо в ряд к воротам, они открылись, там стояли старший сержант и несколько солдат, мы прошли мимо них, а они считали: "Четыре, четыре",- ворота за нами захлопнулись, и мы ахнули: перед нами был огромный плац, зеленый, с симметрично пробитыми дорожками, как раз на 4 человек. Дорожки с чисто немецкой пунктуальностью шли и по краю всего плаца и пересекали его под прямыми углами, подходили к 5 многоэтажным корпусам. Это были тюремные дома красного кирпича, как нам показалось, ужасно высокие, на самом деле 3 или 4 этажа, без стекол в тот момент, и все окна зарешечены. К этим окнам подошло изнутри множество людей, обросших, с костлявыми руками, которые молча с высоты смотрели на нас, в ужасе идущих по дорожкам вслед за старшиной. Многие говорили: "Боже мой! Куда мы попали!" В этот момент девушка вдруг ясно и твердо сказала: "Не надо

терять голову. Мужество". Это короткое обращение вдруг сильно на нас подействовало, мы взяли себя в руки. Эти огромные корпуса битком набиты людьми. Подавляющее большинство было немцев, тысячи, русских было человек 100-120, доминировала пражская группа. Мы повернули к блоку номер 3, двери предупредительно открылись, нас уже ждали, мы вошли, двери за нами захлопнулись, нас спросили: "Что, фрицы есть или только русские?" - "Только русские". Девушку повели в другое место, а нам, 19 мужчинам, сказали: "Делитесь по пять человек, если не хватит, потом дополним, по пятеро в каждый номер". Щербачев предложил идти вместе, то же сказали Зеленый, Пивоваров и Батраков, и мы оказались впятером.

Камера эта когда-то предназначалась для одного - была одна койка, стол, кресло - все привинченное к стене - и немецкие инструкции. Оказывается, в этом советском тюремном учреждении при Гитлере содержали Тельмана, вождя коммунистической партии Германии. Еще раньше, при Веймарской Республике, здесь было исправительное заведение для малолетних преступников, что явствовало из инструкций, которые еще висели на стенах и с немецкой пунктуальностью определяли, что в этой тюрьме могут быть молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет, они должны вставать тогда-то, так-то завтракать, гимнастика тогда-то, потом они идут или в школу, или в мастерские, все совершенно разграфлено, и каждый арестованный сидит один-одинешенек. Но теперь, при социалистическом процессе, нас в этой комнате было в 5 раз больше. Первая проблема - на чем спать? Старший сержант позвал нас и выдал два матраца и солому на эту ночь и сказал, что назавтра мы что-нибудь придумаем. Одним словом, социалистическая практика оказалась иной, чем немецкая. Впервые за все время заглянули в мой портфель. Обнаружили фонарь - мама положила электрический фонарь, который мне подарил Юра Грохолинский, их делали на фабрике, где он работал,- фонарь с разноцветными стеклами: свет был красный, зеленым, желтым и просто бесцветным. Солдаты и старший сержант забыли все на свете - схватили фонарь, потом сержант повернулся и говорит: "Ты не обижайся, мы его возьмем, тебе не положено его иметь, но я тебе за это дам табаку". И дал мне груду табачных листьев, кусок газеты "Правда" и спички и за счет моего фонаря облагодетельствовал сразу всех моих сокамерников: я-то не курил, а им такое счастье привалило. Я опять увидел основу советского существования: блат, с которым встречался уже несколько раз. Повар меня возлюбил за то, что я выговорил для него медную кастрюлю у старушки-хозяйки, а разная стража, сержанты и старшины, меня любили, потому что надеялись, что меня выпустят и я достану им водки. Здесь блат в первый же день показал себя. Вероятно, они не имели права отбирать фонарь, его нужно было внести в список моих вещей. Но они его взяли себе, а за это дали мне табак, и мы сразу стали как бы свои люди. Через двое суток все продолжилось: к нам в камеру пришел

младший сержант и вдруг увидел мой великолепный портфель желтой кожи, с моими инициалами, которым я очень гордился - подарок Ирины Вергун перед ее отъездом в Югославию. Младший сержант несколько раз заходил к нам в предыдущие дни, когда старшего сержанта не было, а он дежурил и был старшим в доме, вдруг он увидел портфель и говорит: "Я бы хотел этот портфель у тебя махнуть". Я ответил: "А на что ты хочешь махнуть?" - "Я тебе дам, что хочешь, вот у тебя, кажется, с бельем туго, я могу достать смену белья, пригодится, а то у тебя только одна смена. Потом я тебе дам ковригу хлеба за это,- посмотрел, унюхал, что курят, - и табаку дам". Я спросил: "А для чего тебе портфель? И как я останусь без портфеля?" - "Ну, портфелик я тебе подброшу, немецкий, только что не такой знатный, как этот". - "Ну а все же,- спросил я,- для чего тебе такой портфель? На какие конференции пойдешь?" - "Да какие конференции - уж больно кожа хороша, я себе шью полусапожки желтые, так это как раз на верх пойдет!" Я мысленно ахнул: Бог ты мой! Дивный портфель, который сделал бы честь министру иностранных дел Молотову или какому-нибудь прокурору Вышинскому! И вдруг - на верх туфель. Но я быстро сообразил, что дело мое проигрышное, ежели я откажу, то наживу врага, а так получалась выгода - что смена белья, которое мне действительно было нужно. "Ладно,- сказал я,- бери, только не забудь, что обещал дать". Младший сержант обрадовался, схватил портфель и убежал и действительно быстро принес смену белья и даже верхнюю рубашку, что я очень оценил, затем черный портфель, который у меня хранится до сих пор, ковригу хлеба и огромное количество листьев табаку, так что наша камера была обеспечена куревом надолго. Кроме того, с младшим сержантом, как и со старшим, установились блатные отношения. Например, он всегда приходил и говорил, что если кто хочет "до ветру", то он уборную откроет. Это был благородный жест. Более того, между камерами был большой зал, он открывал нашу камеру, так что можно было прогуляться, промять ноги. Но тут он предупреждал, что если начальство придет, то быстро в свою камеру, потому что это не положено. Все это было зыбко: сегодня вы в хороших отношениях, а завтра вас перекинут в другое место, и вам уже нечего дать, чтобы построить блат, вы уже голы, как соколы. Но мы вперед не заглядывали, жили сегодняшним днем - такое правило было в заключении. И такое: получили еду -ешьте сразу, неизвестно, что может случиться через полчаса или час. Порядки там были райские - у одного человека было с собой 2 книги, одна - Данилевский, роман из тюремной жизни - невероятная с нашей точки зрения история о том, как арестанты добывали продукты, продавали их тюремному начальству и получали за это барыши. Мы все читали и говорили: "Боже! какая чепуха!" Но вскоре мы перещеголяли Данилевского.

Сидеть было скучно, поднимали нас очень рано, потому что действовало московское время: по-московски это было 6, а у нас 3 часа - темная ночь,

звезды, а вы уже гуляете, зато закрывали нас в 6 часов вечера, в Москве это было уже 9, отбой. Очень быстро, на наших глазах, вдоль геометрических дорожек вырыли ямы и устроили общественные уборные. Туда возили негашеную известь чтобы была дезинфекция. Утром все выходили, гуляли, отправляли свои физиологические потребности и шли домой. Мыться было очень трудно: в камерах воды нет, с большим трудом давали кувшин на камеру, но это ерунда, по блатной линии нас пускали помыться в уборную. Это удавалось не всегда, потому что некоторые ночные дежурные нас не знали. Удивила нас процедура посещения госпиталя. Во главе госпиталя-лазарета стоял врач, капитан Михайлов, один из самых жутких типов, каких я встретил за время заключения. У него были фельдшера и целый аппарат из заключенных - немецкие дантисты, 2 немецких врача, сестры милосердия из заключенных, те, что покрасивее и потелеснее, видно, он ими занимался в частном порядке. В санитары попал и один разбитной советский молодой человек, щегольски одетый, в хороших сапогах, в хорошем костюме. Он говорил, что сидит, потому что он якобы сотрудничал с НТС и его схватили как члена НТС, хотя он им не был. Жулик он был первоклассный, провозгласил, что будет учиться сапожному мастерству, это беспроигрышная профессия во всех тюрьмах и лагерях, сапоги всем надо чинить, и страже, и заключенным. Но пока он бегал в санитарах и путался с сестрами из заключенных. Процедура отбора в госпиталь меня поразила: в один прекрасный день прошли по комнатам - кто хочет в госпиталь - выходи в зал. В зале была давка - столько народа хотело в госпиталь, выпустили и немцев, но советский фельдшер отобрал только 10 человек. “Это норма,- сказал он.- Из этого корпуса 10 человек и из другого 10 и т.д.”. Я ему говорю: “А если у нас 12 больных, что же, двоим подыхать?” - “Это,- сказал он,- их дело, а мне разрешили привести отсюда только 10 человек”. И он отобрал 10 человек - 9 немцев и один русский, у которого была одышка. А тут у меня заболел зуб - выпала пломба. Это вечная история: во время войны мне ставили эрзац-пломбы, которые потом дорого мне обошлись. Я хотел попасть на прием, и мне пришлось нажать на свой блат с сержантами, сержанты нажали на фельдшеров, и на следующий раз меня взяли к дантисту. Первоклассный немецкий дантист поставил мне другую пломбу, чуть ли не золотую, посмотрел и сказал, что в основном зубы здоровые, все запломбировано.

Вскоре начались интересные явления - к нам пришел старшина Боголепов, заведующий продовольственными складами. Он пришел и закричал сначала через окно: “Есть здесь инженеры?” - “Есть”,- отвечали ему из окон. “У меня запоролся холодильник, можете поправить?” - “Не знаем,- говорим,- что испортилось, надо посмотреть”. - “Ну, это я сейчас устрою”. И примерно через 3/4 часа получил разрешение взять троих инженеров на осмотр холодильника. От нас пошли Зеленый, Батраков и Пивоваров, хотя он не был инженером, но был как бы спецом - у него в

лавке было много холодильников. Холодильник они исправили. Боголепов сразу их там угостил и еще дал с собой всякой снеди, так что они пришли с оттопыренными карманами и вывалили разную еду, была даже колбаса. После этого Боголепов зауважал наших инженеров, и, видимо, не он один. Электрическая станция в тюрьме уже работала, ее наладил немецкий инженер-электрик Кнюпфер из Судет, отлично владевший чешским, один из первых привезенных сюда. За это он имел невероятные права: комнату на одного около электростанции, не ходил ни на какие переклички, выходил в сопровождении солдата, а иногда даже один в город за полтора или два километра от тюрьмы покупать провода. Но большинство окон было без стекол, а мы шли к осени, к холодам. И начальство вдруг решило создать рабочую команду и во главе ее поставить арестованных русских инженеров. Вызвали Щербачева, потому что он числился в бумагах инженером или директором, и сказали ему, что он как начальник рабочей команды должен подобрать себе штаб. В рабочую команду попали все инженеры, вся наша камера и я. Пришел лейтенант и говорит мне: "Послушай, ты, говорят, доктор философии?"- "Да".- "Умеешь писать крупно?" Я удивился: "Крупно?" - "Ну да, мы делаем рабочую команду, и ты будешь им писать всякие объявления, и главное - крупно!" Ну, крупно, так крупно. Эта наша рабочая команда вдруг выехала из тюрьмы в помещения смежные с мастерскими. Нам отвели великолепную комнату, даже две, одну -Щербачеву, другую - его штабу: 4 койки с матрацами, одеялами, просто разлюли-малина! Там и проточная вода, и действующие уборные, даже душ при мастерской. Просто курорт. Инженеры сразу должны были выявить мастеровых, потому что нужно было пустить 3 мастерских - литейную, столярную и электротехническую. Надо было выявить специалистов-немцев. Еще до того, как нас выделили на отдельную квартиру, во время общего гулянья знакомые немцы уже сказали, что тут много инженеров и механиков. Потом у нас была баня, и во время мытья и одеванья наши опять поговорили на эти темы с немцами.

Баня - страшное дело в условиях лагерей, потому что проводится самим диким образом. Полагается каждые 10 дней мыть арестованных. Мыться часто негде. Но здесь устроили большую баню, с горячей и холодной водой, и рядом камеру для дезинфекции. Все, кто входил в баню, снимали верхнюю одежду и бросали в эту вошебойку, а потом мылись. Это все было сложно, неприятно и глупо: огромное количество моющихся, нервные сержанты, которые вдруг выключают горячую воду, потом снова включают, бестолочь такая. Подозревали, что это была игра кошки с мышкой, но я думаю, просто глупость: они не совсем соображали, хватит ли им воды на всех арестованных. Вшей они, может быть, и убивали, не знаю, но костюмы нам здорово попортили - они сели, стали как деревянные.

Когда мы уже жили на отдельной квартире, первым делом надо было подготовить анкету. Я предложил даже термин для начальства, вполне

советский,- "Охват анкетой". Мы не говорили, охват кого - "Охват анкетой для выявления механиков". 2-3 анкеты давали в каждую камеру, а если кандидатов было больше, на анкете могли писать 2 имени. За самозванство наказывали, поэтому в списки попали только настоящие специалисты, человек 300, которых с лихвой хватило бы, чтоб пустить в ход мастерские и изготовлять разные вещи, например, рамы, вставлять стекла, нужно было провести электричество в дальние корпуса. Все это наладилось.

Нас выделили, и мы первые совершили кражи. Удивительно, как социалистический строй развращает людей. Нам выделили отдельные кровати, но паек-то не увеличили. Хлеб явно недодавали, приварок был скверный, эрзац-кофе, в супе плавали только травки для придания вкуса. Один из наших пражан прошел в главные повара - Дондик, из казаков, чуть не вахмистр казачьего полка. Он попался очень глупо: при немцах, чтобы продолжать быть таксистом, записался в нацсоцы. Никаким нацистом он не был, политикой не занимался, но его забрали по спискам без разговоров. Здесь он попал в кухню, был в ужасе от питания и старался его наладить, но это было очень трудно, ибо Боголепов был твердый мужик и держался за свои запасы. Тем не менее, так как Боголепову все время нужна была помощь инженеров, он стал "подкармливать" инженеров, чтобы они были свои люди. Он вызвал Щербачева и сказал: "Я Вас обеспечу, но Вы должны со мной сотрудничать". Он сильно увеличил паек, стали давать приварки к супам и к странным кашам без всякого жира, появилось мясо, печенка в микроскопических порциях. Плюс добавочный хлеб, и положение получалось получше. Как-то ко мне подошел Пивоваров: "Послушайте, Николай Ефремович, в таком костюме ходить невозможно, это курам на смех - у Вас четырехугольные штаны после пропарки от вшей. Вам нужен новый костюм". Я говорю: "Вы что, обалдели, где я возьму новый костюм?" - "Нет, я не обалдел, я хочу ваш костюм взять с собой, и плащ тоже возьму, и он отправился менять их в камеры к немцам". И обменял! Отдал мой костюм кому-то прогладить, так что он стал выглядеть вполне прилично. И получил взамен другой, его пропарили, и костюм получился как будто только что из мастерской. "Вот,- говорит,- извольте". У него самого был такой же синий костюм, в оправдание Пивоваров сказал: "Послушайте, у немцев могут вообще отнять хорошие костюмы, а так он получил ваш костюм средней руки из хорошего материала, да еще 2 буханки хлеба, которыми он будет подкармливаться неделю". Это была жизнь при социализме в тюрьме. Пивоваров вообще был человек оборотистый. Когда нас в первый день вывели на работу как рабочую команду - мы еще не переехали в отдельные комнаты - Пивоваров успел заметить внутри тюрьмы большое картофельное поле, которым никто не занимался, нарыл громадный котел картошки, принес и сварил ее, получил на кухне соль, и мы ели, обжигаясь, с наслаждением. Картошку нам не давали, это была драгоценность. Пивоваров рыл ее часто, я ему еще

говорил: “Вас в конце концов застукают, вас видно из комендантского окна”. “Ну,- говорит,- застукают, так застукают, зато успеем поесть”. Потом как-то под Новый Год, который, конечно, не праздновался Пивоваров и Батраков вдруг говорят: “Мы Вас приглашаем на ужин”. - “Какой ужин?”- “Да вот в комнате, где живут инженеры, после официального ужина, потому что под Новый Год начальство будет надираться и никто не будет ходить по камерам и следить”. - “А кто устраивает ужин?” - “Мы с Батраковым”. И вся наша рабочая команда пришла, других они не приглашали, нельзя было, другие сидели закрытые, а мы могли двигаться в пределах дома и даже в пределах лагеря - считалось, что это по делам рабочей команды.

Ужин был потрясающий - во-первых, нам дали алкоголь. Это была сивуха, самогон с сильным запахом, но пить можно было. Потом дали мясо, не очень большой, но все-таки кусок мяса, жареную картошку и сладкую кашу, чуть ли не кутью. Выпили две бутылки, опьянели. Я говорю: “Спасибо! А теперь кайтесь: откуда это?” Мы уже раньше заметили, что Пивоваров и Батраков находятся на особом положении -у них время от времени появлялись сигареты “Друг”, сигареты оккупационной армии, сделанные из хороших сортов табака. Во-вторых, у них был хлеб, и вообще они стали “богатыми мужиками”, у них появились хорошие костюмы, значит, шел обмен. В чем дело?

То, что они рассказали, меня, с одной стороны, восхитило, а с другой, испугало. Боголепов, когда они уже были с ним в дружбе, давал им хлеб, чтобы они поменяли костюмы, вдруг предложил: “Товарищи инженеры, понимаете, водка - это дефицит, а пить всем хочется. Не могли бы вы сделать самогонный аппарат, который мы поставим в подземелье электростанции, где лежит уголь, - туда никто не ходит. Только Кнюпфер, но он свой человек”. Там они гнали самогон, затем его забирал, уже разлив по бутылкам, Боголепов, и утром, когда он уезжал за молоком в подсобное хозяйство, он увозил эти бутылки, а возвращаясь после обеда, привозил якобы от немцев уже готовый самогон, который и продавал командному составу и разным офицерам. Офицеры считали, что раз алкоголь прибыл, это хорошо, а откуда он, не все ли равно, лучше даже этого не знать. Так они работали 3 месяца, и какой-то капитал Боголепову уже сделали, а он души в них не чаял. Сам Боголепов не пил и время от времени делал подарки старшине, который контролировал въезды и выезды. Подарил ему полбутылки, еще кому-то полбутылки, чтобы на всякий случай иметь блат и среди них. Я восхитился предприимчивостью наших инженеров и особенно Боголепова. Роман Данилевского казался просто бледной детской картинкой по сравнению с такой реальностью. Но я беспокоился: никому из нас не предъявили статьи, а их разоблачение грозило громким делом против целой группы русских эмигрантов. Особенно теперь, когда мы, благодаря ужину, стали соучастниками. Я боялся, что нам могут вчинить

множество статей: расхищение социалистического имущества, моральное разложение советских вооруженных сил, использование в свою пользу морального доверия, оказанного командованием, выделившим нас в рабочую единицу,- одно обвинение ложилось на другое. Я, конечно, ничего не сказал на ужине, но на следующий день, в Новый Год мы выспались, и я серьезно побеседовал с Николаем Ивановичем Зеленым, по-моему, самым выдержанным из них. Я набросал ему картину процесса, который может быть произойти из-за этих авантюрных самогонных операций. Кажется, он меня вполне понял. Дело в том, что часто советская и эмигрантская оценки событий не совпадали, и то, что с эмигрантской точки зрения казалось шуткой, советскими людьми воспринималось очень серьезно, и наоборот. В данном случае ему все казалось забавным, но когда я показал ему юридическую сторону дела с точки зрения предполагаемого советского обвинения, Зеленый затрепетал. Я сказал: "Я думаю, единственный выход - постепенно это затушить, сказать Боголепову, что аппарат испортился, а вы не можете найти составную часть, вообще аппарат разобрать, чтобы его не нашли в собранном виде. Тогда дело рассосется само собой, у них все время идет демобилизация, возможно, и Боголепов уедет на родину. Но главное - не допустить продолжения дела, в конце концов офицеры могут подумать, где же эта самогонная фабрика, которая чуть ли не каждые 2 дня дает громадную порцию крепчайшего самогона. Николай Иванович согласился, и, кажется, к февралю операция "самогон" завершилась.

Раза два мы были свидетелями раздачи немецким арестантам посылок от их родных. Обычно родные приходили к воротам. Откуда они узнавали, где их близкие, неизвестно, но обычно они приходили в правильное место и у них брали посылку. Посылки накапливались, наверное, были определенные сроки раздачи, и пару раз были эти дикие раздачи - далеко не все получали посылки. Получившие были на верху блаженства, а другие им завидовали. Русские сержанты читали немецкие фамилии самым невероятным образом, но как-то удавалось распределить эти посылки правильно. После второй такой раздачи мы были недовольны: почему же нам, русским, никто никаких посылок не присылает, почему наши родные не знают, где мы? Единственный человек, который мог видеть наши дела, адреса и знать, что мы не гидра контрреволюции, не сотрудничали с немцами, был капитан, начальник учетного отдела. Время от времени он появлялся у нас в канцелярии, любил поиграть в шахматы. Во время игры ему всегда можно было подсунуть просьбу. Мы подали идею капитану: если немцы получают посылки, то почему нельзя нам? По профессии он был нефтяник и рассказывал, что он не сам пошел в органы - его направили, когда началась война. Относился он цинично и к органам, и ко всем нам, хотя, похоже было, что он ничего не имел против нас. Его фамилия была не то Саратовец, не то Саратовский. Выдавливаются фамилии из памяти, вероятно, потому что все это было очень неприятно. (Вот Казакова помню

хорошо - его подпись потом была на справке. Он был отчаянная голова: любил от скуки гонять на машинах и испытывать судьбу, мчась на максимальной скорости на стену и останавливаясь в последнюю секунду. Иногда буквально в миллиметре от стены. От бешеной езды машины приходили в полное расстройство. Гараж, который обслуживали немцы, был в ужасе от его манеры. Говорили, что если он когда-нибудь въедет в стену, то их обвинят в плохом ремонте. Но остановить его было невозможно.)

Через некоторое время капитан официально объявил Щербачеву, чтобы все пражане немедленно написали письма и отдали ему. Завтра он едет в Чехословакию и отправит их по почте по ту сторону границы, ибо Германия оккупирована и как бы отрезана от остального мира. Я написал одно из самих лживых писем в жизни, понимая, что оно будет прочитано. Написал глупости о работе, о перековке, Бог знает что. Но добавил, что если они когда-нибудь приедут, то я очень хотел бы получить чеснок, это был намек на то, что у нас мало свежих овощей и нужны витамины. Капитан взял машину в гараже и исчез на 2-3 суток. Потом рассказал, что был в Чехословакии, обедал, ужинал, посмотрел страну, до Праги не доехал, но послал все письма с тамошней почты. Прошло несколько недель, и однажды - я сидел в канцелярии - кто-то прибежал и сказал: "Вам передача". Я побежал во весь дух, и действительно пришли несколько человек из Праги, в том числе жена Н.И.Зеленого, а ко мне - Олечка Дошкаржова. Она сказала, что мама получила письмо и возник вопрос, как быть. Мама была слишком стара, чтобы тащиться самой, кроме того, она была эмигрантка и могли быть сложности с паспортом. Тогда вызвалась Олечка, и официально было объявлено, что она моя невеста. Ехали в ужасных условиях больше суток. Мне было приятно ее видеть. Она привезла иконку от мамы, тексты псалмов, все это у меня сохранилось, белье, носки, теплые вещи, все очень полезное - уже надвигалась зима - еду, в том числе мои любимые биточки. Тут Казаков показал себя как сверхкретин: собственноручно разрезал все биточки на 4 части - что-то в них искал. Пока он резал, старшина, который меня знал, покрутил пальцем у него над головой, показывая, что тот совсем спятил. Приехавшие пробыли у нас часа 2, мы написали записочки, уже не спрашивая разрешения, а главное, рассказали, как и что. Я, конечно, говорил, что все в порядке - объяснить все было невозможно - тут все отстраивается, я работаю в канцелярии, питание удовлетворительное, и надо надеяться, что рано или поздно это кончится, так как никто из нас пока не осужден. Олечка сказала, что мама 2 дня простояла на балконе Института в ожидании сына, которого гвардии майор Петров обещал привезти к 7 часам. Я сказал, что неизвестно, он ли виноват в этом, он как будто собирался это сделать, но могли возникнуть новые факторы. Олечка сказала, что в Праге беспорядок, никто ничего не делает, взяты все более или менее яркие люди, все мужчины, остались старые, больные, Владыку должны были перевести в

Вену, наш Институт закрыт, появляется Петечка Хмыров, который изображает из себя фигуру. Иногда появляется Мысливец, они вытащили профессора Флоровского и сделали его временным директором. Но все равно работы никакой нет, половина книг так и лежит в подвалах в ящиках, и вообще никто не понимает, что надо и чего не надо делать. Такой картины я и ожидал. В конце концов мы с Олечкой поцеловались, я попросил ее заботиться о маме и, главное, подбодрить ее. Они уехали, больше у нас посещений не было, но и это придало бодрости.

Время от времени возникал слух, что нас, пражан, будут выпускать или, во всяком случае, повезут обратно в Прагу. Слух возникал, его передавали втайне друг другу, он доходил до нас, два раза из гаража - приказали отремонтировать, грузовик, потому что он повезет инженеров в Прагу. Нам это передавали немцы. Потом, когда ни одно из предсказаний не осуществилось, я понял, что это делалось отчасти намеренно, чтобы поддерживать бодрость среди арестованных. То же было у немцев: то амнистия будет к 7 ноября, то к 1 мая. Приходил срок, и амнистии не было, а если и была, то нас не касалась. Это так действовало, что Батраков и Пивоваров были абсолютно уверены, что их выпустят и повезут в Прагу. Они завели по сундучку, где стали держать свое барахло, секрет сундучков заключался в двойных стенках и полу, сделанных так виртуозно, что они не простукивались. Там они держали драгоценности. При Боголепове они нахватали всякой всячины: папиросы, деньги, еду они выменяли у немцев на обручальные кольца, цепочки от часов, золото и серебро. Они полагали, что когда их выпустят, они станут богачами. Узнав об этом, я поразился. Но что было делать? протестовать? - все равно не послушают, только испортятся отношения. Я сказал: "Вас могут ставить здесь, а могут повезти в худшие условия, и сундучки отнимут!" - "Значит,- говорят,- не повезет, но зачем упускать шанс". Наш коллектив явно начинал разваливаться. Часть инженеров ненавидела Щербачева. Александр Дмитриевич был странный человек, с личными и общественными предрассудками, бывший воспитанник Пажеского корпуса, корнет гвардейского полка, но делал массу глупостей, например, он действительно возомнил себя начальником и этак горделиво отдавал распоряжения. Я ему однажды сказал: "Александр Дмитриевич, ведь это все условные понятия: сегодня Вы начальник, а завтра попадете в карцер (который, кстати, весьма успешно отстраивался в холодных, сырых подвалах), так что Вы напрасно всерьез принимаете свое положение". Он изумился: "Вы забываетесь, я начальник этого..." Я его перебил: "Если Вы скажете еще слово о начальнике и о том, что я Ваш подчиненный, я Вас сброшу с лестницы". Мы стояли на площадке. Он возмутился: "Вы не владеете собой". - "Да, не владею, потому что не привык слушать глупости".

Затем умер калмык, Санджа Боянович Боянов. Калмыки вообще были интересными фигурами, они были за белых, калмыцкая орда ушла с

Деникиным в направлении Новороссийска, но очень многие погибли - Новороссийск не сумели тогда эвакуировать как следует. Когда Боянов приехал из Праги, кажется, в конце июля 1945, он попал в другой корпус тюрьмы. Мы хотели его ввести в рабочую команду и даже на день получили, но он сказал, что ему это не под силу. Действительно, там надо было поворачиваться. Оказалось, он был в американской зоне, но вернулся по двум причинам. Первая - личная: хотел помочь выехать сыну. Он объяснил, что испытывал сложные чувства. В американской зоне он подумал, что отрезает себя от русских дел, в которых американцы судя по всему ничего не понимали. К тому же, так как он был председателем национального калмыцкого правительства, ему казалось, что подумают, будто он бежал и боится советских властей, что будто бы сотрудничал с немцами, хотя он от них пострадал. Он явно понял свою ошибку, попав в Бауцен, где никто не интересовался его делом, и он заболел. Требовалась диета, о которой речи не могло быть. Но рабочая команда иногда выезжала за пределы тюрьмы, однажды по дороге мы увидели чудные яблоки. Говорим солдату: "Это фрицевские яблони, давай оберем".- "Коли фрицевские, давай!" Привезли кучу яблок, дали солдатам и понесли Сандже Бояновичу. Дежурный говорит: "Не положено!" А мы: "Он старый человек",- и я прибавил пушкинскую строку - "и друг степей, калмык", и солдат на это отреагировал положительно: "Это точно. Ладно, иди, давай яблоки, но говори с ним не больше трех минут, сам знаешь, не положено". Калмык наш очень мучился: сына не спас, сам попался - и умирал он, по-моему, от тоски. Щербачев настоял, чтобы его взяли в лазарет, но 6 недель спустя, в ноябре 1945, он скончался. Был дан приказ изготовить металлический ящик на колесах для перевозки трупов, чтобы можно было положить 2 трупа разом. Нас это ужаснуло. Боянов был первым, кто умер в лагере. Нам не позволили его похоронить, вывезли труп за пределы лагеря, зарыли на перекрестке дорог и запретили отметить, кто там похоронен. Зеленый приготовил надпись, но старший лейтенант, сумасбродный и неинтеллигентный офицер, очень рассердился и велел везти надпись обратно в лагерь. Такие бессмысленные вещи печально на нас действовали.

По возрасту мне ближе всего был Саша Редченков, мы мало были знакомы в Праге, но теперь как-то сблизились, и были моменты, когда мы могли гулять вдвоем на пустырях около мастерских. Можно было сделать вид, что мы рассматриваем разный металлический хлам. Саша оказался милым молодым человеком, недавно женатым, у него был маленький сын. Он всей душой рвался туда и в конце концов вышел, но через много лет. Как сложилась его судьба, мне не известно. Он сказал, между прочим, что идея рабочей группы принадлежала ему, он подал записку, но обратились к Щербачеву, а не к Редченкову. Он все равно попал в группу и даже радовался, что не отвечает за всю эту бузу. Однажды мы увидели огромное

количество краски, предназначенной для Советского Союза, для Нижнего Тагила. У него была интересная реакция: он радовался, что эта немецкая краска пойдет туда. Он был оптимистом, ему очень нравились русские люди, но он скорбел о ругательствах и богохульстве, которые культивировали именно органы и от которых волосы вставали дыбом. Интересным был эпизод празднования 7 ноября. Мы-то ничего не праздновали, но в этот день не работали. Перед этим приперлось начальство, как раз тот взбалмошный лейтенант, и говорит: "Вот, что, граждане инженеры, надо бы "люминацию" устроить. Что за "люминация"? Из разговора с ним выяснилось, что нужно было бы сделать звезду из электрических лампочек и поднять ее на комендатуре к 7 ноября. Сделали: купили огромное количество лампочек, и вся электротехническая мастерская несколько дней на это работала. Звезду поднимали с риском для жизни на большой четырехэтажный дом, где была комендатура и жили господа офицеры. Подняли и включили, все радовались, радовались и электротехники, надеялись, что их чем-нибудь угостят. Но нет, даже чаю не предложили. Радовались все офицеры и солдаты: "Вишь ты! У нас как в Москве: люминация!" Большинство офицеров, за исключением капитана, были просто пентюхи. Низший состав (а это чаще всего были контуженные, которых направили в СМЕРШ и в органы) сильно критиковал своих командиров. Один старший сержант, комсомолец и даже партийный организатор, ругал их невероятно: "Разложившиеся сволочи",- и поносил всех начиная с подполковника: "В органах с 1922 года, а дошел только до подполковника, значит, кретин! Ты посмотри на его морду! А майор? дурак набитый, грубиян," - и так крыл всех, кроме капитана. "Капитан,- говорил,- соображает. Но вообще они помешаны на том, чтобы выгоды себе качать". Перед Рождеством он из себя выходил - резчиков заставили резать из дерева Вифлеемы. Эти пленные делали все чудно: ясли, Младенец лежит, и туда можно поставить свечку зажженную,- "Вот видите, религиозный дурман! А они хотят, потому что даром. Нет, это надо чистить, партия заржавела". Потешная точка зрения, но, признаюсь, я ему сочувствовал: мне понятнее были пламенные коммунисты, чем обрюзгшие бюрократы, господа, товарищи офицеры.

Постепенно меня начало глодать внутреннее беспокойство, я чувствовал, что надо добиться перелома в судьбе, но как, не знал. Вероятно, под этим впечатлением я однажды увидел сон, который показался мне пророческим и опять наполнил меня оптимизмом. Хотя я человек позитивистских взглядов, я не отрицаю наличия иррациональных факторов в нашем существовании, и весь мой трагический опыт - войны, революции, аресты - усилили ощущение важности иррациональных явлений. В моей биографии некоторые вещи несомненно были связаны с иррациональным: мое выздоровление в 1915 г. на островах Валаамской обители, наше выздоровление от сыпного тифа и связанное с ним состояние обновления,

которое мы, оставшиеся в живых члены семьи Андреевых, испытали. Исповедь у владыки Сергия за несколько дней до восстания тоже было прикосновением к таким явлениям. В этом сне я увидел себя в канцелярии нашей рабочей команды. Канцелярия помещалась в двухэтажном бараке, в нижнем этаже лежали только строительные материалы, и туда мы не ходили. Затем 10 ступеней вели на второй этаж, в огромный, длинный склад. Если же круто повернуть налево, вы попадали в комнатку-канцелярию рабочей команды. На стенах висели расписания работ, списки, кто чем заведует, там же были развешаны статистические схемы инженера Зеленого, сделанные разноцветной тушью: сколько человек охвачено анкетой, как шло строительство, как оно расширялось. Вряд ли это отвечало реальности, но было интересно. Их вдруг забрал помощник начальника лагеря, майор. Очевидно, как мы шутили, их послали для очковтирательства в центральные органы. Там было 2 стола, за большим сидел Щербачев, рядом стояли стулья для совещания с инженерами, а другой стол, поменьше, был мой, секретаря. Там я писал списки, составлял приказы на разных языках "крупными буквами"! Телефон стоял на моем столе, потому что у меня открылся драгоценный дар: я по голосу сразу узнавал, кто из офицеров говорит с нами. Когда Щербачев спрашивал: "Кто говорит?", из телефона сыпалась брань - они не собирались представляться арестованному. А я их узнавал и говорил: "Есть, гражданин полковник!", "Есть, гражданин майор!", "Есть, гражданин капитан!". Им это всегда было лестно. И меня даже просили как можно реже отходить от телефона.

Так вот, во сне я увидел, что сижу там и вдруг слышу, что кто-то вошел в барак рабочей команды и медленно и очень тяжело идет по ступеням вверх: раз, два, раз, два, тяжеленные шаги. И я знаю, что если этот кто-то повернет в канцелярию рабочей команды и увидит меня, то я пропал. Это я ощущал во сне всеми фибрами души, и я слышу, как он все ближе, ближе, вот он наверху, десятая ступень, и... шаги удаляются. Я во сне закричал: "Слава Богу! Он меня не видел". И проснулся от крика. Зеленый, который спал напротив, растолкал меня и говорил: "Николай Ефремович, проснитесь, у Вас какой-то кошмар". Я проснулся и рассказал ему сон, а он, скептик, засмеялся: "Вы, наверное, съели лишнего за ужином".

Шутки шутками, я повернулся на другой бок и уснул. И увидел продолжение сна: я уже не в нашей канцелярии, а на складе, где большой проход посередине и такие маленькие улочки ведут к полкам. Я стою у одной полки, возле главного прохода и вдруг слышу, что кто-то идет по проходу, приближаясь ко мне. И я опять знаю, что если он подойдет, мне конец, если же минует, я выйду на свободу. Смотрю - по проходу движется нечто белое, похожее на Пиковую даму в опере Чайковского, которую я когда-то видел. Эта Пиковая дама как будто символизирует смерть, и вдруг я вижу, она мне знакома: это госпожа Матсова, мать Ромы и Иры, она была когда-то солисткой Мариинской оперы, а потом жила на улице Поска в

Таллине и была у нас в Праге. Я смотрю: вдруг Елена Петровна меня узнает? Но она меня не узнала и прошла мимо и вдруг растаяла в глубине барака. Я опять закричал: "Слава Богу, я буду жить!",- и заплакал во сне, и опять Николай Иванович меня разбудил, я ему опять рассказал сон, а он в ответ: "Знаете, Вы решительно переели за ужином!"

Этот сон пролил в меня бодрость, как бы скептически ни качали головами мои слушатели. Вместе с тайными молитвами, которые я ежевечерне воссылал - я не предавал их гласности, не надеясь на понимание другими людьми моих чувств - я вдруг почувствовал опять какую-то уверенность. Я вспомнил, как Владыка говорил, что надо верить в Промысел Божий и что у каждого человека есть свое жизненное задание, Бог знает, когда увести человека из жизни, и надо к Нему питать доверие. С другой стороны, мне все меньше нравилось мое окружение и все больше было сомнений в благополучном конце. Во-первых, пошли слухи о транспортах на Восток - Кнюпфер доложил, что пришли составы с Востока, товарные вагоны, на несколько сантиметров полные человеческих испражнений: значит, в этих наглухо закрытых вагонах везли пленных. Я просто содрогнулся: все больше было похоже, что и нас так повезут, грузовики на Прагу больше не шли, и я сильно приуныл. Во-вторых, мои коллеги от нервности, что ли, теряли себя. Дошло до того, что Пивоваров при нас - мы сидели за завтраком - вызвал какого-то немца, тот чего-то не выполнил, и Пивоваров вдруг вскочил и ударил его кулаком по лицу. Немец никак не реагировал, зато мы были глубоко потрясены. Все мы сказали, что это недопустимо, что у нас нет никаких преимуществ перед немцами, состояние рабочей команды эфемерное, она кончит свое дело и ее расформируют. Она уже действительно много сделала, в частности, открыла даже выход в поля, неожиданно проверяя электропроводку. Доложили Щербачеву, он сейчас же побежал докладывать коменданту. Тот послал автоматчиков, и мы же, наша рабочая команда, вывели ударный отряд, который заложил пролом. Потом все страшно ругали Александра Дмитриевича, говоря, что надо было это оставить и в случае чего удрать хотя бы одному-двоим, чтобы посмотреть, что делается на свете Божьем. Затем неугомонные наши инженеры пустили радио, которое принимало западные новости. Это было, конечно, интересно, но и опасно, потому что, за слушание западных новостей расправа была бы не хуже, чем у немцев в войну. Щербачев продолжал хамить, даже перестал есть с нами. В один прекрасный день у нас в комнатах появился полковник, Щербачев еще ужинал с нами и успел крикнуть: "Встать!", все встали, полковник посмотрел и сказал: "Ловко устроились! Только баб не хватает!" Покосился на коврик над кроватью и сказал: "Ишь, коврики где-то поукрали". Вообще, держался враждебно. Все это были зловещие показатели. Зато с солдатами наладились хорошие отношения, в большинстве случаев это были наивные парнишки, контуженные или даже раненые. Один из них хорошо пел блатные и военные песни, на этой почве мы сблизились,

и я от него услышал хорошее исполнение “Землянки”. Он был ранен собственным танком по неосторожности водителя, его вылечили и перевели в команду охраны арестантов. Солдаты говорили, что идет демобилизация, которая непременно нас коснется. Либо нас отпустят, либо повезут на Восток. Казалось, все вот-вот двинется. Однажды я сидел один в канцелярии, и вдруг явился капитан, как всегда, предложил мне сыграть в шахматы, я начал довольно остро, так ему пришлось призадуматься, потом он сумел найти ходы и выиграл партию. И тут я подумал: “Дай-ка я с ним поговорю!” И сказал: “Гражданин капитан! Я бы хотел Вас спросить”,- объяснил ему, как я был задержан, как первый майор сказал, что не видит состава преступления, но есть пятна, в общем, рассказал всю историю и говорю: “Гражданин капитан! Посмотрите, у Вас же учетный отдел”. Он пообещал и посмотрел! Дня через 2-3 опять пришел играть и говорит: “Я посмотрел, ты прав. У тебя чистый лист, просто не успели тебя оформить на выпуск, я сделаю так, чтобы тебя послали в Дрезден, только в Дрездене это могут сделать, мы не можем никого выпускать, но я могу обратить на тебя внимание. Но ты пока никому не говори, вдруг Дрезден не прореагирует”. Я подумал, что он врет, как все. Прошло недели полторы, вдруг приходит старшина и говорит: “Готовься, завтра едешь в Дрезден. Капитан звония, велел предупредить тебя. Будь готов к половине одиннадцатого”. Поднялся переполох, знакомые засуетились. Но, как всегда, все выполняется совсем не так: за мной пришли уже в 9.15. Это тоже было неплохо - все, кто хотел дать мне свои адреса и написать нелегальные записочки - все рекомендовали положить их в носки или в сапоги, чтобы провезти наверняка - опоздали. Адреса же соседей по комнате я уже знал наизусть. Как будто было 8 марта, женский день. У меня осталось в памяти, что старшина сказал “Бабий день для тебя счастливый день, поехал на выпуск”. Все почему-то были уверены, что меня выпускают, кроме меня самого, но и я был ободрен: капитан двинул мое дело. Капитана я так и не видел и даже не смог его поблагодарить. В то же время я был смущен: возможно, будет просто следствие, тогда меня могут оправдать, на выход оформить, но ведь могут оформить и иначе, на отсидку! Я попрощался. Все растрогались, А.Д.Щербачев особенно, вспомнил, что мы всегда дружили в Праге. (Он не вернулся в Прагу: уже после отсидки умер от разрыва сердца - <ред>.) В 9.30 я был уже в воротах, ничего не смотрели, да еще дали с собой большой кусок хлеба, больше, чем обычно, жареное мясо, еще какую-то еду. Прибежал главный повар, вернее, надзирающий над кухней донской казак, тоже со слезами обнимал меня: “Будете в Праге, навестите мою старуху, скажите, что я жив и здоров”.

Опять стояла полутонка, с водителем сел незнакомый лейтенант, внутри были я, старый немец и автоматчик. До свиданья, Бауцен! Я вспомнил, как мы тут гуляли, как мы с Редчиковым мечтали о свободе, о возвращении к близким, как летом раз мы привезли гору яблок, их ели и

все, кто ходил с нами, и солдаты, и наши коллеги, которые сидели взаперти. Вспомнил все истории с Боголеповым и поблагодарил Бога, что все благополучно и, главное, что я здоров. Еще в июне я обрил себе волосы. Когда увидел, что с мытьем дело плохо. Теперь они уже отросли. Бритье, по-моему, спасло меня - обычно недостаток витаминов падает на волосы. Конечно, во многом помогло появление Олечки, и не только мне, я, например, исцелил одного немца, он работал у нас на складе, у него пошли нарывы, и я дал ему 2 раза по четверти чесночины, он страшно меня благодарил, мне было даже совестно, скорее, это была заслуга Олечки, это она привезла чеснок. Мне казалось, что помогло еще одно обстоятельство: в конце 1944 г. я заболел дифтеритом, из-за ошибки лаборатории мне неправильно поставили диагноз и оставили дома, а когда определили болезнь, меня уже нельзя было везти. Врач, Лидия Андреевна Якубова, выходила меня и посадила на витаминные курсы. Это укрепило мой организм, потому что я ни разу ничем не болел в тюрьме, сидючи с мая месяца, а был уже март.

Ехали мы очень медленно в направлении к Дрездену. Дороги были заснежены, плохо наезжены, видно, движение небольшое, если есть, то военное. По дороге старший лейтенант с автоматчиком и водителем машины принялись охотиться на куропаток и настреляли штук 6. Мы остановились поразмяться, старший лейтенант стал со мной разговаривать, я что-то съел из припасов, он мне рассказал, как был на войне. Один эпизод меня покоробил: какое ужасное отношение к людям! Он вел однажды группу арестованных в центральном районе России, во время или после войны. Когда они пришли куда-то, то не досчитались двоих - бежали. "Знаешь,- говорит,- по военному времени это ж я виноват, меня могли даже хлопнуть: плохо караулю. Так мы забрали двоих каких-то мужиков, которые шли по дороге, они кричать стали, а мы им: "Вот крикни только, мы тебе сейчас сиганем револьвером в голову, и все". Они и замолчали. Я говорю: "Так же это незаконно!"- "Ну, незаконно, я сдал партию, а там пусть потом выясняют..." Я ужаснулся, даже покосился: "Боже,- думаю,- охотится на куропаток, а вдруг прикончит нас и скажет - бежали. Водитель, правда, был симпатяга, и автоматчик знакомый, так что до Дрездена должны были доехать. Ехали часов 5. Окраина Дрездена была меньше разбита, чем центр,- всюду снег, улицы нерасчищены, очень неряшливое впечатление. Всюду висели плакаты с разными лозунгами ко дню Красной Армии, который только что прошел.

Мы подъехали к комплексу - два нарядных дома, видимо, виллы, двор и часовой. Мы въехали, и полутонка наша остановилась. Старший лейтенант вылез с портфелем, куропаток, конечно, оставил, и ушел, сказав: "Сидите здесь". По улице с грохотом прошел трамвай, по тротуарам двигались горожане, а мы с немцем смогли наконец поговорить - солдата рядом не было. Немец оказался довольно высоким партийным чиновником. Я эту

нацистскую партийную схему парадоксальным образом изучил детально в Бауцене, где майор возложил на меня разбор большой тюремной библиотеки. В ней было очень много нацистской литературы, начиная с "Майн Кампф" Гитлера, которую я тоже впервые прочел именно в Бауцене. Кроме того, нам было поручено сделать, неизвестно для кого, подробную схему всех разветвлений чинов и званий партии - СС, СА, Тодт и всех нацистских формаций Третьего Рейха. Работа была интересная и кропотливая, но очень помогли немцы. Окончательное оформление великолепно сделал Зеленый, я даже ему сказал: "Как жалко, что мы с Вами не можем это издать! Я бы сделал комментарии, а Вы - таблицы. Третий Рейх и его организация, которая никуда не годилась, и все бы покупали". Мы думали, что получим распоряжение сжечь партийную литературу, когда закончим работу, а работали мы месяца 3, но, к нашему удивлению, получили совсем другое распоряжение. Столярная мастерская сделала специальные ящики, туда уложили все эти книги, составленные мною тщательнейшие списки, что в какой ящик попало, и отправили все это в Москву.

ДРЕЗДЕНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я был тогда доволен, что разбирал библиотеку, там была не только национал-социалистическая, но и немецкая классическая литература и даже детективы. Нам не очень полагалось брать оттуда книги, но мы брали в карман не политические книги, а что-то другое. Это вносило разнообразие в рутину лагерной жизни. Меня забавляло, что наконец, лучше поздно, чем никогда, я познакомился с "Майн Кампф" и со всей иерархией Третьего Рейха - вся их безумная централизация, необычайная продуманность управления массами в результате дали самые негативные результаты. Я поразил этого немца, потому что сразу же сказал, какое у него должно быть звание. Я обнаружил такое знание иерархии, что он меня зауважал и стал называть меня "Герр доктор" и, видимо, счел меня специалистом по организации Третьего Рейха, к которому продолжал относиться с глубочайшим уважением. Неизвестно, чего хотели от него советские власти, но, вероятно, взяли его потому, что одно время он имел отношение к Восточному министерству. Как известно, оно занималось оккупированными областями, и этого было достаточно, чтобы держать его в тюрьмах и бесконечно допрашивать. Мы сидели минут 40, уже стало холодно, начал падать снег, зажегся свет в домах, а мы продолжали сидеть как просватанные. Вдруг появился наш старший лейтенант и говорит: "Ну, давай, давай!" - любимый глагол, нечто аналогичное немецкому: "Loss, Loss". Давать было нечего, мы с удовольствием вылезли и вошли вместе с лейтенантом и автоматчиком в одну из вилл. Внутри было тепло и очень приятно. Хотя внутри были стулья и скамейки, лейтенант стоял, и мы тоже стояли. В это время открылась дверь, и появилась огромная туша майора, с низким лбом

и, как мне показалось, свирепым лицом. Он, наверное, недавно проснулся и был не в духе. Он сразу обрушился на старшего лейтенанта: “Чего ты привез их, трам-тарарам-там-там... - Ужасный набор матерных ругательств. - Они мне не нужны”. Старший лейтенант встал в позицию и рапортовал: “Товарищ майор, по распоряжению...”- дальше шли названия и цифры. Майор посмотрел на нас обоих с отвращением. В этот момент появился младший лейтенант, крымский татарин. Потом я узнал, что он был комендантом этого маленького КПЗ при следственной точке управления оккупационных войск. Он был выпущен из училища в тот момент, когда окончилась война, и он не участвовал ни в одном военном действии, и его подчиненные над ним страшно смеялись, говоря: “Скажи-ка нам, младщой, боевой устав. Помнишь ли ты, чему он нас учит?” Майор сказал ему: “Вот тебе два красавца, веди их, знаешь куда”. Младший лейтенант щелкнул каблуками, взял под козырек, сказал “Есть, товарищ майор!” таким громким, звонким голосом, что все вздрогнули. Майор с отвращением посмотрел на него и ушел, а старший лейтенант подошел к младшему с бумагой, очевидно, документом о передаче нас в ведение этого КПЗ. Тот подписал, мы махнули рукой старшему лейтенанту, открылась маленькая дверь в стене, и мы пошли вниз по винтовой лестнице, которая вела в подвал, в комнату с другим входом. Там был только один старший сержант, с которым потом я был в хороших отношениях, некий Кондратьев, у него было много орденов, и вообще он был оборотистый парень. Говорить с ним было очень интересно.

Мы пришли туда, и вдруг впервые с мая месяца я был подвергнут обыску. Я возблагодарил судьбу, что меня взяли на полтора часа раньше, чем предполагалось и пражане не успели дать мне адреса и записочки, потому что все отобрали бы. Велели даже снять носки. Я растерялся. Младший лейтенант посмотрел на меня и сказал: “Ну что ты волнуешься, мы же не гестапо, мы ничего тебе плохого не сделаем!” Не знаю, как обращалось с людьми гестапо, но его точка зрения была довольно забавна. Они все осмотрели, но ничего не взяли. Нас повели в камеру, которая оказалась очень большой, на 12 или 16 человек, но мы с немцем были там вдвоем, он в одном углу, я в другом. Был скверный, застойный воздух, и я сказал младшему лейтенанту: “Хорошо бы открыть окно и проветрить”. Он с удивлением и даже, я бы сказал, с недоверием поглядел на меня, ничего не сказал, вероятно, это впервые в его практике новоприведенный арестант требовал хорошего воздуха в подвальной камере. Капитан ушел, сказав: “Кондратьев даст вам ужин, хлеб и все, что полагается”. Кондратьев скоро появился и прежде всего принес 600 грамм хлеба. Когда я сказал, что у меня хлеб есть, он сказал: “Ну и что ж, что есть, бери! Это, знаешь, министром положено, чтобы кто арестован, получал бы 600 грамм, бери, пока дают!” Через полчаса появился ужин, и тут он стал расспрашивать: “Скажи, ты власовец?” Я говорю: “Нет, я никакого отношения к Власову

не имел". - "А кто же ты и где попал в плен?" Я говорю: "Я в плен не попадал и никогда не был советским". - "Кем же ты был?" Я отвечаю: "Я сначала был в Эстонии, потом в Чехословакии, а в Советском Союзе никогда не жил". - "Ловко,- сказал Кондратьев,- повезло!" Меня эта точка зрения поразила, ведь у него был целый иконастас орденов. Он мне рассказал, что был ранен, потом контужен, поэтому его отчислили, дав ордена, из армии в органы: "Охранять - это дело простое, вот нас, контуженных, и отправляют". Он принес отличный рассольник, с огурцами, с мясом. Я поразился: "Это что такое?" - "А это,- говорит,- у нас очень мало арестантов, это делают для командного состава, а остатки мы даем сюда, не делать же отдельную кухню". Это было выгодно -попасть в нахлебники к командному составу. Кондратьев был очень мил и сказал: "Ты не задумывайся, не падай духом, я был в худшем положении. Ты здоров, а я был ранен, совсем помирал, к счастью, тогда пенициллин открыли, так им только и поставили на ноги. Наши еще отступали, и я лежал и думал: "Мать честная, что будет. Немцы придут, перестреляют! Или наши из жалости пристрелят! А вот, смотри пожалуйста, никто не пристрелил". И это мне понравилось, я уже не раз встречался с такими рассуждениями, начиная со старшины, кубанского казака, который лошадками занимался и дал мне яичницу и полрюмки водки -братский жест! И в тюрьме в Праге старший сержант сказал: "Что ж, Андреев, мораль теряешь? Не ты в тюрьме первый, не ты последний, выйдешь, забудешь!" Вот и Кондратьев так держался. Сразу встал на дружескую ногу, при мне позвонил телефонисткам, хотел с ними встретиться, но те не согласились. Он повесил трубку и говорит: "Скажи, пожалуйста, Андреев, почему русские девки такие стервы? Просто невыносимые стервы!" Я не знал, почему, но уже привык не реагировать на замечания, а сочувственно слушать. На следующее утро он дал мне побриться и сказал, что меня хотят видеть после обеда или вечером. Утром кормили плохо, но обед был опять хороший. К 7 часам Кондратьев пришел и говорит: "Ну, пойдем к полковнику". Мы перешли улицу и пошли наискосок к дому на углу, на котором, как и на других домах, не было вывески, только стояли часовые. Там оказался какой-то штаб. Мы поднялись на 2-й этаж, Кондратьев постучался, отрапортовал, потом сказал: "Пожалуйте". Там сидел полковник, небольшого роста, немолодой, держался он спокойно, даже назвал фамилию, которую я тут же забыл. Он дал понять, что работал еще в ГПУ. Из этого я заключил, что он удержался при всех сменах власти. На столе лежали мои бумаги, и он задал несколько вопросов: "Чем я объясняю, что разные политические группировки делали мне столько предложений?" Я объяснил: мне казалось, что всем хотелось иметь собственного историка, в эмиграции не хватало людей гуманитарного образования, поэтому человек, который знал русскую историю и умел писать, был полезен. Он сказал: "Я с интересом отмечаю, что Вас в той или иной форме зондировали все группировки - не хотите ли вступить?" Я

согласился, да, иногда зондировали, иногда и формально предлагали, но меня это не прельщало, я понимал, что войдя в организацию, не смогу заниматься академической работой.

Затем он спросил, кого я знал из верхушки НТС. Я сказал, что видел Байдалакова 20 минут, когда он приезжал в Прагу, и он мне не понравился, у него были приемы элементарного полицейского. Когда меня пригласили, то посадили лицом к свету, как будто я уголовник, а Байдалаков на меня смотрел из затемненного угла, это меня раздосадовало. Кажется, это его заинтересовало. Он спросил, знал ли я Околовича,- "есть такой любитель острых ощущений, раза 2 ходил в Советский Союз. А Георгиевского знали?" Я объяснил, что встретился с ним мимоходом в Варшаве - пошел в редакцию газеты "Молва", и секретарь редакции, Брандт, представитель НТС в Варшаве, получил известие о приезде Георгиевского. - "Хотите познакомиться?" Из вагона вылез полный господин небольшого роста, неряшливо одетый. У него не закрывался портфель, а чемодан дважды раскрылся посреди перрона. Он не был похож на идеолога, террориста, политического заклинателя. Когда мы пришли к нему в гостиницу, комната была открыта, вещи лежали на полу, а он крепко спал. Мы его разбудили, он сел и ошарашенно смотрел на нас, не понимая, кто мы. Брандт позвонил, чтобы принесли чай. Георгиевский сказал: "Довожу до Вашего сведения, что я был у видных нацистов - и мы не нашли ни одной точки соприкосновения. Их взгляды абсолютно не могут быть приняты нами". Нам с Брандтом это показалось правильным, потому что мы оба были настроены антинацистски. Больше я его не видел.

Я сказал, что знал верхушку НТС и спорил с ними, потому что мы были сверстниками, я много спорил с Кириллом Дмитриевичем Вергуном, потому что считал многое в его взглядах неверным. Полковник все это слушал и что-то отмечал карандашом. Потом сказал: "Тем не менее, несмотря на их несогласие с немецкой идеологией, они сотрудничали во время войны". Я сказал: "Не знаю, может быть, кто-то и сотрудничал, но ведь они много претерпели от немцев, их арестовывали. В Праге сидела вся верхушка. Их спасло только начало войны с Россией, тогда их выпустили, потому что они предсказывали военный конфликт, и отослали куда-то на работы. Некоторые так и погибли в гестапо, например, Николай Митрофанович Сергеев, отличный врач, я знал его в Праге, Сергей Иванович Бевод застрелился, и список мог быть гораздо длиннее". Полковник спросил, знал ли я в составе НТС бывших советских граждан, но я не знал никого. Он сказал: "Конечно, они понесли некоторые потери от немцев, но все-таки они сотрудничали". Полковник как будто не был враждебен ко мне, и я вдруг сказал: "Знаете, мне кажется, никто из мыслящих русских за границей не мог сознательно сотрудничать с немцами или им сочувствовать. Это делали или невежественные люди, или авантюристы". - "Да, ну что ж. Кого Вы знали из больших людей белой

эмиграции? Вы об этом кое-что писали, желательно еще, и более подробно. А сейчас уже поздно, отдыхайте". Он позвонил, вошел крымский татарин, отрапортовал, взял под козырек. Он ему сказал: "Гражданина Андреева в камеру, дайте ему завтра побриться, потом он придет и будет писать, будет писать несколько дней. Спокойной ночи". В коридоре сидел Кондратьев и читал фронтовую газету. Мы загремели по лестницам вниз и вернулись не через главный, а через особый вход из подвала прямо на улицу. Кондратьев посмотрел, все ли у меня в порядке, и сказал: "Спи..." Так начался новый этап - Дрезденское заключение.

Вопреки ожиданиям, оно оказалось долгим и утомительным. Вначале я этого не понимал и ждал быстроты и натиска. Меня вызывали 2 раза в день, и я писал так называемую "политическую биографию", где описывал людей, с которыми встречался, и чужие эмоции. Мне выделили лейтенанта, которого я мысленно назвал "Киргиз-Кайсацкия орды": он был азиат и, видимо, не очень хорошо знал русский язык, говорил, но читать не мог, страшно скучал и все время меня торопил. Сидели мы в том доме, где был кабинет полковника, но, кажется, на другом этаже. Приходили офицеры, и их разговоры были мне интересны. Впервые я слышал эмоциональные описания войны. Многие из них были молоды, попали только на конец войны и не ощутили всей ее тяжести. Они упивались победоносным окончанием войны. С одним старшим лейтенантом мы обсуждали поэзию Пастернака. Впервые я услышал, как советские люди возводят Сталина в степень бога. Раньше я слышал только официальные упоминания о нем, а здесь молодые офицеры читали "Правду" и после этого произносили речи в его честь. Первые полтора дня я писал быстро, потом притормозил, чтобы потянуть время. Три дня прошли, на 4-й меня не вызвали. Еще через 2 дня вдруг вызвали, велев побриться. Повели к полковнику. Он сказал, что меня хотел видеть генерал. Не могу припомнить его фамилию. Он был главой всех органов федеральной земли Саксонии. Мы с полковником перешли в другое здание, охраняемое часовыми, вошли в зал, где был огромный стол, и сначала стояли в конце стола. Комната наполнилась офицерами, было человек 40, они стояли вдоль стен, потом вошел генерал, сел на противоположном конце стола, махнул рукой полковнику, который сказал мне: "Садитесь". Генерал заговорил, и я обнаружил, что он настоящий пролетарий: он делал неверные ударения и употреблял неправильные грамматические формы. Он спросил: "Вы знаете, где находитесь?" Я сказал, что нет. - "Вы в военной разведке советской армии". Это была ложь. Генерал сказал: "Мы хотим определить Ваше лицо - пустить ли Вас в Советский Союз как полноправного гражданина или лучше оставить за границей, чтобы Вы занимались своей профессией, как прежде. Чего хотели бы Вы?" Я ответил: "Гражданин генерал, решение в Ваших руках, я буду счастлив вернуться на родину, которую очень мало знаю, потому что с детства нахожусь за границей, но если Вы признаете, что я должен

работать здесь, я постараюсь оправдать доверие и работать так, как работал прежде". Полковник все записал. Генерал спросил: "Вы знаете много языков?" - "Нет". - "Какие языки Вы знаете?"- "Русский, конечно, немецкий, чешский, эстонский, могу читать по-французски, по-сербски, по-болгарски". - "Вот, а говорите, не знаете! Уйму знаете!" Генерал победоносно усмехнулся, офицеры тоже. Потом он сказал: "Правду ли Вы написали в своей биографии, что не были против Советского Союза в организационном порядке?" Я сказал: "Никогда ни в одной эмигрантской организации не состоял". - "Мы это проверим и вынесем решение о Вас. Ясно? Есть у Вас претензии?"- "У меня, гражданин генерал, претензий нет, советские органы безопасности ничего плохого мне не сделали, за исключением того, что я бы, конечно, хотел поскорее выйти на свободу". - "Понятное желание,"- сказал генерал. Разговор длился минут 25, были какие-то дополнительные вопросы, и я понял, что он знает о моих беседах с полковником, но неясно, зачем он меня вытащил и поставил перед этими офицерами. После этого я ожидал быстрого движения, хотя меня смутила фраза: "Мы это проверим". Потом, сидя с разными советскими людьми, я рассказывал об этом, и мне сказали: "Они не заинтересованы Вас выпускать, советские следователи заинтересованы в том, чтобы выявить виновность арестованного. Сделают это быстро - получат "единичку", чем больше единичек, тем лучше следователь. Так как первые следователи ничего у Вас не выявили, а даже думали Вас выпустить, то теперь они на всякий случай проверяют. Поэтому движение будет тихоходное".

Я вернулся в подвал, где нас уж было не двое, а четверо, потом пятеро. Потом вдруг появилось еще 6-7 человек, в том числе русский немец. Я почувствовал, что он "наседка" и пущен в камеру из-за меня. При нем я держался осторожно: он всегда высказывал антисоветские эмоции. Я же, наоборот, защищал советские порядки. Он сидел со мной недель 5-6, потом исчез. В камерах была скука зеленая, холодно и душно, гулять нас не водили. К сожалению, произошли перемены в личном составе этого КПЗ. Кондратьев исчез. Его демобилизовали или пустили на специальную работу. Жаль, с ним у меня был дружеский контакт. Вместо него появились пограничники, несли караул, скажем, 3 недели, потом их сменяла другая застава. Через 3-4 месяца опять приходила первая. В тот момент были приятные сержанты, подтянутые молодые люди, которые выполняли все, что им велели. Выводным стал младший сержант, украинец, другие сержанты сказали: "Имей в виду, он стукач". Когда я сделал удивленное лицо, они сказали: "Да, да, все докладывает начальству". Такой порядок в органах меня удивил, а то, что меня предупреждают, мне понравилось. Вдруг появились вольнонаемные тюремщики, утром они открывали камеры, пускали в уборную, под их контролем меняли воду в парашах, они надзирали за порядком в камерах, водили мыться. Это совпало с увеличением числа арестантов и ухудшением питания.

Старшим тюремщиком был старший сержант Смирнов, который кричал сослуживцам: "У меня от самого Берия благодарность есть! Мне человека убить, как муху хлопнуть!" Дикая формулировка, но, как ни странно, он был популярен среди заключенных - был что называется справедливым человеком. Он нас не гонял, не делал из своей профессии садистского развлечения, как некоторые. Утром, когда он нас отпирал,- генеральная отправка, можете по очереди идти в уборную. Там сначала лежала целая телефонная книга, потом из нее стали выдавать по два листочка. После этого вы могли мыться с мылом в коридоре, где были краны. Вообще он был против параш. Если он дежурил, то тоже выпускал людей в уборную. Вторая его справедливость была в том, что он не крал наши пайки. Нормы менялись: было 500 или 600 грамм хлеба, 3 кусочка или горка сахара. Из супа он старался дать нам гущи, чтобы там были мясо и овощи, картошка была редкостью, только объедки с господского стола. Мы подружились, потому что я спросил: "Старший сержант, ты из какой области?" Это вдруг запало ему в сердце, и он ответил: "Из хорошей, Ярославской".- "Никогда там не был". - "Ну, приехал бы - засмотрелся". Оказалось, он лесник, жил в лесу с охотничьей собакой. Рассказывал, как на него бросилась рысь, но у него был поднят воротник и он успел ухватить ее за хвост, а собака оторвала рысь, так что он свалился на землю, - совершенно в стиле Джека Лондона. Оттого, что я этим заинтересовался, он стал ко мне хорошо относиться. Это выражалось в интересной форме: нас нужно было мыть теоретически каждые 10 дней, но не всегда удавалось, и нас стали мыть в ваннах этих вилл. Он приводил меня туда и говорил: "Вот тебе мыло, мойся, сколько хочешь, хоть час". А немцев не любил, говорил: "Много народу поубивали, ой, много", их он часто сажал по двое в ванну: "Пусть скорее моются и выходят, здесь не санатория, чтобы размываться". Когда я научился и гадал по картам солдатам, он во время внезапных обысков в камерах "не находил" карт.

Был и более сложный случай - старший сержант с большим количеством орденов, стрелок-отличник. Был сначала в стрелковых войсках, потом в танковых, был ранен или контужен и остался вольнонаемным. Полная противоположность первому: нервный, бесчеловечный, арестованных ненавидел. Двери у нас были похожи на гигантские ворота и закладывались железными полосами - можно было подумать, что здесь содержатся слоны или носороги. Утром он их открывал со страшным матом. Когда пускал в уборную, все время кричал: "Давай, давай!" Всех нервировал и был страшно непопулярен. Начинали мыться - он кричал: "Давай, нечего размываться, это тебе не баня!" Немцы даже не понимали, что он кричит. У него было отвратительное свойство: он любил подсматривать в камеры. Подходил на цыпочках, но не учитывал, что его иконостас медалей звякал, пока он крался. После нескольких месяцев сидения я уже узнавал этот звук, подавал сигнал, и все садились с невинным видом на нары, хотя до этого

лежали, спали, играли в карты или в шахматы из хлебного мякиша. Если кто-то шил - а иголки строго запрещались - то сразу пряталась иголка. Разговаривать с ним было трудно и неприятно. Я спросил, где он получил ордена, но он отвечал неохотно. И вдруг мы с ним стали ближе. В это время особенно плохо кормили, не то что недодавали продукты, а просто лень было как следует их распределять. Перловку давали без всякого жира, и эта масса оставалась у вас в желудке. На третий день чувствую - не могу больше есть перловку, всюду боли. Я стал менять перловку на хлеб. Старшина заметил, что я не ем, и спрашивает, почему. "Нутро не принимает". Он посмотрел, подумал и сказал: "Не будешь жрать - загнешься." Я промолчал. Проходит некоторое время, дают перловку, я не ем. Он опять: "Не ешь?" - "Не ем".- "Загнешься". Тут я вспылил: "Загнешься, загнешься, все загнемся! Это вопрос времени, один раньше, другой позже". И на третий раз я не ем. Он сказал: "Ишь, какой упорный, не приемлет нутро! На одном хлебе не проживешь". Я промолчал. На другой день в мертвый час, когда отдыхал товарищ Сталин, а с ним все органы в Советском Союзе и на оккупированных территориях, вдруг загремели болты, заскрежетали огромные ключи, и наши железные двери открылись. Старший сержант сказал: "Андреев, поди сюда". Я думал - в соседнюю камеру что-нибудь переводить. Был официальный переводчик, но он не сразу приходил. Поэтому солдаты предпочитали вызывать меня, знали, что я говорю по-немецки и через 2 минуты вопрос, обыкновенно пустяк, выяснялся. Но на этот раз сержант сказал: "Иди садись. Я тебе принес пожрать". Повернулся и ушел. Я смотрю, стоят 2 котелка закрытые. Открыл один - Бог ты мой, ароматнейшие солдатские щи, даже с мясом, и хороший хлеб. Я все съел и почувстовал, как оживаю. Открыл второй котелок - просаленная перловая каша со шкварками. Съел и почувствовал себя другим человеком - я опять мог какой-то период переносить страдания. Я стал размышлять, какой хороший человек этот неприятный старший сержант. Все могло быть оттого, что я там был один из немногих русских и проявил какой-то интерес к его орденам, но главное, думаю, на него произвело впечатление мое замечание, что мы все загнемся. Когда он пришел обратно, я сказал: "Ну, старший сержант, спасибо тебе. Я стал другим человеком". Он ответил: "Съел и забыл, нечего здесь говорить спасибо. Если хочешь куда идти, до ветру, сходи". Это был верх либерализма. Было еще 2 подобных случая в период, когда мы голодали. На кухне воровали солдаты, они решили поубавить продуктов арестантам и отдать их немецким подругам. Тогда я даже сказал об этом одному из дежурных, который хорошо ко мне относился, именно потому что я не немец: "Дело плохо, кухня шалит". И он мне 2 раза приносил корки, оставшиеся от солдат, принес целую пачку хлеба, которую мы обратили в сухари - посушили на батарее.

На Пасху 1946 г. был еще такой случай. Самые скучные дни в тюрьме

- воскресенья. Работы нет, транспорта нет, никого не приводят, полная скука. Так что вы, как остроумно говорили солдаты, загораете. Загорали мы в подвале, и однажды в час отдыха загремели болты и вошел дежурный, Васька. В этом КПЗ был один признак либерализма: когда входило официальное лицо, тюремщик или кто-то другой кричал: "Встать", а если входили по неофициальной линии, никто ничего не кричал. Васька вошел и говорит: "Андреев, ты знаешь, какой сегодня день?" - "Знаю, воскресенье". - "Точно, но какое воскресенье?" - "Не знаю". - "А ты православный?" Я удивился и даже забеспокоился: что за странный вопрос! Меня обычно о вере не спрашивали. На всякий случай я осторожно сказал: "Крестили". Он говорит: "Знаешь, сегодня Пасха! Давай похристосуемся". И, к удивлению всей камеры, где сидело 10-14 немцев, он вдруг трижды со мной поцеловался. Что подумали немцы, не знаю. Я говорю: "Ты что ж, верующий?" - "Да как тебе сказать, я ведь с Астрахани, из рыбаков, нам в школе, конечно, говорили, что Бога нет, это выдумки попов. А бабушка сказала: "Ой, внучек, не верь им, Бог есть". И знаешь, как я попал на войну-то, страшно, особенно страшно вставать в атаку идти, от земли отрываться. Я и говорю: "Послушай, есть кто там, наверху? Так вот, помилуй меня, если есть". И, видишь, помиловал! Сколько раз в атаку ходил, всегда так говорил, и живой. Только слегка контузило, и отчислили в охрану. Бабка, значит, права, есть Бог..." Я был растроган его детской верой. А он говорит: "Ты православный, сегодня Пасха, и я тебя угощаю. Только фрицам не давай! Ты им в ужин отдай свою порцию, а это не давай". Он принес русский винегрет, с картошкой, с огурчиками, свеклой, даже с зеленым луком, целую тарелку хорошего хлеба и говорит: "В камере не ешь, у них слюнки потекут". И я ел в коридоре за столиком, потом он принес слабое немецкое пиво, но мне оно показалось необыкновенным. "Пей,- говорит,- Христос Воскресе!" Я выпил и умилился душой.

Меня часто вызывали писать, причем отвечал я иногда на одни и те же вопросы, проверка была, что ли. Иногда они просили уточнений, подробностей, например, что такое "Татьянин день", и я описывал: как он праздновался, какие средства собирали в Праге, кто организовывал. На балу Татьянина дня танцевали всю ночь, приезжали зажиточные чехи, и мы незаметно выуживали у них деньги на эмигрантские издания - иначе они бы не дали. А тут под звуки вальсов, с русской программой, которая им нравилась, они вдруг добрели и начинали трясти кошельками. Моим следователям это было в диковинку. Меня просили написать, что я знаю о Русском историческом обществе, подозревая, видимо, политическую организацию. Но я доказал, что политики там не было, чисто научная организация, замечательная по составу: члены Академии Наук, историки высшего ранга, молодые исследователи, как Евгений Евфимиевич Максимович, зять Кизеветтера; опубликовавший отличные работы по XVI

веку С.Г.Пушкарев; молодой тогда доцент Саханев; Б.А.Евреинов, занимавшийся новейшей русской историей. Там мы слушали замечательные главы из книги Флоровского "Чехи и Восточная Европа".

Точно так же они спрашивали о Русском университете, о котором я написал целый доклад, о научно-исследовательском объединении, членом которого был я сам, я был и лектором Русского свободного университета и описал, как преподавал русский язык, какими учебниками мы пользовались. Я старался дать конкретное и честное представление о культурной работе эмиграции. Понятия не имею, куда все это шло и принималось ли во внимание, но надеюсь, что если архивные материалы не уничтожены, то рано или поздно это даст возможность судить о культурной работе эмиграции в Праге. Их интересовал, между прочим, семинар по истории первой мировой войны, об этом я писал очень осторожно, боялся наврать, по памяти писать такие вещи сложно, но я ссылался на целый ряд докладчиков. Это было в параллель, как бы сказать, с победами Красной Армии, и их особенно интересовало, почему русская армия в первую мировую войну терпела крупные поражения.

Все это читали, потом меня опять вызывали, сидел какой-нибудь офицер, обычно незнакомый. Сидели они тогда по военной традиции обычно в фуражках, что меня удивляло - их дом хорошо отапливался. Мне всегда давали курить, чай. Иногда я даже получал отличные, как я себе говорил, генеральские обеды, т.е. по распоряжению генерала мне давали офицерский обед. Это было, когда я переводил для них различные документы. Это считалось делом секретным. Когда меня первый раз вызвали для этой цели, то пришел неизвестный майор, как потом сказала машинистка, парторг, и сказал: "Ты будешь сейчас переводить документы, помни, что ты о них ничего не знаешь, и никому даже в этом доме ничего не скажешь. О них знают только генерал и я. Мы тебе оказываем доверие. Если нужно, передиктуешь, что я тебе скажу, машинистке, но никому ни слова, понял?" - "Понял". - "Запомни, это в твоих интересах!" Я, конечно, сразу это усвоил. И теперь рассказываю со спокойной совестью - много воды утекло с тех пор. Это был 1946 г., и по английским законам даже министерские документы через 30 лет делаются доступными. Мои переводы вознаграждались обедами, прекрасными, высококалорийными - повара у них были отличные. Давали чекистский чай, который очень мне нравился, в нем было столько сахара, что получался крепкий сироп. Документы действительно были интересные: видимо, они захватили архив секретного чешского агента, который работал на Дальнем Востоке, в Манчжурии и на Западе. Это были его сводки - много всяких политических слухов. Я их перевел, и это так заинтересовало начальство, что майор пришел, сел рядом и попросил меня переводить слово за словом по чешскому тексту, а сам сличал мой письменный перевод с тем, что я переводил устно, потому что это касалось президента Бенеша и каких-то его резких замечаний о

советской политике. Майор повторил: “Помни, что я тебе сказал”. Но несмотря на переводческую работу, я продолжал сидеть в душном подвале, иногда нас неделю не выводили. А когда наконец выводили, то первые 5 минут я был, как пьяный - качало от свежего воздуха. Вдобавок в один злосчастный день наш крымский татарин нашел где-то немецкие наручники, и ему пришло в голову надевать на тех, кого выводят на допросы, наручники. Это очень неприятно: руки заламывали назад и надевали узкие наручники, через некоторое время возникала боль в руке. При этом у вас не было пуговиц на брюках, а так как вы отощали, брюки начинали падать, и вы даже не могли их поправить. А идти нужно было по тротуару метров 100 и потом свернуть во двор. Позднее заборы разобрали и стали водить нас по внутренним дворам, но это долго не приходило им в голову, а может быть, нас даже нарочно, для устрашения публики, вели по улице. Как только появлялись мы с двумя автоматчиками сзади, публику как ветром сдувало с той стороны тротуара. Я шел, штаны у меня медленно катились вниз, солдаты говорили разные непристойности по этому поводу, я им в ответ сулил всегда, что и их так поведут, и у них будет то же самое...”

На второй раз таким образом меня ввели к незнакомому майору, который с удивлением посмотрел на мои штаны и наручники и спросил: “Что это за маскарад?” Я говорю: “Спросите ваших подчиненных. Это их рук дело”. - “Я и не говорю, что ваше”. Он меня расспросил, а потом устроил нагоняй. Дежурные потом рассказали, что на татарчонка накричали, сказали, что он проявил неуместную инициативу, здесь не гестапо. Наручники у него отобрали, и он натерпелся страху: испугался, что перешел границы власти. Удивительное явление советской жизни: с одной стороны, желание быть лютым, крутым, как учит товарищ Сталин, а с другой, боязнь перейти какие-то барьеры. Впрочем, бывали офицеры и другого типа. Одно время нас выводил лейтенант, мой однофамилец, Андреев, он даже спрашивал, из какой я области, но явно никакого отношения к нашей семье не имел, к его и к моему счастью. Он был симпатичный человек, высокий, молодой, страшно злился на формальности. Меня так приучили, что когда меня выводили, я шел впереди, а он сзади, или он впереди, а я сзади. Он говорит: “Зачем, иди рядом! Я хочу поговорить, пока мы идем”. Он говорил, что ему не нравится, как они здесь испорчены инструкциями. “Инструкции берут крайние случаи, а те, кто сидит, мы еще не знаем, кто вы, вы еще не определены как враги. КПЗ -это камера предварительного заключения. Отсюда люди могут выйти на волю. (Так и говорил: “на волю”.) И делать из вас уже заранее преступников просто глупо”. Я считал, что это правильно, но милый нам офицер быстро исчез - наверное, перевели в другое место, демобилизоваться он не мог, он был профессионал и только еще начинал карьеру. Но он с большой симпатией расспрашивал, как долго я сижу, достаточно ли дают еды, и всегда говорил, что надо бороться за свои права. Я говорю: “Как же можно бороться, когда вы сидите в

камере?”- “Все равно, надо следователю сказать”. - “У меня даже следователя нет, каждый раз кто-то другой читает мои записки”. - “Ну, им скажите”. Это как раз был момент, когда у нас крали еду, и под влиянием его слов я сказал это очередному майору. Тот дал к этому повод, спросив: “Как поживаете?” с таким видом, будто я могу наслаждаться жизнью, сидя в их подвалах. Я сказал, что перемен нет, но очень ухудшилось питание. Он заинтересовался: “Почему?” - “Вам виднее, почему, а я констатирую, что ухудшилось”.- “А что именно?” - “Исчез ужин”.- “Как исчез?” - “Вместо него дают пустой кофе”. Он сказал: “Интересно! Я что-то не слыхал об изменении рациона. Давайте запишем, когда это произошло и как”. И он с моих слов записал, сколько чего мы раньше получали и какие калорийные вещи нам давали. Результат был изумительный: посадили одного из наших тюремщиков, большого дурака.

Этот глупец вошел в стачку с поваром или с помощником повара, они завели немецких подруг и решили дарить им кое-что из съестного, вот и ликвидировали ужин. О том, что он сел, мы узнали на следующее утро, когда он оказался в соседней камере, без ремня, без погон, перепуганный и жалкий. Накануне вечером к нам вдруг зашел комендант, крымский татарчонок, и произнес речь: ему стало известно, что здесь спекулируют едой, что нас притесняли и лишили ужина, но он вмешался, и теперь все будет в порядке - “Переведи!” Ну, я перевел, хотя знал, что он тут не при чем, это идет от моего майора. Тем не менее, мы все были рады, что восстановили ужин и несколько раз даже давали улучшенный обед. Очевидно, компенсировали предыдущие 10 дней. А жулика потом демобилизовали, его товарищи сказали, что он заболел не очень элегантными болезнями и его послали лечиться. Он был странный человек - глупый, а глупые опасны. Меня он почему-то не любил и время от времени заставлял мыть коридор, что мне даже нравилось - это было физическое упражнение. Интересно, что часовые из пограничной стражи усматривали в этом превышение тюремщиком власти, и несколько раз незнакомые часовые говорили: “Да пошли ты его - там-тарарам, ишь, начальство нашлось, пусть сам моет, сукин сын, наел ряху. Или пусть фрицев заставит”. Они смотрели на это как на унижение, но я ничего не имел против. Его это удивляло. Ему этого показалось мало, чтобы меня унизить. И когда он бывал на ночном дежурстве, то вдруг входил в камеру, будил меня, выводил из камеры и говорил: “Рассказывай мне сказки”. Ему было 20 с лишним лет, и рассказывать ему сказки было странно. Но я не возражал и рассказывал, преимущественно Толстого: “Чем люди живы”, “Хозяин и работник”, Гоголя вспоминал, все, что в голову приходило. Но меня раздражало, что он мне разбивал сон. И после 2-3 таких сказочных сеансов я сказал, что больше рассказывать не буду. “Почему?” Потому что, говорю, это время для сна, а что если меня завтра вызовут. “А если не вызовут?” А если не вызовут, все равно я должен спать и накапливать силы для следующего

вызова. Этого он понять не мог. Его падение было неожиданностью для меня, я не знал, что он был замешан в кражах продуктов. Это было предостережением для других тюремщиков, которые старались нас в чем-то ущемить. Они были иногда странные: принесут котел, там мясо, так он перед тем, как раздавать, черпаком оттуда мясо вытянет и съест. Он ведь и так ест много, а у нас последние граммы отнимает! Меня это страшно сердило, а что поделаешь. Но тут они испугались.

Другой курьезный эпизод относится ко времени моих писаний. Однажды я описывал эмиграцию, и вдруг вошел человек в форме старшего лейтенанта и говорит: "Вы - Андреев?" - "Да".- "Вы, говорят, доктор философии".- "Да,- говорю,- ученое звание имею".- "Объясните мне, пожалуйста, одно явление, которое со мной произошло",- и он рассказал историю, которая его, видимо, мучила. "Я,- сказал он,- живу на частной квартире, у немцев, у меня большая комната и ванная, старики немцы, если нужно, утром готовят кофе, удобно, тихо. Бываю я там мало, на днях вернулся домой и лег спать. Вроде бы не успел заснуть, но свет погасил и вдруг слышу, открывается входная дверь, хоть я ее закрыл и цепочку накинул. Я слышу, кто-то входит, открывает мою дверь, что меня удивило - я всегда закрываю ее на ключ. Потом шаги идут к моей кровати... Работа у нас нервная, поэтому, когда я ложусь, под подушкой у меня всегда револьвер. Я спрашиваю: "Кто там?" Никто не отвечает. А шаги все ближе, тогда я коснулся револьвера, он холодный, и вдруг у меня все прояснилось в голове, я включил свет и вижу -в комнате никого нет. Я вскочил, взял револьвер - и к входной двери, она закрыта, вышел в переднюю - тоже все закрыто. Что же это за шаги, почему я их слышал?"

Я его спросил: "Гражданин старший лейтенант, а шаги были Вам знакомы?" - "Ну, как могут быть шаги знакомы?" - "Мужские или женские?"- "Скорее женские". - "А у Вас мысль о ком-нибудь не появилась при этих шагах?"- "Появилась. Была такая дивчина, Галина, я сам с Украины,- уже перешел на "ты",- знаешь, мне показалось, будто это ее шаги".- "Такие вещи бывают, есть теория магнетизма: не слышали никогда?" - "Нет, не слышал". - "Это теория материалистическая",- я на всякий случай подчеркнул слово "материалистическая" - боялся сказать что-нибудь такое, что потом мне могли вменить как пропаганду идеализма или поповщины. "Вокруг каждого человека есть магнетическое поле, и все, что Вы делаете, это поле воспринимает и распространяет. Этой теорией объясняется, например, такой факт: вы идете по городу и вдруг думаете об Иване Ивановиче Иванове, о котором перед тем не думали. И через несколько шагов встречаете Ивана Ивановича Иванова, это означает, что его магнетическое поле вошло в ваше. Бывают и такие вещи, которые называют "вещими снами" - мать видит умирающего за 1000 верст сына: это ее поле соприкоснулось с его полем. Обострение чувств у человека происходит особенно ночью, вот Вы спали, и в подсознании Ваше

магнетическое поле заработало само по себе и вдруг в зто время Галина о Вас подумала, и ее магнетическая волна встретилась с вашей". Он сказал: "Ну, спасибо",- и дал мне коробку хороших папирос "Друг". Я в то время уже много курил, и почти всегда, когда я работал, мне давали курево, и я любил приносить его в свою камеру. Иногда солдаты отбирали, иногда проносил. В обоих случаях удовольствие: или солдатам, или моим сокамерникам. Прошло 5-7 недель, я опять сидел, писал. Вдруг входит человек в гражданском, подходит ко мне и говорит: "Здорово! Правильно ты все угадал". Я его сначала не узнал, посмотрел, говорю: "А! Гражданин старший лейтенант!"- "Точно! Который Галины шаги слышал,- и улыбается.- Знаешь, как интересно: я же сейчас получил от нее письмо. В тот самый вечер, когда я ее видел, она встретила моего друга, получила от него номер моей полевой почты и написала мне. Она пишет: ночь на такое-то число, как раз, когда я эти шаги слышал. Правильно ты говорил! И теория магнетическая правильная! Ну, спасибо",- вытащил 2 коробки "Друга" и дал мне. Одну я тайно пронес в камеру, а другую предложил солдатам разделить: часть взяли тюремщики, а часть дали нам в камеру со спичками.

Мои дела шли все быстрее, но вдруг - остановка: Черчилль в Фултоне сказал знаменитую фразу о железном занавесе. Кстати, хочу уточнить, что выражение "железный занавес" вовсе не оригинальное - его впервые употребил Василий Васильевич Розанов в "Апокалипсисе нашего времени", где он писал о большевистском перевороте: "С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес". Книга Розанова была переведена в 1920-е гг. на английский. И, видимо, Черчилль ее читал и запомнил этот образ. Иногда бывает: образ запомнился, а откуда он - забылось. Так после войны термин "железный занавес" родился во второй раз. Он произнес речь-итог: бывшие союзники и так уже были обособлены, а теперь совершенно размежевались, и между ними опускался железный занавес. Его речь произвела куда более сильное впечатление на советские верхи, чем, по-видимому, предполагал Черчилль и другие западные политики. Мы, заключенные, сразу ощутили это на себе: если до тех пор органы вели себя более или менее вежливо, то теперь начались массовые аресты. Дело шло к холодной войне. У нас в тюрьме это выразилось в том, что вдруг начали прибывать большие партии немцев, десятки ежедневно, и камеры быстро переполнились. В нашей было 26 человек. Нар не хватало, кому-то приходилось ложиться на пол. Сразу ухудшилось питание, грубее повела себя стража, а дела стали откладывать в долгий ящик.

Мы скучали, прогулок не было. По-моему, это был один из факторов давления на нашу психику - должны же они были осознавать, как действуют на человека недели сидения в смрадном воздухе. Однажды мне вдруг кричат: "Смотрите, смотрите, нас пришла освободить крыса!" И мы видим, что к окну с той стороны подошла из сада громадная рыжая крыса

и не то пробует прогрызть решетки, не то точит зубы. Видимо, вокруг тюрьмы санитарные условия были не на уровне. Тот болван, который попался на краже еды - мне рассказывали немцы, сам я не видел - поймал крысу, повесил ее и даже читал приговор военно-полевого суда. Но я не о глупости говорю, а о том, что условия нашего содержания ухудшались. В этот момент прибыла партия, и мы спрашивали вновь прибывших, чем они могли бы нас развлечь, все надоело невероятно. Были, например, шахматисты, одно время даже чемпион Саксонии по шахматам, мы с ним играли, и я случайно его обыграл, думаю, он просто был расстроен и думал забыться в шахматах, а тут расстроился еще больше. Меня он сразу зауважал, но играть со мной больше не хотел, боялся второго поражения. Я его утешал, но он ни в какую: "Случайно или не случайно, но я проиграл". Во главе прибывших вошел человек лет 50 с небольшим, интеллигентного вида лицом, мы его спрашиваем: "Что Вы умеете делать?" Он говорит: "Я могу гадать по руке".- "Прекрасно! Садись!" У нас всегда горела под потолком тусклая лампочка в сетке, поскольку считалось, что в какой-то момент заключенные восстанут, разберут нары, разобьют стекла, двери, изобьют стражу! Мы его посадили под лампочкой, я был вторым, кому он гадал.

То, что он мне сказал, меня поразило, тогда я даже подумал про себя: "Проклятый фриц! Хочет меня успокоить". Он посмотрел мою руку и сказал: "Ваш отец умер от рака". Это было верно. Я даже потом беспокоился - неужели рак наследственный? (Николай Ефремович умер в 1982 г. от рака.) Он сказал: "То, что происходит с Вами сейчас, это эпизод, он не так важен. Вы выйдете и забудете его, будете заниматься Вашей профессией, но в другом роде, чем прежде. И никогда не вернетесь в то место, о котором сейчас все время думаете". Я думал о Праге. "Вы уедете за воду". Я подумал - Боже мой! нужно быть круглым немецким идиотом, чтобы мне, сидящему в Дрездене, в подвале советского ЧК, говорить, что я уеду за воду. Я понял это так - через Атлантический океан в Америку! "Вы женитесь, и у вас будет столько-то детей"- в таком роде он продолжал. Я ему ничего не сказал, а потом он оказался на нарах рядом со мной, мы разговорились, и он рассказал мне прежде всего о речи Черчилля. Черчилль сказал замечательную вещь, он сказал: "Сталин сделал 2 ошибки: он показал Красной Армии Европу, и Европе - Красную Армию". Я тоже признал, что формула ловкая, схвачено именно по-черчиллевски: в краткой форме громадное содержание. Я спросил, за что его задержали, и он мне объяснил интересную вещь: он был член коммунистической партии, и, когда Гитлер рухнул и пришли советы, коммунистов назначили в разные общественные учреждения, он, в частности, заведовал музеями. Перед приходом советских войск, опасаясь бомбардировок, большинство экспонатов спрятали или увезли в провинцию, где предполагалось, что не будет боев, что-то закопали, чтобы отрыть после войны. Советские власти

потребовали от него выдать целый ряд экспонатов. А я, сказал он, не хотел им давать. Зачем? Война кончилась, Гитлера нет, мы уже коммунистическая или прокоммунистическая, или какая хотите, но Германия. И он не хотел говорить, где картины. Он сам был художник, давний член компартии. При Гитлере ему ничего не сделали, потому что списки компартии в его районе уничтожили, а активистом он не был, и он пересидел Гитлера. "Так теперь меня советские арестовали. Они допрашивали меня не хуже гестапо, пугали, давили. Но я им не скажу..." Я не стал разговаривать на эту тему - никогда не знаешь, кто рядом, а среди 26 человек могли быть и немецкие "наседки". Я перевел разговор на гадание, сказав, что он владеет удивительным искусством. Это ему, кажется, понравилось, он мне тут же объяснил принципы гаданья, а 2 дня спустя я попросил его снова погадать мне по руке - перед этим он гадал мне на картах. Тюремщики не посмотрели в карман его пиджака, и он пронес колоду карт. И по картам картина вышла оптимистическая.

Он взял мою руку и нагадал точно то же, что и раньше. Он не мог помнить, что говорил, - после меня он гадал тогда по крайней мере 10-12 людям. Это меня потрясло. Он пробыл у нас неделю, несколько раз его вызывали на допрос, возвращался он рассерженный, говорил, что ему угрожают, говорят, что как коммунист он должен быть с ними откровенен, а он не хочет! "Я им говорю, что ничего не помню, я человек больной". Через неделю он исчез. Неизвестно, куда он делся, но я научился у него гадать по картам и по руке. Это оказалось источником и развлечения, и дохода в тюрьме. Во-первых, я стал гадать сокамерникам. Потом солдаты узнали, что я умею гадать, наверно, увидели в "волчок". Как-то меня вызвали для перевода, потом я хотел вернуться в камеру, а мне кто-то говорит: "Слышь, сядь-ка здесь, погадай!" Я говорю: "Да откуда ты знаешь, что я гадаю?" - "Ну, ты сам понимаешь, в каком учреждении сидим, тут должны все знать". Я ему погадал по картам и попал в точку. Мне сейчас же дали папирос. Потом пошла слава: Андреев, который сидит в такой-то камере, гадает. Ко мне стали приходить солдаты, их очень интересовало, когда демобилизуют, но в картах не написано, к о г д а - может быть, скоро, а может, и нет. Солдаты очень наивно говорили: "Ты погадай, не бойся! А я тебя обеспечу..." Обеспечение было - порция хлеба, пачка махорки с куском "Правды". Так мы получали курево и побольше хлеба. Хлеб мы старались сушить на батарее, в осенние и зимние месяцы она топилась, получались почти сухари. Но у солдат карты ложились однооообразно: большинству выходили дорога домой, встреча с родными. У некоторых очень точно получалось - там жена есть, будут дети: "Точно, точно. И как это ты знаешь?.." Вообще, относились к гаданию с восторгом и доверием: раз я сказал, так и будет. Разыгрался даже интересный эпизод. К нам в камеру привели водителя машины. Мускулистый человек, русский, конечно, ездил он с одним полковником, не с тем, с которым я разговаривал,

а с другим из того же отдела. Забрали его якобы, чтобы выяснить точные маршруты полковника. Водитель, с виду богатырь, посмотрел на мои руки и сказал с видимым презрением: “Хм! Служащий”. Мне это замечание понравилось, это основное разделение и в советском, и во всех иных обществах: человек физического и человек умственного труда, главный водораздел во всех цивилизациях и во все времена. Этот богатырь объяснил: “Понимаешь, как водитель я должен,- он произносил “должон”,- смотреть и знать, куды ездит мой начальник, я ж его вожу. Но он же мой начальник, и он мне сказал: “Забудь, куда мы едем, и сделай, чтобы у тебя все километры совпадали. А куда мы ездим, не говори”.- “Что ж Вы, розыск делали политический, или что?”- “Это дело другое, что мы делали, - сказал Геркулес и даже подмигнул,- разное делали! Но километраж я держал в ажуре. Но кто-то накапал, мою машину заметили в другой точке, чем по моей книжке километража выходило. И меня взяли, говорят: “Говори, куда ездили?” Я говорю, все видно. Видно, да не совсем. “Спросите моего начальника!”- “Мы тебя спрашиваем, ты нас не учи, кого спрашивать”. Вот и спрашивают”. Я не знал, как его утешить, а потом бес меня толкнул, говорю: “Послушай, давай я тебе погадаю на картах!”

Погадал, и вышла легкая судьба: неожиданная радость, известие, вроде кто-то родился, вроде как сын, потом дальняя дорога, приятные встречи, и видно по всем признакам, что подходит ему демобилизация, и ничего плохого не случится. Он слушал, наморщив лоб, и говорит: “Ты с ручательством гадаешь?” -”Без ручательства”.- “Как это без ручательства? Я тебе морду набью!” Я посмотрел на его кулачищи и приуныл - один удар таким кулаком, и меня вынесут замертво из этой “камеры предварительных злоключений”. Я говорю: “Ты что шумишь, посмотрим! У меня пока все сходилось”.- “Я тебе верю, но даю срок: ежели до двух недель не выйдет это гадание, вот-те крест, набью морду!” Я ахнул: вот уж дуб! Встреча с дорогим отечеством. Хотел его утешить, а теперь оказывается, что я в опасности. Я сказал: “А ты не верь в карты, это же шутка”. - “Нечего со мной шутить, я не первый год в органах, насмотрелся на здешние шутки. Ты гадал, вот и отвечай за это”. Немцы удивленно смотрят, как баран на новые ворота, ничего не понимают, видят, двое русских недовольны и как будто угрожают друг другу, хотя уж какая моя угроза была, я сильно струсил, думаю, такой дурак двинет пальцем, действительно потом не оберешься несчастий. Одним словом, его вызывают почти каждый день, и каждый раз он приходит все мрачнее, а в конце недели говорит: “Клади карты опять!..”

Я разложил, и можете себе представить, карты вышли, в общем, такие же. Обычно так и бывает: если вы серьезно гадаете, карты выходят те же самые, может быть, в немного другой последовательности. И тут я ясно вижу: письмо, неожиданная радость, рождение, вроде сын в доме появляется, дальняя дорога, радостные встречи. Я говорю: “Тебя демобилизуют”.

“Да,- говорит,- в концентрационный лагерь пошлют, мне уже угрожают, говорят, зажирел тут. У них зажиреешь! Нам, водителям, жизни: день и ночь будь готов, за машину отвечай, километраж веди, докладывай, куда ездил, зачем, а я почем знаю, какой сукин сын куда поехал, спроси его самого!” Он сердился на офицеров, метал громы и молнии в мою сторону. Проходит 4 дня на следующей неделе, и все хуже у него и хуже, потом его не вызывают 2 дня. Он мне говорит вдруг: “Завтра 2 недели, как я пришел в эту камеру, если завтра не будет никакого облегчения, вот-те крест, набью морду!” “Ты мне не угрожай, я тебе тоже припаяю!” - “Припаяешь ты с твоей ручкой, она у тебя не настоящая!” -”Ты меня еще не знаешь!” Он говорит: “Думаешь, я побоюсь? Я как ахну, так ты, не приходя в сознание, сдохнешь в лазарете”. Я говорю: “Ты, наверное, боксер был в прошлом”.- “Да, был, а тебе что, завидно?”- он уже к каждому слову цеплялся. И вот утро наступает, он говорит: “Клади карты!..” Я разложил, то же самое - только начинаю это говорить, входит старшина: “Тебя на допрос!” Он встал, матерно обругал меня, да еще кулак показал: “Вернусь - морду набью”, и ушел.

Проходит час, два, три, его нет. Обед, его все нет. Я беспокоюсь, обед раздавал как раз старший сержант, ярославский лесник. И он мне вдруг говорит: “Слышь, тебе от водителя, от боксера, привет большой! Знаешь, ты точно сказал: демобилизуют. И не просто демобилизуют, письмо получил из дома: жена-то сына родила”. Я говорю: “Как это она, по воздуху, что-ли?” - “Да нет, она вначале здесь была, а потом ее послали на родину, она у нас телефонисткой была. Он ее соблазнил, женился, ее демобилизовали, вот она дома и родила сынка. И он посылает тебе сигареты”. И старший сержант передал мне коробку “Друга”. Я был страшно обрадовался, что этот Геркулес с ужасным характером ушел из моей жизни. Гадания я свернул: у меня появилось подозрение, что в конце концов дойдет до начальства, что Андреев тут разводит поповские колдовства, гадает по картам, да еще весь состав в восторге. И загремит мне статья, и кончится мое пребывание здесь отправкой в концлагерь. Между тем у нас дважды были обыски - их время от времени делали - и оба раза находили у меня карты. Один раз мой старший сержант, а в другой раз совсем посторонний, но он знал о гадании и даже говорил, что придет ко мне. Тот, второй, нашел колоду карт у меня в кармане, посмотрел, нажал и вынул пустую руку. Другой нашел у меня колоду под матрацем, но сделал вид, что ничего нет. А офицер стоит для блезиру, ему наплевать. Но я гаданья прекратил. Сказал, что карт нету. Я понял, что они все верят в чудесные раскладки судьбы, просто даже странно. Армия материалистическая, идеи материалистические, а верят в карты. Странно? Странно!.. Я и сам потом удивлялся: предсказания немца, что я поеду за воду и буду заниматься своей профессией, но не в том качестве, как раньше, что я женюсь,- все они исполнились, когда я попал в Англию. Я и забыл

об этом, но как-то раз в Кембридже, месяца через полтора после приезда вдруг спохватился: Бог ты мой, да ведь мне это предсказал фриц проклятый, художник безумный,- я занимаюсь своей профессией, но в другом виде, в Праге я был исследователь, а теперь стал преподавателем в Кембриджском университете. И за воду я уехал, так ведь не в Америку, а в Англию. И в дальнейшем тоже: я женился, и дети,- все было точно. Так что я сам себя спросил: что это за чертовщина, откуда он знал это все? Ведь он не знал ни моей фамилии, ни имени. И как я, позитивист, мог раскладывать карты и предсказывать тому же Геркулесу, что у него сын родится? Я даже не знал, что он женат. Эти вопросы я так и не решил.

В тюрьме встретил я исключение из правила, которое его только подтверждает. Это был полковник, артиллерист, он сидел со мной долго. В дрезденской хронологии я слаб: все дни были однообразными. Я думаю, что он сидел со мной месяцев 9-10 и за это время должен был стать мне или врагом - по вполне понятному в общих камерах взаимному раздражению - или другом. К счастью, мы подружились. Он был глубоко интеллигентный человек, из последнего выпуска Михайловского артиллерийского училища. Последнего перед Февральской революцией. В армию он попал, когда старая русская армия разлагалась и формировалась Красная Армия. Очень быстро его, офицера-артиллериста, назначили на красную батарею и послали на польский фронт. В практике Красной Армии его многое отталкивало, он даже хотел переброситься к полякам и поехал в том направлении, у него был конь, он мог ездить верхом, так как командовал батареей. Он отъехал версты две, а потом вдруг повернул обратно, решив сделать вид, что ездил на прогулку, потому что его перебежка представилась ему иллюстрацией того, что говорил политкомиссар, убеждая не верить "царским опричникам", офицерам. Он вернулся, сделал более или менее успешную карьеру в рядах Советской армии. Ему не пришлось воевать против белых, его перебросили в Сибирь, где он участвовал в подавлении крестьянских восстаний, они тогда вспыхнули не только в Тамбовской губернии, но в разных районах, в том числе и в Западной Сибири, где зажиточное крестьянство, по словам моего собеседника, не разделяло идей военного коммунизма и не хотело поддерживать новый порядок. В конце концов его даже приняли в партию, а потом торжественно вычистили из партии в 1922 г.

Он тогда стоял гарнизоном вблизи Великой Сибирской железнодорожной магистрали и совершил 2 преступления. Во-первых, не сдал политграмоту - не знал, что такое "Философские тетради" Ленина. А во-вторых, ему приписали бытовое разложение. Там, где они стояли, были военные склады, откуда они получали питание, но его жена иногда хотела купить что-то в других магазинах, тем более что начался НЭП. Для этого нужно было ехать 12 верст до железнодорожной станции или до какого-то города на сибирской магистрали. Словом, весной он дважды давал ей для поездки

артиллерийскую двуколку, там весной страшная распутица, дороги тонут в грязи, и иначе, как на двуколке, проехать невозможно. Кто-то это запомнил, и потом сказали, что у него разложение по бытовой линии, и вычистили его из партии, но оставили при батарее - офицеров было недостаточно. Потом его перевели в Ленинград, руководить учебно-педагогической частью его бывшего артиллерийского училища. Уже готовились краскомы, директором стал будущий маршал Воронов, который отличился в Испанской кампании. Когда в 1939 г. перешли на новые звания, мой сокамерник стал полковником. То, что он не был членом партии, отчасти было ему выгодно: он ни за что не отвечал, ему давали твердую программу, и он ее выполнял. Другой вопрос, что сначала, пока состав был чисто пролетарский, теоретическая подготовка была низкая, потом, когда стали улучшаться средние школы, повысился и уровень краскомов. Он мимоходом рассказал, что когда были великие чистки - вероятно, в 1937 г., то Воронова вызвали в Москву, он исчез, его заместитель (политкомиссар при училище, старый партиец и мудрый человек, он старался всячески сглаживать углы, которые возникали из-за партийных требований) был обеспокоен, пришел к нему, начальнику учебной части, и сказал: "Боюсь, что-то стряслось с начальником. Как в воду провалился. Похоже, арестовали, но не хотят предавать гласности". Прошло некоторое время, и вдруг его жена получает письмо: он пишет, что находится в командировке и пробудет там долго, но все в порядке. Все подумали, вишь, в командировке, а сам в тюрьме сидит, но не хочет жену беспокоить. А главное, удивлялись, что не назначают нового начальника школы. И вдруг звонок политкомиссару: Воронов вернулся, оказывается, был в Испании, на красной стороне, и послали его туда с секретным заданием. Когда он вернулся, его не сразу пустили в школу - он сидел в Москве, видимо, в генеральном штабе, писал секретный доклад, затем его вызвали в Крым, к Сталину. На докладе присутствовали Ворошилов и 4 военачальника. Воронов был, допустим, в звании комбрига, а после доклада Сталин обратился к нему "Комкор Воронов" - он его уже превратил в командира корпуса. Это был огромный успех. Воронов появился в училище на короткое время, его уже перевели в управление в Москву, и приехал другой начальник. О Воронове мой сосед сказал: умный, деловой человек и в то же время превосходный товарищ. Когда началась советско-финская война, моего полковника сначала не трогали, а в какой-то момент послали в штаб действующей армии. Он вообще считал, что война затеяна не в политических целях - Сталин вряд ли хотел ломать независимость Финляндии, это вызвало бы брожение в умах на Западе - главной задачей было проверить новейшие противоартиллерийские укрепления, блиндажи, построенные финнами, так называемую линию Маннергейма, которую Красная Армия пыталась взять и взять не смогла. Он рассказывал об ужасной бесхозяйственности: части замерзали, потому что их отправили без валенок,

в щегольских сапожках, которые никуда не годились в низких температурах того района. Ему пришлось некоторое время провести при штабе, делали какие-то расчеты, а потом его вернули в училище.

Во время большой войны он стал начальником артиллерии одной из армий, где командовал, кажется, маршал Тимошенко. Их части попали в окружение и отходили на Восток. Немцы все время раскалывали окружение и брали людей в плен, но командный состав небольшой группой, человек 30, упорно шел на Восток. Они вышли, потому что позднее полковник встречал фамилии ушедших командиров в сводках и списках награжденных. Они отступали, голодая, питались лесной ягодой, рыли на полях репу. У него начался понос, он стал отставать от группы, и его взяли в плен немцы, прочесывая лесок, где он, отстав, в изнеможении заснул. Он еще в Михайловском училище знал немецкий (Немецкий язык тогда был очень важен для царской и позднее для Красной Армии.), вступил с немцами в разговор, и они, по его словам, не взяли его в лагерь для военнопленных, а сказали: "Тут появились городские самоуправления, им нужны переводчики, идите туда. Он устроился, был переводчиком в разных точках Украины, а когда постепенно они уходили на Запад, он оказался в Германии. К Власову он не пошел, пассивно уклонялся - у него семья была в Советском Союзе и он не хотел вовлекаться в прямую политику. Советская армия держалась хорошо, когда пришла, командир дивизии увидел его и сказал: "Да ты наш? Иди в переводчики, у нас нехватка. Его зачислили на офицерское довольствие и даже послали о нем благоприятный рапорт. Я даже, говорит, написал маршалу Воронову. От маршала известий не было, что произошло с рапортом, неизвестно, а ему сказали, что он будет отправлен в Россию, и он трогательно рассказывал, как приготовил подарок для сына, которому должно быть 7-8 лет, и что-то для жены, небольшие, но все-таки подарки. Но накануне погрузки приехал СМЕРШ, и его забрал капитан Пугачев, который, кстати сказать, теперь сидел в этом управлении и допрашивал его уже здесь, в Дрездене. Он рассказывал много деталей. Говорил, как в какой-то момент искренно хотел пристать к революции, но не удалось, он все-таки был инородным телом. То, что его вычистили из партии, оставалось на нем пятном. С другой стороны, он, видимо, был хороший техник, поэтому его не трогали.

Я ему рассказывал свою историю, он очень интересовался всем, даже просто бытом, удивлялся всему и говорил: "Когда вы выйдете,- он был уверен, что я выйду, - я бы на Вашем месте оставил XVI век в покое, Бог с ним! Не все ли равно, что тогда было! А написал бы подробный рассказ о Вашей жизни, описал быт в буржуазной Эстонии, в буржуазной Чехословакии, все, что Вы видели, как Вы жили-поживали. "И уверяю Вас,- сказал полковник,- книга имела бы в Советском Союзе громадный успех. То, что Вы рассказываете - романы, свобода в отношениях женщин и мужчин - у нас все протекало в других формах. Это было бы - как

роман!..” Я сказал, что, право, затрудняюсь, что же тут описывать - я просто жил, многое оценил только после того, как попал в условия несвободы. “Мы,- сказал он,- всегда интересовались, как живут за границей. От нас не скрывали, что мы имеем лишения, нам долго говорили, что надо терпеть ради светлого будущего, а потом Сталин ввел другую формулу: “Жить стало легче, жить стало веселее” - и стал нахваливать советский образ жизни. Формула эта, возможно, и верная, но жизнь веселой не стала”. Я с интересом его слушал, его рассказы были для меня поучительны - из них вытекало, как трудно было служить новой власти, даже если вы этого хотели. Он хотел, потому что как военный специалист мог найти применение только в Красной Армии. И все равно не выходило.

Я интересовался настроениями в Красной Армии. Он мало знал о настроениях армии вообще. Фрунзе был популярен из-за победы над Врангелем, хотя и его слава поблекла. Полковник с интересом услышал от меня про “Повесть непогашенной луны” Пильняка, где описывалась смерть командарма, видимо, Фрунзе, за что потом Пильняк жестоко пострадал. Одно время был популярен Троцкий, но все-таки чувствовалось, что он явление не органически военное, и “мы ему были обязаны главным образом тем, что он нас, специалистов военного дела, привлек в Красную Армию и дал возможность существовать, а армии как следует организоваться”. Но когда его уже смещали, общая тенденция была скорее за Сталина. “Мы прекрасно понимали,- сказал он,- что наша армия недостаточно сильна, чтобы вести завоевательские походы, а идея перманентной революции требовала именно того, чтобы армия могла прийти на помощь, допустим, Баварии в случае прокоммунистического восстания. Вот в Эстонии было такое восстание, а мы ничего не смогли сделать. Теории Троцкого были отголосками политических комбинаций. Зато теории Сталина, что сначала надо устроить свою жизнь, поднять благосостояние, построить социализм в одной стране, находили широкий отклик. Вначале Сталин не вел крутую линию, поэтому общее мнение было за него, в том числе и Красная Армия”.

Тухачевского полковник не знал и говорил, что тот принадлежал гражданской войне, а они сознавали, что в случае военного конфликта на идеологии и, главное, на технике гражданской войны далеко не уедешь. Они уже не верили в усы Буденного, он был хорош для парадов, Тимошенко вызывал уважение - он уже показывал новую технику. Появились новые генералы, новые теоретики в военной академии, поэтому скандал с Тухачевским был воспринят как повод для чистки. Это была возможность укрепить армию. Меня поразило, что он уже много воспринял от советской идеологии и часто оценивал явления с чисто советской точки зрения, не понимая критериев, которые мы в эмиграции прилагали к советским делам.

Мы вели нескончаемые разговоры. Меня, естественно, интересовал его

анализ моей возможной судьбы. Он относился к органам очень осторожно и сказал, что никогда не слышал, чтобы органы сделали кому-либо добро. Это не значило, по его мнению, что они уничтожали всех, кого арестовывали, это тоже легенда, но их унижали и превращали в роботов. Целый ряд конструкторов, которые потом создали замечательные самолеты и танки, по слухам сидели и в качестве заключенных направлялись на особые заводы, в условия хорошие лично для них, но все-таки условия несвободы, и занимались там своими техническими проблемами. И все-таки главная роль органов была карательной. Мой случай его заинтересовал, он не был типично советским, и здесь, по его мнению, играла роль не только советская практика, но и равнение на внешний мир. Он сказал: "Если Вами интересуются вне Советского Союза и об этом там станет известно, это хорошо - Вас на всякий случай не уничтожат. Может произойти такой поворот политики, что Вас нужно будет продемонстрировать, и в хорошем состоянии. Вы работали в международном институте, который не закрыли немцы, это уже хорошо. И когда ваш первый следователь сказал, что не нашел состава преступления, он говорил правду: преступлений с советской точки зрения у Вас нет, но есть пятна, тут он тоже прав. Вы были знакомы с многими крупнейшими антибольшевиками. В Советском Союзе за это могут голову снять. Что ж поделать - вся эмиграция антисоветская. Вы не входили в организации, занимались профессиональным делом, это хорошо. Тем не менее, они не рискнули Вас выпустить, потому что, выпустив, они как бы берут на себя ответственность, что у Вас нет вредоносных связей. А вдруг в Праге была только часть Ваших контактов, так что перед тем, как выпустить, они проверяют". (Органы были правы, хотя не подозревали этого! Антибольшевистские статьи в Прибалтике Николай Ефремович скрыл, правильно рассчитав, что архивы наверняка погибли во время войны. <ред.>).

"Вероятно, поэтому,- продолжал полковник,- Вас смотрел генерал: хотели определить по виду, что за птица. Сначала они могли думать, что Вы сверхтренированный разведчик и блестяще играете роль, с другой стороны, - может, Вы просто недалекий человек, в их терминологии Вы, извините, просто буржуазный дурак, и я позволю себе сказать, что это для Вас самая благоприятная точка зрения! Первый вариант,- сказал он,- полагаю, отставили - ознакомившись с Вашей деятельностью, они увидели, что ничего от разведчика там нет, Вы сидели и писали какие-то ученые труды, у Вас не было времени попасть в разведшколу, и круг Ваших знакомств это не обнаруживает. И знаете Вы декоративных представителей Доброармии: генерала Деникина, его адъютанта, они уже не у дел в Праге, все это ерунда. Остался второй вариант - буржуазный дурак. Его подтверждает и Ваше поведение, и Ваш идеализм, и то, что Вы хорошо относитесь к русским, несмотря на то, что от них терпите. Вот Вы говорите, к Вам сажали наседку, он же ничего не смог сказать против Вас, наоборот,

Вы защищали тактику советских оккупационных властей. Кто так делает? Только буржуазный дурак! С их точки зрения это хорошо. Я думаю,- сказал он,- что в Советский Союз Вас не возьмут, и вот почему: будь Вы техник, химик, инженер, Вас бы взяли и Вы работали бы на них бесплатно. Но для чего им историк, да еще не марксист? Чтобы Вы там написали работу, которую не напечатают? У них своих историков хватает. И пустить Вас туда значит дать Вам возможность наблюдать Советский Союз, а потом в нем разочароваться. Лучше Вы будете за границей. Здесь Вы будете объективно рассказывать о своем сидении, и это хорошо, потому что, оказывается, органы не людоеды, а в общем люди как люди. Так что шанс, что Вас выпустят, велик. С третьей стороны, Вы настолько политически наивны, что Вас и перековать-то трудно - Вы будете в какой-то примитивной стадии". Я говорю: "Позвольте," - и рассказал, как я помогал здесь каким-то офицерам излагать главу 4-ую "Краткого курса ВКПб". Он говорит: "Да, это все Вы можете, но Вы по существу не тренированы как советский человек. Вас могут, конечно, просто погубить, но это произведет нехорошее впечатление за границей: погубили Андреева, который ничего плохого не делал. Так что Вас, видимо, выпустят. Но когда, неизвестно. Они ждут какого-то выгодного им момента". Потом он сказал то же, что и другие,- что когда люди идут на выпуск, следователь не интересуется быстрым оформлением, это только отнимает время, но не прибавляет единичек - они даются за осужденных, которых следователь расколол. Полковник сказал даже больше: "Они Вас не выпустят в Чехословакию, потому что Чехословакия теперь в их орбите, им надо выпустить Вас куда-нибудь на Запад, чтобы Вы там произвели какой-то благоприятный для них шум. В Чехословакии трудно создать просоветские настроения - там все уже знают, что такое советы, там номер не пройдет. А вот на Западе Вы, благодаря Вашим международным связям можете быть им более полезны". Я возразил, что у меня нет точек опоры ни во Франции, ни в Англии. "Ну, поживем, увидим, может, потому Вы и сидите, что нет точек опоры, а появятся точки опоры или они решат, куда Вас можно выбросить, тогда увидите".

Он много рассказывал о сыне, которого, видимо, очень любил, меньше о жене. Сказал: "Когда меня вычищали за бытовое разложение, в основе была все-таки жадность моей жены - непременно хотела купить какие-то глупости в кооперативе и заставила посылать ее на артиллерийских двуколках. Конечно, мне в голову не приходило, что это потом назовут бытовым разложением. Я был осторожным, не пьянствовал, не имел любовниц. К жене, как мне казалось, у него не было такого чувства, как к сыну. О сыне он мечтал, рассказывал с восторгом, как они пели советские песенки: "Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой..." Сын пел тоненьким голосом, и отец умилялся. Но дела его шли плохо: он не любил своего следователя, да и кто любит следователей, - капитана Пугачева, который был груб и резок, считал, что он изменник и нарочно

отстал, нарочно сдался немцам, нарочно пошел служить переводчиком, хотя он служил не у немцев, а в каких-то украинских самоуправлениях. Он якобы намеренно отступал на Запад, надеясь уйти от советского правосудия, но оно настигло и схватило его за шиворот в тот момент, когда он вкрался в доверие советским военачальникам, сидел в штабе корпуса, пользовался всеми благами и был переводчиком у самого генерала. Он надеялся проскользнуть обратно в Союз как демобилизованный воин, но всевидящий СМЕРШ схватил шпиона за загривок и теперь требовал от него всей правды. Перспективы у него были ужасные. Он много спорил с Пугачевым, объяснял, но тот твердил свое, кричал, так что он несколько раз приходил с допроса зеленым. Еще слава Богу, что Пугачев, сильный мужик, не пускал в ход кулаки, но он явно хотел оформить его как можно хуже.

Он долго бился, несколько месяцев, причем с большими пропусками, видимо, наводили справки, но, сказал он, справки трудно наводить. "В нормальном суде меня оправдали бы - я с немцами не сотрудничал, и никаких данных об зтом нет". Так решил и офицер, который взял его в плен и который знал, что военнопленные в лагерях голодают, а так как он говорил по-немецки, тот его и послали в "магистраты". Но доказать, конечно, ничего нельзя. От разговоров со следователем он все больше ожесточался, у него появились антисоветские ноты, которых вначале не было. Вначале он говорил, что советчики должны показать Европе, что у них самое быстрое и справедливое правосудие. Я уже тогда мысленно возвел очи "горе", т.е. страшно удивился. И вот теперь положение его было очень скверным. В конце концов его дело передали какому-то лейтенанту, что было не так уж плохо.

По его словам, если вами занимается офицер ниже майора, это плохо, значит, судьба Ваша уже определена, вопрос только в оформлении протокола, иногда очень длинного и каверзного, отсюда бесконечные споры между следователем и обвиняемым. Если дело в руках майора или выше, значит, точка зрения на Вас еще только создается. Он говорил, что когда Пугачев передал его лейтенанту, он похолодел. Лейтенант начал писать протокол, частично материалы были пугачевские, а он просто оформлял, они работали недели две, причем он оспаривал большинство формулировок. Спорные случаи отмечали, расписывались на полях, меняли отдельные фразы. Тем не менее, протокол получился убийственный: он выходил изменником, да еще и жуликом, интеллигентным жуликом, который знал, что делал. Его самого омерзение брало: "Боже мой! Что я за человек!" Я сказал: "Они всегда так говорят".- "Да, но когда они говорят, это просто метод воздействия. Когда на Вас, например, кричал майор, он проверял, как Вы отреагируете. И когда Вы сказали, что, видимо, он считает Вас врагом народа, он спросил: "С чего Вы взяли?" - с его точки зрения это были пустые слова, а Вы приняли их всерьез". В конце концов лейтенант написал и прочел грандиозный обвинительный акт. И говорит: "Дело

окончено: подпишите". Полковник говорит: "Я не согласен с обвинением". "Нет, согласны, мы же с Вами все выработали, Вы подпишете, а потом будете у прокурора оспаривать". А это трюк: если Вы подписали следственное дело, прокурор больше не будет расспрашивать. Я, сказал он, взял перо, и написал: "Все, что изложено в этом протоколе, ложь, с целью меня дискредитировать. Ничего подобного я не имел в виду и не делал того, что мне инкриминируют",- и подписался. Лейтенант ахнул: "Боже мой! Что Вы наделали!"- "Наделал то, что считал нужным, следствие явно против меня и не считается с фактами, а эту интерпретацию фактов я не могу принять". Лейтенант сказал опять: "Что Вы наделали, теперь меня разнесут". Он смотрел со своей точки зрения, что его будут ругать, за то что он допустил на протоколе такую надпись. В этот период, в СМЕРШах было очень странное отношение к бумагам. Протокол считался священным документом и не уничтожался. Он мог меняться, но не уничтожался. Уж не знаю, по каким соображениям, но советские власти, возможно, чтобы прекратить беспрерывные изменения, которые могли вносить не только обвиняемый, но и следователь, запрещали брать другую бумагу, нужно было вести основной протокол. Полковник был весь зеленый, говорил, что теперь все будет ужасно, его возьмут в оборот и передадут другому следователю, который будет применять физическое воздействие. Он жил со мной еще недели три, его не вызывали, а в один прекрасный день взяли вместе с другими на этап. Я расстался с ним с большим сожалением, но и с тревогой за него. Его перебрасывали, вероятно, в доследственный отдел, а там, как мы слышали, применяли пытки.

Рассказывали, что били по пяткам, так что все распухало и была дикая боль. Это был "особый отдел", и кто-то, может быть, даже из советских офицеров, рассказывал, что "особисты" всегда очень мрачно настроены, потому что у них грубая работа. Я с большой скорбью думаю о, вероятно, печальной судьбе моего полковника, который за долгие месяцы стал мне другом и много дал мне для понимания сущности Советского Союза и моего собственного дела.

Позже я стал говорить, что тюрьма была для меня вторым университетом. Там я узнал нечто о человеческой психологии, чего раньше, в условиях благополучной жизни, не понимал. Я стал больше уважать себя после тюрьмы, потому что оказалось, что я не так труслив и пуглив, как думал о себе до ареста. Затем я увидел Советский Союз и советскую систему не из кабинетов, не на дипломатическом приеме, где угощают водкой и икрой, а снизу, как человек, лишенный прав в КПЗ, где каждый день вы находитесь под ударом судьбы. Любой жест Кремля или другого центра - и ваша судьба могла кардинально измениться. Я навсегда запомнил, как символ, Бауцен, его тюремные стены, почти крепостную башню и над этим всем вышки, на которых день и ночь стоят часовые с автоматами. Вышки с прожекторами, а перед стенами символическая запретзона, примерно 2

метра от стены вглубь тюрьмы. Она всегда свеже заборонена, и если б кто-то ночью попытался бежать, то оставил бы там следы своих подошв. Пограничники, которые стали появляться в Бауцене, с гордостью рассказывали, что такая запретзона идет по всем границам Советского Союза, и там она еще шире. Какая ирония истории! Великая держава воодушевилась интернациональными идеями и превратилась во внутреннюю тюрьму для всех, кто в нее въезжал и в ней жил: запретзона. Интернациональная держава, исполняющая Интернационал как гимн, находится в совершенно других условиях, чем остальной мир, контролируя и отрицая свободные интернациональные связи. Это плохо понимали мои современники, не соприкасавшиеся с советскими порядками, учреждениями и советскими людьми - с тем, что стало для меня жестокой реальностью.

Еще одно меня поразило - искусственное разделение граждан Советского Союза на отдельные категории и группы. Не было демократичности, к которой мы привыкли на Западе. Все было разделено, во всяком случае в пределах армии: отдельные офицерские столовые, отдельно офицерские и отдельно солдатские собрания, не говоря уж об арестантах. Они тоже делились на группы: большинство, безликая масса, страдали и томились бесконечно в маленьких камерах, ничего не делая, месяцами не доедая, а счастливчики вроде нашей рабочей команды могли что-то урвать, украсть, вырыть картофель и нелегально его сварить. Те, кого называли власовцами, вообще умирали с голоду. Им отвели 2 особых корпуса, и между ними и нами были не только сетки, но и запретзона, чтобы мы не могли подойти к ним, не могли бросить им сигареты, обменяться парой словами поддержки. Там ходили почти тени, их просто и жестоко морили голодом. Кухня говорила, что им давали 200 грамм хлеба в день, баланду и один раз эрзац-кофе. Это должно было ужасно подтачивать силы.

А еще вас могли посадить в карцер, где не давали вообще ничего, кроме корки хлеба и стакана воды. Один русский попал туда - кому-то надерзил, и его первым посадили в карцер. Он просидел неделю и вышел озлобленным человеком - более заклятого врага советской власти надо было еще поискать. К счастью, мы смогли его подкормить, когда он вышел. Мы видели каких-то женщин на прогулках, среди них я узнал, например, госпожу Ефремову, жену нашего "вождя" Ефремова, посаженного нацистами, начальника опорного пункта. Ее мужа вместе с Гайдой повесили чехи. Заслуживал ли Ефремов быть повешенным, не знаю, допустим, что да, но она ничего не знала о муже и ужасно томилась. С ней сидела по счастливой случайности для них обеих такая Александра Сергеевна, она служила официанткой в ресторанах. При немцах ее бес попутал - записалась в нацистскую организацию, кажется, ей та же Ефремова и порекомендовала. Зачем это нужно было - непонятно. Она должна была, видимо, погибнуть рано или поздно, потому что положение женщин было еще ужаснее, чем наше. Единственный выход был - пойти в сестры милосердия, но это

означало быть любовницей санитаров, фельдшеров и, главное, доктора. Не каждая на это соглашалась. Состояние рабское и безвыходное: апеллировать не к кому, никто не приезжал в эти лагеря, а если бы и приезжали, то пожаловаться значило бы быть наказанным. Немок-заключенных я видел очень мало, только в Дрездене в КПЗ их было 5 или 6 в камере, под Рождество 1946 г., и они чудно пели "Ди хейлиге Нахт", так хорошо, что даже ночной дежурный заслушался и сказал: "Ох, как бабы поют хорошо!" Еще одно меня удивило: среди заключенных в Бауцене их не было, но в КПЗ я встретил малолетних. Во-первых, это были немецкие мальчишки. Одного из них, по его словам, обвинили в принадлежности к немецкой подпольной организации "Вольф (волк)". Они все, конечно, отрицали, но их не выпускали. Один, лет 14, был страшный, похож на беспризорника, у меня было даже впечатление, что на улице было голодно, а здесь хорошо кормили - пока он сидел в одиночке, ему даже шоколад давали - он, может, нарочно и подвирал. Другой молодой немец сказал, что этот младший все врет: "Он быстро соображает, потом кается и говорит, что соврал, а теперь расскажет правду, и опять врет!" Я спросил, почему же он не скажет правду, тогда его, вероятно, выпустят. А, сказал тот, он не знает, лучше выйти сейчас или потом. Эти мальчишки были полезны: заметив, что я русский, они на всякий случай старались быть со мной в хороших отношениях. Например, когда давали порошок, они предлагали постирать мое белье, на ночь всегда клали мой костюм под настоящий волосяной матрац, чтобы он утром был как глаженый. Так что я долго удивлял офицеров, приходя писать в приличном костюме, несмотря на Бог знает какие условия. Эти малолетние меня особенно поразили в Синг-Синге - так я называл большую тюрьму, куда нас возили дважды. В это время все наши помещения ремонтировались, делалась дезинфекция, когда мы возвращались, все блестело. Когда нас вывозили в этот Синг-Синг, мы не знали, куда едем. Сначала ездил туда один я. Пришел крымский татарин и говорит: "Поедем со мной".- "Куда?" - спрашиваю. "Увидишь - в тюрьму, надо взять матрацы". Приехали в Синг-Синг, это оказалось огромное здание, две трети были заняты советской тюрьмой, а часть была пустая. Там было много разных матрацев, которые наш комендант хотел получить и получил, но таскать их он не собирался, водитель машины тоже - таскал я. Я не возражал, это было хорошее упражнение, я был на воздухе, и это было даже интересно. Мы набили полутонку, привезли 12 чистых матрацев.

Потом, когда нас туда привезли надолго, то сначала держали на улице, видимо, перегруппировывали арестантов, чтобы освободить для нас помещение. Нас везли в "черных воронах", эти полицейские машины набивали до предела, и мы мчались по Дрездену. Возить нас в открытых грузовиках, как делалось в начале, не хотели. Дрезден уже отстраивался, всюду шли ремонтные работы, и потому демонстрировать, что все еще

возят "бедных немцев" - все считали их немцами, да большинство и были немцы - видимо, не входило в планы нашего начальства. Затем в такой же "марусе" привезли каких-то малышей, некоторые были русские. Особенно меня поразил мальчик лет 10-11, грустный, грустный. Я ему говорю: "Ты чего, пацан, печалишься?" Он говорит: "Отца и мать увезли". - "Почему увезли?" - "Мы ехали куда-то на лошадях, все отступали, отступали, а теперь их забрали, и потерялись мы навсегда",- он чуть не зарыдал. Так жалко мне его стало, он вдруг напомнил мне мое собственное детство. Доканало меня нечто вроде смотрин: разные служащие, стража смотрели, чтобы кто-нибудь не убежал, а потом пришли какие-то тюремщики и их жены, и одна из них говорила: "Ах, мой болезный,- глядя на мальчиков,- вот бедняжки! Ведь сгинут в тюрьме-то, ведь они погибают!" Она говорила по южно-русски: "похибають". Я дико посмотрел: это воспринималось как обычное дело - никто из русских не шелохнулся, немцы не понимали, а мальчик все равно был вне себя от горя. И когда я смотрел на это, то поневоле думал, что система, которую завели в нашем отечестве, далека от совершенства, и что бы ни писали к юбилеям, победам, дням рождения великих вождей, картина получается печальная, и такой мальчик сводит на нет все достижения русской революции, как у Достоевского: слезинка ребенка. Меня больше всего удручало чувство собственного бессилия. И как выход из этого, возникала жуткая забота о самом себе, пробуждался эгоизм. Не было даже желания помочь: вы знали, что помочь нельзя. Появлялся шкурнический момент: "А мне судьба моя дороже иных трагических судеб..." Я не раз вспоминал эти слова Лебедева - гениальные слова, страшные, но гениальные, они тогда выражали суть для сотен миллионов.

Переезды в большую тюрьму были для меня антрактом - в это время меня, конечно, не вызывали. Когда нас перевезли туда в первый раз, я вдруг решил, что волосы у меня отросли и неплохо было бы мне опять побрить голову, потому что неизвестно, как пойдут дела, а бритье волос всегда полезно. Солдаты с удовольствием намылили мне голову и побрили. Так что я стал совсем молоденьким арестантиком. Стояла дичайшая жара, был конец мая, вокруг дня моих именин - Николина дня 1946 г. Был парикмахер, который брил меня почти через день. В этой тюрьме я попал в раздатчики пищи. Распределял ее тоже заключенный, бывший старшина, который себя так и называл старшиной, хотя у него уже не было знаков отличия. Он мне выдал целую философскую теорию: "Я ставлю на командные должности своих, чтобы отдыхнули, подпитались, кто знает, что нам предстоит". Подкармливание выражалось в том, что раздатчикам всегда оставался суп, кроме того, они старались положить себе побольше мяса, рыбы или овощей, гущи из супа в ущерб другим. Но я этого себе не позволял и, к чести своей, могу сказать, что прослыл справедливым раздатчиком. Немцы сразу заметили с одобрением, что герр Доктор раздает

справедливо. Я каждому старался дать гущи, как полагалось, полтора черпака, а если кашу, то черпак. Я был занят, я ходил немного по тюрьме, двигался и, кроме того, общался с людьми, слышал новости и сплетни, наблюдал нравы. С одной стороны, система была как будто демократичной - вчера вы бог, а завтра сидите наравне со всеми. С другой стороны, у нас сидел летчик, герой Советского Союза. Что уж он там сделал, не знаю, но его все-таки держали отдельно. И еду давали отдельную - солдатскую. Я думаю, по инициативе сержантов, которым не нравилось, что герой Советского Союза будет есть баланду наравне с немцами. Он часто выходил, очень расстроенный, красивый, молодой, конечно, без знаков отличия, без ремня, но в офицерском платье, стоял и смотрел вниз. Все было затянуто проволокой, так что и прыгнуть никуда нельзя было. Он курил. Папиросы у него или еще были, или свой своему помогал. Я считал это хорошим знаком. Один из эпизодов остался в памяти как сиденье "мирового лейтенанта". Однажды, как раз в мертвый час, раздался грохот запоров и ключей, и в камеру в высоких сапогах и офицерском кителе, в офицерских брюках, в фуражке, но без погон, вошел офицер вместе со старшиной и начальническим голосом закричал: "Кто здесь русские?" Я поспешно вскочил, натянул сапожки и сказал: "Я русский!" Он подошел и говорит: "Я буду рядом с тобой. Подвинься",- это уже какому-то немцу рядом. Немец, ничего не понимая, испуганно шарахнулся с вещами в другую сторону. Он сел и говорит: "Я лейтенант такой-то". Я говорю: "Гражданин лейтенант, что же Вы здесь делаете?" - "А ты как думаешь? Загремел я". "Загремел?"- я еще не успел овладеть нюансами новых глаголов. "Ну, не понимаешь, что ли - арестовали меня!"- "Кто арестовал?" - "Кто - свои!"- "Понимаю, русские". "Хуже, я служу в этом самом кабаке".- "Каком кабаке?"- "Ты что, полоумный, что ли?.." Несмотря на трагичное положение, я не мог не засмеяться: то меня угощали "буржуазным дураком", то полоумным... "Вы же офицер?"- "Да, лейтенант пограничных войск".- "И служите в этом..."- "В этом кабаке, в управлении Федеральной Земли Саксонии"- с иронией сказал он. - "Ага. А почему же Вас арестовали?" - "А потому что не поперло, бывает же так, что не поперло..." И тут он сказал то же самое колоритно, но непечатно. "Я тебе объясню, мы сейчас закусим. Скажи, чтобы фрицы здесь не шатались, пусть идут к е... на тот конец камеры". Я им сказал осторожно, что герр лейтенант хочет поговорить со мной и просит их отойти, чтобы разговор был тайный. А ему говорю: "Они же не понимают!"- "Все равно, будут смотреть в рот, не люблю, когда собаки или фрицы смотрят в рот, все равно не дам!" Он сказал: "Видишь чемоданчик?" - "Да".- "Открой". В чемоданчике оказались замечательные вещи: колбаса, сыр, булки, масло - вещи, которые я отвык даже видеть, не то, что пробовать. И водка, настоящая столичная водка, и стакан. "Есть у тебя кружка?" Кружка была. "Давай сюда кружку и стакан"- и он налил нам по четверти стакана. "Этот напиток,- говорит,- придется экономить,

потому что не донесут, высосут по дороге".- "Кто?" - "Да те, кто будут носить... Ну, закусывай. Плюнь на этих фрицев, закусывай и слушай..." И он рассказал поразительную советскую историю, которая мне ужасно понравилась, потому что до сих пор я видел политических арестантов, а тут было другое. Он состоял в хозяйственной части. Как-то вызвал его генерал. "Понял? Сам начальник кабака. Он мужик в доску свой, мог быть беспризорником". Я таращил глаза: таких прытких речей я давно не слыхал. "Да, да, мог бы быть, а может, и был в прошлом, я почем знаю. Вот он меня вызывает и говорит: "Слушай, лейтенант, мне нужно освободить сумму,- и называет очень крупную сумму, триста тысяч марок,- чтобы они у меня были максимум через 3 дня".- "Товарищ генерал, Вы думаете, я печатаю фальшивые ассигнации?" Генерал говорит: "Дурацких замечаний не слышу. А тебе говорю следующее: это должно пройти неофициально".- "Да откуда я их возьму, у нас денег нет, у меня только продукты".- "Потому я к тебе, дураку, и обращаюсь. Возьми сигареты, у тебя есть же "Друг"?"- "Есть". - "Вот и пусти их на черный рынок, чтобы получилось 300,000 марок".- "Товарищ генерал, - говорю, - большая брешь будет на складе-то!"- "Ну и что, через некоторое время я тебе эти деньги верну. Значит, через три дня..." Генерал, сказал он отец и благодетель, а у него это одна из обязанностей - знаться с немецкими спекулянтами: "Их спрехе деутс",- сказал он с ужасным акцентом, так что немцы содрогнулись! "Я им сказал, что мне нужны деньги, а я им продам сигареты. Но чтоб меня не застукали, продал разным, набрал эти 300,000 и принес ему". Он говорит: "Молодец, лейтенант! Благодарю и помню твою службу. Вознагражу, не сомневайся". Я спросил: "Зачем генералу нужны были деньги?"- "А хрен его знает, у него всегда манипуляции: хозяйственные, политические".- "На политические ему бы, вероятно, дали фонды".- "Дать-то дадут, да ведь время нужно, ты не представляешь, до чего все медленно идет по кассирам. А ему, может, до зарезу нужны деньги. Банка нет, занять негде, конфисковать нельзя, мы все-таки не немцы, не гестапо!"

Коротко говоря, лейтенант выполнил поручение и загнал налево большое количество папирос "Друг". "Но,- сказал лейтенант,- бывает так - является бес, крутит хвостом и портит всю игру. Бес появился в виде полковника из хозчасти, от самого Серова. Приехал внезапно с ревизией. Обычно, когда приезжали, перед этим слух пускали: "Едем, мол..." Мы все в ажуре приведем, приедут - все в порядке, комар носа не подточит, сходится до копейки. А тут ничего не сказали, приехали и подавай все книги и все, что на полках лежит.

И зашились мы вдребезги, потому как, понимаешь, сигареты родить нельзя, откуда я их возьму? Полки стоят, а сигарет нет. Полковник оказался проклятым козлом: скакал, блеял, вызвал вызвал нашего главного майора, орал на майора, тот на подчиненных, все орали на меня, я на старшин - скандал по всей хозчасти: усохли сигареты на 300,000 германских марок.

В конце концов полковник вызвал меня и говорит: "Это твоих рук дело, не отпирайся! Куда упер? Кому сдал?" "Это,- говорю,- ошибка бухгалтеров, они у вас сидят, пишут в книгах, товаров не видят, понаписали не те крючки..." "Я,- говорит,- такой крючок тебе напишу, что ты меня 10 лет будешь помнить в концлагере. Ты понимаешь, что порочишь оккупационную администрацию?" Я твержу: "Я одно понимаю - я тут не виноват, напустили бухгалтеров..." Слово за слово, он рассердился, говорит: "Ты мне голову не морочь, скажи, на каких блядей все потратил?" Я ему говорю: "Я аккуратный человек, какие бляди, товарищ полковник!"- "Куда ж ты такие деньги дел? Предприятие на стороне финансируешь, что ли?"- "Это ошибка бухгалтера". Он стал писать протокол против меня. Говорит: "Покажу твоему генералу". Дескать, произошла прискорбная усушка сигарет. Их явно продали на сторону, а куда делись деньги, неизвестно. Требовал указать, есть ли у меня любовь. А любви у меня нет, ну, там какая-то Марфинька была, телефонистка. Привели ее, она в слезах: говорит, я никогда от него подарков не имела. Полковник ее даже обругал: "Дура такая, ты что же ему даром все даешь?" Тяжелая была сцена. Она рыдает, ее прогнали - видно, что дура-дурой, колхозница, ничего не понимает в тонких хозяйственных расчетах. Полковник идет к генералу, генерал вызывает меня. Прихожу и вижу: на барометре сплошная буря. Такая, что даже страшно. Генерал сидит, как Эльбрус,- ты видал Эльбрус?"- "Нет,- отвечал я,- не видал".- "Ну то-то, для этого на Кавказе надо быть, Эльбрус весь в грозовых тучах, генерал черный от гнева и на меня не смотрит. Полковник рядом крутится. Генерал говорит: "Ты что ж это, срамишь честь чекиста? Тебе Отечество доверяет блюсти хозяйственные дела, а ты на черный рынок бросил сигареты и деньги пропил?" Я говорю: "Товарищ генерал: наваждение это, бухгалтеры все попутали! Никаких таких вещей я не делал! Ведь это сколько должно быть сигарет - почти полутонка, как же я мог их увезти, куда? Не может быть этого! Полная выдумка! Ошибка бухгалтеров".

Генерал ни на какие мои слова не реагирует и говорит: "Идешь прямо под суд. Кругом, шагом марш!.." И сейчас же меня арестовывают. Повезли на мою квартиру. Ну, ребята все свои, я говорю: "Ребята, страдаю безвинно, бухгалтеры все напутали, дайте взять с собой чемоданчик",- положил туда эту вот закуску, бутылочку водки, и говорю, что буду очень обязан, если через 2 дня возобновите эту посылочку мне в КПЗ, а выйду - сочтемся. Вот и приехали сюда. Теперь сижу и молю Бога".- "О чем же ты молишь Бога?"- спрашиваю.- "Чтоб скорее был суд".- "Думаешь оправдаться?"- "Нет! Меня сразу засудят! А как засудят, генерал меня подведет под ближайшую амнистию, и меня выпустят". "А потом?" - "А потом переведут в другую хозчасть, потому что я незаменимый хозяйственник".- "Ты думаешь, генерал пойдет на такую сделку?"- "Это не сделка, он сам сказал, что вознаградит меня. А что все провалилось, это случайность. Не повезло, бес

попутал. А генерал у нас мировой и свое чекистское слово держит. Если б не держал, что стало бы с этим кабаком! Развалился бы весь". Я, нужно сказать, был потрясен этим рассказом, запомнил его, а этот "мировой" лейтенант сидел со мной 3 дня, и все 3 дня мы с ним тюремную еду отдавали немцам, потому что ему опять принесли продукты, и он делился со мной - "для компании". "Я,- сказал он,- как пошел в КПЗ, сразу спросил: "Русские тут есть?" - "А как же, уже месяц тут живет, облюбовал подвальчик!"- "Ну,- говорю,- ведите меня к старожилу, по крайней мере, расскажет здешние истории. А других русских в КПЗ сейчас нет". Так мы развлекались. Он рассказывал о нравах НКВД, все цинично, большинство рассказов были совершенно непечатны, но не без остроумия. Например, у него были такие афоризмы: "Там, где кончается порядок, начинается НКВД!", "Если поверишь чекисту - иди в сумасшедший дом" или "Тот, кто сидит в этом доме, вдвойне дурак". Я спрашиваю: "Это кто? Начальство или те, кто под начальством?" Да все, говорит, тот, кто наверху, думает, что он управляет, а это одна видимость. А те, кто сидят под ним и ждут суда, напрасно дождались ареста, надо было раньше думать. Через 3 дня его увели. Когда нас перевезли в большую тюрьму, я услышал продолжение его похождений. Он там ждал суда и уже вошел в хозяйственный аппарат, уже в кухне всем командовал. Потом его осудили и куда-то увезли, но все ждали, что он очень скоро попадет под амнистию. Типичный ли это случай? Не могу сказать, но эпизод яркий, я его запомнил с большой точностью, потому что ничего подобного даже и вообразить не мог.

На моих глазах разыгралась другая история, с тюремщиком Васькой, тем самым, который христосовался со мной, астраханским рыбаком. Он, по-видимому, как и многие, солдаты оккупационной армии, непрочь был выпить. И где-то им это удалось, опять появилась водка. Васенька напился. И пошел домой, он спал в каком-то доме вблизи тюрьмы. По пьяному делу ошибся забором, как потом сам рассказывал. И, перелезая через забор, бухнулся в генеральский сад. Там, конечно, были часовые, и Васеньку загребли. Хотя знали, что это Вася из КПЗ, но его арестовали и притащили к нам. Сняли с него погоны, ремень, посадили в камеру. По дороге он уже протрезвел, я слышал, как он в коридоре шумел, потом пришел к нам и спал пьяным сном. Утром его разбудили и увели на допрос, откуда Васенька пришел как мокрая курица - пропащий человек - и говорит: "Беда!" - "Что случилось?" - "Допрос-то учинили всерьез, говорят, что я хотел делать против генерала, почему попал в сад?" Он им - я, дескать, даже не помню, чтобы был у генерала в саду. "Как это, тебя там часовые забрали!"- "Забрали, так забрали, но я не знал, что это генеральский сад, я шел домой, да попал не туда". И следствие началось всерьез.

Он у нас сидел 2 недели, страшно страдал - защищаться не умел, а следователь все вел к тому, что он, наверное, хотел что-нибудь плохое сделать генералу. Тогда было бы преступление. Во всяком случае, он

нарушил воинскую дисциплину - напился, а где взял водку, кто его спаивал, с какой целью? Получалось целое дело. Васенька чуть не плакал, он был человек незлобивый и страшно испугался. Я ему говорю: "Послушай, Вася, дай я тебе погадаю, я почти бросил, но тебе по дружбе погадаю". По картам вышло, что это все ерунда, его демобилизуют, он поедет домой, будет встреча, с мамой или с папой. А тут просто маленькая неприятность в казенном доме, и она пройдет. Васенька выслушал и говорит: "Твоими бы устами мед пить, да мой следователь говорит, что выведет меня на чистую воду". Я ему: "Ты держись и говори правду, на правде и выйдешь". И получилось по-моему: через 2 недели его вызвали, и он вдруг пришел в камеру веселый, говорит: "Выпускают..." Потом мне старший сержант сказал, что Вася демобилизован. Его не оставили вольнонаемным, потому что он был, видимо, слишком добрым для тюремной службы. Меня поразило одно: все прекрасно знали, что никакого злоумышления у него не было, что это стечение обстоятельств, и тем не менее, держали его 2 недели, прежде чем, это все, видимо, оказалось на столе у генерала и он сказал - нечего терять время на это дело, выпустить дурака и демобилизовать.

КПЗ продолжал жить своей жизнью, шли новые и новые арестованные, уходили этапы, уже никто не сидел так долго, как мой полковник. А я все оставался и чувствовал упадок энергии и надежды. Меня вызывали все реже, очень запугал меня один капитан, который спрашивал о какой-то моей деятельности в Праге и что-то записывал, причем неверно. Это был не полный протокол, а частичный, причем мы сразу не сошлись в формулировках и я заставил его изменить текст. Он страшно удивился: "Да ты непокладистый!" Я говорю: "Еще бы, здесь все неверно".- "Это,- говорит,- запрашивают из другой инстанции, там твои знакомые говорят, что ты был русским нацистом". - Я говорю: "Я русским нацистом никогда не был и не мог быть, потому что категорически отрицаю нацизм вообще..." - "Теперь, после падения нацизма, конечно, все его отрицают. А когда он был в силе..." Я говорю: "Во всяком случае, это не обо мне". Однако на меня этот эпизод произвел неприятное впечатление. Это действительно шло от кого-то из русских пражских нацистов, потому что об этом сказал и другой майор. Их осведомитель сказал, что я читал у них нацистские лекции. Но описал меня совершенно неверно: приписал мне очки, бороду, которых у меня никогда не было, сказал, что я читал по рукописи, чего я сроду не делал. Я ответил, что это брехня, он, вероятно, с кем-то меня спутал. Майор мой ответ не фиксировал и сказал, что из моих бумаг следует, что я не нацист. Но капитан что-то оформлял, и я испугался, что тоже попаду на этап и все кончится плачевно. Что я мог поделать? День уходил за днем, все утомительнее становилось сидение, и я уже подумывал, что свободы может не быть вовсе. Но вдруг произошла перемена. После мертвого часа внезапно загремели все болты и ключи, распахнулась дверь и в комнату вошел генерал. Я успел вскочить и закричал по-немецки:

"Ауфстехен!" Все встали. Немцы страшно испугались. Генерал был незнакомый, довольно молодой. Он вошел с собственным переводчиком, сразу отослал тюремщиков и стал задавать всем 2 вопроса: когда был арестован и когда был в последний раз на допросе? Я как раз был первым и отвечал по-русски, он был поражен, по-видимому, тем, что я был арестован в 1945 г., а шел уже 1947 г. Все остальные были новички, я единственный старожил. Переводчик записывал фамилии, записал и меня, спросил, что мне говорили, я ему сказал, что меня собирались выпускать, но пока что не выпустили. Генерал ничего не сказал, ушел, а потом старший сержант рассказал, что он прошел по всем камерам. По-видимому, он приехал проталкивать дела, потому что всюду оказались пробки, арестанты подолгу сидели без движения. Я не знаю, повлияло это на мой случай или нет, думаю, повлияло, заставило какую-то инстанцию подумать, что нельзя меня держать в полуподвале вечно, нужно обвинить и оформить или освободить. Когда он спросил, есть ли у меня претензии, я сказал, что претензия именно в том, что мне еще в 1945 г. говорили, что выпустят, и до сих пор не выпустили. Я рисковал: могли сказать, что у меня нет данных на выпуск. С другой стороны, у меня больше не было сил, и физических тоже. От сиденья в подвале начались всякие болезни, которые остались у меня навсегда, например, ревматизм в коленях. С тех пор, как я переехал из Бауцена, даже прогулок нормальных не было, только вызовы на допрос. Я был в отчаянии. Когда я вышел, то узнал, что чехи провели демарш в мою пользу.

Мне об этом рассказала Олечка Дошкаржова, она была в то время в Чехословацком посольстве в Англии. После ее поездки в Бауцен было решено обратиться к Бенешу и поднести ему ту икону, которую он получил от советских властей в 1933 г. и которую я выкупил у спекулянтов в конце немецкого периода. Икона представляла собой замечательный дорожный триптих раннего XVI века, отличнейшей работы, великолепной сохранности, без подновлений. Она была, видимо, конфискована немцами после того, как Бенеш исчез из Праги, и где-то хранилась. Но когда стало ясно, что война кончается, немцы, очевидно, выбросили кое-что на рынок. Так как толк в иконах не очень знали, а я помнил эту икону, потому что она в свое время была опубликована в одном иллюстрированном чешском журнале, я сразу ее купил, намереваясь потом поднести президенту. Теперь нужно было дать моему делу толчок. Князь Карл Шварценберг изложил все это письменно и получил аудиенцию не у самого президента, но у его жены, мадам Бенеш. Она сказала, что вряд ли президент может что-то сделать, тем более, я не чешский подданный, но можно поговорить с чехословацким послом в Москве, им в это время был мой добрый старший друг, профессор Горак. Олечка сказала, что он подал в министерство Молотова бумагу, где говорилось, что доктор Николай Андреев был лоялен Чехословакии во время немецкой оккупации. Это был максимум того, что они могли сказать

в мою пользу. Наверно, в конце концов эта бумага попала в органы госбезопасности и где-то встретилась с другими моими бумагами, мы так предполагаем. Возможно, это был один из факторов, повлиявших на решение моей судьбы. Демобилизовался, между прочим, уже описанный мною старший сержант, который любил подсматривать в волчок, не понимая, что его выдает звон орденов, и который накормил меня в критический момент солдатской едой. Перед отъездом он со мной попрощался, пожелал мне всего хорошего и сказал: "Я советую тебе выйти". - "Всегда готов!" Он засмеялся и говорит: "Терпи, казак, атаманом будешь". - "Почему уезжаешь? - спросил я,- ведь ты вольнонаемный, платят хорошо, жратва хорошая, чего ты дома не видал? Ты женат?"- "Нет. А надоело все: фрицы да арестованные, арестованные да фрицы, глаза б не глядели. Поеду строить, у нас там, наверно, все поразрушено. Я до войны работал на тракторной станции, видишь, сколько орденов - возьмут. Все приятнее, чем в танке ездить..." Я говорю: "А подарки везешь?"- "Некому дарить, вся семья разошлась или померли. На всякий случай выменял здесь, если буду жениться, кусок материи будущей жене. Но не знаю, довезу ли, в поездах крадут".- "Кто крадет?"- "Как кто - братва крадет! Такой вор пошел, солдат - зазеваешься, сейчас же свистнут". Я удивился: казалось невероятным красть друг у друга. Так он и уехал, я к нему сохранил благодарные чувства, как и к большинству русских людей, которых встретил в органах. Позже, когда я об этом рассказывал, то вызывал негодование некоторых эмигрантских слушателей - они не хотели слышать ничего хорошего об органах. Но я стоял на своем: я встретил там много хороших людей. Хотел даже добавить, что часто они были добрее, чем эмигранты. Конечно, я не хотел их обижать, но это правда. Если они делали мне доброе дело, то не потому, что это было им выгодно - они думали, что это справедливо. И этот момент справедливости и помощи человеку, лишенному прав, я высоко ценил. Неожиданность, конечно, основа деятельности органов ГБ, она входит в их систему. День, когда я вдруг был выведен из состава подозреваемых или обвиняемых, тоже наступил неожиданно. С утра не было никаких признаков того, что что-нибудь произойдет. И вдруг события двинулись: меня вызвали в канцелярию, где незнакомый майор сообщил мне, что советские власти освобождают меня, и стал возвращать мне документы. Вернул мне все, причем был даже курьезный диалог: что это за диплом? Докторский диплом был на латыни. Я сказал "на латыни", он говорит - что это за язык? Я говорю: "Мертвый язык". Он поднял брови: "Я разговариваю с вами серьезно..." Я поспешно объяснил, что так называется латинский язык, на котором теперь уже не говорят. Вернули все, кроме ключей и адресной книжки. Почему они оставили их себе? я, конечно, не спрашивал. Дали не мою самописку, а самописку с чужими немецкими золочеными вензелями, которую я поспешно продал, когда оказался в Берлине - боялся, что кто-

нибудь из немцев решит, что я укокошил их родственника и завладел самопиской. Освобождение прошло без всякой помпы, те, кто знал, что меня освобождают - старшины, старшие сержанты - очень хорошо ко мне отнеслись и даже подарили на дорогу пачки махорки, которые оказались очень полезны, потому что я загнал их на черном рынке как курево для трубок. Это дало мне какие-то деньги. Деньги мне отдали тоже, оказалось, что у меня в кармане частично были немецкие деньги, тогда еще не было денежной реформы, и это тоже дало мне маленький капитал! Были, конечно, и ни к чему не годные протекторатные знаки, позднее у меня их отнял американский болван из Секьюрити.

СВОБОДА. БЕРЛИН

Берлин 1947 г. произвел на меня неизгладимое и страшное впечатление. Я знал его еще с тех пор, когда в 1927 г. впервые ехал в Прагу. Этот город, несмотря на наличие в русской литературе антиберлинской традиции - его всегда попрекали пруссачеством, холодностью, разграфленностью и другими малопохвальными качествами - мне в целом нравился, он производил впечатление большого и вполне естественно разросшегося центра. Он был очень красив в одних своих районах и подавлял в других, где были однообразные улицы, как во всех больших европейских городах, построенные во время индустриального подъема с наименьшей тратой денег и с наибольшими возможностями эксплуатации. Теперь это все исчезло: Берлин лежал, как огромное кладбище домов, именно кладбище. Улицы уже были расчищены, по ним можно было двигаться. Образовалось несколько зон: часть дворцов, которая сохранилась и которую, видимо, все, кто дрался в Берлине, как-то щадили. Это была очень небольшая часть. Там все еще были памятники, статуи, красивые широкие лестницы. Средняя часть Берлина была кладбищем, потому что жизнь там начиналась только в подвальных или полуподвальных этажах, где помещались в большинстве случаев частные предприятия. Открылись парикмахерские, потом маленькие лавчонки, которые что-то продавали, хотя там обычно не было главного - продуктов. Оттуда жизнь начинала как бы двигаться вверх. Но в тот момент, в 1947 г., строительство еще не охватило Берлин, оно началось позднее. Однако порядок уже был, но именно могильный и страшно напоминал огромное кладбище, по которому вы шли и невольно вспоминали, какие здесь были превосходные дома, улицы, запруженные нарядными людьми, какой был прекрасный транспорт. Теперь действовал только Унтербан, подземка, хотя она отчасти шла и по открытым пространствам.

Когда я приехал, не было еще разделения Берлина на Западный и Восточный, Берлином управляла общая комендатура. Поэтому поезда проходили по всему Берлину, и из поезда вы могли посмотреть на пейзажи во всех секторах Берлина, что я и сделал. Некоторые вещи меня поразили:

от прекрасного парка Тиргартена, громадного, тенистого, с огромными старыми деревьями, который я много раз посещал, в котором ухаживал за Тамарой Горбачевой, известной таллинской пианисткой - она училась в то время в Берлине, у знаменитой преподавательницы Виноградовой-Бик - от этого великолепного парка н и ч е г о не осталось. Наверное, там стояла зенитная артиллерия, но, кроме того, все, что осталось от деревьев, было срублено и растащено на топливо. Жизнь в Берлине шла в предместьях, которые были меньше разрушены, там находились центры союзных комендатур. В Тегеле сидели французы, в Карлсхорсте советчики, в Далеме американцы, главное управление британцев находилось, кажется, в центре Берлина, недалеко от русского собора. Но хотя в 1947 г. еще было очень много военных, постепенно они перестали доминировать на улицах. Было огромное количество уже отпущенных из лагерей военнопленных немцев, вернулись десятки тысяч беженцев. Берлин оживал, появлялось все больше мужчин, хотя мужской голод продолжался.

Я это увидел в первый же день - страшный спрос на мужчин со стороны женского населения Берлина. Никогда не мог себе представить эффект этого спроса. Если вы соглашались разделить ложе немецкой дамы, вас носили на руках, в фигуральном или буквальном смысле слова, вам стирали белье, гладили, старались вас подкармливать, хотя это было очень трудно, потому что черный рынок хотя и работал, но цены были очень высокие. Я поразился, но, по существу, чему было поражаться? Нехватка мужчин была огромная, миллионы военнопленных сидели в лагерях в Сибири и по всей Европейской России, отстраивали результаты тех разрушений, в которых принимали участие. Этот культ мужчин, молодых в особенности, был новым явлением для меня. Конечно, во время войны и в Праге были легкие нравы, но там была другая мотивировка: хоть день, да мой, потому что ночью вас может арестовать гестапо или на вас свалится союзная бомбочка. Здесь женщины требовали мужского присутствия, участия, часто психологической опоры, причем так было во всех слоях населения. Я был поставлен перед новой реальностью и с интересом заметил, как, в сущности говоря, важен нормальный брак в обществе. До тех пор я этого не сознавал, потому что не был женат. Теперь я понял, что это была важнейшая функция, и последствия ее нарушения были ужасны в первую очередь для женщин. Надо оговориться, что голод по мужчинам был не только у немецких женщин - были большие потери среди русских эмигрантов и среди эстонцев, которых я знал более или менее хорошо, сильно пострадала латышская колония. Многие пытались создать хотя бы видимость семейных контактов - раз в неделю, два раза в неделю. Я никого не осуждал, вопрос заключался только в умении не слишком глубоко вовлекаться в такие отношения.

Другой характерной чертой Берлина был черный рынок, ибо того, что выдавалось по продовольственным карточкам, не хватало. Было 3 категории

таких карточек. Первая выдавалась только гражданам союзных держав-победителей. Если вы оказывались советским гражданином с советским паспортом - были такие случаи - или французом, или англичанином, и вы не были в армии, а были пожилым человеком или просто всю войну просидели в Германии, даже в концлагере,- теперь вы получали карточки первой категории, которые давали достаточно жиров, мяса, хлеба, картофель и какие-то овощи. Вторая категория - для тех, кто не были немцами, но не были и гражданами держав-победителей. К ним относились, например, русские эмигранты. После разных перипетий я тоже получил эту категорию, не столь обильную, как первая, но дававшую какой-то минимум. Третья полагалась массам немецкого населения и давала очень мало. Причина была объективная: овощей вообще было мало, мяса тоже, раздавали картофель, появилась какая-то мука и какой-то хлеб. Но было плохо с жирами, жиры высоко ценились, потому что их мало давали по карточкам, и они были очень дороги на черном рынке. Там искали то, чего по карточкам не получали,- табак, сигареты - тогда мы не знали вредного влияния табака, и это было забвение для людей - выкурить сигарету-две в день. Эта отрасль черного рынка процветала.

Я нашел 3 точки возможной опоры: первая - чехословацкая военная миссия, о которой сказали советские офицеры, выпуская меня, когда я все твердил, что хотел бы поехать в Прагу. Они очень сомневались, что это возможно. Один даже сказал: “Ты засиделся в тюрьме и не представляешь себе, что Германия закупоренный сосуд, только воинские составы ходят из Германии или в Германию. Но выяснить этот вопрос можно в чехословацкой военной миссии”. Я поехал туда и был встречен с распростертыми объятиями. Там оказались чехи, один был мой ученик в прошлом, учился русскому языку, знал меня и Кондаковский Институт, знал целый ряд моих добрых приятелей и приятельниц. Они пришли в восторг, когда меня увидели. Во-первых, им понравилось, что я вообще был освобожден, а во-вторых, они сказали: “Вы для нас клад, мы Вас немедленно устроим переводчиком в нашу миссию, потому что у нас главный камень преткновения - переводы в Карлсхорсте, мы должны ездить туда по крайней мере раза 2 в неделю, там никто не знает чешского, а мы очень плохо знаем русский. Отсюда всякие недоразумения. А Вы поможете нам поднять свой престиж”. Я был очень доволен, они пообещали мне и содержание, и военный паек, отлично угостили в столовой и дали что-то выпить. Но я усомнился, смогут ли они меня взять без чешского паспорта, я же эмигрант и сидел у Советов. Они сказали: “Это не играет роли, мы все устроим”.

Но когда я пришел через 3 дня, оказалось, что я все-таки был прав. Советский комендант, узнав, что я русский эмигрант - он же не знал, сидел я или не сидел - сейчас же воспротивился и сказал, что советская администрация не может это принять и даже показал инструкцию, что при сношениях с иностранными миссиями нельзя пользоваться помощью

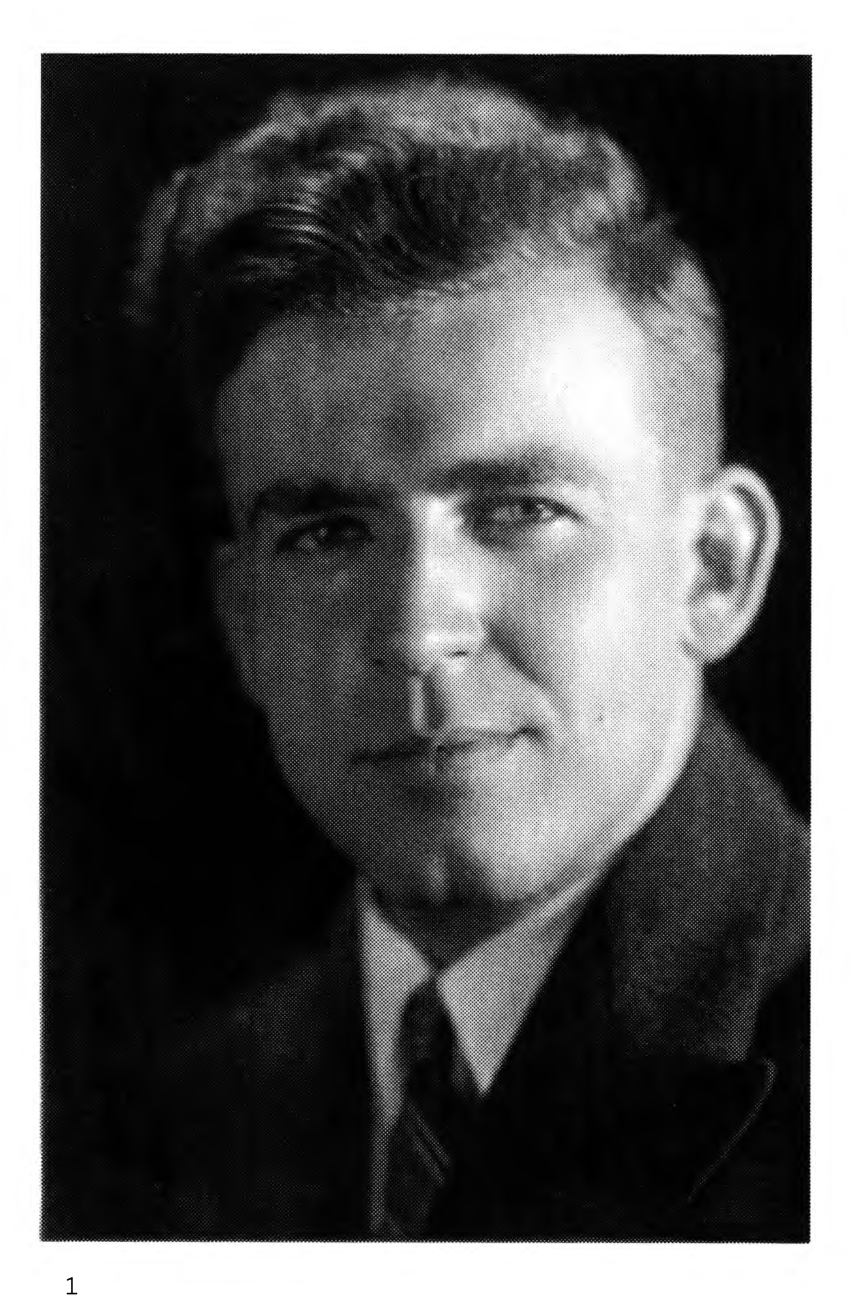
русских эмигрантов, нужно искать переводчиков или натурализованных русских, которые имеют уже чешский или другой паспорт. Они были смущены, но дело было кончено. Однако они кое-что для меня сделали: послали известие в Прагу, что я вышел на свободу, и получили известия о том, что Ольга Дошкаржова, которую я извещал, находится в Лондоне, в Чешском посольстве. Они послали извещение туда, чуть ли не телеграммой. От нее пришел ответ: она поздравляла, сообщала, что маму вывезли в Эстонию и что против меня очень настроен Петр Алексеевич Хмыров, который помогал мне производить в Институте все, а потом бегал по Праге и кричал, что я получил 7 лет. Я по глупости сообщил через чехов о своем освобождении и ему, не подозревая о его двурушничестве, и теперь он был в исступлении - говорил, что если я явлюсь в Прагу, то он мне пропишет, не вышло по советской линии - он меня упрячет по чешской. Так что Олечка меня предупреждала в Прагу не ездить ни в коем случае. Институт хотя формально и существует, но не действует, и лучше туда не соваться. Совет как совет, нужно было искать "зимние квартиры" в Берлине. Параллельно я пошел по профессиональной линии в "Славише Семинар" Берлинского университета, где раз был до войны, а потом имел письменные сношения с профессором Фасмером, который одно время был его главой. Фасмер был знаменитый филолог, санкт-петербургский немец, доцент Санкт-Петербургского университета до революции, женат был на русской, его домашний язык был русский, он, естественно, знал немецкий в совершенстве и после большевистского переворота уехал в Германию. Это был знающий человек, всегда доброжелательно относившийся к коллегам. Я нашел их в университете имени Гумбольдта -"Славише Семинар" был разрушен, в него попала бомба, и часть книг погибла. Вообще русским отделам во время войны страшно не везло, обычно во время налетов сгорали именно русские книги, которые труднее всего было пополнить. Я пришел на прием к профессору Фасмеру. Там сидела его симпатичная секретарша, немочка, она написала диссертацию и стала фрейлейн доктор, а позднее вышла замуж за доцента Яблоновского, историка, с которым мы потом были в хороших отношениях. Я сказал, что я доктор Андреев из Кондаковского Института, из Праги, и хотел бы говорить с профессором Фасмером. Она доложила и говорит: "Профессор Фасмер Вас ждет".

Я вошел в большой кабинет, где сидел Фасмер. Это был высокий, худощавый, типичный по виду немец, очень рассеянный академик, мысли у него всегда витали в разных исторических формах глаголов, как кто-то шутил в его адрес. Он любезно встал и говорит: "Доктор Андреев из Кондаковского Института?! Послушайте, Вы же умерли!" Времена были такие странные, что я спросил: "Когда"? Он говорит: "Я Вам скажу точно: в декабре 1945 г.". Я спросил: "Где?" - "В Кракове". Я говорю: "Слух преувеличен, в Кракове я никогда не был!" Поистине, диалог безумцев. Но я нарочно повторяю его слово в слово, не прибавляя ни одной ноты. Говорили мы по-

русски и после этого диалога сели, и Фасмер, не спрашивая, откуда я и что произошло, сразу сказал, что рад моему появлению, ему как раз нужны люди, которые знают русский язык, русскую литературу и историю, и что он меня сейчас же назначит доцентом в провинцию, в Магдебургский университет, в восточной зоне. Только я открыл рот, чтобы сказать, что недостаточно знаю немецкий, он сказал: "Совершенно достаточно, главное, что Вы знаете русский и русскую литературу". Надо сказать, что Фасмер в гитлеровский период выехал в Швецию и некоторое время преподавал там, кажется, в Стокгольме. Я сказал, "Профессор, дело в том, что меня не назначат, я ведь русский эмигрант". - "Мы и спрашивать не будем! Я сам назначаю педагогический состав, они ничего не понимают в преподавании!" Я сказал: "Я у них сидел".- "Это никакого значения не имеет, раз Вы выпущены, все в порядке". И все-таки я оказался прав - когда он заикнулся, что хочет назначить меня в Магдебург, ему сразу сказали, что это невозможно, и не потому что я был арестован, а потому что я русский эмигрант. Тогда он рассердился и сказал, что ему ставят палки в колеса, преподавателей недостаточно, часть уехала на Запад, а они дурака валяют. "Тогда я Вас назначу в Берлине".

Но и в Берлине это не удалось по той же причине, хотя они образовали группу, где мы говорили по-русски на литературные темы для разговорной практики. За это он мне платил какую-то сумму. Он был страшно обескуражен, когда ему отказали, и даже сказал: "Я не понимаю, они сказали, что я царь и Бог в своей области, и вот царь и Бог не может назначить, кого хочет!" Я подивился его наивному академическому тоталитаризму, который столкнулся с тоталитаризмом полицейским. Но надо сказать, что вся группа славистов в Берлине - профессор Вольтнер, ее сестра, которая не была славистом, но тоже говорила по-русски и, видимо, очень помогала сестре в создании "Руссише Абенд," куда приглашались студенты для разговоров по-русски, и другие преподаватели - все ко мне хорошо относились и страшно меня тронули тем, что так как у меня не было продовольственных карточек, то они, пошушукавшись, сложились и отрезали мне целый ряд купонов, на которые я мог купить хлеб, мясо, колбасные изделия и даже предложили взять мешок угля из "Славише Семинар". Я так и сделал позднее, когда у меня уже была собственная комната, а угля все еще не было. Я сложил в бумажные мешки по 10 кило угля в каждый и в 2 приема отвез к себе. Это все свидетельствовало о настоящем коллегиальном, дружеском отношении ко мне как к потерпевшему от исторических ветров.

Особо надо сказать о помощи Хорст-Яблоновского. Он помог мне оформить немецкие рецензии и большую статью об иконах и русской иконописи. Был такой журнал "Дер Блик ин ди Виссеншафт", куда я был сразу приглашен и напечатал там несколько рецензий и статью (1948, №3 и 5). Это была как бы моя визитная карточка - я на воле, отряхнул прах с



1

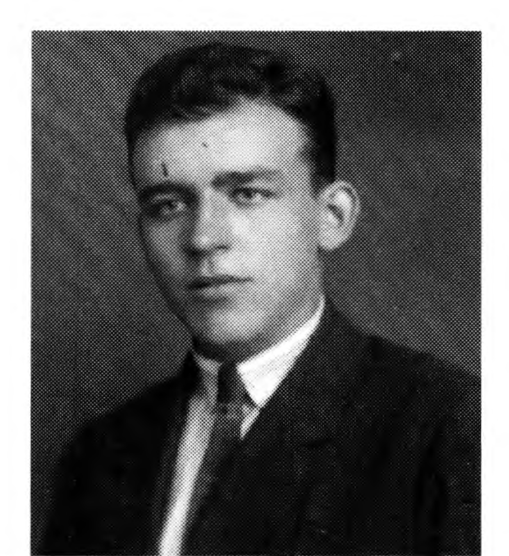
2



3



5

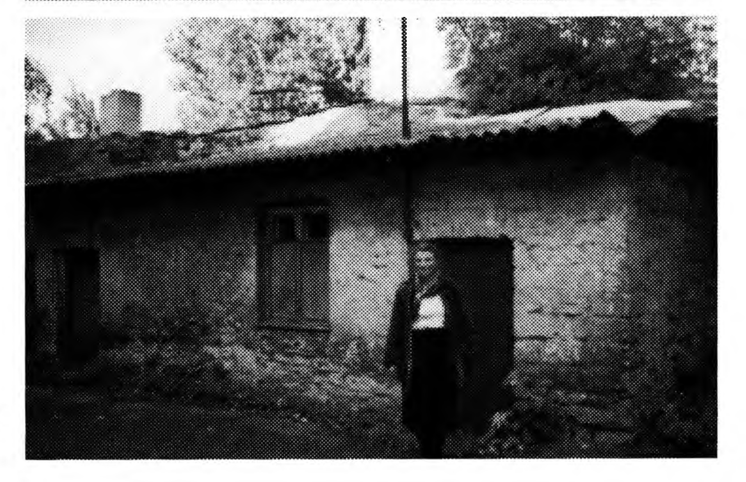


6




7а


7б


7в



8



9



10


11


12


13

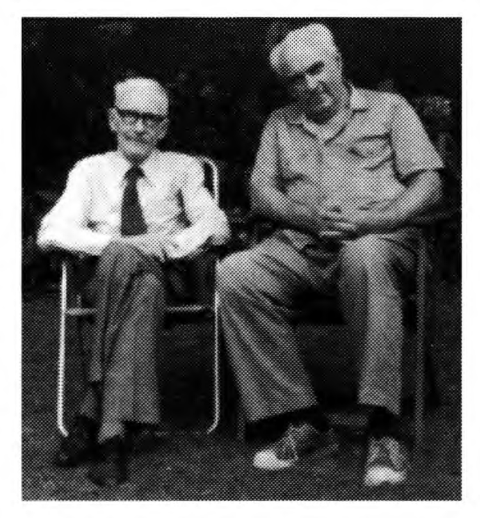

14



15



16



17

18



19

ног своих и, главное, нашел силы сразу включиться в научную работу. Это, между прочим, было оценено, кажется, всеми, и немецкими славистами, и целым рядом русских друзей. Яблоновский пригласил меня на ужин, что было с его стороны жестом, потому что у него была мать, очень милая пожилая дама, которая всех называла "руссен", к смущению своего сына, он ей старался объяснить, что я тоже руссен, но не коммунист, это ей казалось диким. Отголосок обобщений, очевидно, гитлеровского периода оставил в ее голове такой сумбур. В свою очередь позднее, когда я по обстоятельствам немного зарабатывал на черном рынке, я достал профессору Вольтнер четверть фунта кофе, это была страшная редкость в то время. Вообще, был странный период, например, когда у меня появился уголь, его нечем было растопить - не было дров. Тогда я уже связался с Марией Викторовной Золотовой, почтенной дамой из Ревеля, одной из главных переводчиц при советской комендатуре. Они там в знак милости получали дрова, очень мало - несколько дровинок для растопки, потому что дров-то не было нигде, был только уголь. Она мне 2-3 раза давала по полену. Сама она получала 5-6 поленьев, выделяла мне одно полено из порции, и я вез в портфеле завернутое в газету полено, которое нужно было расщепать и разжечь огонек. Поздно вечером я возвращался в свой полуподвал, который получил в русском церковном доме при Тегельском православном кладбище при помощи о. Сергия Положенского.

Я не помнил о нем, когда приехал в Берлин, но помнил, что на Находштрассе есть русская церковь. Я знал, что там был архимандрит Иоанн Шаховской, который во время войны приезжал в Прагу и ехал оттуда в Белград, я даже просил его, кажется, в 1940 г., объяснить членам нашего Института в Югославии положение вещей. Он обещал, но сделал ли это, не знаю. А после этого у нас с ним было маленькое расхождение во взглядах. В 1941 г., после того, как немецкие войска вошли в Россию, русские церкви в Германии проектировали послать туда так называемую "Православную миссию" - вагон, в котором были бы иконы, священники, молитвенники и все необходимое для богослужений, чтобы оказывать на местах религиозную помощь населению. Кажется, немцы это все обкарнали, и, по-моему, сам архимандрит Иоанн не получил разрешение ехать на Восток. Но, во всяком случае, он мне написал, что ввиду такой миссии он хотел бы сделать в красках икону Божией Матери. И прислал какой-то образок, напечатанный совсем недавно в Берлине. Такая была разноцветная икона, написанная в 20-х или в 30-х годах, и сзади какие-то стихи, может быть, даже его собственные. Он хотел 10,000 таких икон. Сколько бы это стоило? Я ему написал, что если он хочет икон для такой миссии, мы можем дать ему бесплатно 10,000 репродукций из тех, что у нас есть, в частности, я предлагаю образ Смоленской Божией Матери: как раз Смоленск был взят немцами. Эта икона связана с историческими событиями: она была на Бородинском поле, и ее целовали Кутузов и его штаб, и несли ее через

армию перед сражением. Я послал ему репродукцию и написал, что это ничего не будет стоить, потому что у нас есть запас уже готовых репродукций и есть готовое клише, а стоимость подпечатки мы можем взять на себя. Ответ меня разочаровал и даже несколько раздражил. Архимандрит Иоанн Шаховской писал, что икона, которую я послал ему, т.е. чудотворная икона Смоленской Божией Матери XV века, кажется ему пугающей, в ней нет радостности. Поэтому он предпочитает ту, что послал мне, и готов заплатить за клише и, сколько надо, за бумагу, лишь бы мы это сделали. Я ответил: "Как Вам угодно". Но внутренне и даже внешне - я потом доложил об этом в нашем совете - я был огорчен и возмущен эстетическим варварством, которое проявил архимандрит Иоанн. Разве можно сравнивать аляповатую икону новейшего письма, сделанную вроде бумажки для карамели, и чудесную икону XV века, глубоких тонов и замечательных пропорций. Я сказал: "Уже который раз я сталкиваюсь с абсолютным невежеством русских священников в религиозной живописи и, более того, православной иконописи. Это понимают католические священники, понимает большинство протестантских, а православные священники не отличают настоящее православное древнее письмо от современных подделок. Поэтому и развелось столько псевдоиконописцев в последние годы". Очень я тогда бушевал... Во всяком случае, Находштрассе запала мне в память, и теперь, когда мою адресную книжку бдительное советское начальство зачем-то оставило себе, я просто пошел искать и нашел: около одного дома увидел группу женщин, говорящих по-русски. Я сразу подумал, что они выбивают церковные ковры, подошел и не ошибся, оказалось, здесь находится домовая церковь, та самая, которая и называлась "церковь на Находштрассе". Я поздоровался, и сейчас же одна женщина - я не успел ничего спросить - сказала: "Вы что, недавно из советской тюрьмы?" Я сказал "да", слегка удивившись, вид, значит, у меня был соответствующий. "Тогда Вам нужно к нашему батюшке!" - "А где ваш батюшка?"- "А батюшка за углом",- объяснили, как пройти, на Траутенауштрассе 9. Я нашел дом, позвонил, и мне открыл священник, о.Сергий Положенский, очень моложавый, как мне показалось, на самом деле ему было, вероятно, лет 47-50, на 10 лет больше, чем мне, но всем обликом он был похож на изображение Христа в традиции конца XIX - начала XX веков: Христос-Пантократор, с гривой густых волос, подстриженной бородой, вид опрятный и не старый, как Христу и полагалось быть, 30 с чем-то лет. Он усадил меня в своем кабинетике, сел напротив за стол и говорит: "Рассказывайте..." Я стал рассказывать, по возможности самое важное, и вдруг он воспользовался паузой и говорит: "Кока,- называет меня детским именем, которое я уже давно не употреблял и в общем не очень любил,- а как поживает Екатерина Александровна, и о Ефреме Николаевиче я давно не слыхал". Я с удивлением остановился, недоуменно посмотрел на него, а о.Сергий улыбнулся и говорит: "У Вас плохая память, Кока. Вы же бывали у нас на

ситцевой фабрике, а я у Вас бывал с папой. Я был тогда Сережа Положенский".

А! Сережа Положенский, ну, конечно, я знал его отца, Сергея Николаевича, который, кстати сказать, жил теперь вместе с сыном. Его отец работал раньше вместе с Иваном Николаевичем Таракановым, моим добрым другом, и, как мы шутя его называли, "воспитателем", который подарил мне в 1921 г., первую мою книгу в будущую русскую библиотеку - "Мертвые души" Гоголя. И я вспомнил: Боже, да ведь Сережа Положенский поехал учиться в русский Богословский институт в Париже, окончил его, и вот, значит, священствовал на Находштрассе. Ну и история! Открытие это было мне очень приятно: он знал моих родителей, знал меня мальчиком и был доброжелателен ко мне. Он сразу сказал: "Да, надо с Вами что-то делать". По совету чехословацкой военной миссии я устроился в американский лагерь для перемещенных лиц, недалеко от Далема. Я туда приехал, получил возможность спать на нарах. Комнаты мне очень не понравились: было холодно, неуютно, в столовой очень маленькие порции, а у меня после тюрьмы все время был зверский аппетит. Я там пробыл только 5 дней. В столовой ко мне подошли уборщицы и говорят: "Мы слышали, что Вы из Праги?" - "Да".- "А не знаете ли Вы в Праге Екатерину Александровну Андрееву, которая уехала туда к своему сыну в 1944 г., она была учительницей, а мы ее коллеги из Ревеля".- "Конечно, знаю, это моя мать". Ну, была сердечная встреча, и мое существование переменилось.

Оказалось, при кухне целая группа учительниц из Эстонии. Они называли себя эстонками, чтобы прикрыться от советских органов, а на самом деле были русские. Они сейчас же расспросили меня, что и как, и стали кормить. Та, что ко мне подошла, была Ольга Федоровна, а ее старшая сестра - Евгения Федоровна Виламова, знаменитая постановщица сказочных пантомим, где я когда-то играл гусляра в прологе "Садко". Через нее я связался с ее сестрой, Лидией Федоровной Зейц, матерью Верочки, маминой ученицы. Они обе были в Берлине и свели меня с целым рядом наших общих эстонских друзей. И позже, когда я уже был на частной квартире, они несколько раз приглашали меня ужинать, чтобы подкормить после вынужденных долгих постов.

Другая встреча была с американской администрацией, которая приняла меня в лице "капитана Дюпона". Мне уже сказали, что он из их разведки и довольно неприятный человек. Когда я к нему пришел, мы говорили по-немецки, английского я тогда не знал, он стал просматривать мой бумажник, что мне крайне не понравилось, и вытащил мои марки. Протекторатные почтовые марки и протекторатные деньги. И говорит: "Зачем Вам это все, оставьте мне". Я возмутился, сказал, что и не собираюсь. "Я Вам дам за это сигареты",- и дал мне коробку "Друга". Это меня тоже рассердило - ничтожная цена, он же, наверное, даром их получил в армии. Во-вторых,

мне не понравилось, что он говорит: "У Вас документы в совершенном порядке, поэтому я думаю, что Вы из СС".- "При чем тут СС? У меня нет ни капли немецкой крови! Как я мог быть в СС?"- "Нет, Вы из СС, я хочу посмотреть, есть ли у Вас татуировка",- их делали где-то в верхней части руки. Он потребовал, чтобы я разделся. Я разъярился и сказал: "Идите к черту! Я не собираюсь это делать, это глупости, а если Вы сунетесь, то я Вас ударю". Капитан был, кажется, очень озадачен и сказал: "Ну, если Вы думаете, что вы не из СС, хорошо". Потом говорит: "Вы хотите ехать в Чехословакию, - это я ему рассказал,- Вы бываете в чехословацкой военной миссии, говорите по-чешски. Вы должны там слушать разговоры, а потом мне сообщать. Ходите туда почаще и каждый раз подавайте рапорт, тогда я Вам дам комнату, и мы будем платить Вам 100 марок в неделю и повышенное питание". Это меня довело до белого каления, я ничего не сказал по уже выработанной привычке не возражать органам, но поехал к о.Сергию и пожаловался. И Фасмеру сказал, что не могу там остаться. Вылез от советчиков, а теперь американцы хотят втравить меня в глупейшую агентурную работу. О.Сергий выслушал, все сразу понял и сказал: "Все они одним миром мазаны, это все "гестапы", будь советское или американское. Все они хотят погубить человека. Конечно, Вам там оставаться нельзя. Куда же выехать? Попробуем - у меня есть один ход во французском секторе". До этого в американской и английской комендатурах, куда я заходил за информацией, мне: "Идите в советскую комендатуру". - "Я только что там был!" - "Вы русский, значит, идите в советскую комендатуру".- "Нет уж, спасибо". Это я уже не им говорил, а думал про себя: "Спасибо большое, я уже насиделся!" Я о.Сергию это рассказал, и он говорит: "Поедете во французскую комендатуру. Придете туда, там, конечно, часовые, пойдете с моим письмом к полковнику Бибикову. Этот полковник - киевлянин, он все понимает. Он Вам окажет поддержку, даст совет, как устроиться, потому что Вам нужно прописаться, иначе американцы Вас погубят. Он составил целый план и просил прийти завтра. На другой день я рано утром уехал из лагеря, ничего не сказав. Приехал к о.Сергию, у него уже было готово письмо, и я поехал в соответствующее французское учреждение.

Я протянул письмо, и меня сейчас же провели во второй этаж хорошей виллы, в кабинет, где был полковник. Он все выслушал и сказал: "Да, я понимаю. Вот, видите - и он показал на стол, там лежала груда печатных брошюр, бумаг, даже книг, - это все инструкции, как поступать с жертвами Гитлера. Но нет ни одной инструкции, как поступать с жертвами Сталина! Мы сделаем вот что. Вы поедете к о.Сергию и попросите его написать еще одно французское письмо. В нем он должен сказать, что Вы у него работаете, пусть он Вас зачислит в хор, это будет, конечно, фиктивное зачисление, но нам нужен только документ. Тогда мы Вас пропишем. Вот он пишет, что Вы можете получить комнату в Тегеле, в русском церковном доме, мы Вас там пропишем, и Вы получите карточки. Это будет первая

зацепка. Потом Вы на основании всего этого пойдете в полицию и попросите обменять Ваш невероятный немецкий документ, который уже не действует - уже два года нет Третьего рейха, а у Вас все Третий рейх и протекторат - Вам его обменяют на другой документ, который тоже дается людям без гражданства, но уже современный. У Вас будет документ, а там посмотрим. Тогда Вы сможете остаться в Берлине, потому что сейчас Вы, как мотылек на заборе, Вас может сдуть любым порывом ветра". Я помчался обратно к о.Сергию, но он сказал: "Спасибо за совет, но я не могу Вас прописать в хор. У меня, вероятно, самый крупный церковный хор в Берлине или в Средней Европе, человек 170 числится. А на самом деле поют 4 старушки, и те не в лад! Однажды немцы раскусят этот блеф с хором. Но я сделаю другое: Вы же доктор философии, я сделаю Вас архивариусом. Будете заведовать церковным архивом". Я говорю: "Дорогой отец Сергий, я не хочу быть архивариусом. Я столько сидел, что меня гораздо больше прельщает движение по улицам!"- "Понимаю, но имейте в виду, что наш архив уничтожен налетами союзников, и я не буду заводить новый архив, но архивариус у меня может быть! Не так ли? Платить мы вам ничего не можем, но как православный христианин вы, конечно, поддерживаете церковь и потому примете на себя бремя обязанностей архивариуса". И он написал письмо. Я опять отправился к полковнику, он посмотрел, сказал: "Voila! Tres bien. Очень хорошо!",- надписал свои инициалы, позвал из другой комнаты лейтенанта, и через несколько минут я вышел оттуда с бумажкой, где было написано, что я живу в русском церковном доме в Тегеле, могу получать карточки 2-й категории и являюсь архивариусом русской православной церкви на Находштрассе. Окрыленный, я поехал в немецкий магистрат, получил продовольственные карточки и даже сразу какие-то продукты и явился в церковный дом. Там мне сказали, что о.Сергий уже 3 дня тому назад отдал распоряжение и мне отводят, к сожалению, не очень хорошую комнату - полуподвал с окном на уровне мостовой. Комната была приличная, чистая, недавно выбеленная, с печкой.

К Дюпону я больше не ходил, уехал и только в столовой сказал, что если кто-то меня будет разыскивать, скажите, что я встретил друзей, которые предложили остановиться у них. На контроле при выходе я сказал, что уезжаю, и дал на всякий случай адрес о.Сергия. Таким образом я увильнул от Дюпона и начал новую жизнь как насельник русского церковного дома в Тегеле. Русская кладбищенская церковь на Тегельском кладбище была очаровательная, в псевдорусском стиле, построенная, по-видимому, при Александре III. В том же роде были 2 церковных дома. Малый занимал священник, настоятель этой церкви. О.Сергий сказал однажды с большим остроумием, что у этого тегельского священника быт определяет сознание. Он действительно был большой практик, и у него всегда дом был полная чаша, помогали ему со всеми земными благами советские источники.

Территория числилась советской, хотя дом входил в юрисдикцию французов. В этом доме они разрешали жить, не знаю по каким соображениям, многим престарелым русским эмигрантам. Там жила бывшая артистка оперы, инженеры, бывшие офицеры - разнообразное и интеллигентное общество. Теперь, когда я достиг того же возраста, я вижу, что был несправедлив к ним, но тогда мне не было еще сорока, и меня не интересовали их переживания, тем более, что все они были пессимисты. Главная моя деятельность протекала в центре Берлина. Во-первых, у меня была группа у Фасмера, потом частные уроки. В одном случае был обмен: мне давали один час немецкого в неделю, я - час русского. Были платные уроки, все с девушками, причем некоторые девушки хотели "углубить" мое преподавание русского языка, но я был очень осторожен как педагог и не хотел никаких осложнений. Комната давалась бесплатно, отопление тоже, электричество было дешевое, так что с уроками и запасами денег, которые я случайно вывез в момент ареста из протектората, какая-то база была. Хотя, конечно, этого было мало. На помощь пришли друзья. Во-первых, меня много приглашали, по крайней мере 3 раза в неделю, а иногда и чаще я хорошо ужинал в разных домах. Потом у меня появились полулирические связи. "Полулирические", потому что чистая лирика тоже была опасна. Но по крайней мере обо мне заботились. Их было две: одна русская, другая - немка, друг о друге они не знали. Кроме того, было много кандидаток эстонок и других национальностей, они тоже очень заботились обо мне и пытались меня заманить, а я вовсе не собирался попадаться в узы Гименея явочным порядком. Я не был устроен ни психологически, ни материально, ни профессионально, поэтому 1947 и начало 1948, период перехода от тюрьмы к свободной жизни, проходил в состоянии вечного приспособления к новым обстоятельствам - мне казалось, что я чего-то ищу и найду. Чего я искал, я не знал, найду ли, тоже не был уверен, но такая тенденция у меня была.

Я написал ряд писем. Затруднение было в том, что письма из Германии не доходили или шли бесконечно долго. И все-таки я как будто установил некоторые контакты в самой Германии. Один из первых, кому я написал, был Юрий Павлович Иваск, кто-то из эстонцев сообщил, что он живет в Гамбурге. Он ответил сердечным письмом. Я просил его известить обо мне некоторых наших общих друзей. Потом я встретил кого-то из бывших коллег Виктора Франка, которые знали его довоенный лондонский адрес. Мы были уверены, что он переехал, но я послал письмо и попросил переслать: "Please Forward". К величайшему моему удивлению, оно дошло, хотя и через много месяцев, и он прислал ответ, видимо, с оказией, поскольку письмо было послано из Германии. Потом дошли вести от Ирины Кайгородовой, которая вышла замуж за англиканского священника Джона Финдлоу, и его приятели работали при британской культурной миссии в Берлине. Они нашли меня через Фасмера. Мои хорошие друзья

уговорили меня время от времени работать за процент на перевозке товаров на черном рынке. Я сначала удивился, а потом выяснил, что все гораздо проще, чем казалось. В то время не хватало многих продуктов, начиная с сахара, не было сухофруктов, недостаточно было мясных консервов, жиров. И были люди, которые старались эти вещи получить, и получали самым невероятным образом. У меня были знакомые, которые получали американские продукты чуть ли не прямо с военных складов, потому что там оказывались излишки. Игра была, конечно, темная, но давала оборот. Эти излишки спекулянты должны были распространить по своим клиентам, и их надо было развозить по всему Берлину. Это было утомительно и даже опасно: иногда происходили облавы. Поэтому им было гораздо выгоднее нанять кого-то вроде меня и дать 10% от стоимости посылки - я должен был получить деньги с покупателя, а потом мне давали десятую часть суммы. Посылки были дорогие, скажем, одна стоила 300 марок, и я получал сразу 30 марок. Большие деньги в те времена: я мог жить некоторое время, покупая на том же черном рынке то, что мне хотелось добавить к своему питанию, или курево. Кроме того, мне приятно было иногда подарить что-нибудь питательное моим полулирическим подругам, а откуда взять деньги? Только из такой спекулятивной поездки. Причем я сделал много оговорок: объявил, что готов возить, но при опасности брошу посылку и не буду рисковать собой ради ее сохранности. Они были согласны. Но ничего такого не случилось. Однажды я чуть было не попался в советском секторе, на Александерплац - тогда еще не было, как позднее, разделения на Восточный и Западный Берлин, все ездили, как хотели. Но подъезжая к Александерплац, я кое-что заметил - солдаты стояли на платформах, закрывая обычно свободные проходы, поэтому я сейчас же перешел в другой вагон и уехал тем же составом, так что ничего не случилось. Затем я разработал такую технику: вылезал на маленьких станциях и оттуда шел 2-3 километра пешком, что гораздо безопаснее, чем вылезать на большой станции ближе к адресату, потому что облавы обычно производили на больших станциях.

Теперь это уже глубокая история, которая и тогда, и потом смущала моих коллег. Я однажды сказал профессору Вольтнер, что причастен к черному рынку, и она искренне ужаснулась - в профессорской голове это не укладывалось. Я сказал: "Почему бы и нет? У людей сколько хотите денег и нет продуктов, которые им нужны; почему не продать их? Но за это мы должны получить барыш, это естественный торговый обмен". Тогда профессор Вольтнер сказала: "Теперь я понимаю, что у Вас новгородская кровь!" Мы говорили прежде, что я новгородец, но тогда она уверяла, что я, вероятно, Васька Буслаев, теперь же решила, что я происхожу от Садко, богатого гостя, который делал проценты! Но я не жалею, что был причастен к этому. Было довольно интересно, и люди, получавшие посылки, были страшно благодарны, потому что они-то ничем не рисковали.

Позднее, уже в Англии, я кому-то полушутя рассказал о своей причастности к черному рынку, и мне всерьез сказали, что это аморально, мы, де, подрывали экономику. Но я не согласен: вероятно, это было аморально во время войны в Англии, английскую экономику англичанам подрывать не стоило. Но здесь была совершенно чужая экономика, и так же как во время войны мы считали за честь подрывать немецкую экономику, покупая на черном рынке словацкие или чешские продукты, так и здесь экономика была установленная оккупационными войсками, и населению давали недостаточные количества продуктов. Черный рынок, наоборот, помогал переносить лишения. Так что я отвожу обвинения в аморальности. Мы получали процент за риск, и больше ничего. Риск - благородное дело, и лучше, когда он оплачивается, хотя бы немного. Но вообще атмосфера Берлина 1947-48 гг. была далека от идеальной. Это уже не был тот замечательный Берлин, который я знавал и в 1927, и в последующие годы, даже в первые годы Гитлера. Теперь это был нервный город. Когда я позднее писал об этом, в частности, в лондонском "Россиянине" (9 декабря 1948), то назвал статью "Берлин - город нервный". Он лежал между двумя мирами, и было непонятно, в чем дело. Все хотели стабильного, прочного мира, спокойной жизни, но не получалось. Поэтому все нервничали. Я уехал из Берлина, когда еще не было ни денежной реформы, ни разрыва единого контрольного Совета. Маршал Соколовский еще не вышел из него. Не было еще формального разрыва между Западом и Востоком. Но уже тогда чувствовалась нервозность, которая позже еще более обострилась. Я несколько раз бывал у Лидии Федоровны Зейц и Верочки, потому что Лидия Федоровна любила мою мать и всегда говорила о ней с восторгом. Верочку я помнил семилетней девочкой с огромным бантом, она приходила к маме на уроки в нашу "виллу" на улице Поска. Теперь у них было большое горе - исчез ее отец. Я как-то раз сказал: "Давайте, я вам погадаю. Я умею гадать, хотя и не люблю". По картам вышла нечаянная радость, видимо, потерянный человек войдет в дом, явно отец. Потом - о Верочке, у нее был роман, очень пугавший мать - однорукий немец, инвалид, с тремя или четырьмя детьми - партия весьма сомнительная для девушки. Мать боялась, что Верочка выйдет за него замуж. А я вижу, что этого не будет, они уедут за воду и там их жизнь сложится по-новому. Лидия Федоровна грустно улыбнулась: "Кока, Вы всегда были очень любезны, Вы хотите нас утешить, но гаданье есть гаданье, а реальность есть реальность".

Уже в Англии я получил письмо из Канады от Лидии Федоровны: "Вы - маг и волшебник, когда Вы уехали, разыгрались следующие события. Во-первых, появился мой муж, Верочкин отец. Он даже не был арестован, а находился в подсобном хозяйстве одной из советских дивизий, и ему не позволяли переписываться с домом - боялись, что сбежит, а он им был очень нужен, потому что говорил по-немецки, как по-русски. Потом дивизия уходила в Россию, его отблагодарили, дали кучу денег, командир дивизии

написал благодарственное письмо, дали продукты, так что он привез 2 огромных чемодана еды. Во-вторых, у них уже были оформлены документы в Канаду, и они уехали. Верочка порвала с инвалидом. Я все предсказал совершенно точно. Я был поражен - я не очень-то верил в свои гаданья. Но несколько раз они исполнялись точно. Я даже в Англии иногда гадал, но после того как осрамился и предсказал одному коллеге, что его второй ребенок будет сын, а родилась дочь, я сказал - нет, сытая, размеренная буржуазная жизнь погубила меня как провидца, как магнетически настроенную фигуру... В связи с берлинскими друзьями вспоминается очень веселая встреча нового года и празднование Рождества по старому и по новому стилю, два раза. Встреча 1948 г. происходила в русской семье из Эстонии, у Артура Ивановича и Анны Потаповны, когда-то представлявших в Ревеле общество "Капля молока" для неимущих детей. Праздновали большими компаниями, там были и эстонцы, и латыши, и русские немцы, и русские эмигранты, все веселились от души. Особый колорит носило празднование Пасхи 1948 г. Была чудесная погода. Я пошел на заутреню в свою Тегельскую кладбищенскую церковь, переполненную русскими, я даже удивился, как их было много. Потом были разговины, меня тоже пригласили разговляться, как всегда после пасхальной литургии. На другой день я навестил многих берлинских друзей. Это было последнее такое празднование в русском стиле. Потому что в Англии я праздновал все очень умеренно, обычно в пределах одной семьи - господствовал западный стиль встреч. Но в Берлине было чудесно. Даже хор, который обычно не блистал, на этот раз был усилен и пел с подъемом. Вообще русские церкви благодетельно влияли на эмигрантскую среду в Берлине, заставляли людей отказаться от гордости и эгоизма, подумать об общих интересах и целях и с прискорбием вспомнить о своих прегрешениях и грехах. Исповедовался я в начале Великого Поста у о. Сергия. Он был понимающий пастырь, с ним было нетрудно собеседовать, ощутив в своей душе сожаление о том, что тяготило совесть.

Между тем из Соединенных Штатов пришел запрос обо мне как преподавателе-слависте. Запрашивал Смит Колледж, мне прислали громадную анкету, которая меня поразила, я тогда по-английски не понимал, но внимательно заполнил анкету с помощью одной русской дамы, работавшей с английской военной администрацией. Она мне дала ряд интересных советов. Главный сводился к тому, что если вы заполняете американскую анкету, то вы должны ответить на большинство вопросов в превосходной степени и в положительном смысле. Так, например, если спрашивали, могу ли я петь соло, могу ли управлять хором, надо было отвечать "да". Я был смущен, это была неправда, но она сказала, что на это никто не обратит внимания, когда я буду там, будет другая ситуация, но когда меня будут выбирать или давать мне визу, то у чиновников не будет сомнений, потому что я подхожу под статьи анкеты. Получилось, что я

всеобъемлющий гений, и не только по своему предмету, о котором спрашивали минимум, очевидно, веря в "титулацию", в мое ученое звание. Очень много расспрашивали о бытовых вещах. Она сказала, что даже хорошо, что я не женат, это всегда возбуждает надежды в женских колледжах - приедет преподаватель и женится на ком-то из них! Я сказал, что в таком случае лучше не ехать, но... анкета была заполнена и отправлена.

С другой стороны, профессор Вольтнер сказала, что они с Фасмером обеспокоены моим положением, все затягивается, Берлин продувается всеми политическими ветрами. На совещаниях министров иностранных дел все время шли споры, Молотов всегда был против всех, согласие между Западом и Востоком явно было на исходе. Германия еще не была разделена, а уже начали бряцать погремушками. "Было бы очень огорчительно, если бы Вы опять попали под контроль тех, у кого уже сидели, надо пробовать уехать на Запад". Они с Фасмером будут рекомендовать меня как лектора.

Я сказал, что недостаточно знаю немецкий - хотя я мог изъяснить почти любую мысль и писать по-немецки достаточно бегло, тем не менее я чувствовал, что сравнительно с природными немцами говорю, как сапожник, и это должно раздражать. На это Вольтнер (она впоследствии была профессором славянской филологии в Боннском университете), а потом и Фасмер сказали примерно одно и то же: "Вы будете преподавать не немецкий, а русский язык и русскую литературу. Их Вы знаете, и это Ваш главный козырь". Фасмер выразился особенно резко: "Что мне за толк, если мой доцент блестяще, лучше любого члена Рейхстага, говорит по-немецки, а по-русски не может правильно сказать ни одной фразы? Что он даст студентам? Взгляд и нечто. Порханье по русскому языку и еще большее по литературе, которую сам читает в переводах. Вы другое дело". Я в принципе был доволен, сказал, что благодарен, эта точка зрения меня устраивала, хотя немного беспокоила.

Но события сложились иначе. Ни западногерманский, ни американский варианты не прошли, потому что быстрее всех оказались англичане, Кембриджский университет. Я об этом ничего не знал, потому что и в тех письмах Виктора Франка, которые дошли, и в одном или двух письмах от Финдлоу ничего конкретного не говорилсь. В один прекрасный день меня вызвали, как говорил о.Сергий, в "Британское гестапо", т.е. в их политическую полицию. Отец Сергий был слегка встревожен: "Что Вы такое натворили?" Я сказал: "Не знаю, может быть, в связи с черным рынком..." - "Этого еще не хватало: сидели по политической линии у Советов, теперь сядете как уголовник у британцев. Но не беспокойтесь, православная церковь будет за вас молиться, даже если Вас посадят как уголовника!" У него был хороший юмор.

Словом, я пошел туда со страхом, учреждение было мрачное, а когда подошел, то еще больше пал духом - перед входом стояли бульдогообразные полицейские, точно такие, как рисовал "Крокодил"! Квадратные лица,

квадратные плечи, белые ремни, револьверы и такой вид, что вот сейчас вцепится вам в ляжку и ни за что уже не выпустит. Меня впустили в зал, где оказалось полно народа. Ну, думаю, бедный Николай Ефремович, сидеть тебе здесь до вечера! Я сел, вытащил газетку, которую взял на всякий случай, как вдруг меня вызывают. Посмотрел на часы: ровно 10.15, как и было сказано. Я вошел в кабинку, которую мне указали, - там оказался молодой человек в штатском. Он спросил меня по-немецки: "Вы говорите по-английски?" - "К сожалению, нет".- "Хорошо, будем говорить по-немецки. Хотите ли Вы покинуть Берлин?" Такая прямолинейная постановка вопроса меня удивила и даже напугала, я говорю: "Смотря в каком направлении". - "Ну, пока, скажем, в Западную зону, в британскую". - "А куда именно?" - "Допустим, в Ганновер".- "Что же я буду делать в Ганновере? Здесь у меня квартира, я работаю, а там?" Молодой человек вдруг посмотрел на меня с интересом и сказал: "Вы знаете, почему Вас сюда вызвали?" - "Нет, не знаю". - "Вами интересуется Кембриджский университет". Это было неожиданно, я сказал: "Спасибо, а что они хотят?" - "Чтобы мы Вас вывезли из Берлина, сначала в английскую зону, где Вам оформят документы, а затем в Англию, в Кембриджский университет. Это Вас устраивает?.." Я подумал: "Боже мой, что же я буду делать в Кембриджском университете, если я не говорю по-английски?" Вероятно, буду кем-нибудь вроде швейцара. Но тут я вспомнил - у меня часто кстати и некстати вспоминаются цитаты - вспомнил Маркса, который говорил: "Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей..." А на мне и цепей не было, я мог ехать, куда угодно. И я сказал: "Да, вполне устраивает". -

"Прекрасно. Здесь,- он показал толстую папку, которая лежала перед ним,- бумаги о Вас, я все о Вас знаю, но нужно заполнить анкету. Я думаю, для быстроты сделаем так: я заполню, а Вы подпишете, Вы должны верить, что я действую в Ваших интересах". Я сказал "спасибо" и подписал анкету. Анкета как анкета, две страницы, откуда, почему, зачем, зачем родился, почему существуешь, откуда приехал и т.д. Он сказал: "Тогда все. Но раньше чем Вы уйдете, условимся: об этом Вы никому ничего не скажете. Можете сказать только священнику, у которого живете".- "Сергию Положенскому?" - "Да, его предупредите. А больше никому. Мы предполагаем,- и он назвал какой-то день недели,- что в этот день мы подготовим ваш отлет из Берлина. В 11 часов утра на Траутенауштрассе 9, где Вы живете, подойдет немецкое такси. Вы сядете в него, и оно Вас отвезет на аэродром, с которого Вы полетите в Западную Германию. Если изменится вылет или что-то случится, Вы, вернее, священник утром того дня получит письмо, где будет другая дата".

Молодой человек был серьезен, любезен, пожелал мне счастливого путешествия по воздуху и хорошего пребывания в Кембридже. Я вышел, добрался к о.Сергию и под величайшим секретом все рассказал. Он сказал: "Да, я слыхал о таких вещах, но, говорят, бывает и по-другому: приедет

такси и увезет Вас в Карлсхорст, к советчикам, а там посадят. Будем молить Бога, чтоб в данном случае Вам сказали правду. И никому не говорите - молодой-то человек говорит правду, а кто-то услышит и может из этого сделать кривду". Я точно придерживался инструкции, в моем распоряжении было несколько дней, и я решил последнюю ночь ночевать не у себя, чтобы что-нибудь меня не задержало. Взял вещи - их было мало - белье, мое заслуженное пальто и несколько отличных книг, которые успел купить в "Международной книге" на Унтер-ден-линден. По истории я все покупал там, в том числе Виппера, переработанного "Ивана Грозного", общий учебник по русской истории и ряд специальных изданий.

Полулирическим дамам я намекнул, что уеду, но отодвинул дату по крайней мере на неделю. Это вызвало сенсацию и даже то, чего я всегда боялся: "Останься со мной навсегда" - но было уже поздно. Немецкая знакомая, услыхав, что я, может быть, через 10 дней улечу, сказала мне просто: "Ду хаст мих глуклих гемахт" -"Ты сделал меня счастливой". Простая, но серьезная формула, за которую я был благодарен и был рад, что мог кого-то в какой-то степени осчастливить.

УЕЗЖАЮ В АНГЛИЮ

Все разыгралось как по нотам: в 11 прибыло такси -мы смотрели из окна - перед этим о.Сергий благословил меня и прочитал напутственную молитву, я вспоминал маму. Он всегда говорил: "Самое главное у Вас мама, все остальное не так важно". Он был, конечно, прав, но как помочь Маме на громадном расстоянии, не зная точно, где она, не имея никаких контактов. Я был очень благодарен о.Сергию за все, что он сделал, а он сказал: "Вы прошли уже много испытаний - продолжайте идти вперед с верой, тогда все приложится". Мы вместе с ним спустились к такси, и оно отвезло меня на Темпельгоф, где таксист меня высадил и сказал, что платить не надо. Он ввел меня в вестибюль и показал, куда идти: там было написано "Ганновер". Там стоял "Дуглас", британский транспортный самолет, около него был сержант, который не обратил на меня никакого внимания, я прошел мимо него, сел в самолет. Ровно в 12 он взлетел, и я прошел воздушное крещение. Вместе со мной летели несколько британских военных, никто не разговаривал, некоторым военным стало плохо. Но я, к счастью, не поддавался никакой качке. Команда принесла нам чай и бисквитики, и через некоторое время мы сели на громадный, совершенно пустой аэродром, только вдалеке маячили один или два самолета. Все моментально разошлись, один я не торопился, я вышел, в одной руке у меня было пальто и маленький портфельчик, который мне когда-то "махнул" в Бауцене младший сержант.

Я решил идти к зданию с башенкой, которое напоминало станцию, и заметил, что оттуда навстречу мне идут двое. Посреди громадного аэродрома мы встретились. Они оказались представителями ИРО, один, по-моему,

новозеландец, а другой - ирландец, и даже не из Англии. Они не говорили по-немецки, а я по-английски. Конечно, они не знали и русского языка - чудная встреча! Но они знали, что я "профессор Андроу". Мы поздоровались, немедленно пошли к тому зданию, которое действительно оказалось технической точкой, там был телеграф и ходили с сонным видом двое служащих. Но мы туда не заходили, а сели в машину и поехали. Ехали минут 40 и приехали в живописную деревню, к одной вилле. Они сказали, что это их "Хедкуортер", это я понял - квартира, там даже было написано, что это ИРО. Вышла секретарша, рыжая девица, которая тоже не знала немецкого. Было уже часа 2-3, а в 4 нам дали чай, опять с бисквитиками, очень вкусными, между прочим, в Англии я таких не встречал. Потом меня повели наверх, указали мне комнату, где была постель и все было чисто и удобно, рядом ванная, я сразу побрился. Ужин был на терассе, и впервые в жизни я пил ирландское виски (шотландское я когда-то пробовал - меня Щербачев угощал во время войны. Кроме рыжей девицы, была еще какая-то блондинка, тоже не говорившая ни на одном языке, кроме английского, и все-таки мы весело проводили время. Сначала мы ели копченого угря, под виски это шло хорошо. Потом девицы сделали горячее, из консервов, и после этого дали, тоже из банок, ананасы. Все было прекрасно и сопровождалось ирландским виски. Больше всего меня поразило, что когда мы ели угря, то один офицер хвост, голову и кожу все старался бросить в угол, видимо, уже был пьян. Каждый раз он не попадал, и в конце концов получилась кучка шкурок. Потом я великолепно спал и даже подумал: "Боже, как это напоминает первый вечер в органах, только там были патриотические песни и спирт, настоенный на малиновом варенье, а здесь ирландское виски. На другой день они уезжали и приезжали, барышни все время звонили по телефону, а я вообще ничего не делал. Наконец, на третий день они сказали, что нашли мне лагерь, "кэмп" - это слово я уже понимал - где я буду сидеть и ждать, когда дадут визу. В сумерках мы ехали часа два. Затемно подъехали к какому-то лагерю, они говорят "Хиер". Я посмотрел в окно и мысленно ахнул: огромные жовто-блакитные, желто-синие самостийные украинские флаги и какие-то гайдамаки или запорожцы в фантастических формах у ворот. Они были очень любезны, мы въехали и предстали перед майором Кирби, комендантом лагеря. Было уже довольно поздно, 10 часов вечера, и мы пожелали друг другу всего хорошего.

Кирби позвал кого-то, кто нес мой портфель, и мы вошли в какой-то блок - мне показалось, что это какая-то огромная канцелярия, со столами и картами на стенах. Они отдали распоряжение, и мне постелили на удобном диване. Я устал и заснул быстро. Наутро проснулся и страшно удивился, где я, потом посмотрел по сторонам и поразился: я в официальном месте, всюду висят карты великой Украины. Я никогда раньше их не видел и теперь ахнул, потому что Великая Украина не только включала много территорий европейской части России, но туда отчасти входили и Кавказ,

и районы около Астрахани, и Средняя Азия - все территории, где были украинские переселенцы, и даже часть Сибири, все это оказывалась Великая Украина, это было очень забавно. Я начал приходить в себя, отправился бриться, там рядом были ванные. Затем спросил кого-то - все вокруг говорили только по-украински, но понимали по-русски - и мне показали, что надо идти в кухню. Кухня была большая, благоустроенная, там были какие-то приятные женщины, говорившие по-русски. Я сказал, что вчера приехал и хотел бы знать, как тут насчет питания, и они отлично меня покормили. Предложили, если я хочу, супа с хлебом, я хотел, потом дали кофе, это мне напомнило русскую военную кухню. Потом я пошел в канцелярию майора Кирби. Кирби был любезный англичанин, к сожалению, мало говоривший по-немецки, но все-таки он объяснил, что я должен ждать здесь, у него приказ отправить меня в Англию, но сначала нужно оформить разные документы, потому что Германия еще закрыта, а мой документ годился только для внутригерманского распорядка и не действовал за границей. Он спросил, удобно ли мне, и сказал, что пока что я поживу дня 2-3 там, а потом они найдут мне комнату поудобнее. Это был громадный украинский лагерь "щирых украинцев", так называемых самостийников, хотя многие из них были с Восточной Украины и отлично говорили по-русски, а по-украински говор у них был другой, чем у тех, из Галиции. Больше всего меня поразила церковь, принадлежавшая автокефальной украинской церкви - меня озадачило и даже слегка насмешило, хотя я не смеялся открыто, что и Богородица, и Христос, и все главные святые были изображены под украинцев: с чубами, с большими усами, в шароварах и свитке. Я никогда ничего подобного не видел, это походило на исторические пародии. Но я видел, что люди верят, истово поют, молятся, и отнесся к этому с уважением.

Я сейчас же сообразил, что большинство из них живет на квартирах, получая продукты. Меня это не интересовало, я ходил на кухню, чтобы не мыть посуду, стряпухи были добродушные и с удовольствием давали мне есть. Были большие порции и здоровая пища: щи, каша с чем-нибудь, вкусное мясо, жареная картошка, к этому что-нибудь сладкое. Пекли пироги, мне это все очень нравилось. Быстро выяснилось, что здесь есть и русская православная церковь, но меньше, чем эта украинская, и там есть священники. Я пошел туда, оказалось, что там есть даже маленький хор, и я познакомился с милыми русскими людьми. Один был представитель тогда совершенно нового для меня издания "Посев", который издавал НТС, - так я узнал, что НТС продолжает жить. Это был интеллигентный и образованный человек из Харькова, он много рассказывал, как англичане поддерживают этих украинцев, хотя многие из них открыто сотрудничали с немцами, и всякие другие подробности чисто эмигрантского, уже забытого мною, но теперь опять возрождаемого быта. Уже началась борьба епархий, церковных влияний: одна промосковская церковь, другая антимосковская синодальная,

а тут еще автокефально-украинская. Я познакомился с людьми из Ревеля, из Нарвы. Там оказалась даже мамина ученица, Ира Ведякина, и ее мать. Полковник Ведякин трагически погиб во время отступления, просто исчез. Они ехали в санях, он пошел куда-то и не вернулся - или ему стало плохо, или его убили, возможно, поляки, потому что уезжали они из Познани. Старшая дочь была замужем за немцем, но разошлась с ним, у нее был славный сын, а работали они все в английском госпитале: мать -сестрой милосердия, старшая дочь - переводчицей, она знала английский, немецкий и русский; младшая была сиделкой. Они были хорошо обеспечены, но почему-то потом уехали в Бразилию, и наши отношения прервались.

Очень скоро у меня там завязались знакомства: появилась Серафима Васильевна Блинова, которая была когда-то замужем за Васей Блиновым, я его знал - Вася до нее был женат на Ире Горбачевой, сестре той пианистки, с которой я гулял в Тиргартене. Но Васи Блинова не было, кажется, его мобилизовали в Красную Армию. Ира, его первая жена, умерла. Сын Васи и Иры учился в эмигрантской школе, не в этом лагере, а где-то в другом месте. Я подружился с Серафимой Васильевной. У нее была сестра Нина - бывают же такие русские красавицы! Но я ее видел, собственно, только полдня, потому что в тот вечер, когда она приехала, мне сказали, что я завтра улетаю в Англию. Предполагавшийся ужин был отменен, и я спешно уехал. Во время пребывания в украинском лагере я полулегально съездил в Гамбург - повидаться с Юрием Павловичем Иваском.

Я уже получил от него письмо в Берлине, и теперь хотел увидеть его. В письмах всего не расскажешь. Мне пришлось ехать к нему с одним нашим общим знакомым, который дал мне какой-то фиктивный документ - у меня тогда документов вообще не было. Несмотря на риск, я все же поехал - так хотел повидаться с человеком того мира, который исчез на моих глазах - ревельского и печорского мира - и поговорить с ним о самом любимом предмете, о литературе. Это удалось самым блистательным образом. Он жил в бараках под Гамбургом. Весь разбитый, Гамбург только еще начинал отстраиваться, впечатление разрухи было еще сильнее, чем в Берлине, потому что тут было огромное количество разбитых гигантских конструкций - верфей, заводов. Юрий Павлович и Тамара Георгиевна встретили меня дружески, и мы с Юрием Павловичем проговорили всю ночь, остановиться не могли и под самое утро пустились в литературные разговоры и по его предложению стали ставить отметки по пятибалльной системе русским писателям. Я в принципе против такой гимназической системы, но Юрий Павлович тогда почему-то этим очень увлекался.

Этот эпизод скрасил мне пребывание в украинском лагере, которое было очень тягостным - скопище обездоленных людей без ясного будущего, подверженных паническим настроениям и впадавшим в различные эмоции - национальные, политические, религиозно-церковные. Главной причиной их смятения (тогда и появился термин "перемещенные лица") было то, что

они не работали. У них не было занятий, которые определяли бы их день. Они жили за счет мировой благотворительности, ИРО (Интернациональная организация помощи), но, давая им материальную базу, ИРО лишало их уверенности в себе. Потому-то я инстинктивно старался жить на какую-то видимость заработка или подрабатывать на черном рынке - пусть это не самое благородное занятие, но хоть какая-то деятельность. На фоне бездействия у женщин вырабатывалась особая психология: они изо всех сил старались завести любовников, которые могли бы их развлечь, повезти в город, сводить в оперу, в хороший кинотеатр, пригласить в ресторан, или поймать их и связать браком, даже забеременеть от них - это был частый прием. Все это создавало ужасающую обстановку.

Как реакция на все это у меня все больше проявлялось желание уйти в другой мир, сесть и заняться научной работой. Чем больше меня отстраняли от библиотек и письменного стола, тем больше я к ним стремился, и судьба мне помогала. В Бауцене мне пришлось изучать нацизм, и в разговорах с сидящими со мной офицерами мы все время сталкивались с проблемами истории и понимали, что историю нужно поставить в положение науки, чтобы из нее перестали делать служанку политики... Когда я попал в лагерь и по прихоти майора Кирби провел не меньше недели в канцелярии с картами Великой Украины, я ужаснулся: это была чистая фантазия, умозрительная Украина, которая никогда не существовала и никогда не будет существовать в реальности в таких границах, в каких она снилась идеологам этого лагеря. Я с ужасом подумал: "Куда они гонят этих простаков, которые верят в них, которые, как в этой церкви, одевают апостолов вопреки традиции православия в казацкие шаровары и свитки. Борис и Глеб, первые русские мученики, святые князья, представлены запорожцами с кривыми саблями, с чубами. Конечно, своя рубашка ближе к телу. Я понимаю, что их душам больше говорит Шевченко, поющий о степи и курганах, чем Пушкин с лукоморьем и Медным Всадником. Но не превращать же историю в дикую фантазию. Как раз на этой почве у меня возникла тематика лекций. После свидания с Юрием Павловичем я встретился с Сергеем Александровичем Левицким, который жил в американской зоне, а оттуда проехал и познакомился с редакцией "Посева". В лагере, где жили Левицкие, я прочел доклад, подоплекой которого была как раз моя жажда исторической правды. Мне надоели идеологические построения - марксистские, антимарксистские, националистические - хотелось просто реалистических: как это было в истории. "Откуда пошла есть русская земля?" Вот что мне хотелось показать в своих лекциях. Не знаю, насколько публика это поняла, но у меня это был крик души.

Пока я жил в лагере, произошли большие события: во-первых, денежная реформа, и все наши деньги исчезли, потому что мы могли оставить только маленькие суммы. Затем - раскол в контрольном совете, оттуда вышел маршал Соколовский, и вообще были явные признаки раскола между

Западом и Востоком. Покуда я жил в этом лагере, июнь и часть июля, мне оформили документы и я прошел английский паспортный контроль, причем очень забавно. Офицер из контрольных английских органов разговаривал со мной по-немецки, и вдруг выяснилось, что он будет учиться в Кембридже, в русском отделе, там, куда я еду. Он был дружелюбен со мной, и потом я всегда смеялся: "Ваше счастье, Джеральд, что Вы были так любезны, пока были в позиции силы, я это хорошо запомнил и никогда Вас не притесняю". Время прошло быстро, и 31 июля я должен был лететь. Но отлет задержался: мы приехали на аэродром, английский офицер и я, он поговорил с кем-то и оставил меня ждать самолета, который должен был вылететь значительно позже. И тут один американец, журналист, услышал, что моя фамилия Андреев, понял, что я русский, но принял меня за советского. В то время было уже большое напряжение между Западом и Востоком. И вот этот журналист, Мелвин Ласский, стал разговаривать со мной по-немецки: он сказал, что рад видеть меня здесь, раз я лечу в Англию, то, вероятно, военного конфликта в ближайшие дни не будет. Я долго с ним разговаривал и все-таки огорчил его, сказав, что я вовсе не советский человек, а эмигрант, долго был у Советов в тюрьме, а сейчас приглашен в Кембридж. Он страшно смутился и в то же время был очень мил со мной, позже, когда в Берлине устроили Конгресс Свободы в 1950 г., он вспомнил обо мне и пригласил меня туда.

Я продолжал ждать на аэродроме, но ничего не происходило. Я сидел и сидел, наконец, часа в 4, я подумал - что за ерунда, и пошел спрашивать. Поднялся переполох: "Как, Вы здесь?" - "Да". - "Мы Вас выкликали". - "Как же Вы выкликали, я сидел здесь, в зале, и ничего не слышал". - "Не может быть, мы Вас выкликали". Но они выкликали, видимо, так же, как произносили ирландцы и новозеландцы в ИРО, Андроу или что-нибудь в этом роде, так что я и не подозревал, что это меня выкликают. Во всяком случае, они сказали - хорошо, Вы полетите завтра, а сегодня будете ночевать в офицерском доме. Повезли меня в дом летчиков, накормили прекрасным ужином и даже угощали виски, уже не ирландским, а шотландским, и на свои последние деньги (после реформы мне обменяли деньги в лагере) я купил себе сигареты и виски. Разговаривал я с английскими офицерами, к их удивлению, только по-немецки, они не понимали, как человек мог ехать в Англию, не зная английского языка. Потом я понял, что это предпосылка английского отношения: если вы не знаете английского языка, вы человек, не рожденный для Англии. Я провел очень приятный вечер в отрыве от уже знакомой обстановки лагеря для перемещенных лиц, от Берлина и еще не включившись в Англию. Этот вечер я помню хорошо: я выпил, курил и удивлял англичан тем, что лучше них говорил по-немецки и в то же время не знал ничего по-английски - это им было против шерсти. Мне дали комнату с прекрасной обстановкой, удобной постелью и даже поставили маленький флакон виски, я лежал и

подводил итог жизни: "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?.." Получался бесконечный поток, 40 лет напряженной жизни. И если про первые 10 лет еще можно сказать, что это как бы нетронутое детство, то потом начинается движение из-за революции и 30 лет упорной деятельности. И вот мне 40 лет, и жизнь как бы разбита, ничего не осталось. Ничего не сохранилось, я один, совершенно один. Где-то моя мама, надеюсь, она жива. И я горячо молился, вспомнив Владыку, и благодарил Бога за то, что я пережил все это и выжил, и ни разу даже не заболел в тюрьме, несмотря на все лишения. Вот я лежу в английском клубе летчиков перед полетом в Англию, где начнется моя новая жизнь. Это были мои последние сознательные мысли перед сном. 1 августа я действительно улетел, опять на "Дугласе". Опять качало, и летело очень много людей, многие "ездили в Ригу ", но со мной ничего не случилось. Вдруг кто-то закричал: "Ингланд!" Все бросились к окнам - действительно, показался берег, и минут через 40-50 мы приземлились на военном аэродроме, километрах в 20-25 от Кембриджа. На этом кончалась моя европейская эпопея и начиналась британская. Когда я приземлился, был контроль: надо было показать деньги, и я дал оккупационные дензнаки, которые у меня оставались, мне их обменяли, получилось 8 пенсов, и все смеялись, и кассир и таможники. Один я был серьезен, я сознавал, что это грошовая, комическая сумма, но не понимал по-английски и предпочитал быть серьезным. Мне выдали мой портфель и пальто, дали прочесть список того, что надо предъявлять, у меня ничего такого не было, но я не знал, что там написано, и просто сказал: "No!" Это тоже был повод для шуток. В этот момент приехала профессор Елизавета Федоровна Хилл, мой будущий шеф, глава только что сформированного славянского отдела, которая пригласила меня туда лектором, хотя знала, что я не владею английским. Но она хотела, чтобы я читал некоторые курсы именно по-русски, для студентов, уже знающих русский язык - в тот момент многие студенты в Кембридже уже прошли курсы военных переводчиков, некоторые были в оккупационной армии и общались с советскими оккупационными представителями. Она, как Фасмер, хотела больше русского языка. Мне понравилась ее хватка: предполагалось, что русский язык - предпосылка изучения русской культуры. Потому меня и пригласили.

На этом кончился мой беспризорный период между моментом ареста и приездом в Кембридж. Два с лишним года, которые я в общем потерял, дали мне много впечатлений и безусловно способствовали развитию моего характера, с другой стороны, они показали мне мои настоящие склонности, которые, как я очень хорошо ощущал, состояли именно в академической устремленности. С этой точки зрения я старался, как бы подсознательно, найти себе подругу. Очаровательные женщины, с которыми я соприкасался прежде, мало отвечали этим потребностям. Наибольший шанс имела Ирина Крестинская, но судьба не позволила нашей дружбе углубиться, и все оборвала ее смерть. Мои близкие подруги, Ирина Грауэн, которая очень

мне нравилась, Рита Улк, Инночка Раудсеп, позднее Ирина Вергун и Вера Введенская, - все это были поиски той, которая могла бы стать партнером. Похоже, никто из них полностью не подходил. Мой мир оказывался сложнее. В Англии я нашел себе спутницу жизни. Но это был болезненный, долгий процесс.

О второй части моей жизни, английской, я здесь рассказывать не буду. Английская жизнь еще слишком близка мне, она еще часть меня, и поэтому трудно говорить о ней подробно, я могу быть несправедлив. Между тем Англия дала мне очень много хорошего. Я создал семью, и я счастлив в этой семье. Моя мать приехала к нам осенью 1958 г. и жила с нами до своей смерти в 1961 г. У меня сложилась плеяда великолепных учеников. С другой стороны, в Англии были и большие разочарования: я не смог сделать карьеру и остался до известной степени варягом в английском академическом мире. Я считаю, что это большой минус и для англичан: они не сумели использовать меня так, как хотели, не создали мне условий для исследовательской работы. Рассказывать об этом подробно мне не хочется, поэтому я кончаю изложение истории своей жизни.

Подписи к фотографиям:

1. Н.Е.Андреев. Таллин. 1934
2. Часть большой семьи Андреевых, отец автора со своими братьями. Слева направо: Константин, Ефрем, Платон, Сергей и друг братьев Андреевых, Михаил (в шляпе). 1905.
3. Н.Е.Андреев в 13 лет.
4. Владимир Николаевич Соколов, руководитель литературного кружка в Таллинской русской гимназии, когда-то "благословивший" Н.Е.Андреева на занятия литературой.
5. Н.Е.Андреев в день приезда в Прагу. 19 октября 1927.
6. Бывшие таллинцы в Праге: слева направо сидят Константин Теннукест и Герман Хохлов, стоят Николай Андреев и Константин Гаврилов. 1 апреля 1928.

7а, 7б, 7в. Дом 51-а по ул.Поска и три поколения семьи Андреевых. Сверху вниз: Ефрем Николаевич и Екатерина Александровна; Николай Ефремович; Екатерина Николаевна (Кэтрин Андреев) - год 1994.

8. Графиня Софья Владимировна Панина, хозяйка "Русского Очага" в Праге. 1950.
9. Н.Е.Андреев на фоне Института Кондакова в Праге. 1931.
10. Интерьер Института Кондакова.
11. Сотрудники Института Кондакова (справа налево): Н.П.Толль, Н.Е.Андреев, Г.А.Острогорский, Е.И.Мельников.
12. Н.Е.Андреев и П.А.Хмыров (справа), "сдавший" его органам НКВД.
13. Н.Н.Терлецкий. 1944.
14. Олечка Дошкаржова (иначе она в воспоминаниях и не называется) и автор, которого она навещала в советской тюрьме в Бауцене и помогла ему оттуда выбраться.
15. Итог многочисленных "лирических историй": женятся Николай Ефремович Андреев и его бывшая студентка Джилл Хаддлестон. 16 июля 1954.
16. Н.Е.Андреев в "спецодежде": Колледж Холт Кембриджского университета. 1967.
17. Друзья и однокашники автора: академик Аргентинской Академии Наук Константин Гаврилов и священник Владимир Римский-Корсаков в протоиерейском саду в Ранелаге. 1978.
18. Счастливое семейство (слева направо): автор, Николай Николаевич Андреев в день окончания университета, Михаил Николаевич Андреев и Джилл Губертовна Андреева. Снимок сделан Екатериной Николаевной Андреевной, поэтому самой ее здесь нет. См. следующий снимок.
19. Дочь автора - преподаватель Оксфордского университета, историк Екатерина Николаевна Андреева.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

ПРИМЕЧАНИЯ

О некоторых топонимах

Н.Е.Андреев в своих воспоминаниях использует русские или немецкие названия улиц, церквей и т.п., находящихся в Эстонии. Приводим здесь их эстонские соответствия.

Бригитовка	- пляжный район Пирита в Таллине
Коппель	- таллинский район Копли
Железная улица	- русский перевод названия ул.Рауа
Татарская улица	- русский перевод названия ул.Татари
Медвежья улица	- русский перевод названия ул.Кару
Олав-кирхе	- немецкое название церкви Олевисте
Йевве	- в настоящее время город Йыхви
Тапс	- в настоящее время город Тапа

Автор воспоминаний одинаково часто пользуется названиями Ревель и Таллин. Название “Ревель” существовало до установления независимой Эстонии, после чего с 1918 столица Эстонии стала именоваться Таллин.

